

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

1971

9



1971

# Н(О)В ЪЛ И М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVII

№ 9

Сентябрь, 1971 г.

---

О Р Г А Н   С О Ю З А   П И С А Т Е Л Е Й   С С С Р

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ВЛ. САВЕЛЬЕВ — Рабочий. Самосвал, стихи	3
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Версты любви, роман (продолжение)	6
ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА — Новые стихи	60
ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ	61
АЛЕКСЕЙ АРБУЗОВ — Выбор, пьеса	67
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Исповедь мореплавателя, стихи	104
ЖАН-ЛУИ КЮРТИС — Молодожены, роман (окончание)	106

### О Ч Е Р К И   Н А Ш И Х   Д Н Е Й

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	160
М. ВАЛЕЕВ — Стройка на Каме	161

### П У Б Л И Ц И С Т И К А

Л. АБАЛКИН — Экономическая наука и общество	167
АГЕЙ ГАТОВ — «Продолжение списка блестящих побед»	179

### В   М И Р Е   Н А У К И

ПАВЕЛ СИМОНОВ — Искрящие контакты	188
-----------------------------------	-----

### Н А   З А Р У Б Е Ж Н Ы Е   Т Е М Ы

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ — No parking! (окончание)	206
---	-----

### Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я   К Р И Т И К А

В. ЖДАНОВ — Заметки о Некрасове	234
Е. ПОЛЯКОВА — Делающие жизнь	247

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
М о с к в а

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Д. Тевекелян. Роман на рабочую тему.— И. Варламова. Человек — человечность.— Ф. Искандер. Третья книга поэта.	259
<i>Политика и наука</i>	
Евг. Долматовский. С лейкой и блокнотом (несколько книг о Вьетнаме).— Д. Большов. Эволюция без перспектив.— Н. Пожарицкая. Воскрешение ручья Мелдрам.— Ю. Рытов. День рождения Калуги.	271
КОРОТКО О КНИГАХ — Д. Голубков.— Татьяна Глушкова. Белая улица. Стихи. ♦ В. Канашкин — Николай Веленгурин. Бросок комиссара. Документальная повесть. ♦ К. Бродер — Евгения Саруханян. Достоевский в Петербурге. ♦ В. Казимирчук. Л. В. Скворцов. Об особенностях кризиса современной буржуазной идеологии	285
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	288

---

---

---

**ВЛ. САВЕЛЬЕВ**

★

## **РАБОЧИЙ**

Со лба сдувая волосы устало,  
литых полос касаясь, как перил,  
он даже не работал по металлу,  
а дерзко и возвышенно творил.

Копя у глаз подвижные морщинки,  
он мог легко, и это неспроста,  
изгиб скользящей в небе паутинки  
придать куску железного листа.

Из мастерства не делая секретов,  
умел достойно каждому юнцу  
на сто вопросов выдать сто ответов:  
большим талантам скупость не к лицу!

Припоминаю я без напряженья,  
как он под нестерпимой синевой  
поистине божественным движеньем  
кувалду возносил над головой.

И бицепса натруженную глыбу  
медлительно катило по руке  
так, словно свежепойманную рыбу  
дыханьем распирало на песке,

так, словно бы росла округлость шара...  
Я знаю, созидаю — не круша, —  
лежат в природе мудрого удара  
и глазомер, и навык, и душа.

Уйдя вперед, я все еще вначале  
разведываю тайны мастерства.  
Не сттого ли снится мне ночами  
то мастерство на грани колдовства?

И шурюсь я, как шурятся от света...  
А он не унимался день-деньской,  
и цех, и всю страну, и всю планету  
считая триединой мастерской.

Поля, луга, озера...  
А, да ладно  
расписывать привычные края:  
ведь, главное, рабочие таланты  
и есть, по сути, родина моя.

Ведь, главное, бесцветности от века  
приходится смиряться и молчать,  
когда союз труда и человека  
скрепляет вдохновения печать.

Я к мастеру присматривался цепко...  
Он создавал.  
А выбившись из сил,  
стоял себе, обмахиваясь кепкой,  
и возбужденно дух переводил.

### САМОСВАЛ

И прочь с проселков и дворов  
теснил покой и дрему  
его сухой надсадный рев  
на глинистых подъемах.

Теснил зверье в глубины нор,  
когда у поворота  
подрагивал его мотор  
под крылышком капота.

Копя запутанность в себе,  
ища разгадку жизни,  
порой завидуешь судьбе  
простого механизма...

Сбиваясь с плана на аврал,  
с доверья на досаду,  
железный малый — самосвал  
не подводил бригаду.

Его, таранившего даль,  
направили прорабы  
не на прямую магистраль —  
на главные ухабы.

Не зря, запальчиво и зло  
подбрасывая к сини,  
весь день водителя трясло  
в прогретейшей кабине.

Гремела кладь грузовика  
в тональности болтанки,  
но властно девичья рука  
лежала на баранке.

Знать, посильнее прочих уз  
дарованные веком  
соперничество и союз  
машины с человеком.

Так неразлучны свет и тень,  
могучий ствол и ветви.  
И все ж не вечен пыльный день,  
не вечны песни ветра.

Не вечна дрожь грузовика.  
Хранят дыханье жара  
его — навывкате слегка —  
потушенные фары.

На стертых скатах сохнет грязь.  
Ненастьями отпетый,  
к плечу забора привалясь,  
он дремлет до рассвета.



---

---

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

★

## ВЕРСТЫ ЛЮБВИ\*

Роман

*Час пятый*

— **М**ожет быть, это только у меня такой характер — переживать за все и за всех, — продолжал Евгений Иванович, — но уж так было, что ни в тот день, когда вернулся от Раи, ни во все последующие, пока устраивался на работу, я не мог не думать о ней, и в то время как мне казалось, что я поступил правильно и что всякое другое решение было бы невозможно и отвратительно для меня, — как только оставался один (дома или где-нибудь в приемной, ожидая очереди, но особенно по вечерам, перед сном, когда, погасив свет, еще лежал с открытыми глазами), я постоянно как бы видел перед собой Раю в той позе, с прижатыми к груди возле шеи руками, как оставил ее, и то ли жалость, а точнее, даже не жалость, а будто все то состояние, что испытывала и о чем думала она в то утро (мне же все это было, в сущности, знакомо, я ведь пережил это в Калининвичах), охватывало меня, и я уже мучался и за себя, вспоминая по-прежнему Ксеню и бывшего своего комбата, и за Раю, потому что причину ее рухнувших надежд был сам, и по утрам, мрачный и неразговорчивый, стараясь обходить взглядом мать, торопливо завтракал и убегал из дому. В довершение ко всему я чувствовал себя виноватым и перед матерью, которой так хотелось, чтобы я был счастлив, и которая, как все, наверное, матери на земле, по-своему понимая мир и людей, видела именно в ней, в Рае, мое счастье.

Когда в тот день мать открыла мне дверь, она с удивлением спросила:

«Один?»

«Да, мама».

«Вы что, поссорились?» — тут же добавила она, потому что нельзя было не спросить этого, глядя на меня.

«Нет, с чего ты?» — сухо ответил я.

Она ожидала нас вместе, готовилась, и потому ее, конечно, особенно огорчило, что я пришел один, но она больше ничего не сказала, а лишь, вздохнув, принялась за свои домашние дела; и на другой день и на третий тоже ничего не говорила, но я постоянно, как только бывал у нее на глазах, ловил на себе пристальные взгляды, словно она, присматриваясь, как чужого, изучала меня.

Работать я устроился грузчиком на товарную станцию, а с осени пошел учиться в вечернюю школу, потому что надо было еще закончить десятый класс, прежде чем думать об институте; короче говоря, надо было сначала начинать жизнь, и я, знаете, как ни было тогда трудно, всегда с удовлетворением вспоминаю те годы, они кажутся мне удивительными уже тем, как в лишениях и нужде мы настойчиво стре-

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

мились к цели. Работа и учеба отнимали столько времени, что, в сущности, некогда было думать ни о Ксене, ни о Рае, да, мне кажется, тогда я действительно как бы забыл о них, и на душе было просветленно, легко, хотя физически уставал иногда так, что вечером, когда приходил домой, не хотелось ни раздеваться, ни ужинать, я прямо в гимнастерке, лишь сбросив сапоги и шинель, валился на кровать и засыпал тут же, мгновенно, ни о чем не думая и не тревожась. Я не повторял слова Раи «вдохнуть жизнь» и вообще, как мне кажется, не вспоминал о том тогда лишь усмешку; но именно они, эти слова, были и остаются теперь, как бы сказать точнее, вроде движущей пружины в моем сознании, и обязан я этим, конечно же, Рае. Сейчас, спустя столько лет, я говорю это особенно уверенно. В каждом человеке, очевидно, само собою живет такое чувство, но иногда до поры до времени остается неразбуженным, и самое страшное, если остается неразбуженным навсегда. Зимой ли, летом ли, в одних и тех же жестких брезентовых рукавицах, на разгрузке или на погрузке, куда бы ни направлял бригадир, я испытывал то самое чувство — вдохнуть жизнь, — какое как раз и делало радостной и работу и жизнь. Я прыгал с подножки крана на крышу контейнера, прицеплял крючья и, подняв руку и крикнув: «Готово!» — снова, едва успевали натянуться тросы, стоял уже на подножке, и негромкий скрежет этих тросов, скрип плывущих контейнеров, стук колес крана на рельсах, наконец, вся видимая мне как бы с высоты жизнь товарного тупика представлялась частицею огромного, набирающего мощь организма. Да, вот так я вижу теперь то свое прошлое. А может, каждому поколению своя молодость всегда видится особенной? Во всяком случае, не только на работе, но и в школе, а позднее и на лекциях в институте, и в публичной библиотеке, где я просиживал за книгами вечера и воскресные дни, принося с собой карандаши, тетради и завернутый в бумажку ломтик серого хлеба, намазанный маргарином, я постоянно испытывал все то же чувство, какое как бы вдохнул а (видите, я даже теперь употребляю ее слова) в меня Раю, не зная, наверное, сама того, всем своим поведением, как она держалась в тот вечер, всей своей жизнью, как мы теперь называем, тыловики, какую жила она и какая давала ей право на возвышенные слова. Но, еще раз повторяю, все это понял я потом, а тогда главные впечатления моей только начинавшейся, как я считаю сейчас, жизни были связаны с войной, с Калининскими, с Ксеной; там все было понятно и близко, а этот мир, то самое, что Филев называл «тянуть гражданку», — этот мир был как бы далек от меня, я только начинал познавать его, и как и первое соприкосновение с ним, так, впрочем, и второе, и еще более запомнившееся, было связано у меня с Раей.

Тогда я только еще заканчивал первый курс института. В один из холодных дождливых вечеров, вернувшись из публички, где подбирал материалы для курсовой работы, я застал мать какою-то непривычно встревоженной и грустной. Она была в черном платье, как в памятный для меня день, когда мы получили похоронную на отца, я заметил этот ее траурный наряд сразу же, едва вошел в комнату, и еще от порога, сняв с одного лишь плеча шинель и так и замерев в нехорошем предчувствии, проговорил:

«Что-нибудь случилось, мама?»

«Да».

«Что?»

«Рая умерла».

Я повесил шинель и прошел в комнату.

«Отчего?» — спросил я, мгновенно вспомнив все, что было когда-то между мной и Раей, и еще совершенно не зная, отчего она умерла, но



неволью связывая тот свой поступок, когда я ушел от нее, с ее смертью. «Что за чушь»,— про себя проговорил я, отгоняя нелепую и, казалось, невесть с чего взявшуюся мысль, и снова спросил у матери:

«Отчего?»

Не уверен, что мать не слышала вопроса, но только она ничего не ответила, молча собирая на стол, и можете себе представить, как подействовало на меня это ее молчание. «Да нет, что за ерунда, прошло два с лишним года, что за ерунда»,— продолжал я говорить себе. Мысль эта, что я виноват в смерти Раи, конечно же, была нелепой, но вдруг возникнув, до самой ночи, пока не заснул, не покидала меня; тем более что, когда я еще в третий раз попытался было узнать, отчего же все-таки умерла Рая, мать так и не ответила, а лишь, выбрав момент, когда еще сидели за столом и ужинали, сказала:

«Завтра похороны, надо пойти попрощаться».

«Надо бы,— ответил я и тут же, так как мать, как мне показалось, с осуждением посмотрела на меня, торопливо добавил: — Конечно, пойду. Надо сходить, а как же».

В тот вечер, знаете, я не подумал, каким образом мать узнала о смерти Раи; мне казалось, что с тех пор, как я уехал от Раи из Антипи-хи, она никогда не бывала у нас в доме, да и мать как будто не ездила к ней, и никогда не возникал вообще разговор о Рае; она не существовала для меня, а значит, и для матери, так полагал я, но ошибался. Теперь, конечно, когда ни Раи, ни матери нет в живых, я не могу установить, как и что было, Рая ли приезжала к нам, мать ли ездила к ней, чувствуя какой-то долг перед нею, но то, что они встречались, это несомненно, и можно представить, о чем они говорили, как сокрушались, думая обо мне, тогда как я ничего не знал об этом; мне страшно иногда бывает теперь, что я не замечал ничего, живя своим миром, в то время как рядом существовал огромный и мучившийся мир Раи. Не в этом ли и состоит ужасающее человеческое равнодушие? Или, может быть, не всегда, очевидно, и не между всеми людьми есть бессловесный язык, понимание, какое возникло с первой же, кажется, минуты встречи у меня с Ксеной и какого не было между мной и Раей, даже между мной и матерью, но какое появилось потом, вернее, теперь, когда их уже нет, когда все позади, а появилось, наверно, для того лишь, чтобы приносить страдания. Я говорю «страдания», но ведь если бы жизнь могла повториться, если бы вновь я пришел к Рае,— даже при всем том, что я понимаю теперь, я не мог бы поступить иначе, чем так, как поступил, я знаю это и оттого, может быть, и мучаюсь, что живу не как все, не разуму подчиняюсь, а чувству, иногда минутному и ложному. А может, мне только кажется, что все в жизни я делал да и продолжаю делать не так, как нужно, но что, напротив, все это естественно и не должно и не может быть иначе?

Дождя не было, но тучи, черные и низкие, неслись над самыми крышами, и холодный, пронизывающий ветер, казалось, срывал с петель ставни, хлопая ими о бревенчатую стену избы, скрипел калиткой, наваливаясь на нее то с улицы, то со двора. Несколько секунд я стоял на крыльце, прислушиваясь к этим порывам, пока мать запирала комнату, а когда уже вместе с ней очутился на тротуаре, где ветер как будто дул еще сильнее и буквально окатывал лицо сырым и промозглым воздухом, ссутулясь, втянув, как говорится, голову в плечи, я поднял воротник шинели и так, глядя лишь себе под ноги, прошагал почти до самого дома Раи. Может быть, не так уж и было холодно, но удрученное состояние, в каком находился я с самого утра, как только поднялся с постели (все вчерашние мысли и чувства, как лента, как, знаете, конвейер, который только остановили на ночь, снова пришли в движение с началом дня и жизни), заставляло ежиться; мне было жаль Раю, я снова видел ее перед

собой со вскинутыми и прижатыми к груди у шеи руками, какой оставил в то уже давнее утро, и жест ее был сейчас особенно ясен мне (как когда-то был ясен взгляд Ксении, когда она, прыгнув с крыши, лежала на снегу и я, подбежав, приподнял ее голову от снега), словно она говорила: «Не уходи, Женя, я не могу одна, со мной непременно что-то случится, не уходи!» Все попытки отвлечься и не думать об этом не приводили ни к чему; идя к Рае и зная, что она лежит сейчас в гробу, я не мог, разумеется, размышлять ни о чем другом, кроме как о ней; иногда я посматривал на мать, которая шагала рядом и тоже, закутанная в шаль и как будто сгорбленная на встречном ледяном ветру, глядела себе под ноги и молчала. Она была худа и тогда уже безнадежно больна и знала это (только я ничего еще не подозревал, потому что она никогда не жаловалась, лишь постепенно и как бы незаметно для меня слабея и усыхая), а смерть Раи, наверное, лишь усугубила ее болезнь; во всяком случае, так я думаю теперь, да, пожалуй, так оно и было, и я, как бы ни хотел, не могу снять с себя эту тяжесть. И еще одно обстоятельство, над которым я тогда не задумывался, часто тревожит меня сейчас: как, каким образом и когда (может быть, в войну, а может, уже потом, после того как я ушел от Раи) мать познакомилась с Раинными родителями — Петром Кирилловичем, когда-то веселым, красивым и разговорчивым, каким я знал его, банковским служащим, а теперь безногим, беспомощным, передвигающимся на роликовой тележке, каким, ужаснувшись, увидел его в это утро, инвалидом, и Лией Михайловной, тоже когда-то красивой и теперь поседевшей от бед женщиной; мать бывала у них и когда Рая еще была жива, и потом, когда ее не стало, а когда умерла сама, и Лия Михайловна и Петр Кириллович приехали на инвалидной машине на ее похороны, я это хорошо помню, и проводили до самой могилы. Они встречались, разговаривали, дружили, может быть, надеясь еще на что-то, а я ничего не знал; со мной лишь здоровались, не больше, а в сущности, обходили молчанием, и это, тогда как-то не замечавшееся, чему я не придавал значения, теперь, естественно, видится по-другому и тоже лежит грузом на сердце. Да, тогда я на многое не обращал внимания и, шагая рядом с матерью, был совершенно далек от мира ее восприятий и чувств, и только свое собственное — даже еще не смерть Раи (весь смысл того, что ее уже нет в живых, я ощутил лишь в минуту, когда, стоя перед гробом, смотрел на ее лицо), а то, что я ушел, бросив ее в том состоянии отчаяния и растерянности, — подавляло меня.

До войны я бывал в доме Раи; теперь, когда мы с матерью, войдя во двор, поднимались на крыльцо, как ни был я занят своими мыслями, не мог не заметить, как все здесь обветшало за эти годы, потемнело, словно осело в землю: и дровяной сарай со свисавшими с крыши лохмотами толя, и крыльцо с давно не крашенными, почерневшими и потрескавшимися от ветров, дождей и морозов перилами, и сама изба с завалинкой, поднятой для тепла до подоконников; да и в комнате, куда, протиснувшись сквозь толпу молчаливо стоявших в сумрачных сенцах людей, мы вошли, тоже все показалось обветшалым и мрачным — может быть, от людской тесноты, оттого, что люди заслонили спинами и без того слабо пропускавшие дневной свет низкие и завешанные густым тюлем окна. Но не это, разумеется, не обветшание было главным, что поразило меня; тогда, после войны, все мы жили еще бедно и с трудом, с натяжкой входили в привычное житейское русло; я увидел установленный посреди комнаты на табуретках гроб, некрашенный, сосновый, — я говорю так уверенно «сосновый» потому, что, несмотря на духоту, какая была в комнате, и на то, что покойница уже более суток находилась здесь после того, как ее привезли из больницы, смолистый запах свежеструганных сосновых досок еще ясно чувствовался в воздухе. Многие, я знаю, радуются, когда пахнет обструганной сосной, потому что уже сам запах

этот несет какое-то обновление, а для меня он так с тех пор и остался запахом смерти, похорон, горя. Я остановился тогда сразу, как только переступил порог, и несколько мгновений смотрел издали, из-за чьего-то плеча, а потом, следуя за матерью, прошел ближе к изголовью. Гроб был накрыт белой простыней, и под ней заметно бугрились сложенные на груди руки Раи; я медленно как бы двигался взглядом по простыне через эти бугрившиеся руки к лицу, не замечая пока никого и ничего вокруг и только чувствуя, как все во мне словно замирает от напряжения; я боялся взглянуть на ее лицо; что я мог прочитать на нем: упрек ли, осуждение, или усмешку: «Не ожидал? Мучайся теперь!» — или вообще просто страшно было вдруг увидеть ее лицо мертвым, не могу ответить, но, так или иначе, даже теперь, когда, вспоминая, рассказываю об этом, то же напряжение, та же боязнь как будто вновь нарастают во мне, и вот-вот, мгновение, еще мгновение — и передо мною откроется ее лицо, вся ее тщательно причесанная худенькая головка на иссиня-белой подстилке гроба. Не могу сказать, как я выглядел, наверное, был бледен так же, как мать Раи, как ее отец Петр Кириллович, как большинство из тех, кто пришел проводить Раю (как потом я узнал, в основном это были ее сослуживцы, учителя и многие родители ее учеников), я все еще не замечал никого и ничего вокруг и, чуть выдвинувшись вперед (разумеется, не замечая и этого, что был теперь у всех на виду), смотрел на Раю; я не увидел на ее лице ни упрека, ни осуждения; как все лица мертвецов, оно показалось мне в первые секунды спокойным и невыразительным, как будто она спала, и только та особенная мертвенная синевая проступала на щеках, губах, подбородке; но вместе с тем в те же первые, кажется, секунды я почувствовал, что спокойствие на ее лице неестественное, напускное, как, знаете, когда человек, желая скрыть свои тревоги, как бы накидывает на себя маску равнодушия, и я понял, что то, как Рая жила, наверное, последние месяцы, скрывая за внешним спокойствием свое душевное состояние, так и сохранила все на лице, чтобы даже теперь, когда мертва, никто не мог проникнуть в мир мучивших ее тревог и желаний. Чем дольше я вглядывался, тем яснее становилось мне это ее предсмертное желание, и потому, что я еще не знал настоящей причины ее смерти, виновником всех ее страданий еще более считал себя, и все во мне сжималось от жалости, отчаяния и боли. «Боже мой», — про себя повторял я те самые слова, какие говорила тогда при встрече Рая, не осознавая, конечно, что это ее слова, не вдумываясь в смысл, а просто вкладывая в них все то чувство, какое испытывал теперь, стоя перед гробом. А в комнате было тихо, никто не плакал, не всхлипывал, и это тоже производило гнетущее впечатление. Мать Раи сидела у изголовья покойной, прямо напротив меня, на той стороне гроба, вся в черном, сгорбленная и неподвижная, и молча и неотрывно смотрела на дочь; пальцами она как бы придерживала темный платок у шеи, и этот уже знакомый мне жест растерянности (как Рая, точно так же, когда я уходил от нее) я тоже до сих пор не могу забыть! Отец же Петр Кириллович, без ног, как обрубок, сидевший на своей плоской и низкой роликовой тележке, бледный и также растерянный от неожиданно свалившегося на семью горя, не понимая, очевидно, того, что делает, то прокатывался от изголовья к ногам гроба, и роликовые колесики скрипели и повизгивали на деревянном полу, то катился обратно, упиравшись руками в пол, и, остановившись, вдруг поднимал седую и взъерошенную голову и смотрел на свисавшую по краям гроба простыню.

Около полудня к дому подъехала накрытая полинялым ковриком повозка (тогда, знаете, не было еще, по крайней мере в нашем городе, специальных похоронных машин, и покойников не сжигали, как теперь, а отвозили на городское кладбище, где, в сущности, был свой город из деревянных, железных и каменных крестов, оградок, памятников и

буйной, как всегда на погостах, зелени); четверо мужчин, незнакомых мне, очевидно соседи, пришедшие помочь безногому Петру Кирилловичу, подняли на полотенцах гроб и осторожно, пригибаясь в дверях, начали выносить его на улицу, и опять — ни вскрика, ни плача, ничего, что обычно сопровождает похороны и что было бы естественно и, если хотите, облегчило бы душу, а все делалось молча, как-то приглушенно, когда что-то надо было непременно сказать, то произносили шепотом, и мать Раи Лия Михайловна, так и не выпуская из пальцев темный платок, с совершенно обескровленным лицом смотрела, как словно уплывал, покачиваясь на полотенцах, некрашенный — концы простыни уже не висели, а были подобраны и подоткнуты — гроб с телом дочери. Первым за гробом, не разрешив никому помочь себе, двинулся Петр Кириллович; развернувшись боком, как было, наверное, привычно ему, он будто ссаживал себя вместе с привязанной к телу тележкой со ступеньки на ступеньку крыльца, работая лишь руками, и все, остановившись, следили за ним; лишь когда выкатился за калитку и оказался рядом с повозкой, те же, что несли гроб, мужчины приподняли его и усадили усадом с покойной дочерью. А Лию Михайловну вывели под руки. «Ты плачь, плачь», — кто-то говорил ей, но она ничего не слышала, для нее не существовало, наверное, ни этого голоса, никого, кроме установленного на повозке гроба, к которому подводили ее. Холодный и пронизывающий ветер по-прежнему, как и утром, гнал низкие темные тучи над крышами, сметал к оградкам уже подсыхшую после вчерашнего дождя жухлую прошлогоднюю листву, трепал концы платков, отворачивал полы пальто и шинелей, порывами как бы налегал на спины, торопя и лошаденку, которая тянула повозку, и кучера, который шагал рядом и, забросив вожжи на круп, своим шагом направлял движение лошади, и всей тянувшейся за повозкой процессии; я помню так хорошо эти подробности, может быть, потому, что для меня похороны были не просто утратой близкого человека, как для всех тех, кто пришел проводить в последний путь Раю, но утрата эта с каждым часом, казалось, все сильнее связывалась с чувством вины перед Раей, перед ее отцом Петром Кирилловичем, перед матерью, перед всеми, кто шел сейчас на кладбище и кого я видел перед собою, не замечая лишь одного: что не только не горбился теперь на ветру и не поднимал воротника шинели, а напротив, как стоял в комнате расстегнувшись и держа за спиною в руках фуражку, так и шагал рядом с какими-то людьми, очевидно Раиными сослуживцами, которые были в шапках и с закутанными в шарфы шеями, и производил на них (это я сейчас, вспоминая их взгляды, думаю) странное впечатление. Но что мне было до них? Я говорил себе: «Вот и все, и нет мира: ни того преходящего, когда она читала стихи, ни этого, которым мучилась перед смертью», — и снова, может быть уже в десятый раз только за эти часы, вспомнились мне вечер и ночь, та, зимняя, когда я заснул на ее кровати, и утро, как уходил от нее, и я отчетливо представлял себе, что не было и не могло быть ничего ужаснее для Раи, чем то, как я поступил с ней. Я не исключал той возможности, что она умерла от болезни («Да, пожалуй, так оно и было», — думал я), но это ничуть не оправдывало меня; мне казалось, что если бы не произошло того, что случилось, если бы она была рядом со мной, ничто не сломило бы ее, потому что в каждом человеке есть, так сказать, цепкость жизни, сознание, что ты нужен кому-то, что приносишь радость уже тем, что живешь, и эта сила неодолима в человеке, она способна побороть любые болезни; мне казалось, что и сам я никогда бы не допустил ее смерти, будь рядом с ней, ибо я тоже чувствовал в себе ту самую силу жизни; в общем, целая философия, конечно примитивная и не новая, но для меня тогда как бы открывавшаяся заново и потому обретавшая власть над мыслями, вырастала в сознании, и я, шагая в толпе провожающих за гробом, в одно и то же время

как будто и отмечал про себя все, что делалось вокруг, когда пересекли ворота городского кладбища и когда остановились у свежевырытой могилы, и вместе с тем тяжело, с болью нагромождал в себе эту запоздало обнадеживающую философию с и л ы ж и з н и. Только неожиданный и резкий вскрик Лии Михайловны, когда двое могильщиков (рабочих кладбища), накрыв крышкой гроб, начали приколачивать ее, как бы вдруг разбудил меня, и я отчетливо услышал и стук молотков, и шорох подсовываемых под гроб канатов, и говор рабочих: «Приподними-ка, еще чуток, еще»,— и увидел ясно, как бывает, когда после мутного изображения вдруг поймана точка резкости в объективе, и Лию Михайловну, которую, отнеся на руках от могилы и уложив на землю, старались привести в сознание, и с трудом подкатывавшего к ней на своей роликовой тележке по сырой и рыхлой земле Петра Кирилловича, а в это время кто-то из мужчин, тех, что выносили из дому покойницу, торопил спускавших на веревках в могилу гроб рабочих: «Побыстрее, товарищи, можно побыстрее»,— и эти слова его «побыстрее» не только не казались странными, потому что где-где, а уж на похоронах все должно делаться размеренно и безо всякой поспешности, но, напротив, представлялись самыми естественными и нужными для данной минуты. Широкими грабарками захватывая влажные комья, рабочие швыряли их в могилу, и было слышно, как эти комья дробно ударялись о крышку гроба; я не знаю, что означает обычай, когда бросают горсть земли в могилу, но все делала это, молча, с непокрытыми головами подходя к краю могилы; бросил горсть земли и я и затем стоял и смотрел, как заполнялась яма и выростал холмик, который могильщики утрамбовывали и оглаживали тыльными сторонами грабарок. Все это делалось, как мне кажется и теперь, действительно в какой-то спешке, чтобы, наверное, прервать страдания матери и отца, и тем не менее, когда все было кончено, никто не осмелился воспротивиться желанию Лии Михайловны побыть еще последние минуты с дочерью, полежать, припав грудью к сырому и холодному могильному холмику, и поплакать; спина ее вздрагивала от рыданий, а рядом с нею, как будто вкопанный по пояс в землю, молча и с опущенной головою сидел на своей тележке безногий Петр Кириллович.

С кладбища почти все направились к дому Лии Михайловны и Петра Кирилловича.

Я шел медленно, чуть приотстав от всех, и так уж случилось, что рядом со мною в какую-то минуту опять оказались те самые с закутанными в шарфы шеями Райны сослуживцы по школе, учителя, с которыми лишь час назад шагал сюда, на кладбище. Один из них, назвав другого Юрием Лукичом, сказал:

«Ужасная смерть, не правда ли?»

«Да,— подтвердил Юрий Лукич.— Но ведь на это надо было мужество,— добавил он и, заметив, как я удивленно и вопросительно посмотрел на него, уже обращаясь ко мне, спросил:— Вы разве не знаете, как она умерла?»

«Нет»,— ответил я.

«В самом деле не знаете?»

«Нет»,— снова проговорил я.

«Да что вы! — как будто даже оживляясь, сказал Юрий Лукич.— По логическому построению фактов...— продолжил он, повернувшись сначала к своему коллеге, затем опять ко мне и тем как бы давая понять, что хочет высказать нечто такое, что должно заинтересовать не только меня.— По логическому построению, а я привык в таких случаях мыслить только логически, вырисовывается следующая картина: кто-то жесточайшим образом, с кем она сошлась близко, обманул ее и бросил, а она к тому времени была уже в положении, и что? Аборт? Но на это она не могла решиться, потому что в ее понимании, как я думаю, это

должно было звучать равнозначно убийству, и тут вдруг — ребенок рождается мертвым. Удар, да еще какой! Итак, в итоге: первое — бросил, второе — мертвенький мальчик, чего она уже не могла скрыть от нас, и мы, разумеется из лучших побуждений, принялись выражать ей сочувствие, иногда и не без намеков, что, увы, мы умеем делать, и каково-то было ей принимать это наше сочувствие, и что оставалось предпринять при ее-то характере — полотенце на шею! Что она, кстати, и сделала. Вот о чем говорит логическое построение фактов,— заключил он и, так как я, совершенно потрясенный этим неожиданным рассказом («А ведь мать знала, точно знала, потому и молчала»,— тут же подумал я), продолжал идти молча, через минуту, посмотрев на нас, снова заговорил: — Я не ходил, не видел, но Пал Палыч, наш завуч,— пояснил он, специально наклоняясь ко мне,— был там, когда взламывали дверь, и рассказывал мне все те ужасающие подробности. Записки она никакой не оставила, кто ее обманщик — неведомо никому, да и не удастся теперь восстановить, а повесилась она за шифоньером, согнув ноги в коленях, и, знаете, всего несколько сантиметров колени не доставали до пола. Всего несколько сантиметров,— повторил он, и все мы снова с минуту шагали молча.— Кто бы что ни говорил,— затем опять начал Юрий Лукич,— но мы, конечно, будь в нас побольше чуткости, могли бы предотвратить это событие, а теперь что ж, пятно на всю школу, да что на школу — каждому на душу, мы же в глаза друг другу смотреть не можем, я не имею в виду Пал Палыча, он что, у него свое моральное кредо, я имею в виду нас, и вынесем ли мы из этого урок и какой — вот вопрос».

Он еще говорил (почти все время, пока шли к дому Лии Михайловны и Петра Кирилловича), что бы можно было предпринять тогда, какие коллективные меры, и какие выводы должен сделать каждый для себя теперь, и какими должны быть коллективные выводы, но все это, может быть потому, что интересы школы были далеки от меня, я почти не слушал и не воспринимал; то, что для Юрия Лукича было лишь логическим построением фактов, во мне оборачивалось жизнью, какой жила Рая, и болью, какую испытывала она, а точнее, логическим движением чувств, как они должны были возникать и, нарастая, тяготить ее, и, главное, я не переставал думать, как я сам был виноват в этой ее страшной трагедии. Мать свою я не упрекал за то, что она ничего не рассказала мне о смерти Раи: ни перед поминальным ужином, когда еще стояли во дворе, ни когда возвращались домой; мы вообще ни о чем не говорили, а шли молча, сутулясь, как и утром, на ледяном ветру и горопясь, потому что начинал уже накрапывать мелкий моросящий дождь; продрогшая и уставшая мать сразу легла в постель, а я, закрывшись в комнате, провел первую, как мне казалось, в своей жизни по-настоящему тяжелую бессонную ночь. Я исключаю, разумеется, те, что выпадали на фронте, да и в Калининвичах в станционном дощатом бараке, хотя тоже не спал, но первой и страшной все же и теперь представляется мне именно эта, когда я вернулся с похорон Раи и когда за стеною во тьме, как будто специально для того, чтобы не успокаивалась память, хлопали на ветру не закрытые с вечера на засов ставни.

«Ведь, в сущности, не я, а он, тот, другой, был повинен во всем, что случилось с Раяй,— говорил я себе.— Да, конечно, в положении, ребенок...» — повторял я. Но как ни старался внушить себе, что при чем же тут теперь я, весь ход размышлений как бы сам собою разворачивался совсем в другом и мучительном для меня направлении. Всю жизнь Раи, как я знал ее, и мое отношение к ней и чувства, какие испытывал когда-то, я как бы заново пережил в эту ночь, то прохаживаясь от печи к окну и обратно, то сидя за столом перед раскрытой книгой (временами я старался отвлечься, но только пробегал глазами по буквам, ничего не понимая, словно стол, свет, комната и то, что я сижу за столом, было сном,

а то, о чем думал, то было жизнью); может быть, вы не поверите, но в равной степени и даже как будто с подробностями, которые мог лишь увидеть и запомнить сам, представлял я себе не только те годы, когда действительно встречался с Раей, но и другие, когда, уйдя от нее, как бы совсем забыл о ней и ничего не ведал о ее существовании; помимо моей воли во мне возникало чувство, в каком я оставил Раю в то зимнее утро, и чувство это — ступень за ступенью, событие за событием, — снова и снова начинаясь, вело к той ужасающей смерти, какую умерла Рая. Я видел ясно комнату Раи с ее скромным убранством, с черным заталенным пальтишком на вешалке, и за столом — так же, как когда-то сидел я, — сидел теперь тот, другой, о котором она не оставила записки и которого, как выразился Юрий Лукич, никому не удастся теперь в о с с т а н о в и т ь, и Рая так же, как для меня, готовила для него омлет, и при виде этой картины (а я видел ее так, словно был в эти минуты там, в комнате) все вздрагивало во мне от протеста, что уже невозможно ничего ни остановить, ни изменить; мне казалось, что Рая знает, что я здесь, и на лице ее то и дело возникает адресованная лишь мне усмешка: «Ну, смотри! Смотри и мучайся, я специально делаю это, чтобы ты знал и мучался!» — и все, что было со мной, теперь как бы повторяется с тем, другим: он укладывается на кровать, она разувает его, говорит ему «боже мой» и, потушив свет и раздевшись, ложится рядом с ним, доверчиво прижимаясь к его плечу, а мне хочется кричать: «Рая! Рая!» — и я кричу-таки, мысленно, стоя возле стола в своей комнате, слушая удары ставней под ветром и до белизны сжимая сцепленные пальцы. Это я мог уснуть, а тот, другой, не спал, и одна эта мысль уже вызывала во мне страдание. С ужасающей ясностью я представлял себе, как тот, другой, опять и опять приходил к Рае, мне кажется, я даже слышал, как и что он говорил ей, и тот момент, когда он, узнав, что она в положении, последний раз уходил от нее, — Рая стояла в глубине комнаты, в растерянности и испуге прижимая к груди у шеи худые белые руки, и оттуда, издали смотрела на него. Сцена эта как бы повторялась во мне и производила особенно тягостное впечатление. Я не думал, как отнеслись к ее несчастью родители; и вся та атмосфера в школе, как обрисовал ее Юрий Лукич, тоже выпадала из цепи событий, а все, и я уже не знаю теперь почему, сосредоточивалось на родившемся мертвом ребенке. Мне трудно судить (да я и сейчас не знаю), показывают ли мертвеньких младенцев роженицам или нет и как все это там делается, но в моем воображении все это происходило так, словно вот они, нянечки в белых халатах, протягивают Рае завернутое в белую же простынку мертвое, холодное тельце ребенка, и тот ужас, какой должна была испытывать Рая, принимая в руки холодный сверток, охватывал меня, я чувствовал в ладонях этот сверток, и холодок от ладоней растекался и леденил душу. Я думаю, этот холод в ладонях, какой она вынесла из родильного дома, и холод в душе, какой наложила на нее встреча со мной, потом с тем, другим, а в общем, с жизнью, были главной причиной того, на что она решилась: я понимал, как она жила с этим ощущением холода, как ходила по комнате в тот последний для нее вечер, отыскивая место и заглядывая за шифоньер, как оказалось у нее в руках полотенце, и, знаете, вышагивая с заложенными за спину руками по своей комнате, я то и дело останавливался возле своего шифоньера, как бы примеряя, как все могло быть, и минутами, кажется, сам был на грани той страшной решимости. Может быть, оттого, что сквозь занавешенные окна уже начал пробиваться рассвет, и еще, наверное, оттого, что мать несколько раз, вставая и приоткрывая дверь в мою комнату, говорила: «Ты не спишь? Спи. Чего не спишь?» — я отрывал взгляд от шифоньера, и воображение снова как бы отбрасывало меня к истоку, к тому событию (когда я ушел от Раи), с чего, собственно, и началась вся ее трагедия.

**Час шестой**

— То ли я действительно испугался, что могу что-либо сделать с собой,— продолжал Евгений Иванович,— то ли просто потому, что хотелось избавиться от предмета, который напоминал о смерти Раи, трудно теперь сказать точно, но только утром, едва мать встала и послышались в комнате ее шаги, я тут же открыл дверь и принялся перетаскивать шифоньер в переднюю. Я делал все торопливо и помню, мать не только ничего не возразила, но и не спросила, чем это было вызвано; вероятно, она понимала, что волновало меня, но я-то — я даже покрикивал на нее: «Ну что стоишь скрестив руки, подвинь табуретку!» — когда она как будто спокойным и грустным взглядом от плиты следила за мной. «Половик убери, слышишь, половик!» — выглядывая из-за шифоньера и видя, что она опять стоит у плиты со скрещенными на груди руками, кричал я. И на другой и на третий день я был мрачен и раздражителен; но в то же самое время, как я грубил матери и грубил, как мне кажется теперь, товарищам по институту, которые действительно не знали, что со мной происходит,— по вечерам, оставаясь один, я начинал думать, что же, в конце концов, представляет собою добро и зло и существует ли общее для всех людей понимание добра и зла; мне казалось, что нет общего понимания, хотя оно, конечно же, есть, и я знаю, да и все мы знаем, что есть, но в ту весну мне казалось, что счастье одного всегда происходит за счет счастья другого и что такова правда жизни в противоположность тем сказкам о добре и зле, которые внушали нам с детства. «Бывший мой комбат счастлив потому, что, опередив меня, в сущности, отобрал у меня счастье,— рассуждал я.— Я ушел от Раи потому, что хотел лучшего себе, но это мое лучшее для нее обернулось горем; она умерла, а тот, другой (может быть, он и не знает, что она умерла), рад, что снова свободен, и потому несчастье Раи для него, по существу, счастье». Я понимаю, что вот так, в пересказе, все это выглядит упрощенно, да и вообще думаю, что нет и не может быть одной и определенной мерки даже для схожих человеческих судеб, но тогда я не просто открывал, как говорится, для себя эту, в общем-то, представлявшуюся мне откровением истину, но жил ею, искренне веря, что все именно так и есть, что счастье одного всегда оборачивается несчастьем для другого, и соответственно с этой истиной старался держаться обособленно, не принимая ни от кого и сам не отдавая никому ни частицы своего душевного тепла. Весна не была для меня весной, и я равнодушно смотрел, как подымалась и зеленела во дворе и на обочинах трава, как распускались почки на молодых дубках, когда-то посаженных вдоль улицы, и с безразличием смотрел на цветы сирени, росшей в палисаднике, когда по утрам, просыпаясь, открывал окно или ночами, когда из того же палисадника как бы незаметным тихим током весны вливался сквозь открытое окно воздух, а я, прохаживаясь по комнате с книгой в руках, вдруг, на минуту задумавшись, останавливался перед этим окном; я ничему не радовался, а когда вспоминал о Ксене — неожиданные и странные мысли приходили в голову, и я говорил себе, что, пожалуй, хорошо, что я опоздал тогда, и что, появившись я в Калининвичах раньше, просто-напросто отобрал бы счастье у бывшего своего комбата и была бы на свете еще одна трагическая судьба.

В один из таких вечеров, когда были уже сданы все весенние зачеты и экзамены, мать вошла ко мне в комнату и, присев напротив меня, сказала:

«Поехал бы куда-нибудь, сынок, развеялся».

«Ты что, мама!»

«Я же вижу, ты не скрывай. Хотя бы на лето».

«Но куда? В Севастьяновку? Там давно уже ни деда, ни бабушки...»



«В лагерь вожатым, как вон у Глушковых».

«Это мне-то? В лагерь?» — с усмешкою проговорил я.

«Но ведь так или иначе...»

«Я понимаю, ты хочешь сказать, что так или иначе, а надо идти работать?»

«Не к тому я, сынок. Как-нибудь...»

«Я все понял, ясно, — не без раздражения, конечно, сказал я, потому что вопрос этот и сам не раз уже ставил перед собой, так как жить только на материну пенсию и на мою маленькую, какие выплачивали тогда, стипендию было трудно. — Ясно!» — повторил я еще более резко, желая закончить разговор на эту неприятную и болезную для меня тему. «К черту заочное! Ни на какое заочное я не пойду!» — с той же запальчивостью, но уже про себя, мысленно, dokonчил я, когда мать, поднявшись со стула, пошла из комнаты. Но хотя я и решил так, осенью все же подал заявление в деканат с просьбой перевести на заочное отделение и затем по направлению областного отдела народного образования, где меня как бывшего фронтовика и теперь студента-заочника педагогического института приняли довольно приветливо, поехал в отдаленный таежный рабочий поселок с названием Москитовка (ужасно комариное место на север от Читы) в школу вести начальные классы. Какая-то, знаете, ирония судьбы, что ли, — я повторял путь Раи; и хотя тогда как-то не совсем осознавал это, но все же в глубине души нет-нет и возникало, как волнует иногда неясное и тревожное предчувствие, беспокойство, что я именно повторяю путь Раи; это лишь потом, спустя почти пять с лишним лет, когда закончил институт и подал в аспирантуру, — только тогда перебрался снова в Читу и устроился в техникум, а начинал, как видите, со школы.

Может быть, я бы не стал рассказывать, как жил в этом таежном рабочем поселке, если бы не то обстоятельство, что как раз там-то я и сошелся с женщиной — Зиной, или Зинаидой Григорьевной, так тогда, в первые годы, называл я ее, с которой живу и сейчас как с женой, хотя никогда между нами не было разговора ни о любви, ни о женитьбе, ни вообще о чем-либо подобном, а все произошло как бы само собой, по какому-то обоюдному молчаливому согласию; в какой-то день вдруг, придя из школы, я уже не за квартиру и не за услуги заплатил ей, как делал прежде, а отдал всю зарплату как хозяйке, и для меня это было естественно, так же как, будь я женат на Ксене или Рае, отдавал бы все деньги им, как, впрочем, заведено было у нас в доме между отцом и матерью и как, наверное, живут все счастливые и согласные семьи (конечно, я могу вспомнить, как вспыхнуло радостью лицо Зины, как она взглянула на меня при этом, но для меня, еще раз повторяю, все было тем естественным течением жизни, что я чувствовал, что не могу поступить иначе чем так, как поступил); в какую-то ночь, вдруг проснувшись, я увидел сидящую возле меня на кровати Зину, и она показалась мне особенной в белой ночной рубашке, с распущенными на плечи волосами и вся освещенная проникавшим в комнату холодным лунным светом (уже потом, спустя много лет, она призналась, что была тогда не первый раз, что приходила и прежде, и только я не просыпался и не открывал глаза); мне, знаете, даже сейчас, когда рассказываю, кажется, что она всегда была рядом, и я не могу представить себе подушку там, конечно, дома, в Чите, без рассыпанных по ней темных Зининых волос; и ее тепло, и ее всегда ровное и спокойное дыхание, и то, как она каждый раз неслышно встает по утрам, чтобы приготовить завтрак, — все так прочно вошло в мой быт, что я иногда сам удивляюсь, как, когда и каким образом случилось это. Может быть, как съязвил бы кто-нибудь, что опутала, окрутила, но эти слова не подходят к Зине; она не из тех, кто окручивает, я-то ведь знаю, как все было, и помню, как она, бросив дом и хо-

зйство, поехала со мной в Читу, когда я, как уже говорил, поступил в аспирантуру; забегаая вперед скажу, что хотя она и не знала ничего о Рае и о моем когда-то отношении к ней и не знала ничего о дружбе моей матери с Раинными родителями, но когда Раина мать, Лия Михайловна, умерла, а беспомощный Петр Кириллович (единственное, что он умел — плести корзинки из краснотала) остался один и я предложил взять его к нам, Зина ни словом, ни взглядом не только не возразила (а ведь за старым и безногим человеком предстояло ухаживать), но, напротив, и, как мне показалось тогда, с охотой согласилась, и в тот же день мы перевезли Петра Кирилловича к себе. Он и сейчас живет с нами. Но не слишком ли я опять забежал вперед, потому что не все складывалось вот так просто, а главное, именно там, в Москитовке, началась для меня та самая двойная жизнь, какой я живу и теперь: с одной стороны, с внешней, конечно, если взглянуть, как все люди, вроде и счастливо, спокойно, в согласии и, может быть, даже в любви с Зиной, а с другой — надо мною постоянно словно висит прошлое, и какой-то иной, воображенный, что ли, если хотите, но как будто такой же реальный, как и этот, мир людей и событий окружает меня, и то, как бы жила Рая (я думаю о ней и словно продолжаю ее жизнь в себе), как жили бы ее родители, окажись судьба их дочери счастливой (ведь Петр Кириллович, в сущности, постоянно у меня на глазах), и все, что связывало, да и продолжает связывать меня с Калининичами: судьба Ксени, ее матери и мужа, Василия Александровича (тут особый разговор, к этому-то я как раз и веду рассказ), — все это движется, чувствует, мыслит, а в общем, живет во мне своим обособленным миром, и я иногда так явственно ощущаю себя в этом воображенном обособленном мире (но ведь все могло быть не воображенным, а действительным, сложись по-другому обстоятельства, ведь вот что страшно!), что порой, как ни наивно звучит сейчас это, мне представлялось, что Зина, дом в Чите, техникум — это в воображении, а Рая, Ксения, Мария Семеновна — это действительность. Да, именно так, и никакие переезды и перемены не оставляют прошлое за чертой; прошлое всегда с нами, и я убежден, что никто и ничто не может снять с нас этот багаж.

Однако тогда, в те годы, я еще думал иначе.

Уезжая в Москитовку, я считал, что начинаю новую жизнь и что ни обстановка, ни люди, с которыми придется работать, уже не смогут будоражить память, все успокоится, уляжется, я погружусь в дела и заботы школы, но вот самым, казалось, неожиданным образом (случись это не со мной, а с кем-нибудь другим или если бы мне сказали об этом заранее, я бы не поверил) именно школа день за днем все более и глубже расшевеливала во мне воспоминания; и не беседы с директором Зиновием Юрьевичем, который тоже был фронтовиком и артиллеристом, воевал на разных фронтах, в том числе и на Белорусском, и даже при форсировании Сожа наши части находились где-то неподалеку, потому что, разговаривая, мы называли почти одни и те же населенные пункты, и он помнил Ветку и Хальчи на противоположном крутом и обрывистом берегу, — нет, не эти беседы, хотя и они, разумеется, оказывали свое действие (Зиновий Юрьевич был гораздо старше меня, учитель с доверенным, как говорится, стажем, кадровый, и я всегда с добром думаю о нем, как он помогал нам, молодым, не только мне, конечно, но война так вьелась в его душу, что ни одного вечера, когда мы собирались вместе, не проходило без того, чтобы он не припомнил и не рассказал какой-нибудь эпизод из своей фронтовой жизни), и все же нет, не эти рассказы Зиновия Юрьевича, а светлый, наполненный детишками класс, девочки с косичками, сидевшие за партами возле солнечных окон, когда я смотрел на них, как бы переносили меня в далекие заснеженные Калининичи, в избу, где на торжественном в честь моего не состоявшегося еще

тогда награждения вечере я сидел рядом с Ксеной, худенькой девушкой, казавшейся мне школьницей, и с неповторимым уже теперь волнением смотрел на ее серые и серебрившиеся от света висевшей над столом керосиновой лампы косы. Я испытал это в первый же как будто день, как только вошел в класс, во всяком случае, такое осталось у меня с тех пор впечатление; но особенно воспоминания начали тревожить на второй или, вернее, на третий год, когда я уже вел математику в старших классах. Я думаю теперь: школа ли в той таежной Москитовке была построена так удачно, что окна почти всех классов выходили на солнечную сторону, а впрочем, у нас ведь все школы строят так, или что-то еще особенное — девушки с косами, хотя ведь в каждом классе, да вот и в техникуме, где я преподаю сейчас, есть и постриженные коротко, и с косами, — словом, дело, наверное, не в том, какой была школа и какими ученицы в Москитовке, а скорее во мне самом, что каждое утро, как только, открыв дверь, я входил в класс, хотел или не хотел этого, но сразу же невольно обращал внимание, как солнечные лучи, проникавшие сквозь просторные окна, каким-то до боли знакомым серебристым отблеском лежали на косах девушек; и дело не в том, что косы были серыми, черными или каштановыми, и не в том, что лица, что ли, напоминали какими-то своими черточками лицо Ксени, нет, а просто в общей этой картине было что-то такое, что с давних, фронтовых еще лет хранилось в моей памяти, и потому каждый раз, переступив порог, с минуту я стоял молча, не в силах побороть воспоминания и начать урок, и притихшие ребята с удивлением и, конечно, с недоумением смотрели на меня. Иногда такое повторялось среди урока, что было особенно неприятно, и тогда я переживал вдвойне: и за свою минутную растерянность перед учениками, и за те мучительные дни и ночи, которые я провел когда-то в станционном дощатом бараке Калинковицей. И ведь что любопытно: вспоминалась не Рая, хотя все школьное у меня было связано именно с ней — мы же учились вместе, — да и трагическая смерть ее была по времени ближе и должна бы помниться отчетливее, но, наверное, ничто не может сравниться с впечатлениями войны, со всем тем, что довелось испытать нам тогда, в самой что ни на есть молодости, когда, в сущности, только-только начинаешь познавать жизнь (девятнадцать лет, что вы хотите!) и все воспринимается острее и ложится глубоким, нестираемым следом. В общем, и в классе и когда возвращался домой, а точнее, в дом Зинаиды Григорьевны, который стоял почти напротив школы, маленький, деревянный, чем-то напоминавший и калинковицкую избу Ксени, и мою, ту, в которой жила теперь одиноко мать, — в общем, и когда возвращался домой и садился за проверку тетрадей или, приглашенный Зинаидой Григорьевной к столу, ел поданный ею борщ или картошку, залитую молоком и яйцами и зарумяненную в печи, воспоминания, возникшие еще в классе, продолжали волновать меня, и бывало так до позднего вечера, до самого того момента, пока не смыкал в усталости глаза и не засыпал наконец, чтобы утром, встав, весь вчерашний прожитый день повторить сначала. Не то чтобы я снова хотел увидеть Ксению (я понимал, что она замужем и уже отрезанный, как говорится, ломоть), но как бы исподволь, само собою возникало желание проехать по местам боев, постоять на том повороте шоссе Мозырь — Калинковичи, где горели наши танки и откуда стреляли мы по немецким самоходкам, увидеть бревенчатый настил, где они занимали оборону, и щель у обочины, в которую, нажав на гашетку, я отпрыгивал и скатывался, попадая на руки к бойцам, и увидеть места, где были подбиты одна за одной зенитные установки, — словом, пережить все сначала (конечно же, все предшествовавшее встрече с Ксеной, но эту мысль я хранил глубоко в себе, подавлял, не давал развиваться), и тогда, как мне казалось, будет спокойнее на душе и легче; помню, что, раз зародившись, идея поездки уже не отпускала меня, и

еще с зимы я начал готовиться к ней, экономя деньги и приобретая всякие дорожные, а сказать точнее, походные — ведь я собирался пройти пешком по местам боев, доехав поездом лишь до Калинковичей или до Мозыря, что было, в общем-то, еще не решено,— вещи, а с наступлением теплых весенних дней уже с нетерпением ждал часа, когда наконец, вскинув рюкзак на плечи, зашагаю напрямик укороченною тропкою через тайгу до ближайшей от Москитовки железнодорожной станции. Мать в тот год еще была жива, и я заранее написал ей о своем намерении; с Зинаидой Григорьевной же, мне казалось, не о чем было говорить; тогда между нами еще ничего не было, вернее, я еще не замечал ничего, принимая как должное все ее заботы обо мне и лишь изредка удивляясь доброте и кротости этой молодой женщины, которая и успевала управляться с хозяйством — корова, куры, не так просто! — и еще ходила на какие-то подсобные работы к лесосплавицам: то ли распутывать канаты, то ли даже шорничать (овдовев в войну, она научилась всему), я так до сих пор и не знаю толком, так как в то время, в сущности, мне не было никакого дела до ее домашних забот и тревог. Она была старше меня года на три, но выглядела молодо, так, словно и не выходила замуж; да и теперь выглядит, мне кажется, так же молодо рядом со мной, седым и издерганным человеком, но это так, между прочим, к слову; с Зинаидой Григорьевной мне тогда не о чем было говорить, да и ей, по-моему, во всяком случае, так представлялось мне, было безразлично, куда я еду — ну, еду и еду, может быть, в Читку к матери, как каждое лето, — но на самом деле, оказывается, все происходило иначе, и только потому, что я был занят собою, жил поездкой и чувствами, которые предстояло испытать, не видел, с каким беспокойством следила за моими приготовлениями Зина. Женщины — мы недооцениваем только — понимают и чувствуют гораздо больше и глубже, чем мы с вами; по каким-то им одним, наверное, приметным деталям они улавливают наши помыслы и настроения. Откровенно говоря, я немало удивился, когда вдруг почти в самый канун моего отъезда вечером, заведя и поставив квашню на теплую плиту, она сказала, подойдя ко мне и посмотрев на меня:

«Дорога-то дальняя, но вы не беспокойтесь, Евгений Иванович, я наготовлю вам на всю дорогу».

«А вы почему знаете, что дорога дальняя?»

«Как же, аль не вижу, как вы собираетесь?»

«Что рюкзак, что ли?»

«Да и рюкзак. Да и все», — добавила она, и я впервые тогда, удивленно, как уже говорил, глядя на нее, заметил, что в глазах ее было нечто большее, чем если бы просто хозяйка дома провожала своего квартиранта. «Да нет же», — про себя сказал я, смущаясь и думая, что ошибся, что ничего подобного нет и не может быть у нее в мыслях и я лишь только вообразил бог знает что.

«Я еду в Белоруссию, Зинаида Григорьевна, — отчетливо проговорил я, тоном голоса и твердостью давая понять, что никакого секрета, разумеется, из своей поездки не делал и не делаю и что, так или иначе, может быть, даже вот сейчас, не заговори она первой, сам бы сказал обо всем этом. — По местам боев. Хочется посмотреть, как там теперь. Тянет. А что дорога дальняя — верно, но только зачем вам-то эти лишние хлопоты?»

«Какие уж тут хлопоты».

«Конечно, хлопоты».

«Да разве я могу вас так отпустить!»

«Ну-ну, только чем я оплачивать буду», — как бы в шутку ответил я, продолжая осматривать рюкзак, все ли уложено, и совсем не придавая того значения словам, какое могла придать им Зинаида Григорьевна. Она вышла к себе на кухню, а спустя некоторое время, все

еще взясь с рюкзаком, я как-то невольно опять вернулся к нашему разговору и подумал: «Да нет же, это она просто от доброты... просто повезло мне на хорошую хозяйку, и все. Славная женщина, что и говорить, славная», — повторил я, прислушиваясь, как она осаживала тесто в квашне.

На другой день к обеду, к тому часу, как мне выходить из дому (откровенно, я не заметил, когда она вернулась с работы, отпросилась ли, и когда успела переодеться), как бы неожиданно оглянувшись на дверь, я увидел стоявшую у порога нарядно одетую Зинаиду Григорьевну; я не помню, как посмотрел на нее, очевидно же, не без восхищения и Наверное, с откровенной радостью, потому что, кроме того, что я действительно увидел ее необычной, какой ни разу не видел прежде, и это было приятно мне, никаких иных мыслей не было, но для нее, и я знаю теперь, тот мой взгляд имел свое определенное и важное значение: она все истолковала по-своему (она и сейчас убеждена, что именно тогда понравилась мне, а я уж не хочу разубеждать ее) и чувствовала себя, конечно, счастливой в ту минуту. На ней была новенькая сатиновая кофточка, плотно облегавшая грудь и плечи, какие еще и сейчас, знаете, в отдаленных таежных деревнях носят сибирячки, и волосы — ведь вот как будто и не сидела в парикмахерской, а так неповторимо женственно были собраны и сколоты брошью на затылке, что я, видите, и теперь говорю не без волнения, а шелковый платок, будто небрежно соскользнувший на плечи, как раз и открывал эту ее деревенскую, крестьянскую прическу и придавал лицу то до сих пор неизъяснимое, по крайней мере для меня, очарование — не красоты, нет, а как бы вам сказать, очарование простоты и естественности жизни; не вполне, конечно, осознанное, но именно это чувство промелькнуло во мне тогда, только промелькнуло, потому что всеми мыслями я был уже, в сущности, в Белоруссии, в Калининчиках, и чтобы как-то оправдать свой нескрываемый восторженный взгляд, сказал Зинаиде Григорьевне:

«Какая вы сегодня нарядная».

«Вам нравится?» — спросила она, имея в виду то ли новую кофточку, то ли платок.

«Да. И куда вы собрались?» — заметив в руках ее узелок, продолжил я. Все то, что она напекла и наготовила утром на дорогу, было уже собрано и уложено, и я, разумеется, не мог предположить, что и узелок этот тоже предназначался мне.

«С вами. На станцию».

«Как на станцию?» — переспросил я, потому что никогда, сколько я жил, не было у нее никаких дел на станции.

«Разве нельзя?»

«Отчего же, можно. Кто-нибудь приезжает?»

«Кто ко мне может приехать, Евгений Иванович? Кто мог бы, так на того давно похоронная лежит, а кого бы я хотела, тот и не знает, что счастье его от тоски сохнет в тайге».

«И все же?»

«Да что вы пытаете или не хотите вместе идти?»

«Почему, Зинаида Григорьевна, ради бога, вместе даже веселее. Но ведь это двенадцать верст!»

«Будто я уж и не ходила».

«Ну-ну», — произнес я привязавшуюся ко мне тогда эту присловицу и, подняв набитый вещами и продуктами рюкзак и сказав: «Что ж, идемте», — направился мимо нее из комнаты.

Я стоял во дворе и ждал, пока она запирала избу; потом она помогла мне уместить на спину рюкзак, и мы, выйдя за околицу поселка, свернули на тропинку к тайге, к орешнику, дубам и елям, заслонявшим собою блеклое по горизонту полуденное небо; я шагал впереди и время от

времени, когда, приостановившись, оборачивался, чтобы окинуть прощальным взглядом Мосkitовку,— я любил, уезжая, смотреть на поселок издали, на деревянные домики с тесовыми крышами, на корпуса завода у изгиба реки и на плоты, прижатые к желтому песчаному откосу, на людей и машины возле тех плотов, и вся эта панорама замедленной, будто остановившейся на миг таежной жизни каждый раз вызывала во мне то волнение, какое возникает обычно у людей при виде родных мест (может быть, прижившись, я только не замечал, что и для меня все стало здесь родным и близким),— словом, когда, оборачивался, передо мною как бы специально для того, чтобы я не мог видеть поселка, выростала фигура Зинаиды Григорьевны, и я невольно смотрел на нее, лишь за плечом, вдали, различая знакомые силуэты домиков, и Зинаида Григорьевна, перехватывая мой взгляд и улыбаясь — конечно же, она опять все истолковывала по-своему,— тоже останавливалась и, обернувшись, тоже смотрела на меня-то уж несомненно родные места. На солнце, на фоне высокой зеленой травы она казалась мне еще нарядней, чем в минуту, когда я увидел ее в комнате у двери, и все же при всем том, что я не без восхищения, как уже говорил, разглядывал ее стройную, в длинной и широкой, какие носили тогда, юбке и плотно облегающей грудь и плечи кофточке фигуру и любовался простотой ее прически (ветерок, набегая, слегка лохматил ей волосы, и оттого она казалась еще привлекательнее), я не могу сказать, чтобы испытывал к ней в те минуты что-либо такое, что хоть отдаленно напомнило бы чувства, какие когда-то обуревали меня в первые же почти мгновения, как только я сел рядом с Ксеной. Во всяком случае, так все представляется мне теперь, и я это хорошо помню, что как только я снова начинал шагать по тропинке, и поселок и Зина словно переставали существовать для меня, и я принимался думать, как, выйдя на перрон в Калинковичах, увижу знакомые места. «Стоит ли еще тот дощатый барак,— про себя говорил я,— может, и стоит, для чего-нибудь и приспособили. А что, все может быть». Мы шли и шли по тайге — два человека, два мира, настолько далеких друг от друга, что трудно представить что-либо такое, что хоть как-то сближало бы нас; в то время как мне рисовались картины, может быть, даже встречи с Ксеной, хотя для чего нужна была эта встреча, я не отдавал себе отчета, Зина, конечно же, думала обо мне, и в ее сознании разворачивался свой, и не менее радовавший ее (чем мой меня) мир надежд, мечты и счастья; так же, как между мной и Раей в тот памятный зимний вечер не было взаимопонимания, но которое пришло потом, запоздало, когда оставалось только вспоминать и мучиться,— так не было этого взаимопонимания между мной и Зиной, но которое тоже пришло потом, позднее, и, знаете, мне всегда бывает теперь неприятно и неловко, когда вспоминаю, как был нем к ее чувствам в те часы, когда она, в сущности, не по своим делам собралась на станцию, а шла проводить меня до поезда, а я понял это лишь тогда, когда мы были уже на перроне, сидели на скамейке и ожидали поезда.

За сопки, за тайгу уходило солнце, и длинные тени от фонарных столбов, что возвышались над устланным досками перроном, словно темные шлагбаумы, лежали на железнодорожных путях, перерезая их, искривляясь во впадинах и на шпалах; почти сразу за путями стеною начиналась тайга, и белые стволы как бы выдвинутых вперед берез, и макушки дальних дубов и елей, освещенные тем заходящим солнцем, будто хранили на себе отсвет далеких пожаров, а мне при виде этих затканных багровых тонов вспоминалась война. На станции не было ни маневрового паровоза, ни разгрузочных площадок, лишь в отдаленном тупике стояло несколько порожних платформ да красный пульман с известково-белыми раздвинутыми дверями, и все же тот привычный станционный запах железа, мазута и шпал, как ни перебивался он ве-

черней таежной сыростью, был ошутим и тоже пробуждал воспомина- ния. И только Зина, сидевшая рядом — ведь должен же был я говорить с ней, не сидеть же молча! — постоянно как бы прерывала мои устрем- лявшиеся вперед, туда, в Калинковичи, мысли. Она не улыбалась, и я не только не замечал радости и счастья на ее лице, как в полдень, когда выходили из дому, а напротив, видел, что грустна, что глаза ее с тре- вогою посматривают на меня, и именно этот ее тревожный взгляд вызы- вал во мне тоже какое-то, прямо скажу, неприятное беспокойство. «Ну вот,— думал я,— как же это я допустил? И что же она?.. Хотя бы поезд скорее, что ли! Вот ведь как! Ну что теперь? Что вот теперь делать?» — продолжал я.

«Как же вы пойдете домой, Зинаида Григорьевна?» — с как будто передавшейся мне ее тревогой проговорил я, понимая, что не только ве- череет, но близится ночь, а на таежной тропе уже теперь сумрачно, да и жутко будет возвращаться одной и небезопасно.

«Иль я не ходила, что ли», — опять ответила она знакомою уже фразой.

«Не боитесь?»

«Чего бояться-то?»

«Так ведь ночь».

«Можно и переночевать, утра дожждаться».

«Что, знакомые здесь?»

«Знакомые не знакомые — люди же, иль не пустят? Да вы не вол- нуйтесь за меня, Евгений Иванович. Я-то что, я дома».

«Зря вы все же, зря», — покачав головой, повторил я, так как вся ее затея с проводами действительно представлялась мне нелепой, обременительной и только вызывающей ненужное беспокойство. «Ну что с ней делать теперь, не оставаться же мне здесь», — с досадою подумал я, снова принимаясь смотреть на уже затухавшие на стволах и листве багровые краски летнего таежного вечера.

Я помню, как с радостью (а теперь вот запоздало вижу, как глупо и нетактично поступил тогда) вскочил со скамейки и вскрикнул: «Нако- нец-то, вот!» — когда за поворотом в уже синеей дали вдруг показался желтый и рассекающий эту синюю таежную даль глаз паро- воза. «Вот!» — повторил я, беря рюкзак, направляясь к краю платформы и чувствуя, как следом за мной, приотстав, может быть, лишь на пол- шага, двинулась Зина. Мы стояли рядом, когда зеленые пассажирские вагоны, замедляя бег, остановились наконец на минуту, чтобы затем, набрав скорость и ритм, надолго запечатлеться красным удаляющимся огоньком в глазах Зины, — для нее ведь это были не первые проводы, когда-то вот так же она отправляла мужа, который не вернулся, а те- перь, может быть, даже с большим волнением, чем тогда, отправляла меня, но для меня в эту минуту не существовало ее любви; я лишь про- изнес: «Ну, счастливо, Зинаида Григорьевна, только дождитесь утра, обязательно дождитесь», — схватился за поручни, готовый уже вспрыг- нуть на подножку.

«Вот возьмите, Евгений Иванович», — сказала она, подавая мне тот самый узелок.

«Что это?»

«На дорогу».

«А-а,— протянул я, беря узелок.— Ну, счастливо, только утра, непре- менно утра!»

Я не обнял ее, не пожал ей руку; поезд тронулся, и я из тамбура, из-за плеча проводника, смотрел на удаляющуюся — как будто удалялся не я, а она — фигуру Зины. Она не махала ни платком, ни рукою, как распространено у нас, сколько я езжу и вижу, в народе, и пальцы как будто не держала прижатыми к груди у шеи, как Рая,

когда я уходил от нее, а напротив, руки ее были опущены и вся она стояла неподвижно, даже не качнувшись в сторону уходившего поезда, но и в этой ее прямой осанке, в неподвижности были еще как будто яснее, чем в жесте Раи, я отчетливо почувствовал это тогда, выражены и спокойствие, и тревога, и смирение, если случится вдруг еще раз пережить горе, и надежда на счастье, какая всегда живет в русском человеке в любой, даже самый безысходный час, особенно в русской женщине, на долю которой веками выпадали такие испытания.

Станция уже скрылась из виду, я вошел в вагон, но Зина еще долго как бы стояла на удалявшемся дощатом перроне перед моими глазами.

Как это обычно бывает, в первый же вечер, пока ехали по тайге и пока свежи еще были впечатления от прощания с Зиной, я думал о ней, о Москитовке, которая действительно-таки уже вошла в мою жизнь как что-то родное, близкое, может быть, как раз благодаря только тому, что Зинаида Григорьевна (я повторял и еще сто раз буду повторять: как все-таки жаль, что обо всем хорошем, что делается для нас, мы лишь вспоминаем, а в самый тот момент, когда все происходит, слепы, да-да, слепы!) по-своему, как могла, создавала уют и скрашивала мое, особенно в первую осень, не очень-то радостное бытие, думал и о школе, и о Зиновии Юрьевиче («Сколько же повидал за свою жизнь этот человек,— говорил я себе,— будь он теперь в вагоне, до утра хватило бы разговоров!»), но как ни свежи были эти впечатления, вместе с затихавшим как будто стуком колес, вместе с той дремотою, которая как раз после всех пережитых волнений дня и вечера все сильнее одолевала меня, и воспоминания и думы словно отдалялись, уходили и растворялись, как только что, когда я еще стоял в тамбуре и смотрел на огоньки станции, уплывал и растворялся в синем ночном сумраке короткий дощатый перрон со стоявшей на нем Зинаидой Григорьевной; я не заметил, как заснул, убаюканный ритмом движения, монотонным покачиванием вагона, а утром, когда проснулся, так же, как я сам был уже далек от Москитовки, так же далеки были и воспоминания о ней. В дороге, и я давно заметил это, волнует тебя не то, что осталось где-то позади, а другое, что ожидает, к чему едешь и что — именно потому, что ты еще не знаешь, как все обернется,— вызывает особенные чувства. Мне казалось тогда, что я не думал о Ксене, а все мысли были сосредоточены только на одном: как я ступлю на землю, на которой воевал, где и в морозные и в сыкатные зимние дни пришлось испытать немало страшных минут, где все и теперь еще, наверное, было наполнено звуками стрельбы и разрывов, где были похоронены (не под деревней Гольцы, нет, а вообще в Белоруссии) боевые друзья, солдаты нашей батареи, и те зенитчики, что выдвигали свои орудия против немецких самоходок и которых затем уносили на плащ-палатках лесом, в общем, мне казалось, что я думал лишь об этом, и с каждым километром, чем ближе подвозил меня поезд к заветным местам, тем отчетливее вспоминалось прошлое; о том, чтобы задержаться в Москве, как предполагал, отправляясь из Москитовки, потому что надо было выполнить кое-какие поручения, в том числе и Зиновия Юрьевича, теперь не могло быть и речи; я говорил себе: «На обратном пути, только на обратном»,— и едва лишь сошел на перрон Казанского вокзала, как тут же нанял такси, перебрался на Белорусский и в тот же вечер уже снова лежал на полке в купе, и будто не было пересадки и не прерывались доставлявшие мне и удовлетворение и тревогу размышления.

В Калининичи я приехал утром.

Я ступил на перрон с тем чувством, словно не там, в Чите, а здесь была моя родина, и с такой жадностью всматривался во все: в новое здание вокзала, в киоски, в людей, в пристанционные деревянные избы



(только они тогда, в сущности, да еще дощатый барак, приспособленный, как я и предполагал, под пакгауз, напоминали те, старые и жившие в моей памяти Калинковичи), — что со стороны, наверное, казался странным, будто впервые приехавшим невесть из какой глуши в город человеком; может быть, потому-то возле пакгауза, когда я, обходя вокруг него, всматривался в потемневшие от времени доски — для меня они были книгой, рассказом, памятью, — какой-то железнодорожник в форменной фуражке, думаю, весовщик из этого же пакгауза, довольно громко и резко спросил: «Вам чего здесь нужно, гражданин?» Несколько мгновений я смотрел на него; лицо его было не очень приветливым, и я, решив про себя: «Да что он поймет!» — повернулся и зашагал на привокзальную площадь. Я уже не помнил, что минуту назад, на перроне, мысленно провел черту между собой и домом Ксении; потемневшие стены станционного дощатого барака так живо восстановили в памяти прошлое, что теперь, когда я удалялся от него, хотя и говорил себе: «В Гольцы! Сейчас же, сразу в Гольцы!» — все же не сел в автобус и не поехал к центральному колхозному рынку, где легче всего можно было найти попутную машину в Гольцы, а невольно, почти не осознавая того, что делаю, с тяжелым рюкзаком за спиной пошел через весь город по знакомой — правда, она была не заснежена, как тогда, все было обрамлено зеленью, но для меня она по-прежнему оставалась той, заснеженной, — улице, чтобы если уж не зайти, то, по крайней мере, взглянуть на дорогу мне избу с высоким крыльцом и высокими и холодными, как мне почему-то и теперь кажется, перилами; ведь я только внушал себе, что тянуло к местам боев, тогда как настоящей причиной было, конечно, другое, и я постоянно чувствовал это, а подходя к дому Ксении, чувствовал особенно. И все же я не зашел в тот день к Ксении; издали, с обочины оглядел я до мелочей памятные мне фасад и крышу и затем, остановив какую-то направляющуюся через Гольцы райпотребсоюзскую, кажется, полуторку, забрался в кузов на ящики и, чтобы не видеть удалявшихся окраинных домиков Калинковичей, принялся смотреть вперед, на дорогу. Я узнавал, разумеется, лесные опушки, на которых когда-то мы разворачивали батарею, и взгорья, по которым, то залегая в снег, то подымаясь, когда-то двигалась наступающая пехота, но вместе с тем я не испытывал того радостного, что ли, волнения, какое, как мне казалось, должен бы испытывать (какое, помните, овладевало мною в вагоне, когда только подъезжал к Калинковичам); напротив, будто даже с безразличием смотрел я вокруг, и были минуты, когда хотелось тут же постучать в кабину водителя, остановить машину и, спрыгнув на шоссе, кинуться обратно: на вокзал, на поезд, в Читу, в Мосkitовку, где все — и эти места (в мыслях, конечно), — все представлялось наполненным жизнью. «Вот уж действительно дурная голова ногам покою не дает, — с усмешкою думал я про себя. — Ну, были здесь бои, ну что? Стоят хлеба, все запахано, заросло, а там... зарастает могила Раи. И Зинаида Григорьевна! Как неподвижна была она на растворявшемся в сумерках дощатом перроне», — продолжал я, попеременно возвращаясь то к одному, то к другому, но с одинаковым как будто равнодушием и согласуясь лишь, как вам сказать, с формулой, что ли, «жизнь есть жизнь, и каждому в ней свое». «А мне свое — эта тряская дорога, кузов и прыгающие ящики в нем», — продолжал я. Так как в Гольцы мы приехали уже под вечер, я вошел в первую приглянувшуюся на краю деревни избу и, ничего не рассказывая о себе хозяйке Евдокии Архиповне, как назвалась она, попросился на ночлег.

«Отчего же нельзя, можно, ночуйте», — сказала она.

«А что-нибудь поужинать — молока, картошки, я заплачу».

«Да чего уж, можно».

Она отварила картофель, принесла молоко из погребца, и я, поужи-

нав, отправился на сеновал, не желая нарушать привычной вечерней жизни хозяевам дома — Евдокии Архиповне и ее дочери Варе. Тогда я еще не знал, что у нее есть и сын, который учился в то время в городе; да многого я еще не знал о ней: ни того, что муж ее партизанил и погиб в здешних лесах, ни, главное, того, что в памятный для меня холодный январский день, когда мы вели поединок с немецкими самоходками, за бревенчатым настилом, здесь, в деревне, в промерзшем подполе своей избы двое суток отсиживалась она со своими маленькими детишками, а когда в деревню ворвались наши автоматчики, кто-то из бойцов, видя окоченевших ее детей, снял из-под своей шинели ватную телогрейку и укутал ею ребят; словом, ничего этого я не знал, да и не стремился в тот вечер узнать хоть что-либо, занятый весь собою и жаждавший уединения,— я ведь потом, приезжая в Гольцы, всегда останавливался у нее в доме, и сын ее Костя, Константин Макарович, на моих, в сущности, глазах был и учителем, и директором местной школы, и много лет затем секретарем партийной организации колхоза, и вот теперь уже третий год председательствует, и, говорят, неплохо, да и дочь вышла в лаборантки на молочном приемном пункте, ну, а вообще-то вспомнил я это так, не к делу, просто становились на моих глазах жизни, и все, а в тот вечер мне хотелось уединения, и я, с удовольствием растянувшись на прошлогоднем, пересохшем и колком под тонкой подстилкой сене, долго смотрел на синее звездное июльское небо. Я был огорчен и разочарован своей поездкой, ничто не утешало меня, никакие, даже хорошие воспоминания. «Нет, порывы души — это одно, а жизнь — это совсем другое,— говорил я себе.— Жизнь проще, и она требует рассудка». Ведь все это, что теперь происходит со мной, можно было предугадать, предвидеть, и Зинаида Григорьевна (она все время возникала передо мною в воображении: то на дощатом перроне, какой я оставил ее, то в комнате у двери, нарядная и с тем выражением надежды и счастья на лице, какое я уловил тогда) — вот она все, конечно, знала, потому и была так грустна, стояла неподвижно, и в этой ее неподвижности — как же я сразу-то не сообразил! — было сказано все: «Куда, зачем и для чего едешь?» Я думал так, вместе с тем прислушиваясь, как засыпала деревня, как затихали дальние звуки и как именно оттого, что затихали те, яснее слышались ближние, и мне чудилось, что будто где-то совсем рядом со мною (на самом деле под сеном, под жердевой крышей, в хлеву), облизывая, наверное, языком свои мокрые розовые губы, непрерывно и бесконечно жевала жвачку хозяйская корова; я и проснулся утром с тем ощущением, что напрасно приехал сюда, что всякие чувства — это ложь и что никогда нельзя поддаваться порывам. «Да хотя бы и Ксения,— думал я.— Благородный порыв, минутное чувство, и что из этого? В госпиталь! А ведь все могло быть иначе, да и было бы все иначе, что говорить — ясно бесспорно, а главное, просто, так все просто, что удивительно, как можно было видеть когда-то все по-другому!» Я и завтракал, и вышел от Евдокии Архиповны мрачным, нахмуренным, и только когда, очутившись уже за деревней, ступил на бревенчатый настил (тогда, в первый мой приезд, был еще этот бревенчатый настил через заросшую кустарником топь и маленькую речушку, а дорогу насыпали потом, спустя лишь несколько лет, и тоже, как говорится, на моих глазах), — да, так вот, только когда ступил на бревенчатый настил, как будто что-то переключилось во мне; не сразу, разумеется, не вдруг; сначала я принялся искать место, где стояли тогда немецкие самоходки, и хотя никаких следов с тех пор, само собою, не сохранилось, да и бревна в настиле были давно подновлены, но, как бывший военный, бывший комбат — если помните, ведь я закончил войну в должности командира батареи, — я прикидывал, осматривая местность, где удобнее было им стоять, где бы, вернее, я сам поставил их,

будучи, скажем, немцем; незаметно, но все явственнее втягиваясь в атмосферу того боя, какой когда-то разыгрался здесь и участником которого я был, я торопливо зашагал через бревенчатый настил на другую сторону болота, на нашу, чтобы час за часом, минута за минутой вновь пережить весь поединок с немцами, и еще не выйдя из кустарника и не войдя в лес, уже чувствовал — не в самом себе, нет, а как будто вокруг — звуки нарастающего артиллерийского обстрела. В лесу, где стояла наша батарея (следов от окопов и ровиков не было и здесь, трава закрывала все, а я не раздвигал ее и не всматривался), я прижался щекой к стволу ближней березы (мне казалось, к той, что и тогда, в январе сорок четвертого) и совершенно отчетливо слышал, как тяжелые, резкие и оглушительные разрывы прокатывались по лесу. «Вон там стояли зенитные орудия,— говорил я себе,— а здесь горели наши танки, а вот тут, перед самым кустарником, были врыты орудия нашей батареи». Я смотрел, говорил себе это, и прошлое, пережитое, как бы само собою разворачивалось во мне, и хотя я, то и дело поправляя на спине тяжелый рюкзак, шел к тому месту, где были подбиты зенитные орудия (именно туда в первую очередь тянуло меня, хотя я и теперь не могу объяснить почему), в то же время в мыслях я как будто бежал на командный пункт к комбату и, вытянувшись и замерев, выслушивал приказание подполковника, а потом, вернувшись на батарею, отдавал распоряжение сержанту Приходько и вместе с бойцами его расчета вытаскивал к обочине дороги орудие; для меня одинаково реально было и то, к чему я подходил и что осматривал сейчас, и то, что происходило тогда и горячило теперь воображение. Постояв возле нескольких обмелевших, если так можно выразиться, и заросших травой воронок, которые когда-то устрашающе чернели на белом снегу и от которых уносили убитых и раненых зенитчиков, я спустился ниже по дороге, где мы разворачивали перед горящими танками наше орудие на прямую наводку, и с удивлением в первое мгновение увидел, что щель на обочине жива, понимаете, ж и в а, хотя тоже обмелела и тоже заросла, и я с минуту стоял перед ней, как перед памятником, и смотрел, как по краям рядом с жилистыми листьями подорожника на высоких зеленовато-белых стрелках чуть шевелились на ветру крупные белые головки одуванчиков. Затем, повернувшись, взглянул на дорогу, на бревенчатый настил, который теперь, в ясное солнечное утро, был виден намного отчетливее, чем тогда, в пасмурный зимний день, казался совсем рядом, будто начинался вот, метрах в пятидесяти от места, где я стоял, и хотя, разумеется, никаких самоходок сейчас на нем не было, а даль просматривалась так хорошо, что можно было различить крыши окраинных изб деревни, но для меня все вокруг, может быть, на какие-то доли секунды словно преобразилось, и не было листвы на кустарнике, и по краям дороги лежал снег, багрово-розовый от горевших танков, а я, пригнувшись, ловлю в перекрестие прицела бронированный лоб самоходки и чувствую, как ладонь ложится на холодную, покрытую, как перед тем, первым, выстрелом, колким игольчатым инеем металлическую гашетку; мгновение, сейчас грянет выстрел, я прыгну и покачусь в щель, и все оживет: и лица, и руки, и согнутые спины солдат в шершавых и обсыпанных комками красной глины шинелях, и звонкое «шлеп! шлеп!» раздастся там, возле уже подбитых зенитных установок, и сержант Приходько шепотом скажет: «Пронесло»,— скажет так, с тем неповторимым оттенком, как произносилось это слово только на войне и только в определенные минуты боя. Я слышал и видел все, глядя на щель и бревенчатый настил, но вместе с тем, как эта ожившая картина казалась мне реальностью (она продолжалась и потом, когда я, уже сняв рюкзак, сидел на траве, свесив ноги в бывшую глубокую и теперь обмелевшую щель, вырытую, как я и сейчас с удовлетворением отмечал

про себя, разумно и расчетливо, не поперек, а вдоль дороги), я не пригнулся и не кинулся в щель, как тогда, во время поединка; я медленно сошел с дороги и сел, как путник, решивший отдохнуть, а в ушах все еще гремели выстрелы и разрывы, перед глазами все еще прочерчивались огненные трассы бронебойных снарядов, а со стороны леса уже доносились голоса подходивших к орудию подполковника Снежникова и нашего комбата капитана Филева; вот-вот они примутся обнимать и пожимать руки и прозвучат и теперь дорогие мне слова: «Всех к награде! Сержанта — к Боевому Знамени, лейтенанта — к Герою!»

Не помню, сколько времени просидел я возле той заросшей одуванчиками и подорожником щели и сколько выкурил папирос; по шоссе проезжали машины, правда редко, и обдавали газом и пылью, но я, по-моему, не замечал и этого; вероятно, они тоже воспринимались как те танки, что, огибая орудие, когда-то с рокотом и треском устремлялись мимо нас вперед; мне действительно казалось, что только что отгремел бой, и не было еще у меня ни Пургшталя, ни Калининичей, ни Читы, ни Москитовки, а все только еще должно было быть, и в этом должно на первом плане стояла встреча с Ксеньей. В какую-то минуту я снова вышел на дорогу, остановил машину, но шедшую не в сторону Мозыря, а в противоположную, на Калининичи, и в сумерках — правда, еще хорошо были различимы заборы и избы — на самом въезде в город попросил водителя затормозить и, расплатившись с ним и поблагодарив, остался один на дороге.

Как и много лет назад, в ту фронтовую снежную зиму, когда, разбуженный ординарцем комбата и весь находившийся еще, хотя и после сна, под впечатлением недавнего боя, я появился в избе Ксении, готовый выполнить любое задание, так и теперь во мне как будто жило то же чувство: и когда открывал калитку, и когда затем, поднявшись на крыльцо, проходил через сенцы и переступал порог комнаты. Но, знаете, как ни ярко бывают в человеке воспоминания и прежние чувства — сейчас-то я вполне могу судить об этом, — отключиться полностью от того, что окружает его, он не может, каждая минута жизни рождает новые ощущения и мысли, и, вероятно, потому-то, как ни спешил я увидеть Ксению, как ни представлялось мне, что все пережитое должно сейчас повториться, волнения дня, иллюзия боя и встречи — все, как спадает иногда с плеч наспех накинутое пальто, стоит лишь резко повернуться, все как бы вдруг спало, осело во мне, едва только, войдя в избу, я увидел Марию Семеновну, Василия Александровича и Ксению. Не то чтобы они встретили нерадушно, напротив, и Василий Александрович, сразу же принявшийся обнимать меня своею крепкой, мускулистой рукою, и Ксения, помогавшая снимать с плеч рюкзак, и даже Мария Семеновна, ничуть, как мне показалось, не постаревшая за эти годы, молчаливо, но приветливо оглядывавшая меня со своего, наверное, привычного уже места, от печи, — все как будто были рады неожиданному моему появлению, и, естественно, должен был радоваться и я, и я действительно улыбался, проходя в комнату и усаживаясь на предложенный стул, но, сказать откровенно, никакой радости на душе у меня не было. Я то и дело посматривал на Ксению, хотя было неловко и неприлично делать это, я понимал, краснел, но, говоря себе: «Нельзя, не надо», — продолжал смотреть, и Василию Александровичу, я видел, было неловко, да и Марии Семеновне — она постоянно отзывала Ксению, то чтобы сказать что-то, то присила помочь, и все это, конечно же, для того, лишь бы поменьше на глазах; и все же, как бы там ни было, а я, пожалуй, только и видел в эти первые минуты Ксению, куда бы ни поворачивал голову, и мне казалось, что и она не изменилась с тех давних пор, а была все такая же красивая, и в свете (уже, разумеется, не керосиновой, а электрической) горевшей под потолком лампы серые волосы ее

отливали тем же серебристым блеском, а в глазах, я уловил сразу же, в голосе, как она произносила слова, даже будто в движениях рук жил все тот же понятный мне огромный мир человеческой доброты, щедрости и счастья. Я говорю «понятный», но если бы вдруг тогда спросили меня, в чем же состояли эти ее доброта, щедрость и счастье, вряд ли сказал бы что-нибудь вразумительное; теперь-то я знаю в чем, потому что позднее открылись мне многие стороны ее жизни, а в тот вечер, как, впрочем, и в первые мои встречи с ней, мне лишь казалось, что я понимал ее, и мир ее представлялся прекрасным, как и сама она, ее лицо, глаза, косы, ее голос, в котором, пожалуй, обращалась ли она к матери, мужу или ко мне, более всего чувствовалась вся ее доверчивая к людям натура. Я почти обожествлял ее, разумеется, не сознавая этого и не задумываясь над тем, хорошо ли, глупо ли это; когда я смотрел на Марию Семеновну или на Василия Александровича, одна и та же мысль приходила мне в голову, что они не видят и не понимают, какой человек живет рядом с ними, и что, не понимая, не могут оценить всей прелести ее души (только я один вижу и могу сделать это!), и что оттого счастье Ксении должно быть неполным, но что она, по всему, не замечает этого, а если и замечает, то в силу опять-таки своей щедрости прощает им эту их близорукость. Вот так думал и так чувствовал я в те первые минуты встречи, хотя внешне все было просто: в доме гость, хозяева рады гостю и собирают на стол, идет разговор, какой обычно бывает в таких случаях, о прожитых годах, и Ксения — может быть, действительно в ней не было ничего особенного, женщина, как сотни других, но вот представлялась же она мне необыкновенной, а чем объяснить это — чем? — откровенно, до сих пор не знаю; разве только тем самым пониманием, тем бессловесным, как я уже говорил, языком, который все же существует между людьми? Чем дольше я смотрел на Ксению и думал о ней, тем острее, потому что человек не может жить только в мире воображенных картин, чувствовал неловкость и оттого, может быть, держался смущенно, скованно, в то время как Василий Александрович, Мария Семеновна, Ксения словно не замечали этой моей скованности и в разговоре между собой, и в обращениях ко мне вели себя просто, не выказывая ни особенной радости, ни того, что гость, так неожиданно нарушивший привычный ритм их семейной жизни, был им хоть в какой-то мере в тягость; и все же, думаю, Василий Александрович чувствовал напряженность встречи, потому что иногда в его взгляде, когда он смотрел на меня, вдруг появлялось что-то недоброе, будто он спрашивал: «Зачем пришел? Я же все объяснил тогда тебе», — но взгляды эти были мимолетными, и он до конца, пока я не ушел, оставался внешне, по крайней мере, радушным и спокойным хозяином.

Когда мы уже сидели за столом и минуты первых волнений были позади — может быть, потому что я понимал, что ни Василий Александрович, ни Ксения, ни тем более Мария Семеновна не расскажут всего, как они живут («Как все, не лучше, не хуже, «тянем гражданку», — только и сказал о себе, слегка усмехнувшись, Василий Александрович), — я невольно, вместе с тем как все время будто видел перед собой только Ксению, приглядывался и к вещам, что наполняли комнату, и к одежде, в чем были Мария Семеновна, Василий Александрович, Ксения. Я не придавал значения тому, что все они были одеты скромно, по-домашнему, как я застал их, и что ситцевый фартук на Марии Семеновне был прожжен и в неотстирывавшихся застаревших пятнах. Но то общее впечатление, какое осталось у меня тогда, в первый приезд, и это нынешнее, что создавалось теперь всем видом комнаты с кухонным столом, белыми шторками на окнах, длинною скамьей с ведрами вдоль печи и шестком, уставленным чугунами, были одинаковыми, словно жизнь здесь ни на шаг не продвинулась вперед, и это так не совмещалось с тем, что

привык думать о Ксене, что иногда как бы вдруг, ни с того ни с сего начинал протирать глаза, чтобы увидеть все по-другому. И на лице Ксени, когда внимательнее пригляделся к нему, заметил какую-то будто усталость, что-то было в нем болезненное: то ли в бледности, то ли в каких-то еле уловимых черточках и линиях; да и Мария Семеновна тоже теперь казалась постаревшей и чем-то, я чувствовал, глубоко озабоченной, и Василий Александрович хотя и старался шутить, но и в его глазах минутами вспыхивало какое-то непонятное и не связанное с моим приходом беспокойство; что крылось за всем этим: нескладная ли семейная жизнь, ссоры, недостаток, неурядицы ли по работе или еще что-то, чего тогда, разумеется, я не мог даже предположить, но, во всяком случае, мне ясно было одно, что не все ладилось здесь, и я смотрел уже и на них, и на все, что попадалось на глаза, с тревогою, будто эти подразумеваемые несчастья были не Ксенины, не Василия Александровича и Марии Семеновны, а мои. «Нет,—временами говорил я себе,—все это мне только кажется, потому что думаю, что я бы сделал Ксению счастливее. Конечно, только кажется»,—повторял я для убедительности, но почти тут же, так как Ксения сидела за столом напротив меня, лишь чуть приподнимал голову, видел, как болезненно бледны ее щеки, а когда поворачивался на вопрос Василия Александровича (или чтобы ответить ему), опять и опять ловил на лице его беспокойство, словно он чего-то стеснялся, своей, может быть, именно этой семейной неустроенности, что ли.

«Все там же, в диспетчерской?» — спросил я, когда все, что можно было рассказать о себе, было уже рассказано и хотелось хоть что-нибудь услышать от Василия Александровича.

«А куда еще?» — вопросом же ответил он, приподняв для подтверждения единственную свою правую руку.

«Учиться не думал?»

«Нет,—сказал он уверенно и твердо, но я заметил, как он недоуменно переглянулся с Ксенией.— Нет»,— чуть выждав, повторил он и снова взглянул на Ксению, как будто ему самому было не ясно, верно ли он говорит или нет.

«Почему?»

«Ну, как тебе сказать...»

«Да что уж, какая уж тут учеба,—неожиданно вставила свое слово долго сидевшая молча Мария Семеновна.— Валенки подшивать по ночам — вот и вся ему учеба.»

«Мама!» — воскликнула Ксения.

«Что «мама»? Разве ж я от худа какого? Али человек сам не видит? Нужду за пазуху не спрячешь».

«Мама!»

«Тут, Евгений, все гораздо сложнее,—сказал Василий Александрович, кладя мне руку на плечо и взглядом прося при этом жену и тещу замолчать и успокоиться.— Я ведь еще с детства не любил учиться,—шутливо добавил он, чтобы хоть как-то сгладить то впечатление, какое, он видел, произвели на меня слова Марии Семеновны и Ксени.— Дотянул до десятого, и куда дальше? Где полегче? В военное училище. Тут, скажу тебе, была у меня жилка, была, душой чувствовал, да, впрочем, ты же знаешь, сколько месяцев бок о бок на передовой, а? Или ты обо мне иного мнения был?»

«Какой разговор, Василий Александрович!»

«Разговор обыкновенный: была жилка, была, Женя, и никто отрицать не сможет, да и осталась на Сандомирском.— Произнеся это, он чуть заметно, искоса посмотрел на пустой левый рукав своей рубашки.— А в общем, чего жалеть: победили, вернулись, живем и все идет как надо, но ты-то, ты — молодец! Да ты всегда был, сколько помню, молод-

цом, и зря тебе тогда не утвердили Героя. А мы ведь дополнительно писали, и Снежников хлопотал — душа-человек, отличный командир, он сейчас уже генерал и служит где-то там у вас на Дальнем Востоке, и напрасно мы не переписываемся, порастерялись, позамыкались каждый в свою скорлупу, а-а, даже не хочется об этом... Из Москитовки, наверное, как закончишь институт, опять в Читу? В глуши-то чего сидеть?» — как будто незаметно, будто само собою (но для меня и теперь да и тогда было вполне очевидно, что он просто уклонялся от серьезного разговора), вдруг прервав свои рассуждения, спросил он.

«Пока не решил. Надо сперва закончить, а после видно будет».

«Поселок-то большой? Есть перспективы?»

«Какие могут быть, Василий Александрович, там у нас перспективы? Лесозавод, а в общем, лесоперевалка, вот и все».

«А люди как живут?»

«В каком смысле?»

«Ну, уровень, что ли».

«Уровень в целом, насколько я могу судить, что ж, уровень — я же бываю в домах своих учеников — как везде сейчас, неплохой, подымается. Но тоже, хоть и фронт будто не проходил, и разрушений нет, а война и там наследила, домишки поосевшие, да и народ все еще как-то по-настоящему встряхнуться не может, рук не хватает: на плотках — бабы, у пилорам — бабы», — начал я, хотя казалось, что все, что можно было рассказать, было уже рассказано и о Чите и о Москитовке и ничего уже не оставалось в памяти. Но Василий Александрович спрашивал, а я отвечал, и оба мы долго еще вели как будто интересующий нас разговор, хотя ни ему, ни мне не доставлял он ни интереса, ни удовлетворения. Не знаю, какие думы охватывали его, но я постоянно и с еще большим теперь, кажется, волнением посматривал на Ксеню, уже не только обращая внимание на болезненную бледность ее щек, а мысленно представляя, как должна была жить она, что уже сейчас, когда ей нет еще и тридцати. уже и эта бледность и утомленность: я воображал, конечно, по-своему, как жила она, но мне опять казалось, что я понимал ее, и хотелось (в какие-то секунды я был совершенно готов к этому и не помню, как только сдерживался), прямо взглянув в глаза Василию Александровичу, спросить: «Что ты сделал с Ксеньей?» Но, однако, мы продолжали вежливый и как будто радовавший всех нас разговор, пока наконец Василий Александрович, взглянув на часы, не встал из-за стола и не сказал, устало потянувшись:

«Ты где остановился?»

«Как где?»

«Где, говорю, остановился, в гостинице?»

«Да», — ответил я, хотя даже не знал, есть ли в городе гостиница и где расположена она.

«А то остался бы у нас, нашли бы место где переночевать».

«Нет, спасибо».

«А из Калининвичей когда? Завтра?»

«Думаю, завтра».

«Куда?»

«В Речицу».

«А-а, это ты хочешь на вокзал, где нам снайпера прицелы поразбивали, ну-ну».

«Потом в Ветку».

«А-а, на тот самый песчаный откос, на лобное место, ну-ну, помню».

Он помнил, конечно, и уличные бои, которые мы вели в Речице, и вокзал, где немецкие снайперы так прижали нас к земле, что до самой ночи мы не только не могли поднять головы, но боялись пошевелиться, и помнил так же хорошо песчаный откос на берегу Сожа, под Веткой,

где была развернута батарея на прямую наводку, чтобы поддержать переправу, и куда после неудачного форсирования, когда немцы танковым контрударом сбросили нашу пехоту в воду, прибывало волнами посиневшие трупы солдат, но, помня все, вместе с тем не хотел сейчас, и это было заметно, вдаваться в подробности; в том, как он произносил «ну-ну», будто снисходительно похлопывая в знак одобрения по плечу, в мгновенном взгляде, какой бросил на рюкзак, как только я тоже, поднявшись, вышел из-за стола (было в этом взгляде что-то вроде: «Уходишь? Пожалуйте, я готов!»), нельзя было не почувствовать, что он желает лишь одного — поскорее распротиться со мной. Даже самого элементарного: «Посидел бы еще, куда торопишься, столько лет не виделась», — что говорят в таких случаях иногда и не очень-то гостеприимные хозяева своим не очень-то желанным гостям, Василий Александрович не сказал, и оттого, может быть, никогда прежде не испытывавший к нему неприязни и не позволявший себе в тот, прошлый приезд думать о нем плохо, теперь, видя и чувствуя это его желание поскорее проводить меня, я с раздражением говорил себе: «Вот ты какой, вот когда раскрылось твое нутро! С годами раскрывается, правильно говорят, с годами, и ты не имел права жениться на Ксене. Ты сделал ее несчастной, взгляни, ты сделал ее такой!» Я горячился, хотя все это было напрасно, и позднее, когда с Василием Александровичем мы снова стали друзьями и многое объяснилось, и на эту встречу, и на его поведение я смотрел уже иначе, но в тот вечер все во мне бурлило и я лишь сдерживал себя, чтобы не наговорить грубостей (не наговорить, главное, при Ксене) бывшему своему комбату. Стараясь не смотреть на него, чтобы случайно не встретиться с ним взглядом, я начал прощаться с женщинами.

«Спасибо, Мария Семеновна, — как можно ласковее проговорил я и, когда она протянула руку, пожал ее. — Спасибо и вам, Ксения, за вечер и до свиданья», — обратившись к ней и слегка наклонив голову по старой еще, военной, офицерской привычке, продолжил я, и так как она тоже протянула руку, пожал ее холодные белые пальцы; когда же повернулся к двери, чтобы взять лежавший у порога рюкзак, прямо передо мною уже с рюкзаком в руке словно выросла, загораживая все, фигура Василия Александровича.

«Я помогу», — сказал он.

Я молча взял у него рюкзак и накинул на плечи.

«Ну, до свиданья, — еще раз обратился я к женщинам, которые, было видно, не собирались провожать меня. — Желаю вам здоровья и счастья. Ну, Василий Александрович...» — начал было я, но он не дал договорить.

«Я провожу, ничего, мы еще обнимемся», — сказал он и открыл дверь.

Молча прошли мы через темные сенцы, спустились с крыльца и так же молча прошли через двор; когда уже оказались за калиткой, как и во время того, давнего прощания, он вдруг жестко взял меня за плечо и, взглянув в темноте в лицо, с какою-то будто просьбою проговорил:

«Не думай обо мне плохо».

«А я и не думаю».

«Облить грязью человека всегда легко, а понять его душу трудно. Не думай плохо, слышишь, говорю тебе».

«А я и не думаю».

«Ну, дай обниму на прощанье, что ли, — добавил он, и я снова ощутил под рюкзаком на спине его широкую, теплую и жесткую ладонь и возле щеки своей его щеку. — Иди. И хорошо, что зашел, и заходи еще, ради бога».

Я не оглядывался, когда по неосвещенной, темной улице уходил от дома Ксении, но знал, что Василий Александрович стоит у калитки и смотрит мне в спину; ему тоже, наверное, как и мне, нелегко было



теперь, после этой нашей встречи, он по-своему видел, понимал и переживал ее, представляя, как он обошелся со мной, бывшим своим фронтовым товарищем, но все мы в какие-то минуты жизни бываем эгоистичны, и потому я не думал, с каким чувством остался Василий Александрович у калитки; меня не волновали его переживания; даже злости той, что испытывал в комнате, прощаясь со всеми, теперь как будто не было во мне, а лежало на душе лишь какое-то горькое, неприятное ощущение, будто я проглотил что-то колючее, жесткое и надо было чем-то запить, чтобы размягчилось и растворилось это колючее и жесткое. Я невольно сравнивал то, как Василий Александрович держался дома, в присутствии Ксении, с тем, как разговаривал со мной (и ведь это не первый раз!) только что, когда мы стояли вдвоем, и мне казалось, что было что-то унижительное в его словах: «Облить грязью легко, а понять душу трудно» — и особенно в просьбе: «Не думай плохо». «Конечно же, он виноват,— говорил я себе,— и все дело в нем, как они живут, в каких-то дурных, может быть, отвратительных поступках, которые он совершает, понимая, однако, что делает гадко, но повторяет снова и снова, не в силах побороть своего характера, и потом кается,— есть же такие люди, и сколько угодно, терзающие свои семьи! — вымаливает прощение у Ксении и Марии Семеновны, как вот сейчас вымаливал у меня. Но Ксения, Ксения!..» Ни в какую гостиницу, разумеется, я не пошел, это не входило в мои планы; и в Речицу и Ветку вовсе не собирался ехать, а сказал тогда лишь то, что первое пришло в голову, чтобы хоть как-то сгладить поспешное расставание; знакомая еще с давних лет дорога привела меня на вокзал, и я до утра просидел уже, конечно, не в холодном дощатом бараке, а в теплом и светлом зале ожидания для пассажиров, на скамье рядом с разросшимся в дубовой кадке и заслонившим своими широкими листьями весь угол фикусом, а как только открылись кассы, взял билет на Москву.

Покидал я Калининичи опустошенным, на душе было так тяжело, что ни о чем не хотелось думать; но и не думать я не мог, передо мною постоянно словно стояли две Ксении: та, какую я знал ее прежде, и эта, какой увидел теперь, похудевшая, утомленная,— и при одной лишь мысли, что она несчастна, а в том, что она несчастна, я ни минуты не сомневался, я весь как бы съеживался от страдания и боли. Я не знал, в чем она несчастна, но мне казалось, что все было понятно мне. Мне было жалко ее; вместе с тем, как ни обвинял я Василия Александровича и как ни казался он мне жестоким и нехорошим, было жалко и его и Марию Семеновну, и те ее слова: «По ночам валенки подшивать» — теперь будто расшифровывались, и я представлял, как Василий Александрович, вернувшись с дежурства из диспетчерской, пристраивался на низенькой скамеечке у стены (я видел эту скамеечку, она стояла под лавкой, у печи), брал валенок, зажимал между коленями и, однорукий, сгорбленный, ловчась, помогал себе подбородком, плечом, грудью, работал до поздней ночи, подрабатывал, а зачем? Где этот его приработок? Вся жизнь Василия Александровича, Марии Семеновны, Ксении с ее явной семейной неустроенностью и непонятною (ведь с приработком!) нуждою оставляла тяжелое чувство. «Опоздал», — мысленно говорил я себе, лежа на полке в купе и ни на что как будто не глядя и ничего не замечая вокруг, лишь чувствуя, как все прошлое — и мое и Ксении — и будущее словно сливалось в этом одном и горестно звучащем для меня слове.

### *Час седьмой*

— В Москитовку я вернулся иным человеком,— продолжал Евгений Иванович.— Правда, сам я не замечал, какие произошли во мне перемены, но Зинаиде Григорьевне, как она потом

рассказывала, я показался и похudevшим, и утомленным, и необычайно расстроенным, и каким-то даже будто рассеянным и забывчивым («Смотришь на меня и не видишь,—говорила она,—хоть воду подай, хоть щи, хлебаешь ложкой, а вкуса нет, гляжу, сердце заходит!»), и она, разумеется, не зная, что произошло со мной, всей душой, как она выразилась, ненавидела те далекие и неведомые ей Калинковичи, которые испортили, сделали как бы чужим дорогого ей человека; она даже молилась по ночам, устанавливая в уголок икону и зажигая свечу, но, повторяю, узнал я об этом много лет спустя, а в тот год, когда вернулся, помню лишь, что на целые дни, пока, конечно, не начались занятия в школе, уходил в лес, и осенние краски — желтая листва берез и темная зелень елей — производили на меня то успокаивающее действие, какое, как я давно уже убедился, всегда производит природа на человека, особенно горожанина, как только он выезжает в поле, на море или в лес. Бродил я бесцельно, без ружья — убивать птиц и зверей ради удовольствия, пусть спортивного, нет, увольте, это не для меня! — разгребая сапогами опасные сухие желтые листья, иногда по колена зарываясь в них, и шорох, и особенный запах увядания, и небо сквозь полуогороженные, в редких еще листочках ветви, белесое, осеннее, как будто выгоревшее и уставшее за лето, — все-все было словно чем-то новым для меня, я все замечал, всем любовался, и все так закрепилось в памяти, что часто и теперь, вспоминая, мысленно переношусь в тот осенний лес, и в такие минуты все как бы укладывается во мне, и я — нет, не говорю себе, это было бы смешно и глупо, но всем будто существом чувствую то непрерывное и ободряющее движение жизни, что после каждой осени непременно будет весна и лето и что после каждой горечи — непременно успокоение и новые, может быть радостные, волнения. Несложное, как видите, нехитрое повторение, а вот содержит же какую-то неизмеримую глубину. Помню еще, что зима в том году пришла рано и была снежной, метельной; сугробы лежали вровень с крышами; когда же стихали ветры, в морозные ясные дни все покрывалось густым сизоватым инеем: и бревенчатые стены изб, и телеграфные столбы, и провода на них, отяжелев, как белые канаты, висели в воздухе, и ветви берез, елей и воротники, спины и шапки шагавших в синей рассветной мгле на работу людей — все покрывалось инеем, и у меня тоже, когда входил в теплый коридор школы или, уже поздно вечером, входил в натопленную избу Зинаиды Григорьевны, брови бывали так опущены, что приходилось платком вытирать, как слезы, этот таявший иней. В общем, жизнь не останавливалась, текла день за днем своим чередом, выдвигая разные новые заботы, и, откровенно говоря, я не думал ни о Ксене, ни о Василии Александровиче, а просто, знаете, как это бывает иногда, испытывал равнодушие ко всему; может быть, и с вами случалось такое, когда все равно, живешь или не живешь; но с первыми весенними днями, когда над окнами повисли длинные голубые сосульки и когда солнце все чаще начало заглядывать в класс, освещая согнутые головки ребят, опять, сперва исподволь, постепенно, но с каждой неделей все сильнее, прежняя же мысль о поездке по местам боев возникла и будоражила сознание. Правда, Калинковичи даже мысленно я старался не затрагивать и говорил себе: «В Речицу или Ветку». Я опять обманывал себя, но, как и раньше, не замечал этого, и как только сошел снег, к великому огорчению Зинаиды Григорьевны (знай я, что она огорчена, может быть, не поехал бы, и все пошло иначе, но я был глух к ее чувствам до самого отъезда, когда уже ничего нельзя было изменить), к великому огорчению Зинаиды Григорьевны, вновь принялся собираться в дорогу.

Опять мы шли по тропинке через тайгу, но, прежде чем войти в густой березняк и ельник, останавливались и, оглянувшись, смотрели на

деревянные домики поселка, на корпуса лесозавода, изгиб реки, пристань и плоты у желтого песчаного откоса, и опять словно специально (потому что она шла позади меня) выростала в эти минуты передо мною стройная и нарядная фигура Зинаиды Григорьевны, и я смотрел на все поверх ее головы и плеч; и шагали молча; и так же долго сидели на скамейке, ожидая поезд, а солнце, клонившееся к горизонту, обаграло своими закатными красками тайгу, а когда зеленые вагоны, прогромыхав, на секунду остановились, так же торопливо, пожелав лишь счастливо добраться домой, но не обняв и не пожав руки Зинаиде Григорьевне, вспрыгнул на подножку и уже сттуда, из тамбура, из-за плеча проводника смотрел, как уплывал в сумерках дощатый перрон вместе с неподвижно стоявшей на нем Зиной. Вообще-то многое тогда напоминало мне первую поездку, с той лишь разницей, что, прибыв в Калининичи, с вокзала я не пошел к дому Ксени, а, добравшись на автобусе до рынка, сразу же на попутной машине отправился в Гольцы; да и в Гольцах, постоянно заглушая в себе желание увидеть Ксению, прожил лишь день, а когда вновь вернулся в город, снял номер в гостинице и почти все время с утра до вечера лежал на кровати, как больной, вспоминая, прислушиваясь к шуму улицы, забываясь в дремоте и снова, очнувшись, продолжая думать и вспоминать. Меня беспокоила судьба Ксени. Я был убежден, что она несчастна, и мучился оттого, что ничего не мог сделать для нее. «Но, может быть, я ошибаюсь и все не так»,— пробовал говорить я себе и, хотя уже пора было мне уезжать, со дня на день откладывал сборы, чувствуя, что не могу уехать, не повидав ее и не узнав, как живет она и что подельвает Василий Александрович (к нему-то, впрочем, была у меня как будто определенная, устоявшаяся неприязнь), и в то же время не решаясь идти к ним. Сознание того, что я чужой, лишний и нежеланный там человек, угнетало и удерживало меня от этого шага. Несколько раз в сумерках все же я подходил к дому Ксени, но, постояв у калитки, возвращался в гостиницу, и только когда уже был куплен билет и все уложено в дорогу, буквально почти за час до отхода поезда не выдержал и помчался к ним.

Все, как и в прошлый раз — и Ксения, и Василий Александрович, и Мария Семеновна,— были дома и, как в прошлый раз, встретили будто радостно и были заметно огорчены, когда, достав из кармана билет, я сказал, что заглянул лишь повидаться и что даже стакан чая выпить с ними нет времени; но за те короткие минуты, пока был у них — я опять сидел на стуле как будто перед шестком и длинной скамьей с ведрами и чугунками,— успел и разглядеть все (все было по-прежнему, и низкая сапожная табуретка, на которой Василий Александрович по вечерам подшивал валенки, стояла там же, под скамьей у печи), и уловить то недоброжелательное друг к другу отношение (как иногда Василий Александрович неожиданным резким взглядом останавливал намеревавшуюся что-либо произнести Ксению и как Мария Семеновна снова, как и в прошлый раз, вдруг вмешавшись в разговор, с горечью бросила: «Живем? Что живем — тянем с рубля на копейку!»), и, главное, вновь поразило меня лицо Ксени. Может быть, я преувеличивал, находясь в возбужденном состоянии, и все заключалось лишь в том, как она стояла к свету — лампочка горела позади нее над головою, и оттого под глазами и у губ лежали глубокие и старившие ее лицо тени,— но мне некогда было раздумывать, отчего под глазами тени, от верхнего света ли, или от семейной неустроенности; когда, распрощавшись, я вышел из комнаты, а Василий Александрович, как и раньше, проводив до калитки, приготовился было обнять меня, я отвел его руку и тихо, но решительно, как никогда прежде не разговаривал с бывшим своим комбатом, спросил:

«Ты что с ней сделал?»

«А что?»

«Я спрашиваю: что сделал с ней?» — резко повторил я, наклоняясь к нему, чтобы в сумерках, когда он будет отвечать, увидеть его глаза.

«Если ты еще произнесешь хоть слово,— так же тихо, но угрожающе проговорил он,— ударю».

«За что?»

«Знаешь».

«За что же?»

«Иди, а то опоздаешь на поезд».

Я еще стоял и смотрел на него, а он, будто меня уже не было, закрыл калитку и, не сказав даже до свиданья, повернулся и пошел в темноте через двор в избу; и сейчас же послышалось, как в сенцах за дверью громыхнула задвижка.

Догнать, крикнуть, остановить, снова постучаться — все это было бессмысленно; я помню, что еще несколько минут смотрел на избу, которая мне казалась огромной на фоне синего ночного неба, и затем побрел к автобусной остановке. Мне было все равно, успею я или не успею на поезд, и до сих пор не могу понять, как случилось, поезд ли шел с нарушением графика, но только когда я очутился на вокзале, поток пассажиров только-только хлынул к входным на перрон воротам. Я уезжал из Калинковичей с таким злым чувством, какого еще никогда не испытывал в жизни, и как только приехал в Мосkitовку, сейчас же написал Василию Александровичу письмо, длинное, подробное, изложив все, что думал о нем, о судьбе Ксении и вообще о жизни, как понимал ее тогда. Послал на диспетчерскую, где он работал, так как не хотел, чтобы о письме знала Ксения; мне представлялось это лишь нашим, мужским разговором, на который я имел, думаю так и теперь, полное право, но он не ответил мне; спустя несколько месяцев я написал еще и, опять не получив ответа, послал уже на домашний адрес (разумеется, в этом, последнем, только осведомлялся, живы ли и здоровы они и что поделявают) и, когда уже совсем разуверился, что хоть что-нибудь ответит мне Василий Александрович, неожиданно весной, в конце мая, получил от него наконец маленькое послание, в котором он сообщал, что «все хорошо, жизнь идет как должно», но что «Ксению вот положили в больницу» и что ей «предстоит серьезная операция». В тот же день я дал телеграмму: «Чем могу помочь?» — и хотя получил ответ: «Спасибо, ничего не надо», — да и дела складывались так, что мне нельзя было уезжать, все сразу: и защита дипломной, и мать, жалующься на здоровье, просила приехать в Читку, и к тому же с Зинаидой Григорьевной я уже жил не как с хозяйкой, у которой снимал квартиру, а как с женой, и ей надо было теперь объяснять все, — я все же, взяв отпуск, срочно выехал в Калинковичи.

«Примчался?»

«Да».

«Я это знал, — добавил Василий Александрович, закрывая за мной дверь. — Бросай рюкзак на лавку, раздевайся и проходи».

Он был в доме один, я понял это сразу, оглядев показавшуюся мне пустой и неудобной комнату.

«В больнице еще, — сказал Василий Александрович, перехватив мой взгляд. — Операция вроде прошла удачно, дело идет на поправку».

«А Мария Семеновна где?»

«Там же, в больнице».

«С ней что?»

«Но ты же еще не знаешь, что с Ксенией», — недовольно перебил он.

«Да, конечно, что с ней?»

«То-то, «что с ней»... Чаю хочешь? Еще горячий, могу угостить,— предложил он и тут же, не дожидаясь ответа, направился к висевшему на стене потемневшему деревянному посудному шкафчику и, открыв дверку, принялся одною своею рукою доставать граненые стаканы и блюдца и устанавливать на столе.— Что с ней? Почку удалили,— уже на ходу продолжил он.— Да и оставшаяся, говорят, не очень. А Мария Семеновна, что ж, как нянечка при ней, и все. А-а,— протянул он вдруг, перебивая себя и с нескрываемой досадой махнув рукой,— все на лечение, ты не знаешь и не можешь представить себе, Евгений, сколько потрачено на ее лечение! А сколько она совершила глупостей! А-а, говоря между нами, откровенно, я уже измучился, устал, и все мне надоело, осточертело, вот, на загровке все»,— закончил он, ребром ладони пропилив по своей согнутой шее.

Никогда прежде и никогда потом я уже не видел Василия Александровича таким расстроенным, удрученным, недовольным собой и жизнью, каким он был в этот вечер, когда мы вдвоем сидели за столом в той самой избе, которая была нам обоим памятна еще с фронтовой зимы, когда на рассвете мы вступили в освобожденные Калининичи, и которая была давно уже теперь его родной избой, семейным, но не сложившимся, как он с горечью выразился, очагом, где жизнь стала для него не радостью, какою она должна быть для всех и какою, как ему казалось, живут, по крайней мере, многие и многие, а одною бесконечною и трудною, как для рабочей лошади, дорогою. Он говорил неторопливо, долго, весь вечер: и пока пили чай, и после, когда просто сидели за столом друг против друга, и удивительно — как я теперь понимаю, несчастья всегда сближают людей! — держались мы так, будто ни разу не ссорились, а, напротив, всегда оставались друзьями, даже более: словно и не первым был этот доверительный, душевный разговор, а давно уже мы делились жизненными впечатлениями, и будто я не только слушал и понимал, что он говорит, но и вполне разделял его мнение и сочувствовал ему. Да и на самом деле, ошеломленный этим его неожиданным откровением, я, казалось, действительно понимал и действительно сочувствовал ему; он выглядел настолько постаревшим (в те свои приезды я ведь смотрел только на Ксению, и волновало меня лишь то, что происходило с ней!), что минутами не верилось, что передо мною сидит теперь тот самый бывший мой комбат капитан Филев, обычно подтянутый, стройный, строгий к себе и к окружающим, как он запомнился мне с тех лет и представлялся в воображении, а какой-то другой, пожилой, опустившийся и сгорбленный под тяжестью жизни человек, у которого никогда будто не были боевой молодости, ни просвета, как не было сейчас левой руки, и он будто никогда не выходил за порог этой деревянной, с низким потолком и большой русской печью избы. Виски его были седыми; по всему лбу, разрезая его на линии, лежали глубокие морщины; днем они, наверное, не были так заметны, как теперь, вечером, при верхнем свете, потому что в них собирались тени; морщины постоянно двигались вместе с бровями, которые Василий Александрович то скидывал в недоумении, то сдвигал, хмурил, когда хотелось ему, очевидно, выразить особенное недовольство тем, о чем говорил, и видеть эти двигавшиеся морщины на когда-то молодом, красивом, полном жизни лице было грустно. Я думал: «Что я знаю о нем? И что знал, когда служили вместе?» Ведь это нам лишь кажется, что мы знаем своих друзей, а в сущности, если разобраться, я только и помнил, что родом он откуда-то из-под Смоленска, что крестьянский сын и что деревня его сожжена немцами дотла и все родные погибли, но то, как он жил до того, как мы познакомились на фронте, когда я пришел к нему на батарею, и то, как жил потом, эти годы, когда женился на Ксене, я по-настоящему не знал; а предположения, что ж, разве могут быть верными они, если я судил обо всем лишь по

впечатлениям от своих коротких и редких наездов? Я смотрел на его руку, которую он держал на столе, на широкую по-крестьянски ладонь и пальцы с прокуренно-желтыми ногтями, жесткие, грубые и с уже непромывающейся чернотой (это оттого, наверное, что он постоянно имел дело с дратвой, иглой и шилом), и поглядывал на низенькую табуретку, которая находилась все на том же, под лавкою, месте, где стояла и в прошлый и позапрошлый раз, когда я приезжал к Василию Александровичу, и хотя я никогда не видел его за работой, вся картина, как он, ловчась, изворачиваясь, орудовал иглою и шилом, вставала перед глазами.

«И что это дает?»

«Копейки, конечно. Но ведь и копейка к копейке — рубль!»

«А чем-нибудь другим заняться?»

«Чем? С одною-то рукой? А главное, время. Может, чему-нибудь и выучился бы, да кто бы семью кормить стал!»

Разговора такого не было; это потом, вспоминая, я думал, что именно так бы Василий Александрович ответил на мои вопросы, а в тот вечер я был, как уже говорил, настолько ошеломлен, особенно вначале, этой открывшейся мне жизнью, что больше слушал, чем спрашивал, и может быть, от жалости к Василию Александровичу, а скорее от того давнего чувства уважения к нему как к комбату (старшему по званию, по опыту жизни и по годам человеку), которое все еще было живо во мне, я не мог говорить ему ничего поучительного, лишь, выбрав момент, спросил:

«Но болезнь-то у нее откуда? Как случилось все?»

«О, это история длинная».

«Может быть?..»

«Ты думаешь, от того падения? Нет, не только».

«Но...»

«Не забегай, не надо, лучше послушай, ведь ты все равно ничего не знаешь о ней. Ну что ты знаешь? И я ничего не знал. Все мы открываемся постепенно и открываем людей постепенно. Пришел однажды к нам незнакомый старик, на втором или на третьем году, как мы поженились, снял шапку, поклонился и говорит: «Здесь живет Ксения Захарова?» «Ну, здесь», — отвечаю, и все мы вот гут, в комнате, собрались, смотрим на него и думаем: чего ему надо? А он тоже оглядел нас, затем сбросил с плеч мешок, достал из него завернутое в тряпицу сало, а тогда, знаешь, еще карточки были, положил на стол и, повернувшись к Ксене, низко, почти до полу поклонился и сказал: «От внучки моей, от Нади, тебе поклон и спасибо. Она умерла, а перед смертью просила обязательно найти тебя и поблагодарить. Так о тебе до последней минуты и вспоминала. Я обещал, и давно бы надо прийти, да все недосуг, все собирался, ан, может, гостинец какой получше, да ведь и нам отведены богом дни. Спасибо тебе, дочка, за Надюшу и от меня». И он еще раз низко поклонился Ксене. Мария Семеновна-то знала все и потому не удивилась, а я сейчас же с вопросами к старику, к Ксене: какая Надя? что было? А было, оказывается, вот что: согнали немцы с окрестных деревень девушек на вокзал, прихватили и из Калининичей, в том числе попала и Ксения, и всех их в эшелон и в Германию, как тогда они делали. Ночью на каком-то перегоне девушки в том вагоне, в котором была Ксения, выломали пол и поныряли вниз головой на шпалы, а зима, холод. Ксения-то выпрыгнула удачно, а эта самая Надя (там же подружилась, в вагоне) попереломала себе руки да и позвоночник повредила, вот Ксения двое суток и волокла ее через лес до деревни. Пообморозилась, простыла, а все же приволокла, спасла от смерти тогда, ну, та и благодарна. Вот что было. В двух словах, а за словами-то — жизнь! Потом и ей самой люди помогли добраться до Калининичей, и почти год жила она в погребке, пряталась от немцев, с тех пор и засту-

жены почки. Но ведь этого могло и не быть, вот главное.— При этих словах Василий Александрович как-то особенно, будто грозил кому-то, поднял указательный палец.— На другой день, когда старик ушел, Мария Семеновна и говорит: «По дурости она попала, Фроську побегла предупреждать, подружку, да и влипла сама. Там ее вместе с Фроськой и взяли. А сидела бы в сарае, куда я ее спрятала, и отсиделась бы, так нет, к Фросе...» «Мама!» — крикнула Ксения. «Ну чего «мама», или не так?» Есть, Женя, в ней эта черта,— продолжал Василий Александрович, в то время как я, молча глядя на него и слушаая, невольно представлял, как все происходило, как Ксения, краснея и умоляюще глядя на мать, просила замолчать ее (так уже было раз при мне, я хорошо помнил ту сцену).— Есть в ней этакая, я бы сказал, вселенская доброта. Женщина она хорошая, ничего дурного не скажешь, но эта ее черта... А прыгнула она тогда с крыши? Зачем? Прыжок не прошел даром. Да что прыжок, его еще можно объяснить, а вот кровь отдавала — она же, помнишь, в больнице сестрой работала,— это к чему? Сама-то уже больная, а туда же, берите, спасайте, как будто никого там, в больнице, кроме нее, и нет. Ночью, во время дежурств, разумеется. Да и узнавал-то я потом, после. А на картошку осенью... Вот уж чего ей совершенно нельзя было делать, так опять же подругу пожалела: к какой-то там Дусе ли, Мусе ли муж или брат из армии приехал, а ее в колхоз картофель копать, так не кто-нибудь, а Ксения вызвалась подменить ее и уехала на две недели, а вернулась оттуда желтая, кожа да кости. А ну-ка две недели по сырой земле да согнувшись, и это при ее-то здоровье! С той осени, собственно, все и началось: посылали ее и в Трускавец, и в стационар клали, и, в конце концов, забрал я ее с работы, и все. Может, и хуже сделал, да какая она работница, дома и чугунок поднять не может. А все из-за чего, Женя? Из-за этой своей, ну, как я говорил, вселенской, что ли, доброты. Она нужна, я понимаю, но ведь и всему мера должна быть. Поклон какого-нибудь старика — это еще не жизнь. К людям с добром, а к себе, к семье, к мужу? Где тут грань? Чужих жалко, а себя, ближних? Вот и окинь теперь, как и что было. А всякая щедрость за счет других — не такое уж и великое дело. А-а,— опять протянул он и, как и в самом начале разговора, досадно махнул рукой,— что я говорю! Пережить это надо, потянуть ляжку, и без слов станет ясно что к чему, так что ты не очень-то жалеешь, ты знаешь, о чем я, а то тебе пришлось бы сейчас вот так рассказывать, а я бы молчал и слушал».

Мы долго еще сидели за столом, и Василий Александрович то затихал и тогда, склонив голову, всей пятерней своей единственной руки прочесывал и приглаживал довольно густые еще и лохматившиеся волосы, то опять начинал говорить, возвращаясь к тому же, что давно уже, как видно, мучило его, с чувством какого-то будто удовлетворения отыскивая в памяти новые и новые примеры Ксениной вселенской ой — он уже с усмешкою произносил это слово — доброты; у меня осталось такое впечатление, словно он перекладывал груз со своих плеч на другие, потому что, в то время как ему становилось как будто легче от того, что он говорил, я испытывал совершенно иное чувство. Я не мог твердо сказать себе, прав ли Василий Александрович или нет. То мне казалось, что он прав, и во всем был согласен с ним, то вдруг, когда как бы становился на сторону Ксени, все во мне поворачивалось, я тоже наклонял голову и прочесывал пальцами волосы, но делал это для того, чтобы прикрыть ладонью вспыхивавшую на лице неприязнь к Василию Александровичу. «Что он говорит? Как можно?» — думал я, из-под пальцев глядя на Василия Александровича.

Стакан с недопитым и остывшим чаем так и остался на столе, когда уставший от разговора Василий Александрович предложил наконец от-

правляться на покой, так как утром чуть свет ему надо было бежать в диспетчерскую, а вечером после пяти навестить Ксению в больнице.

«Пойдем вместе,— сказал он,— если хочешь».

«Разумеется».

«Спать можешь сколько душе угодно, Мария Семеновна придет часам к одиннадцати — прибрать, обед приготовить. Ну, спокойной ночи. Вот тебе топчан, а вот простыня, одеяло и подушка»,— добавил он, подавая их из-за перегородки.

Все, что он рассказывал, было для него повседневной жизнью, и потому, может быть, как только он потушил свет и лег в кровать, сейчас же слышался из-за перегородки его негромкий, какой бывает всегда у усталых мужчин, храп; он заснул сразу же, тогда как я долго лежал в темноте с открытыми глазами. Для меня его рассказ тоже был жизнью, но не повседневной, а новой, только что и неожиданно открывшейся, и потому я не мог не волноваться и не думать об этой жизни, а вернее, не думать о Ксении, Василии Александровиче и обо всем том, что узнал от него в этот вечер. «Может быть, ты и прав,— мысленно говорил я, будто мы все еще сидели за столом, и то, что надо было сказать Василию Александровичу тогда, я произносил, как всегда, запоздало, лишь теперь.— Но ведь и живем мы для чего? Не под себя же все подгрести, а людям. А люди нам. И в этом — общество, в этом — единство и цель. А что можно предложить взамен? Каждый для себя? Но это уже было, веками было, и надо хоть чуточку знать историю, тогда сразу все станет на свои места»,— продолжал я, чувствуя, однако, что эти привычные, всегда казавшиеся незыблемыми формулировки — да и что может быть благороднее, точнее, понятнее и проще, чем: «Жизнь для счастья людей!» — звучали будто неестественно, ложно, а перед глазами постоянно возникало постаревшее, усталое и морщинистое лицо Василия Александровича. «И он прав, и она по-своему права,— через минуту снова начинал рассуждать я.— Два разных человека, два взгляда на жизнь, я и раньше знал это, им нельзя было сходиться, вот и все, и нечего ломать голову. Главное, все у нее идет на поправку». Но как я ни утешал себя, не желая обвинять ни Василия Александровича, ни Ксению, заснуть не мог, в избе казалось душно; чтобы освежиться и развеяться, я оделся и потихоньку, стараясь не разбудить хозяина, вышел во двор.

Мы редко видим рассветы, а еще реже — ясные лунные ночи, и так мало знаем о красоте этих удивительных минут, что в первые мгновения, как только я очутился на крыльце и как только взглянул на залитые холодным сказочно-синим светом крыши дальних и ближних изб, которые, как стога, как, знаете, копны на сжатом хлебном поле, перекатываясь, уходили к темному, в уличных фонарях (желтые огни фонарей как раз и создавали иллюзию темноты) горизонту,— все тяжелые мысли как будто вдруг отступили, и я сначала с крыльца, а потом уже стоя посреди двора, с удовольствием смотрел на все, что было вокруг и что представлялось иным, чем обычно видится днем, нечетким, не угловатым, расплывчатым, даже у теней, казалось, не было ни размежающих линий, ни форм, и наслаждался тишиной и прохладой. «Как все-таки разнообразна красота жизни и как суживаем мы эту красоту только до дневных красок, а еще чаще — до серых комнатных стен»,— уже прохаживаясь по дорожке от калитки вдоль закрытых ставень избы до крыльца и обратно и все еще с удивлением глядя вокруг, говорил я себе. Я то поглядывал на луну, которая сползала за крышу сарая, то опускал голову, когда входил в полосу тени и когда хотелось отыскать глазами как раз ту разделяющую черту, что неприметно лежала на земле, и в какую-то минуту — я даже не заметил, как случилось это,— остановившись, почувствовал, что ни луна, ни ночь, ни тени не



интересуют меня и я снова думаю о Ксене. Я присел на ступеньку крыльца, пытаюсь еще во что-то вглядываться, чтобы вырваться от наседавших дум, но это что-то — жердевая ли ограда, смутное ли очертание избы на противоположной стороне улицы — уже не привлекало и не удивляло меня; я как бы втягивался в мир, которым жила Ксения и который всегда казался понятным мне, и на все рассказанное Василием Александровичем смотрел не своими и не его, а ее глазами. «Вот здесь, в этом дворе, в этой избе, в этом сарае происходило все», — мысленно произносил я. Я не закрывал глаз, чтобы представить, как все было, как Мария Семеновна, узнав от кого-то (мне не важно было от кого, я не уточнял это), что будет облава, что полицаи и немцы пойдут по избам забирать девушек для угона в Германию, прибежала запыхавшаяся, бледная и, ничего не говоря дочери, а схватив ее за руку, торопливо, лишь причитая: «О господи, да живее ты, живее», — потащила в сарай, чтобы спрятать за лари, за дровяной штабель, за ворох невесть когда привезенной потемневшей и слежавшейся соломы, и уже затем, сидя по одну сторону поленицы или вороха (Ксения же, спрятанная, сидела по другую, у стены), наконец начала негромко, как она вообще говорит (как всегда произносила фразы при мне), объяснять, чтобы Ксения сидела тихо, не шелохнувшись, когда придут эти ироды человеческие искать ее, — нет, мне не надо было закрывать глаза, чтобы представить и услышать это; я смотрел на сарай, на синие в темноте и запертые его двери, и то прошедшее — необъяснимой таки бывает порой сила человеческого воображения! — чего я не знал и о чем лишь только сегодня услышал от Василия Александровича, разворачивалось передо мною живой жизнью, будто я сам когда-то испытал все, сам сидел за поленицей и слушал негромкий и взволнованный голос Марии Семеновны. Я думаю теперь, что, может быть, все было не так, и наверняка, пожалуй, не так, и не за поленицей дров, а за старыми, пыльными досками была спрятана Ксения или даже в той самой трехлетней давности соломе, но мне представлялось тогда, что все было именно так, и минутами я лишь с удивлением восклицал: «Так вот почему мне всегда был понятен ее мир: я непременно поступил бы так же, как она, и побежал бы предупредить товарища; я-то спасусь, а он? Его угонят?» «Фрося! Она ничего не знает! Предупредить, сказать!» — с этой мыслью, замирая, придерживая дыхание, прислушивалась Ксения к удалявшимся шагам матери, к тому, как звякнула на морозе дверная железная щеколда с наружной стороны сарая. Глаза ее приглядывались к наступившей темноте; от березовых поленьев, от заиндевевшей бревенчатой стены веяло в лицо холодом; когда же наконец в тусклом свете, который все же откуда-то проникал за поленицу, стали различимы предметы, Ксения настороженно приподнялась; секунда, другая — и вот она уже расшвыривает неколотые березовые чурбаки, которыми заложила ее мать, кидается к двери и еще через секунду уже бежит по огородам, подлезая под жерди и перепрыгивая через плетни, к дому Фроси; я вижу, как бежит она, а кажется, бегу сам, хватаюсь голыми, без варежек руками за те самые опущенные снегом жерди, и — вот он, дом Фроси, вон улица, и по ней, направляясь прямо к дому Фроси, двигаются полицаи и немцы с черными, отвисающими на груди автоматами. Я смотрю на них, стоя за углом баньки, что на огороде, и тороплю себя: «Скорее, надо успеть», — бросаюсь к дому, но уже поздно; и назад поздно; но я не кричу: «Мама!» — нет, я знаю, и Ксения не кричала, а вместе с подругой, подталкиваемая в спину автоматами, вышла со двора на улицу.

«Шнель! Шнель, русиш фрейлейн!»

В то время как я неподвижно сижу на ступеньке крыльца, почти над самым ухом отчетливо слышу, как звучат эти немецкие слова (мо-

жет быть, фрицы выкрикивали что-нибудь другое, да в этом ли дело?), и ужас перед тем, что ожидает меня и Фросю (Ксеню, разумеется, и ее подругу), охватывает сознание; я не просто вижу, как всех их, согнанных на перрон девушек, вталкивают в вагоны, но чувствую в себе, что испытывали Ксения, Фрося, все-все, находившиеся и по эту сторону конвоя, в вагонах, и по ту, где в толпе голосивших и заламывавших руки от отчаяния и горя женщин стояла Мария Семеновна. Перед самым как будто моим лицом с грохотом захлопываются тяжелые двери вагона, и под громкие выкрики непонятных команд, под плач и вой провожающей толпы, лай спущенных с поводков овчарок и автоматные очереди — все это теперь звучит приглушенно за деревянной стеной вагона — состав трогается, набирает скорость, и вот уже во всем притихшем эшелоне слышен лишь один скорбный, разрывающий душу стук колес о промерзлые рельсы. Ледяной ветер пронизывает вагон, белыми снежными швами затягиваются щели на стыках досок; даже солома на нарах сизая от инея, и сидят на этой заиндевевшей соломе Фрося, Ксения, Надя, та самая Надя, которую потом, ночью, Ксения потащит на спине по снежным сугробам через лес к деревне, а пока они еще незнакомы, лишь жмутся друг к другу, в пальтишках, платках, спина к спине, плечо к плечу, как солдаты, как мы в землянках, помните, чтобы было теплее; и все молчат, у всех одно чувство; и тем сильнее оно, чем сумрачнее и холоднее становится в вагоне.

«Ты откуда?»

«Из Гольцов».

«Как тебя звать?»

«Надя».

Не из Гольцов, конечно, она; я не запомнил деревню, которую назвал, рассказывая, Василий Александрович (да и назвал ли вообще?); но выдумывать я не мог, за словом «Гольцы» стояла действительность, и потому таким представлялся мне разговор между Ксеньей и Надей.

«А как тебя?»

«Ксения».

«Ты откуда?»

«Мы с Фросей из Калининичей».

«Что же теперь будет с нами?»

«Надо бежать!»

Откуда-то снизу, как будто из-под нар, раздался этот резкий и решительный голос.

«Но как?»

«Пусть только стемнеет!..»

«Пусть только стемнеет», — мысленно повторяю я и так же, как когда-то Ксения, жду этой ночной темноты, когда все должно решиться; ступеньки крыльца — для меня нары, а все еще залитый лунным светом двор — та самая зимняя дорога, шпалы и рельсы, на которой вот-вот окажусь я, нырнувший вниз головой в темный и грохочущий провал вслед за Фросей и Надей. Я все вижу и все делаю, как делала Ксения, мне так же страшно, как было ей и всем, кто ехал с нею, но слезу я более не за этим внешним, что само по себе уже вызывает дрожь, а за чувством, которое определяло поступки Ксени. «Да, — говорю я себе, — очутившись один на заснеженной железнодорожной насыпи, я тоже не побежал бы сразу в лес спасаться, а пошел бы искать товарищей». И мне приятно, что именно так, а не иначе поступила Ксения, что, наткнувшись на израненную и незнакомую мне Надю, не бросила ее, а понесла и, замерзая сама, укрывала ее снятым с себя платком или шалью; и все последующее: как она двое суток пробиралась по снегу, что говорила, как ночью постучалась наконец в чью-то избу и ее впустили, отогрели, накормили и держали, пока не набе-

рется сил, и то, как добралась домой, как встретила с ошеломленной, испуганной и обрадованной матерью, а затем отсиживалась месяцами в подполе, выходя лишь глубокой ночью, — все хотя и виделось в деталях, в подробностях, но главное, за чем я следил и что особенно волновало меня, был душевный мир Ксени. Мне казалось, что я еще никогда не понимал так ясно этот ее мир, как в эти минуты, и никогда не был он так близок мне, как теперь; и то, как она просилась на батарею, ее прыжок с крыши — все как будто поворачивалось иной стороной, и я отчетливо сознавал, что, конечно же, не от любви ко мне (хотя я ведь и тогда понимал это) стремилась она к нам в часть и на фронт, а двигало ею другое и высшее чувство, и я радовался теперь, что оно было в ней, это высшее чувство, то самое как раз, что мы называем иногда «жить жизнью народа, страдать и радоваться вместе с ним», что было оно естественным и что я не ошибался тогда, а чувствовал, понимал, видел в ней это. «Как же он может осуждать ее? — снова, теперь уже с нескрываемым недоумением мысленно спрашивал я Василия Александровича, хотя он не сидел рядом, здесь, на ступеньках крыльца, а утомленно похрапывал в своей комнате, там, за дощатыми сенцами и бревенчатой стеною. — Да что он! Он что?» Мне казалось непростительной сухостью, с какою Василий Александрович говорил о приходившем к ним в дом Надином дедушке; я знал, что испытывал бы совершенно иное чувство к нему, чем Василий Александрович, и был бы счастлив и горд за Ксению, видя склоненного перед нею в благодарности старого человека. «Поклон — еще не жизнь... Да, не жизнь, но признание жизни, признание добра, что ты сделал людям, и надо еще заслужить эту честь, чтобы тебе поклонились в ноги», — с запальчивостью продолжал я, как будто вот передо мною в эти самые минуты старческие крестьянские руки выкладывают на стол и разворачивают самый дорогой, какой только мог тогда принести деревенский человек в город, гостинец — кусок обсыпанного комочками соли обыкновенного домашнего сала. «Да, да, надо еще заслужить этот поклон», — повторял я, в то время как вся последующая жизнь Ксени, как я знал ее теперь по рассказу Василия Александровича, событие за событием проходила передо мной, и я то как будто присутствовал при разговоре в больнице, когда срочно требовалась кровь для оперируемого (слава богу, не один раз лежал в госпитале, потому легко и представлял себе все; мне ведь тоже после тяжелого ранения, когда извлекали осколок из ноги, было это в Брянске, вливали донорскую кровь!), как выходила вперед Ксения и предлагала свою, ее вели в специальную комнату, укладывали на застланную светлой-желтой больничной клеенкой кушетку, вводили в перетянутую и набухшую вену иглу, а через несколько минут, бледная, под цвет своего белого халата, но удовлетворенная тем, что сделала, лежала одна в палате, отдыхая, набираясь сил, и это ее счастье так же, как весь мир ее мыслей, было понятно и дорого мне, дорого, может быть, именно потому, что я поступил бы так же, как она, а не иначе. И ее поездка в колхоз на уборку картофеля, и еще разные добрые дела, которые, как выразился Василий Александрович, делала она для других в ущерб семье и мужу («Легко быть добрым за счет других!» — нет, я не повторял эту фразу Василия Александровича, но ежесекундно помнил о ней и всей своею, а вместе с тем и Ксениной жизнью протестовал против нее), — все представлялось как лучшие порывы души, которые следовало бы ценить, а не осуждать, как это делал сегодня недовольный своей судьбою Василий Александрович. То, как приходилось ему, я сбрасывал со счетов; я думал, что нельзя не ощущать себя счастливым уже потому, что живешь рядом с такой женщиной, как Ксения; я снова как бы обожествлял ее, и все, что когда-либо испытывал к ней, все повторялось во мне с удесyтеренной, наверное, силой, и я по-

нимал и ценил Ксению больше, чем когда бы то ни было. «Конечно же, что — цвет волос, что — красота лица! Красота души — вот главное, что в ней, и я сразу, тогда еще, во время первой встречи, почувствовал это, хотя не знал ничего из того, что знаю теперь, — думал я. — А, может, знал?» И мне казалось, когда задавал себе этот вопрос, что да, знал, потому и тянулся к ней, приезжал все эти годы, потому и сейчас сижу здесь, на ступеньке крыльца ее дома, перебираю в уме подробности ее жизни, и память уводит меня в далекое прошлое, к той фронтальной зиме, когда впервые увидел ее — как я сидел рядом с ней за столом и с замиранием и теперь уже неповторимым юношеским восторгом поглядывал на ее серые и серебрившиеся в свете керосиновой лампы косы. «Если бы все могло повториться, — рассуждал я, оглядывая все тот же залитый холодным лунным светом двор, — я бы теперь сделал все, чтобы не опоздать, а опередить, именно опередить моего бывшего комбата».

Наверное, я долго сидел на крыльце, потому что когда, почувствовав холод, поднялся, чтобы встряхнуться и поразмяться, с удивлением заметил, что над городом уже поднималась на востоке и расползалась по небу светлая полоса рассвета.

«Надо хоть часок вздремнуть», — сказал я себе и так же тихо, как выходил, стараясь ни за что не задеть, вошел в избу. За перегородкой по-прежнему ровно похрапывал спавший Василий Александрович.

«Это ты? — вдруг послышался его голос, когда я, уже раздевшись, укладывался на жестком топчане у стены. — Чего шастаешь? Спи, завтра пойдем к ней, все обойдется, спи».

Проснулся я поздно, около одиннадцати, и едва открыл глаза, весь вчерашний разговор с Василием Александровичем и ночные размышления, когда ходил по двору и сидел на крыльце, все сразу как бы вновь возникло передо мною, и до самого вечера, о чем бы я ни начинал думать, постоянно возвращался к Ксене, и вся ее жизнь, которую, как мне казалось, теперь-то я хорошо знал, и жизнь Василия Александровича, тоже представлявшаяся совершенно ясной, вызывали не просто тревогу, а то беспокойство, будто я сам был виноват перед ними: Ксенией, Василием Александровичем, даже Марией Семеновной, которую не видел еще в этот свой приезд, да так, впрочем, и не увидел в тот день, — словом, беспокойство, какое однажды уже испытывал, когда вдруг узнал о смерти Раи. Но там, тогда, я действительно думал я о Ксене. Я лежал на топчане, то выходил во двор и, как и ночью, сидел на ступеньке крыльца, посматривая сквозь редкую решетчатую изгородь на дорогу, не идет ли Мария Семеновна, или, когда уже день начал клониться к вечеру — не идет ли Василий Александрович; несколько раз входил в сарай и осматривал высокую, до самых жердевых перекладин и в два ряда выложенную поленницу дров, и тогда снова и с особенной как бы ясностью всплывало в памяти, как в ту далекую снежную зиму перепуганная Мария Семеновна завела сюда дочь, чтобы укрыть от немцев и полицаев, и я чувствовал, как от березовых чурбаков, от серых и пыльных сейчас бревенчатых стен веяло будто той же ледяной стужей, как и тогда, в ту зиму, и я глазами определял место, где могла быть спрятана Ксения, мысленно разбрасывал чурбаки, как делала, наверное,

она, высвобождаясь из этого холодного плена, а когда выходил во двор, невольно смотрел на зеленый теперь под солнцем огород, который, однако, представлялся мне заснеженным, с наметенными вдоль плетня сугробами, и я видел торопливо бегущую по этим сугробам к Фросиному дому Ксению. «Да иначе и не могло быть! Как же иначе?» — в сотый раз, может быть, повторял я одну и ту же фразу. Со стороны я казался спокойным: прохаживается неторопливо человек по двору, разглядывает капустные грядки на незнакомом, чужом огороде, сидит на крыльце или лежит в избе на топчане, заложив руки за голову, но, знаете, и я смело берусь утверждать, не в суете, не в мельтешении, не в той внешней оживленности, что обычно бывает на виду, заключается полнота жизни; я не могу припомнить для себя более трудный и деятельный день, чем этот, что провел тогда в доме Ксении и Василия Александровича; все вспоминалось, даже детство, Севастьяновка, паром и песчаная отмель на Омутовке, и Рая, и Зинаида Григорьевна, и бревенчатый настил, и, разумеется, поединок с немецкими самоходками — словом, все-все, что когда-то было пережито, а главное, еще не побывав в больнице у Ксении, я старался представить ее в палате, как она выглядела и что испытывала теперь, когда ей удалили почку и когда другая, оставшаяся, тоже, как с усмешкою сказал Василий Александрович (только таким, насмешливым, я и видел его лицо перед собой в эти минуты), «не очень»... Угрюмый, раздраженный, я все чаще подходил к калитке и вглядывался в заросшую травой — с одной лишь серою и даже будто тележную колею посередине — улицу; когда же наконец в лучах уже спускавшегося за крыши домов солнца показалась вдали фигура Василия Александровича (ну, я сразу узнал, что это он, по заткнутому за пояс пустому рукаву пиджака), от нетерпения ли, что надо было скорее идти в больницу, от радости ли, что хоть кончится теперь одиночество, я вышел на дорожку и торопливо зашагал навстречу, готовясь издали еще упрекающе крикнуть: «Да что же это ты, Василий Александрович, так задержался!» Но мне не пришлось говорить ему этих слов; почти в ту же минуту, едва только вышел за калитку, я заметил, что Василий Александрович идет неровною, пьяною походкой, сгорбившись, глядя под ноги и балансируя время от времени рукой, словно хватаясь за воздух; почти вплотную приблизившись ко мне, он остановился и несколько мгновений смотрел, как на совершенно незнакомого человека, силясь, может быть, узнать или понять, что за препятствие выросло на его пути, потом молча, как только это способно делать пьяные люди, отстранил меня рукой с дороги и снова, пошатываясь, направился к калитке; уже войдя во двор и поднявшись на крыльцо, долго шарил в карманах, пока достал ключ, и хотя дверь была незаперта, а только прикрыта, дрожащими, непослушными пальцами так же долго проталкивал ключ в замочную скважину, а на мои слова: «Да открыта же!» — лишь оборачивался и молча, недоуменно и невидяще смотрел на меня. Я же от растерянности не знал что делать; после всех тех мыслей и переживаний, какие одолевали меня весь день, появление пьяного Василия Александровича было так неожиданно, что у меня не было слов, чтобы сказать ему, и я лишь с каждой секундой, чем дольше смотрел на него, отчетливее чувствовал, как что-то отталкивающее и брезгливое подымалось в душе к этому человеку. Я знаю, по давней традиции — так уж, говорят, повелось, — к пьяным у нас и пищим относятся с состраданием: дескать, что ж, несчастный человек, как не пожалеть, — но только я не могу принять этого; может быть, и надо жалеть, и тем более надо было пожалеть Василия Александровича, у которого имелась причина, и немаловажная, но, так или иначе, в те минуты, входя следом за ним в комнату, я испытывал лишь одно отвращение; когда он, покачиваясь, искал рукою поддержки,

я не только не пытался помочь ему, но, напротив, отстранялся, как бы боясь, что он вдруг прикоснется ко мне своей трясущейся ладонью. Нехорошо, понимаю, но что я тогда мог поделаться с собою? Я лишь следил взглядом, как он вынул из кармана недоеденный и завернутый в какую-то пожелтевшую бумагу кусок ливерной колбасы, положил ее на стол и затем, пройдя за перегородку и не раздеваясь, а так, в чем был, плюхнулся на кровать и сейчас же заснул пьяным мертвецким сном. На обескровленное, синевато-серое лицо его падал от окна свет, и мне казалось, что я смотрю на покойника; я подумал, что не раз, наверное, вот так же стоя перед ним, смотрели на него Ксения, Мария Семеновна, и почувствовал еще большее отвращение к когда-то уважаемому мною комбату. «Вселенская доброта... а есть еще вселенское негодяйство, есть еще поль з о в а н и е чужой и безответной добротой» — может быть, да и скорее всего так оно и было, что я не произносил эти слова, но смысл их как бы сам собою жил во мне, вызывая негодующее чувство, и оттого я тоже, наверное, был бледен, во всяком случае, смотрел нахмуренно, зло. Тогда же, сразу, я понял, что это не впервые случилось с Василием Александровичем, хотя узнал обо всем гораздо позднее, после того, как поговорил с Марией Семеновной; потому-то она и не приходила в этот день из больницы домой, что знала, каким «тепленьким» вернется с работы Василий Александрович — «Ведь сегодня получка, а в получку он всегда так!» — и не хотела видеть его и расстраиваться.

«Как выпьет, подходи не подходи — все одно: и знать никого не знает, и видеть никого не видит, на кровать в сапожищах, и тут хоть что».

«Не шумит?»

«Чего нет, того нет. И денег нет, все спустит, а потом сидит по ночам с иглою и драгвой».

«И давно так?»

«Да уж откель счет? Сразу-то, первые годы, вроде ничего, а потом ровно муха какая вжалила, ровно плюнул кто, и пошло, о господи! Тут с Ксеньей, ей-то каково, тут еще с ним...»

Позже, спустя почти неделю, говорила это Мария Семеновна, но мне казалось, что рассказывала она лишь то, что я уже знал, вернее, что понял именно тогда, когда стоял перед лежавшим на кровати пьяным Василием Александровичем. Вот и подумайте теперь: человек раскрывается постепенно... Вероятно, сам Василий Александрович и раскрывался постепенно перед Ксеньей и Марией Семеновной, но для меня он открылся сразу, за одну эту встречу: и когда вечером рассказывал про Ксению, и когда затем на другой день явился с работы вот в таком виде, как опустившийся, безвольный, раздавленный жизнью человек. Еще несколько минут я смотрел на его неуклюже свернувшуюся на кровати фигуру, говоря про себя: «Ну, докатился!» — и затем, еще не зная, что буду делать, куда пойду, вышел из дому.

Но, если откровенно, это ведь я просто так говорю, что не знал куда пойду; конечно же, знал — в больницу к Ксене, иной мысли и не было; уже через полчаса я стоял перед дежурной сестрой, держа в руке небольшой букет ранних красных гвоздик, который купил где-то в центре, когда, расспрашивая, как найти городскую больницу, проходил мимо колхозного рынка; корешки гвоздик были завернуты в газету, и газета казалась влажной от горячей и потной ладони.

«Здесь лежит Ксения Филева?»

«Да, — ответила мне сестра, полистав книгу записей. — Восьмая палата, второй этаж».

«Можно пройти к ней?»

«Что же вы так поздно? Время свиданий уже заканчивается, — ска-

зала она, но заметив, может быть, как умоляюще я смотрел на нее, с неохотой, но все же достала из тумбочки белый халат и протянула мне. — Только не задерживайтесь!»

«Нет-нет, что вы, благодарю вас!»

Я накинул на плечи этот белый больничный халат и торопливо, ничего не слыша и не чувствуя жестких ступеней под ногою — сознавал я разве только одно: что сейчас увижу Ксению! — почти взбежал на второй этаж. Как в самый первый приезд после войны, когда прямо из маленького австрийского городка, демобилизовавшись, я примчался в Калининичи и подхлдил к дому Ксении, то же волнение, хотя прошло уже столько лет, неожиданно охватило меня, будто я еще не виделся в Чите ни с матерью, ни с Раей и не было ни Райных похорон, ни института, ни Москитовки и Зинаиды Григорьевны — ведь вот как устроен человек: все как в воду, в пропасть, и только один светящийся огонек впереди! — и не видел даже только что пьяным Василия Александровича (через минуту, когда буду стоять у Ксенииной постели, все пережитое вновь, конечно, вернется и поплывет перед глазами), а лишь, переполненный той давней юношеской надеждою, чувствовал себя так, что будто вот-вот переступлю порог столь памятной мне избы. Какой-то невероятный возврат, какое-то затмение, что ли: все позабыто, и Зинаида Григорьевна, с которой, как вы знаете, я тогда уже жил как с женой, и если начистоту, были же у меня и чувства к ней, а вот поди ж ты рассуди — все позабыто, и я, волнуясь, как мальчишка, шел по больничному коридору, ловя глазами на дверях номера палат. Перед восьмой палатой остановился и негромко постучал; никто не ответил, тогда я снова постучал так же негромко, но продолжительнее и, чуть выждав, осторожно приоткрыл дверь. Сперва я увидел пустую кровать сразу от двери у стены, а за нею, за голубовато-белой больничной тумбочкой — вторую кровать, а на ней укрытую лишь простынею по самый подбородок Ксению. Она смотрела на меня. Бледное худое лицо ее и глаза в первое мгновение были как бы безразличны — ну, входит кто-то и входит, может быть, нянечка, может быть, дежурная сестра, а может, просто мать (кстати сказать, Марии Семеновны в это время не было в палате; как я узнал потом, она все же поехала домой, чтобы хоть запереть избу, потому что: «Ведь он и этого не сделает, а в комнате какие-никакие, а вещи!»), — в общем, в первое мгновение, помню, лицо ее было столь равнодушным, что я даже подумал, она это или не она, потому что ни разу прежде не видел ее такой; но когда, спросив: «Можно?» — двинулся к ее постели и когда особенно она поняла, а вернее, узнала, кто входит в палату, все в ней как бы преобразилось, и вроде прежние и привычные удивление и радость появились в ее глазах.

«Вы?!»

Мне кажется, она не произнесла этого слова, а спросила беззвучно, взглядом; а может, и прошептала тихо, так, что я не расслышал, но что-то же, конечно, сказала, потому что я помню, что ответил: «Да, я». Я остановился посреди палаты и несколько секунд стоял, словно пригвожденный к полу, продолжая неотрывно и, как ей, наверное, казалось, странно-растерянно смотреть на нее; я почти уверен, что именно так и восприняла она это мое, может быть, и действительно-таки представлявшееся странным со стороны поведение: приехал бог весть откуда, спешил повидать, а теперь будто язык отрезало, боится подойти к кровати и смотрит как на незнакомую, — но, я думаю, да и фактически, если разобраться, ничего странного в моем поведении не было, а просто болезненный вид Ксении, белая простыня, которой она была укрыта, и особенно землисто-серый цвет лица (впечатление это создавалось, как я позднее, приглядевшись, заметил, еще и тем, что висевшее на спинке

кровати полотенце отгораживало ее от проникавшего сквозь окно в палату и без того слабого, на улице уже вечерело, света) вызвали в памяти неожиданно как будто и забытые, давно улегшиеся, но до мельчайших подробностей вдруг ожившие перед глазами минуты прощания и похорон Раи. Я даже на миг зажмурился и тряхнул головой, чтобы сбросить это воспоминание, но как только опять взглянул на белую простыню и на бугрившиеся под нею Ксенины руки (как и у Раи тогда, когда она лежала в гробу, как вообще складывают покойникам на груди), будто и Ксения и в то же время не Ксения передо мною, и я в палате, но в то же время и не в палате, а там, в Чите, в доме Лии Михайловны и Петра Кирилловича, и вот-вот увижу то будто спокойное выражение лица Раи, за которым, я знаю, скрывалось огромное желание не выказать, унести с собой весь свой душевный мир забот и страданий. Разница мне представлялась лишь в том, что я не успел и Рая уже не могла ничего сказать, а здесь еще можно поговорить, расспросить, утешить, а главное, попросить прощения. За что, как, почему — я не думал об этом; я только чувствовал, что не сделал для Ксени того, что мог бы, и чувство это было так сильно, что в какую-то секунду, ничего не говоря, шагнул вперед и, как кладут цветы к изголовью покойникам, положил гвоздики на прикрытую простынею грудь Ксени. Что она подумала? Как восприняла это? Тогда, сразу, чуть склонившись, я лишь смотрел, как она медленно высвободила из-под простыни руки и, сухими белыми пальцами обхватив корешки гвоздик, прислонила цветы к лицу; глаза ее увлажнились, она прикрыла веки, и в синих морщинках у самой переносицы появились светящиеся капельки слез. Для того, наверное, чтобы я не смотрел, как она плачет, она еще плотнее прикрыла лицо цветами и отвернулась к стене. Да и у меня перед глазами от волнения все начало мутнеть и расплываться, как за дождевым стеклом, и чтобы успокоиться самому и дать успокоиться Ксене, я отошел к столу за табуреткой и с минуту стоял, подняв ее и держа перед собой; когда же вернулся к постели, хотя как будто и удалось подавить чувство жалости к ней, но, как мне и теперь кажется, до самого конца встречи я смотрел на нее так, вернее, с тем выражением сострадания, любви и печали, что то и дело, потому что не могла же она не понимать, что я думаю о ней, глаза ее заволакивались слезами.

«Спасибо вам, Женья»,— сказала она, кончиком простыни вытерев слезы.

«Ну что вы».

«Мне еще никто никогда не преподносил цветы»,— тихо добавила она и опять отвернула лицо к стене.

«Как вы себя чувствуете? — спросил я, чтобы перевести разговор на другое.— Что говорят врачи? Василий Александрович сказал, что все идет на поправку».

«Вы его видели?»

«Да».

«Когда? Сегодня?»

«Нет,— солгал я, даже не знаю почему, инстинктивно, что ли, заметив, как все насторожилось в Ксене.— Вчера вечером мы сидели с ним и разговаривали»,— закончил я, чувствуя на себе ее пристальный взгляд и стараясь тоже смотреть на нее прямо, открыто, будто и в самом деле говорил только то, что было.

«А вы опять в Гольцы?»

«Да».

«Надолго?»

«На неделю — две, как всегда».

«И вам не наскучило: каждый год?»



«Разве может наскучить то, чем живешь, Ксения? Гольцы для меня — что родная Чита, что Сибирь, что Севастьяновка, есть такая деревенька под Читой», — начал я и, сказав это, сам не зная почему, повел рассказ про Омутовку, про паром и паромщика дядьку Якова, а для чего? Ведь на душе у меня было совершенно другое и чувствовал и думал я о другом, а этим рассказом лишь бессознательно, наверное, так считаю, старался приглушить в себе как раз те, другие мысли и чувства. Я смотрел на худое лицо Ксени, и в то время как произносил «дядька Яков», этот самый дядька представлялся мне стариком, что однажды неожиданно пришел в дом Ксени; вот он разворачивает и кладет на стол свой драгоценный деревенский гостинец и затем склоняет перед Ксенией белую старческую голову, я вижу счастливое лицо Ксени и весь ее удивительный мир доброты, счастья и радости жизни и радуюсь, что он есть, что я встретился с ним и что живет он вот с ней, Ксенией, в ее глазах, в движениях ее рук (временами, всматриваясь, я действительно как будто начинал различать прежнюю красоту ее лица), но — как подтачивает червь дерево, въедалась, разрушая и опрокидывая это, в общем-то, уже прошлое, пережитое чувство, тревожная мысль, та же, что возникла, когда я еще только вошел в палату: что я, в сущности, прощаюсь с Ксенией, что это последний мой разговор с ней и что, самое страшное, я бессилён что-либо изменить. «И Рае не хотелось умирать, — думал я, чувствуя, знаете, как если бы то, что случилось с Раей, случилось со мной, как ей не хотелось умирать. — Но она ушла. И Ксения уйдет, а я жив, и Василий Александрович жив, и тот, о ком Раея не оставила записки, тоже жив! Добро к людям... А плата за это добро? К кому добра жизнь?» Я удивляюсь теперь, как можно было одновременно и думать вот так, о чем я сейчас говорю, и в то же время рассказывать Ксене о разных, и не смешных вовсе, хотя я и старался как можно естественнее улыбаться, чтобы развеселить ее, ребячьих шалостях, какие проделывали мы — да кто из мальчишек не лазил по чужим огородам. боже мой! — в Севастьяновке, и удивляюсь, если хотите, не столько раздвоенности — она возможна, и с вами, наверное, бывало такое, — а тому, как люди, в данном случае я и Ксения, вполне сознавая, что разговор этот вовсе не интересен для нас, ложен, что говорить надо о другом, а что эти слова — и мои и ее — лишь скользят, как, знаете, капли воды по гладкой, отполированной поверхности, — как мы, я подчеркиваю, притворялись, делая вид, что с интересом я говорю, а она слушает. тогда как главным для нас обоих был совсем другой разговор, безмолвный, что мы читали в глазах друг друга. Ведь она ничего не знала о моей жизни, я никогда не рассказывал ей ни о любви к ней, ни о пережитой когда-то любви к Рае, и о том, как хоронил ее, и, конечно же, ни о Москитовке и Зинаиде Григорьевне, но Ксения смотрела на меня так, будто знала все, и так же, как я жалел ее и чувствовал, что мог бы сделать ее счастливой, я видел, она жалела меня, будто ей было известно, как мучался я эти годы, тоскуя и думая о ней, известны все малейшие движения моей души, и ей было больно, что она кому-то, кто не оценил ее, а не мне отдала копившиеся в ней для жизни добрые чувства. «Вот видите, — как бы говорила она, минутами вскидывая на меня глаза, — если бы тогда вы взяли меня или хотя бы не о п о з д а ли, ничего этого не было бы сейчас. А разве я не хотела поехать с вами? И разве не говорила вам об этом?» Может быть, поддавшись тому давнему воспоминанию, я вдруг — точно помню, что вдруг, потому что и ее смутил и сам смутился, — нагнувшись, взял ее руку и так же, как когда-то в подражание комбату, но, разумеется, теперь не думая о том, пожал ее холодные пальцы.

«Ничего, Ксения, все будет хорошо, — проговорил я, как и тогда, зимой, в покидаемых нами Калининках. — Главное... — Но то, что дей-

ствительно было для меня главным, произнести не мог и потому, краснея и не выпуская ее пальцев из своей ладони, несколько раз еще повторил про себя: «Главное... главное...» — прежде чем нашел нужные для завершения фразы слова: — Поправляйтесь и берегите себя».

«Вы уже уходите?»

«Да», — сказал я, хотя секунду назад не собирался уходить.

«Вы еще придете?»

«Непременно».

«У Васи сегодня много дел, а мама здесь, со мной. Приходите, она будет рада».

«Непременно», — повторил я, еще раз пожав — я уже стоял, склонившись над ней, — ее согрешшиеся теперь пальцы.

Прежде чем выйти из палаты, у самой двери, чуть приоткрыв ее, я остановился, обернулся и снова взглянул на Ксеню; в палате было сумрачно, и я уже не мог издали разглядеть лица Ксени, но тени, лежащие в провалах ее щек и глаз, и белая простыня, прикрывавшая ее вытянутое на постели худое тело, опять как бы отбросили меня к тем минутам, когда я стоял перед лежащей в гробу Раей, и какой-то будто могильный холодок прокатился по съезжившейся спине. «Да нет, да что я, просто тени так», — подумал я, уже спускаясь по лестнице и передавая халат дежурной сестре. Но впечатление всегда сильнее любых утешительных слов. Я вышел из больницы как будто выпотрошенный, да и всю неделю потом жил какою-то неестественной, не ж и в о й, что ли, жизнью, только лишь думая, да и то с вялостью, — так уже однажды было со мной, если помните, после похорон Раи. Я не пошел к Василию Александровичу в тот вечер, а провел ночь в фойе гостиницы в кресле, полудремля, полубодрствуя и опять и опять думая обо всем прожитом и пережитом мною, а в общем, о жизни, сколько в ней справедливости и к кому и, если хотите, даже что такое вообще справедливость, чем можно измерить ее и равно ли понимается это слово всеми или у каждого своя справедливость, как и свое понятие добра, любви, ненависти; вероятно, и следующую ночь, так как свободных номеров не было, я просидел бы, наверное, все в том же кресле, если бы не Василий Александрович, который еще утром, проснувшись и не обнаружив меня, заволновался, забеспокоился и после работы сразу побежал в больницу, хотя и был неприемный день, потом ездил на вокзал и обшарил, как он выразился, все уголки зала ожидания («Обидчивый же ты! А если я вот так плюну и обижусь, а?») и оттуда прямо в гостиницу.

«Ну пойдём, чего уж».

Мне же не хотелось идти к нему в дом, и я долго молча и в упор смотрел на него.

«Ну чего ты? Пойдем, слышишь?»

Уже дорогой он сказал, что если бы не нашел меня здесь, в гостинице, поехал бы разыскивать в Гольцы.

«Это уже ни к чему», — сухо ответил я.

«К чему, ни к чему... только каждый раз не наотпрашиваешься».

«И не надо».

В доме после всего пережитого мне показалось еще более неудобно, неприбранно, грязно. Василий Александрович молча приготовил ужин; и сидели за столом и ели молча, стараясь не глядеть друг на друга. Не знаю, о чем думал он, но я никак не мог сосредоточиться, и то видел перед собою Зинаиду Григорьевну на удалявшемся дощатом перроне (вот видите, и к ней уже потянуло, хотя и казалась жизнь пустой, как будто прожитой бесцельно, как ни за что не зацепившаяся шестеренка, а ведь было же что-то в душе, что могло бы осчастливить ну, хотя бы ту же Ксеню и самому ощутить возле нее счастье!), то лежащую в

гробу Раю, то Ксеню, какой оставил ее в сумрачной больничной палате; конечно, как мне кажется теперь, я уже не испытывал в тот вечер ни тех особенных чувств к Ксене, ни того волнения, с каким еще вчера взбегал по лестнице на второй этаж и, шагая по коридору, ловил взглядом номера палат, отыскивая, в которой лежала она, но жалость, с какою думал о ней, была мучительна, как раскаяние, как сознание того, что мог бы и должен бы, но не сделал, что нужно даже не для счастья, а просто для жизни дорогого мне человека. Я сидел, облокотившись на стол и подперев ладонью голову, а Василий Александрович, раскуривая папиросу за папиросой, прохаживался перед столом и передо мною, то глядя себе под ноги, то изредка на меня; в какую-то минуту вдруг остановился и, повернувшись ко мне, как будто отдавая команду, резко и решительно проговорил: «Все! Даю слово, Евгений, больше не будет этого, все!» — и хотя не пояснил, что означало его «все» и «больше не будет этого», а я не спросил, но мне было вполне ясно, что он имел в виду, и я, может быть, за весь вечер впервые в тот момент — ведь человек отходчив, что говорить! — посмотрел на него с неожиданной даже для самого себя доверчивостью и теплотою.

### *Три четверти часа*

— Как обычно, весь отпуск прожил я и в эту весну в Калининках, — продолжал Евгений Иванович. — Правда, несколько раз выезжал в Гольцы, потому что там у меня действительно-таки были дела, да к тому времени я уже сдружился с Константином Макаровичем, помните, рассказывал, сыном Евдокии Архиповны, у которой ночевал на сеновале, когда первый раз после войны приезжал в деревню? Ну, словом, ездил в Гольцы, хотя что говорить о тех делах и о Константине Макаровиче, тут, если начать, тоже хватило бы на целый вечер, а вообще, не будем отвлекаться; Ксения по-прежнему оставалась для меня главной причиной волнений, и каждую среду и воскресенье, когда бывали приемные дни, я приходил к ней, но теперь уже вместе с Василием Александровичем, который и в самом деле после данного мне, а вернее, самому себе слова, что больше не будет пить, держался вполне достойно, был вежлив и ласков не только со мной, но и, прежде всего, с Ксенией и Марией Семеновной, откровенно радуя их этой своею переменой.

«Ведь вот можно же, — говорила Мария Семеновна, глядя хотя и укоризненно, но беззлобно на зятя (разумеется, не в палате, не в присутствии дочери). — И давно надо бы».

«Ну ладно, ладно, мать», — с улыбкою отвечал Василий Александрович.

«Хоть ты и капитаном был, а вот и скажи спасибо другу своему, — продолжала она. — Я бы и в ноги поклонилась, не грех. С войны в один, считай, год пришли, а он вон уже скоро и в профессора, а ты?»

«Ладно, ладно, мать».

Василий Александрович еще улыбался, но по глазам, как он смотрел, было видно, что слова Марии Семеновны неприятно и больно задевают его, и тут вмешивался в разговор я:

«Дело не в этом, Мария Семеновна».

«А и в этом, а как же», — возражала она, не отступаясь от своего.

«Достоинство человека...»

«Да я-то об чем?»

Когда мы теперь приходили в больницу — как все-таки обстановка действует на людей! — и Ксения как будто выглядела лучше, была веселее, и что-то от прежнего счастливого выражения появлялось на ее лице. Может быть, она действительно чувствовала себя лучше и все шло, как и говорил врач, на поправку, а может, это только казалось

мне, что она повеселела, потому что хотелось видеть ее здоровой и счастливой, но скорее всего — я уже сейчас думаю — все объяснялось проще: тем, что мы приходили к ней, когда солнце еще не касалось крыш, то есть намного раньше, чем я в тот вечер, и в палате было светлее, оживленнее, да и немаловажно, если ты не один, а с кем-то, тогда и разговор течет по-другому, и улыбок больше, и шуток,— в общем, трудно, конечно, теперь установить истину, но так или иначе, а у меня складывалось впечатление благополучия и, когда я уезжал из Калининвичей, на душе не было тяжелого чувства. Что ж, и жизнь Василия Александровича, и жизнь Ксении, и жизнь Марии Семеновны — все было как будто на виду, было ясно, и будущее как будто не рисовалось мрачным. «Одумался... да что ж, можно было и раньше одуматься»,— говорил я себе, лежа, как обычно, на покачивавшейся полке вагона, и, как обычно, чем дальше отъезжал от Калининвичей, тем отчетливее вставали прежние, домашние заботы, и я уже думал и о дипломной, которую предстояло еще завершить и затем защитить этим летом, и о матери, что жила в Чите, коротая старость в своем деревянном, как и Ксенин, домике, и беспрерывно в письмах звала к себе, и о Зинаиде Григорьевне, которая, я знал, ждала и готовилась к встрече; она за сутки раньше придет на разъезд, я знал и это, и мне приятно было думать, что это так, и оттого еще как будто покойнее становилось на сердце. Я не случайно употребляю сейчас эти слова «как будто», потому что, по существу, если разобраться, спокойствие было относительным, настроженным; как на фронте, знаете, перед атакой: сидишь в окопе, прислушиваешься, и небо над тобою в звездах, и травка шелестит за бруствером, и — ни выстрела, ни одного тревожного звука, и только время от времени вспыхивают и спускаются к земле на белых парашютиках осветительные ракеты, напоминая о том, что ты не в ночном и что вовсе не та беда, что кони потравят пшеницу, подстерегает тебя под утро. Но что тогда тревожило меня, что было этими белыми парашютиками — слишком ли быстрая перемена в характере Василия Александровича («Да надолго ли? Всерьез ли? Столько лет... а тут вдруг! Как-то все подозрительно поспешно» — и такая мысль приходила в голову, хотя я и гнал ее прочь), или просто сознание того, что с одной, и к тому же больной, почкой она все равно не жилец («А ведь и главный врач говорил неуверенно, да как же, еще тогда, сразу, я почувствовал это по тону его голоса, как же!» — вспоминалось и это, хотя и тут я находил возражения, и даже весьма серьезные), или что-то еще: то ли чувство неудовлетворенности своей жизнью, что когда-то и что-то не сделал так, как надо бы (и по отношению к Рае, разумеется, и, главное, по отношению к Ксении), а может, еще что-либо другое, что, если подумать, непременно вспомнится сейчас, но как бы там ни было, парашютики взлетали, выхватывая словно из тьмы и освещая разные неожиданные подробности из прошлого и исподволь, изнутри, незаметно, но настойчиво, день за днем, особенно когда я уже был дома, да и после защиты дипломной — чего бы уж, казалось, не радоваться! — разрушали это как будто обретенное в Калининвичах спокойствие. Тогда я относил все за счет своей неисправимо дурной привычки переживать и думать за всех, но дело было вовсе не в привычке и тревожился я не зря; я знаю теперь цену ложному спокойствию и мгновенным переменам в людях; нет мгновенных перемен; может быть, мой приезд, разговор, а вернее, молчание и пробудили у Василия Александровича желание обновить жизнь и он, как это говорят в народе, взялся было за ум, только ненадолго хватило того ума; когда я на следующий год, подгоняемый все этим же своим беспокойством, снова поехал в Калининвичи, при всем моем даже иногда разгоряченном воображении я не мог представить себе и доли того, что ожидало меня.

Ксени в живых уже не было.

Но я еще не знал об этом.

С вокзала — уже ходил автобус до Мозырского шоссе — я доехал до нужной остановки и, как только вышел на узкую асфальтированную площадку, увидел лежащего у столба, в пыли и мусоре, с посиневшим от выпитой водки лицом Василия Александровича. Ноги его были неуклюже подогнуты, а пустой рукав пиджака откинут назад, за спину. Рядом с ним, молча и, как мне показалось в первую секунду, спокойно-равнодушно глядя на него, стояла Мария Семеновна. Она была в темном платке и синем, в белый горошек, широком и длинном, какие носят обычно проводившие жизнь в домашних заботах у шестка и кухонного стола пожилые женщины, ситцевом платье; на старчески-сутулую спину ее падали лучи низкого вечернего солнца, и длинную тень своею Мария Семеновна как бы накрывала зятя, отгораживая его от взглядов прохожих. Но на остановке уже никого не было, автобус увез пассажиров, а те, что приехали — все же с одной улицы, все знали друг друга, и валявшийся в пыли Василий Александрович давно уже, наверное, не удивлял их, для них это была обычная картина, — удалялись, даже не оглядываясь, как будто ничего не видели и ничто на свете не касалось их. Я подошел к Марии Семеновне и от растерянности, что ли, от неожиданности, может быть — да разве я мог подумать, что встречу ее вот так и здесь! — каким-то вроде чужим, извиняющимся голосом спросил, поздоровавшись:

«Что с ним?»

«Ай не видишь, набрался, да спасибо хоть соседи сказали, вот пришла, жду, пока протверзится, а то ведь и последний пиджак съмут», — ответила она, и ответила так, словно я не уезжал из Калинковичей, и не было годичного перерыва, а только вчера еще мы встречались, разговаривали, и я будто был членом их семьи или, по крайней мере, очень близким человеком; и тогда это не показалось мне странным; да и теперь думаю, что ничего удивительного нет: день за днем для Марии Семеновны жизнь проходила так однообразно, что вовсе не мудрено было в ее-то годы потерять чувство времени, но, если уж говорить откровенно, я действительно-таки не был для нее чужим.

«Надо домой его».

«Да разве ж я справлюсь?»

«Мы сейчас», — сказал я и, передав свой небольшой чемоданчик Марии Семеновне, морщась, потому что мне неприятно было поднимать и вести Василия Александровича, не повел, а буквально поволок его к дому.

В избе помог Марии Семеновне раздеть и уложить его в постель и лишь после этого, оглядевшись, спросил:

«А Ксения где?»

«Умерла», — ответила Мария Семеновна.

«Как умерла?»

«Как умирают, так и умерла, и похоронили».

«Давно?»

«Да уж скоро год как».

«Но когда я уезжал...»

«Тогда-то она вроде ничего была, домой взяли, а потом — о, господи! Может, и лучше, что бог прибрал, мучалась она».

Мария Семеновна стояла у шестка, спиной прислонясь к печи, как она и прежде любила стоять, скрестив на груди руки, и все ее морщинистое и еще более даже с прошлого года, когда я в последний раз видел ее, постаревшее лицо, повернутое к окну, к свету, было ясно видно мне. Я смотрел на Марию Семеновну и не верил тому, что она сказала. Мне казалось, что вот-вот из-за дощатой перегородки, где спал

мертвецки пьяный Василий Александрович, выйдет Ксения, как тогда, давно, в только что наспех накинутом платье и с еще не до конца заплетенною косою и, задержав на косе пальцы и с удивлением приподняв брови, произнесет свое негромкое: «Вы?» Но я не оглядывался на перегородку (потому, может быть, что боялся увидеть пустою дверь), а, как прикованный, не сводил взгляда с Марии Семеновны и лишь прислушивался, не шелестит ли одеваемое Ксеньей за перегородкою платье и не слышны ли уже ее шаги. Но никаких шагов не было слышно, а только доносился пока еще не очень раскатистый храп Василия Александровича.

«Господи,— как бы вдруг спохватившись, снова произнесла она,— из ума, что ли, выжила, чего это я стою: с дороги ведь, голоден, поди?»

«Нет, зачем, спасибо».

Но Мария Семеновна, будто не слыша этих моих слов, принялась даже излишне суетливо, по-моему — от старости ли или оттого, что ей на самом деле хотелось угостить меня? — хлопотать возле стола и печи. Я молча поглядывал на нее не в силах еще примириться с мыслью, что Ксени нет, и, думая о ней, снова и снова медленно оглядывал комнату, где когда-то впервые увидел ее за столом при свете горевшей под потолком керосиновой лампы, и мне опять казалось, что будто с тех пор ничего не изменилось здесь (кроме разве только этой вот возведенной Василием Александровичем дощатой перегородки) — ни убавилось, ни прибавилось (не считая разве низенькой сапожной табуретки, что вон у печи, под лавкой, которая, впрочем, может, и тогда уже стояла тут, да только я не заметил); все было тем же, знакомым, и находилось на привычном для меня месте, и лишь не обогревалось, как тогда, прежде, лучившейся Ксениной добротою, а выглядело холодным, застывшим, ветхим и, если хотите, убогим — я преувеличивал, конечно, и теперь вполне понимаю это, но тогда с болью смотрел на все, и почти до слез было жалко готовившую ужин несчастную, как я думал, Марию Семеновну, особенно когда она поворачивалась спиной, нагибалась, и под кофточкой проступала старческая худоба. Временами возникало такое чувство, что я смотрю не на нее, а на свою мать. Для Марии Семеновны же все то, что волновало меня, было повседневной жизнью, и потому весь ход ее мыслей двигался в том направлении и ритме, как он двигался всегда, сообразуясь с мягкой и приветливой ее натурой; теперь ее заботило лишь одно — получше принять (как принимали когда-то, в те, хорошие годы Ксения и Василий Александрович) и угостить меня, и она старалась трогательно, как это всегда умеют старые люди. Она даже и вопросы поначалу задавала те же, какие обычно, когда я приезжал, задавали или Василий Александрович, или Ксения.

«Опять, поди, в эти самые свои Гольцы?»

«А куда же мне еще, Мария Семеновна?»

«Вот уж дались...»

«Да я и сам думаю...»

Она предложила переночевать у нее («Еще наживешься в гостинице, успеется»), и я не смог отказать ей. Ответом моим она осталась довольна. Мы долго сидели за столом после ужина, и, как и в прошлый мой приезд с Василием Александровичем, теперь с Марией Семеновной, я чувствовал, как бы сам собою завязывался откровенный разговор. У каждого человека, очевидно, бывают минуты, когда вдруг хочется ему раскрыться перед собеседником; я ведь тоже в тот вечер много рассказывал Марии Семеновне о себе, но для меня важным было другое — то, что я услышал от нее и что неожиданно как бы приоткрыло совсем с иной стороны завесу над жизнью Василия Александровича и Ксени; я то прислушивался к храпу за перегородкой и тогда не мог сдержать в себе неприятно прокатывавшегося озноба, то все как будто

затихало для меня и я видел перед собою лишь старое и усталое лицо Марии Семеновны.

«Ведь он был замечательным человеком»,— говорил я.

«То-то и оно что был».

«Да с чего же тогда?..»

«С чего, с дури. Может, я неправильно сужу, по-бабьи, ты уж извини, а если по правде, то и спотыкается человек не оттого, что пень на дороге, а оттого, что смотрел не туда,— по-своему, может быть, по старой крестьянской привычке объяснять все предметно (она из крестьян, я знал, как-то еще в прошлые разы рассказывала о себе), говорила она.— По службе не пошел вверх, видно, не дано ему это, а и в другом не преуспел. От меня-то они многое скрывали, а по ночам, как проснусь, слышу, все чего-то шушукуются, все чего-то пересуживают. А чего? Разве от матери скроешь? Думал он дом перестроить, пятистенник срубить, как вон наискосок, на той стороне от нас, видел? Коломивцева домина? Тоже-ть без руки, а чаша полная, на пять ступеней, не достать, ну и Василий Александрович за ним, да ведь на все деньги нужны! Тот-то, Коломивцев, голова вон какая, сколотил артель да по колхозам, по деревням фермы ладить, ну, по договорам, конечно, и что ни осень — смотришь, и хлеб машинами и деньга. Вот и наш уволился было и тоже-ть в артель, да Ксения непустила. «Нет!» — и все, а то и шушукались по ночам. А потом и ее с работы начал срывать: «Шей и на толкучку, как Коломивчиха, и будет тебе что ни день, то и месячная зарплата!» И машинку швейную купил, «Зингера», ножную, а она опять свое: «Нет!» — и все. Я-то что, человек старый, им виднее, как жить, только, гляжу, дело к ссоре, уж и говорю дочери: «Может, он и прав? Смирись да послушайся, кто ж в доме хозяин, если не мужик? Да и плохого ли он хочет?» А она свое: «Нет!» — и все. А потом болезни — ведь она с войны квеляя,— раз в больницу, два, да на курорт, «Зингера» продали и еще кое-какие вещи. Она в больницу, а он за эту проклятую, за водку. Так и пошло. С чего же, как не с дури? Власть бы проявить мужичью или уж отступить да по службе идтить, а то ни того, ни другого. Все — кто как! — в люди вышли, а он остался ни с чем. Да хоть бы сейчас опомнился, разве поздно? «Ляг,— говорю ему,— в больницу, есть же такая, где от алкоголя лечат»,— и вправду люди говорят, что есть, так он и слышать не хочет. Как еще только на работе держат, ума не приложу. Может, что инвалид, оттого и прощают. А в больницу бы надо, да и все советуют, о, господи, не чужой же, свой, куды денешь».

Мне кажется, еще сильнее, чем известие о смерти Ксени (все же как-никак, а я был готов к нему), взволновал меня рассказ Марии Семеновны; что, в сущности, произошло: вся жизнь Ксени, Василия Александровича и Марии Семеновны, как я представлял ее себе, все рухнуло, и надо было заново проследить и выстраивать ее в своем воображении. Вы спросите — для чего? Конечно, можно и так поставить: «А для чего?» Но ведь не посторонними же они были мне, во всяком случае, я так считал, и как бы там ни было, а судьба Ксени — как она прожила жизнь? — даже вот и теперь постоянно, как подумаю, не может не тревожить меня. Не знаю, говорил я Марии Семеновне или нет, что Василия Александровича действительно-таки следует положить в больницу, обещал ли помочь в этом или не обещал. Но хорошо помню, что когда уже лежал на топчане (том самом, на который когда-то положил меня спать и Василий Александрович), именно эта мысль, как бы вклиниваясь в общий ход воспоминаний и раздумий, то и дело приходила в голову. «Завтра непременно же, не откладывая»,— говорил я себе, прислушиваясь, как за перегородкой — теперь Василий Александрович уже не храпел — раздавалось негромкое посапывание спя-

щего человека. В избе казалось душно, как и тогда, помните, в ту ночь, после разговора с Василием Александровичем, но я не выходил во двор; ставни не были закрыты, и холодный лунный свет наполнял комнату, делая все — и стены, и печь, и не убранную со стола посуду — голубоватым и призрачным, и я, знаете, с тех пор, наверное, боюсь этих светлых лунных ночей. Вероятно, призрачный лунный свет только для того и существует, чтобы беречь души и как бы перебрасывать людей из действительности в прошлое, в воспоминания, чтобы, оглядевшись и заново пройдя уже однажды пройденное, яснее можно было увидеть ошибки, понять их и не повторять? Все может быть, хотя я ведь и не о своих ошибках думал; что касалось меня, только одна боль не отпускала ни на минуту: что я бы при любых обстоятельствах сделал Ксению счастливее. Я понимал ее, как прежде, и был с нею (такое, по крайней мере, испытывал ощущение) и за нее, когда она будто при мне теперь говорила Василию Александровичу: «Нет!» «Но у него-то откуда, — думал я, — взялась эта страсть: шабашить?.. Откуда это у него?» Я не мог не верить Марии Семеновне, но вместе с тем не мог и представить себе Василия Александровича таким, каким изобразила его мать Ксени. Может быть, она и права была, что он с того начал пить, но, может, дело тут и в душевной слабости, и, если хотите, в привязанности, в любви к Ксене. Что он любил ее, в этом я не сомневаюсь, хотя и любовь, в общем-то, странная. Во всяком случае, в ту ночь я думал разное о нем и к какому-то определенному выводу, с чего же началось его падение, прийти не мог; да и теперь не уверен, потому что — чужую душу не вывернешь. И все же... Совсем недавно, когда я в этот раз ехал сюда, услышал в вагоне весьма любопытный и, знаете, в какой-то мере проливающий свет на поведение Василия Александровича разговор. В салоне вагона-ресторана, куда я пошел пообедать, я сел за столик, за которым уже находились двое не очень пожилых еще и довольно прилично одетых людей; трапезу они, видно, закончили, и один из них, худощавый, гладко выбритый, с заметно лысеющим лбом, допивал пиво, каждый глоток как бы закусывая порцией табачного дыма, а другой заострял спичку, собираясь поковырять в зубах, — в общем, обычная картина, и я бы не обратил на них внимания, если бы не тот, худощавый, что допивал пиво, словно невзначай, так, вдруг, между прочим, не обронил бы, по крайней мере, для меня интригующе прозвучавшую фразу:

«А знаете ли вы, Дмитрий Степаныч, что-либо о водоразделе человеческих душ?»

«Нет», — неохотно ответил тот.

Я не вмешивался в их беседу, а только слушал; даже не смотрел на них, вернее, старался не смотреть, чтобы, как это бывает, не прервать, не нарушить течение их разговора.

«А он существует, этот водораздел?»

«Выбор профессии? Вы это имеете в виду, когда молодые люди вступают в жизнь?»

«Нет. Выбор профессии — это мелочь, деталь всего-навсего, а то, о чем я сейчас, если хотите послушать, скажу, касается всех возрастов и всех профессий. Это — коренной вопрос жизни».

«Ну-ну, пожалуйста, просветите».

«Начну с примера, чтобы понятней, а если позволите, с жизни своего отца. Крестьянский сын, солдат первой мировой войны, солдат гражданской, красногвардеец, бьет Юденича под Питером и возвращается домой — почетный боец революции, израненный, с наградами, и тут вот тебе: водораздел! Идти бы ему по партийной линии или по государственной, голодать, холодать вместе со всеми, двигаться вперед, так нет, засверкали эппманские монеты перед глазами, заискрилось



легкодоступное золотишко, и подался в купцы. Нажился, потом все отняли, и хотя не посадили, а жизнь сломана, никто. Душа сломана, вода и могила — один прямой путь, вот и все».

«Ну и что же тут нового?»

«Погодите. Это я рассказал о явном, видимом водоразделе. А бывает еще невидимый, который существует повседневно, ежечасно и встает перед каждым человеком. В том ли, в другом варианте, хрустящей ли бумажкой, а манит этот золотистый блеск, и если уж начистоту — вот я сижу перед вами, а ведь я, в сущности, повторил судьбу своего отца. В тяжелые послевоенные годы нет чтобы работать, чинов добиваться, потому что мне как фронтовику все двери были открыты, так тоже на легкое потянуло, на толкучку, и нажил, конечно, пачками деньги считал, не на штуки, а пачками, а потом в один прекрасный час как помелом — р-раз, и не успел я опомниться, как уже за решеткой. Отсидел, вышел, а жизнь-то сломана. Водораздел позади. Езжу от отца Серафима, заготавливаю по деревням воск для церквушек, что еще побрякивают колоколами, будят старушонок, ну, живу, жаловаться особенно не могу, не хуже других, чего бога гневить, а удовлетворения нет. Нет! Как подумаю, кем бы мог быть да кто есть на самом деле — душу воротит. Жизнь сломлена, водораздел пройден, и вот он, локоть, да не укусишь».

«В отца, значит, кровь».

«Может, и кровь, но знай я раньше, разве бы совершил такую ошибку? Если бы отец сказал мне, а то ведь нет, сам додумался, оглянувшись. Додумался, да поздно».

«Стать человеком никогда не поздно».

«Высот достичь поздно. Высот! Для каждого они начинаются на водоразделе, и человек должен быть провидцем — куда примкнуть, за что браться. Бывают годы, когда все ясно, за что, как сейчас, а бывает, когда не знаешь, куда колесо повернется, в какую сторону, вот тут и выбрасывает тебя на самый что ни на есть страшный стрежень водораздела».

«Ничего страшного».

«Как?!»

«Все это можно объяснить просто: одни честно трудятся, другие ищут легкой жизни — вот и весь ваш водораздел».

«Нет уж, не-ет, извините, не так все просто».

«Для кого как».

«Не всегда, не во все времена бывает ясно, куда повернется колесо истории и за что нужно цепляться человеку — вот в чем вопрос».

Не ручаюсь, что пересказал дословно весь их разговор; может быть, что-то и упустил или передал не так, но, по-моему, не столь важны подробности этого разговора, как сама суть, о чем вели они речь — о ч е л о в е ч е с к и х д у ш а х, которые попадают на стрежень в о д о р а з д е л а. Мне кажется, он действительно-таки есть, и не в том плане, «за что цепляться, куда повернется колесо истории», — ведь тут у этого лысеющего со лба явно был свой, и довольно скользкий, если не сказать больше, подтекст, а в другом, в водоразделе между честной, трудовой жизнью и в соблазнительности легкой наживы. Кто-то проходит водораздел незаметно, как будто его и вовсе не существует для него; передо мною, например, никогда не стоял такой вопрос; а Василий Александрович, очевидно, попал на этот самый, как говорил тот, с наметившейся со лба лысиной, страшный стрежень, но только не ухватился ни за то, ни за другое и остался промеж, а ведь к чему-то готовился в жизни? В военную академию мечтал, да что там, конечно, мог и с этого запить, от сознания своей никчемности, от жизненной пустоты, в которую, в сущности, если верить Марии Семеновне, сам бросил себя, но

ведь как ни объясняй, а все равно жалко человека. Так уж сложились для него обстоятельства. Жалко. Да и тогда, когда я лежал на топчане в залитой синим лунным светом комнате и под впечатлением рассказа Марии Семеновны думал о судьбе Ксении и о жизни Василия Александровича, как ни поднималось во мне отвращение, а все же и тогда я уже испытывал в какой-то степени жалость к нему. «Живет, а для чего? Сам мучается и других возле себя»,— рассуждал я, разумеется, еще более, чем Василия Александровича, жалея Ксению. Я опять чувствовал сквозь все тревожные раздумья, что есть во всей этой истории какая-то и моя вина, но какая, понять не мог, как, впрочем, и теперь не могу, а она все же была; вина есть, раз мучаюсь совестью. О п о з д а л — все, видимо, заключается в этом, но, может быть, и не только в этом. Во всяком случае, утром я встал почти больной, расстроенный, злой, и с Василием Александровичем состоялся у меня, пожалуй, самый резкий за все наши встречи разговор.

«А-а, ты»,— протянул он, выходя из-за перегородки и потягиваясь, когда я, уже одетый, сидел еще на топчане и раздумывал что делать. День был воскресный, и Василий Александрович не собирался на работу. Мария Семеновна же готовила завтрак и стояла у печи (вы скажете: «Все у печи! У печи!» Но так оно и есть, только у печи я и видел ее каждый раз и никак иначе не могу представить себе!); она лишь повернулась и своими старчески-подслеповатыми глазами смотрела на нас.

«Как видишь»,— ответил я.

«Чего приехал? Ее-то нет».

«Но ты не сообщил».

«Чего сообщать, ты же и так все за сто верст насквозь видишь, или на сей раз подвело тебя твое провидение? Чего глаза таращишь, нет ее, нет Ксении, понял?»

«Ты еще пьян».

«А это не твое дело. Не ты поил, не перед тобой и ответ держать. Если с добром приехал, ставь четок, тогда и разговор будет».

«Раньше ты пил, погому что Ксения мешала тебе жить. Добротою своею, как ты мне говорил, вселенской добротою, да еще за чужой, вернее, за твой...»

«Да, за мой, да, потому и пил».

«А теперь?»

«Теперь пью потому, что ее нет рядом, и тебе не понять этого. Хоть ты и провидец, а слеп, как телок, слеп, ясно? Ее нет, и такого человека больше не будет, а ты слеп, и не твое дело лезть ко мне в душу».

«Я не лезу».

«Лезешь!»

«Нет».

«Для чего едешь сюда? Чтобы в Гольцы?..»

«Да, и в Гольцы».

«Нашел дурака, хе-хе. Знаю, давно лезешь, да ладно уж, по старой памяти не прогоню, не пугайся, ставь четок на опохмеле, и все. Ставь, ну чего тебе, жалко?»

Не сразу, не вдруг, но все же удалось мне тогда уговорить Василия Александровича лечь в больницу. Мария Семеновна была рада и благодарна. Потом мы ходили с ней на могилу Ксении, и там, у не совсем еще обросшего травой серого холмика, обнесенного низкой деревянной оградкой, при ярком свете полуденного солнца я впервые почувствовал, как она стара, суетлива и, в сущности, беспомощна и что — да ей ли ухаживать за Василием Александровичем, когда сама она,

как дите, нуждается и в уходе и в ласке. Прежде как будто она не была набожной, или я просто не знал за ней этого, но тут вдруг еще за несколько дней до того, как пойти на кладбище, начала готовиться: купила конфет, пряников, напекла пирожков с рисом и яйцами, а потом щедро раздавала все это сидевшим и стоявшим у кладбищенских ворот старикам и старушкам (бог весть откуда они берутся, но я давно приметил, что всегда они толкуются у кладбищенских ворот и готовы помолиться за упокой любой души, лишь бы — подношение!) и озабоченно, как будто молитвы этих сгорбленных годами людей действительно могли что-то значить, произносила: «За Ксеню». Возле могилы мы присели на траву, она развязала еще узелок с продуктами, что был приготовлен, очевидно, для нас, и предложила откусать за добрую память усопшей.

«Пусть покоится ее душа, царствия ей»,— сказала она, перекрестясь и принимаясь за еду.

Она поглядывала то на крест, то на травку, как будто вползавшую на могильный холмик, то на меня, и какие-то свои, наверное, известные и понятные ей одной думы ворошились в старческом сознании. Время от времени она повторяла почти одну и ту же фразу: «Мучалась она, ой, как мучалась» — и фраза эта для самой Марии Семеновны была, конечно, всеобъемлющей, вбиравшей весь ход охватывавших ее воспоминаний. У меня же были свои грустные думы. Я принес Ксене цветы. Они лежали неразвернутым букетом у самого основания креста, я смотрел на них, и мне вспоминалось, как тогда вечером я пришел к ней в палату и положил на грудь несколько ранних весенних красных гвоздик. «Ну вот,— думал я,— при жизни не принесли, зато теперь я буду носить их тебе». Но все это, разумеется, были только добрые намерения, ибо как же я мог носить их, живя в Чите? Разве только снова приезжая сюда, в Калининичи? А для чего мне было теперь приезжать? К кому? И наверное, я бы действительно никогда больше не приехал, если бы не Мария Семеновна да отчасти и Василий Александрович, которого, как ни осуждай, а все же жалко.

Впервые тогда Мария Семеновна пошла провожать меня на вокзал.

«Ты уж не забывай нас,— просила она.— Может, и со всей семьей, будем рады. Дети-то есть?»

«Есть, сынишка растет».

«Сколько годиков?»

«Этой осенью в школу».

«Ну вот все вместе, да ты уж, Христа ради, не забывай нас. Он-то сегодня так, а завтра кто знает, а что я с ним?»

«Вылечат, Мария Семеновна, не такие болезни лечат».

«Дай-то бог, да кто знает, всякое может быть. Дай-то бог...»

И что вы думаете, Мария Семеновна оказалась права: года Василий Александрович не продержался, снова запил, да еще как, и я теперь езжу не к Ксене и даже не потому, что жалко Василия Александровича — как-никак, а бывший комбат, воевали вместе! — а к Марии Семеновне. Вот уж на кого действительно не могу без боли смотреть. Почти слепая, живет на пенсию, а этот Василий Александрович не то чтобы в дом, а из дому что только возможно тянет. Квартиру дали однокомнатную, чего бы еще, а все пьет. Не буянит, не шумит, да в этом ли суть? При мне, как приеду, вроде держится, дает слово, клянется, а как уеду — все по-старому. Трудно даже представить, до чего дошло. Ведь Мария Семеновна не только прятать деньги, пенсию свою, но даже продукты вынуждена держать у соседки в холодильнике. Разве это жизнь? А с Василия Александровича, что ни втолковывай ему, как с гуся вода; вроде и соглашается, клянется себя, а на деле — как

подгнивший столб, только и держится что на подпорке, а чуть отпустил, уже на земле; но ведь и подпорка — раз в году, кто же мне даст два отпуска? Пробовал, приезжая, еще укладываться в больницу, но толку что.

«Губишь себя», — говорю.

«А что? Для кого беречь? Ее-то нет».

Я уж и так пробовал:

«Но я-то вот не пью».

«Э-э, ты святой человек, — отвечает, хотя знал бы, как эта святость дается. — Ты, Женя, святой человек, давай за твое здоровье по последней, носи четок, и все, завяжу. Навек завяжу».

Недавно, четыре дня назад, такой же вот разговор был; я ведь опять уложил его в больницу; четка, конечно, тогда не принес ему, а вчера вечером прихожу в палату, сидит нахмуренный от больничного халата ли, от белой ли больничной обстановки или, может, от мрачных дум — лицо даже будто зеленое; не смотрит, отворачивается.

«Ну что, — говорю, — Василий Александрович, как дела?»

«Ладно, — отвечает, — сказал: все, не буду, поезжай спокойно».

Но это слова, не больше. Опять сорвется, чувствую, если не убежит из больницы, так запьет, и пойдет все по старому кругу, по колесу, ведь вот в чем вопрос, а как остановить, как разрубить круг, выпрямить линию, ума не приложу. Здесь они — Мария Семеновна, Василий Александрович, а там, в Чите, — Зинаида Григорьевна, Саша, семь, восьмой, да еще ж и Петр Кириллович, им ведь тоже мои поездки не в радость же; правда, от Зинаиды Григорьевны я ни разу не слышал упрека, молчит, только иногда глаза заволакиваются, а что за этими сдерживаемыми слезами? Стоит на перроне, не шелхнется, держит за руку сына и смотрит, как я, высунувшись из тамбура, из-за плеча проводника помахиваю ладонью; и Саша в нее, тоже молчит, ручки вниз, как по швам, одни глазенки — вот они, как живые передо мною, и я знаю, что за этим взглядом, знаю, о чем думают и Зина и он, что чувствуют, весь их мир — во мне, и разве не болит у меня сердце за них? Невольно, не хочу, а думаю иногда, что, может быть, и я добр за счет чужой доброты, за счет доброты Зинаиды Григорьевны, сына, Петра Кирилловича? Зина-то не скажет, уверен, а Петр Кириллович смотрел, видно, смотрел, как она мучается, терпел-терпел да и не вытерпел — перед самым моим отъездом в этот раз (наедине, конечно, выбрал момент) говорит: «Ты что делаешь? Седой весь, семья, не видишь, что ли, как возле тебя человек сохнет!» Это он про Зину. Я не ответил. А что я мог ответить? Мир-то весь во мне: и этот, что в Калининчиках, и тот, что в Чите; во мне он единый, целостный, а в жизни — разорван. Как его соединить? Как тут будешь спокойным? Оттого и езжу, как это я вначале вам говорил, отдыхать сюда, и гостиница эта — почти родной дом; и на следующее лето, наверняка знаю, уверен, опять буду здесь; мир целостен, хотя я и мечусь туда и сюда, как будто и разрываюсь, а в душе разорвать не могу, как он сложился для меня, так и есть, как у каждого, думаю, свой и тоже, наверное, для самого себя всегда целостный.

*Конец первой части*





---

---

## ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ

ИШТВАН ШИМОН

★

### *Решето летает*

То не туча грохотала —  
решето в руках летало,  
так легко-легко, казалось,  
что и рук-то не касалось,  
висло коршуном кружащим  
над потоком восходящим  
в неподвижном небосклоне,  
а проворные ладони  
с яростью какой-то злой  
били, били в бок оглохший,  
и метался с криком коршун  
между небом и землей.

Это жаркая работа —  
очередь из пулемета,  
а за нею ходко-ходко  
барабанная трещотка,  
а потом — пальба иная,  
пыль на гумнах поднимаемая,  
всюду после обмолота  
били в пыльные решёта;  
и, как все, с веселой злостью  
мать моя на сквозняке  
отвевала от охвостья  
семена в сухом лубке.

Было радостно, не скрою,  
все казалось мне игрою,  
мне и дела было мало —  
решето в руках летало;  
может быть, от той свободы  
завертелся ритм работы  
и пошло иное дело,  
всюду музыка гремела,  
бил тамтам, и там, вдали,  
там, где веялась полова,  
вздвогнув, я вписал два слова,  
рифмы начертал в пыли.

И с тех пор, как бьют в решета,  
я и сам стучусь во что-то,  
в чьи-то руки и ладони  
и как будто сам в загоне,  
пленник, это я летаю,

мир сквозь сито пропускаю,  
 все делю наполовину —  
 на зерно и на мякину,  
 ощущая мимолетом,  
 что и я под обмолотом;  
 а во всех глазах испуг:  
 не отбился бы от рук.

Шутка ль, решето летает,  
 но пока его толкают,  
 бьют в бока и взашей гонят —  
 слава богу, не уронят;  
 а когда я долетаюсь,  
 с пылью белую смешаюсь,  
 и к бокам примерзнет время,  
 вот тогда прощусь со всеми,  
 потому что и простится  
 и оплатится сполна  
 тем, кто выдал перья птицам,  
 а посевам — семена.

### *В Петропавловской крепости*

Голодная страна. Холодная стена.  
 Тюремщик — он привык! — дверь открывал, помешкав.  
 И серый коридор. И камера одна.  
 За ней еще. Кто там: Ульянов или Пешков?

И темная нора. И много темных нор.  
 Зато верховный шпиль на башне позолочен.  
 Еще убеждены и царь, и царский двор,  
 что прочен каземат, как строй российский прочен.

Тюремщик, он лишь знал о положеньи дел,  
 он, не смыкая глаз, ночь проводил в кошмарах,  
 все шпорами звенел да знай в глазок глядел:  
 у, нехристи, сидят, сидят себе на нарах.

А все же и его в душе сомненья жгли:  
 а вдруг недоглядел? А вдруг глазами хлопал?  
 Чтоб заглянуть в глазок, он наклонялся и —  
 черт бы ее побрал! — звенела сабля об пол.

(Часы звенели в ночь, и их стальной завод  
 гул осыпал в листву, и в молодой отваге  
 медлительно спешил тот переломный год,  
 который ход сломал имперской колымаге...)

...Сказать ли мне ему, что знает он и так?  
 Оковы тяжелы, и тяжела развязка,  
 однако и гнойник так тяжело набряк,  
 как на больном стволе весенняя повязка.

Но что ни говори — а дерево растет!  
 Но как ни заключай — а нет конца простору! —

Так размышляет он и ходит взад-вперед,  
и ходит взад-вперед всю ночь по коридору.

И вновь глядит в глазок: какой разящий свет  
в измученных глазах, запавших от страданья!  
Он разрезает мрак — и в мире силы нет,  
чтоб притупить его алмазное сиянье.

### *Нанутствие сыну*

Мой сын, ты начал говорить,  
а я за все слова в ответе.  
Ты видишь, в слове должен быть  
свой смысл, как и во всем на свете.  
Ты постигаешь, мальчик мой,  
что слово — суть и хлеб насущный:  
попросишь — и перед тобой  
и яблоко и шар воздушный.  
Потом обыденность сотрет,  
как с запыленного ранета,  
со слова золотой налет,—  
но пусть попозже будет это!  
Ты слову на слово не верь,  
а то не избежишь ловушки.  
Оно мне кажется теперь  
мишенью на твоей макушке.  
Вот я и вынужден смотреть  
на слово с пристальностью Телля,  
весь опыт в яблочко нацеля,  
чтоб ты не промахнулся впредь.

### *Чистая работа*

Бывает ли работа  
чистейшая, мой друг,  
когда в конце хоть что-то  
не замарало рук?  
Нет! За дела возьмешься —  
тебя чернят со зла,  
хлопот не оберешься —  
такие-то дела!  
Но потому, дружище,  
и есть в работе толк:  
чтоб этот мир был чище,  
пусть будет чист твой долг.  
Учись же делать с толком  
свой будень черновой,  
как истопник с ведерком  
и мусорщик с метлой.  
А если ты вздыхаешь  
о чистоте житья  
и рук не замараешь,  
что стоит жизнь твоя?



Она на тех похожа,  
кто, чистотой гордясь,  
наденет в грязь галоши  
и сам разносит грязь.

*Перевел О. Чухонцев.*

## ДЮЛА ИИЕШ

★

### *Убежище*

Меня ты убеждаешь страстно,  
что, мол, беда не велика.  
Но ты стараешься напрасно —  
я обречен наверняка.

Моя болезнь меня тревожит  
не первый день, не первый год.  
Она смертельная, и может  
быть у нее один исход.

Хотя моя ужасна мука,  
и нестерпима, и остра —  
но здесь беспомощна наука  
и бесполезны доктора.

Выздоровленье без причины  
не снизойдет, как благодать —  
я должен ждать своей кончины,  
и только ждать, и только ждать.

Я болен старостью, и эти  
мученья адские терпя,  
уже боюсь при ярком свете  
увидеть в зеркале себя.

Живу, но чувствую, однако,  
смертельный хлад над головой —  
как умирающий от рака,  
от той болезни роковой.

Нет, утешительные речи  
ушедших лет не воскресят.  
Все больше давит груз на плечи,  
когда пошло за пятьдесят.

И ты напрасно скрыть хотела  
то, что давно предreshено,  
и то, чего, по сути дела,  
я не боюсь уже давно.

Нет, дай, приемля эту муку,  
мне твердым быть в конце пути,  
и женскую свою науку  
лишь этой цели посвятить.

Чтоб я торжественно и строго  
стоял, достоинство храня,  
в тот час, когда собаки рока  
внезапно прыгнут на меня.

Чтоб за мгновенье до разлуки  
я мог в глаза твои взглянуть

и холодеющие руки  
 к тебе спокойно протянуть.  
 И так как женщины любовью,  
 уже у бездны на краю,  
 спасали раненого, кровью  
 почти истекшего в бою;  
 И так как, в сущности, похоже —  
 вконец измятое, в крови —  
 для смерти посланное ложе  
 на ложе пышное любви;  
 и так как тайн меж нами нету,  
 не утешай меня, не лги —  
 последнюю границу эту  
 переступить мне помоги.

*Перевел Юрий Левитанский.*

---

## ГАБОР ГАРАИ

★

### *Чайная роза*

Ты воскликнула: — Эта роза,  
 роза чайная, живая!  
 Ну, а если б из фарфора  
 эти вывел кружева я?  
 Ну, а если б мертвый, твердый  
 я избрал бы матерьял,  
 предпочтя великолепье,  
 долговечность,  
 жесткость, крепость...  
 Что бы вышло?  
 Ну, конечно, совершенная нелепость,  
 будто вещь природу  
 я лубком быверял!

Можно ль передать в фарфоре  
 этот теплый чайный цвет  
 и прожилок теплых, алых  
 ласковую вдохновенность,  
 нежность крапинок жемчужных  
 и ворсинок незабвенность?  
 Вышли б фальшь и безобразье:  
 двойника в искусстве нет!

Прелесть розы в том, что это  
 не муляжик восковой,  
 точно воспроизводящий  
 форму и число тычинок, —  
 в том, что это не одна из  
 ботанических картинок,  
 а цветок, землей рожденный,  
 неподдельный  
 и живой!

Прелесь розы в том,  
 что это  
 рост — и времени томленья,  
 непрерывность, беспрестанность,  
 лихорадочность цветенья,—  
 вечная неповторимость  
 облетевшего цветка,—  
 бренность, хрупкость, преходящесть,  
 невозможность двойника!

Срежь ее —  
 секунд полет  
 ножницам садовым вовсе  
 неподвластен.

Куст искромсан,  
 а она, как встарь, живет!

Если ты захочешь в камне  
 эту розу воплотить,  
 то пойми, что суть не в форме  
 лепестков, шипов, тычинок:  
 сладкое благоуханье  
 попытайся уловить,  
 тайну жизни, тайну влаги,  
 тайну уст медоточивых!  
 Эфемерность, мимолетность  
 попытайся разгадать,—  
 нежные круговороты  
 солнца, воздуха и света,—  
 и того, как к ней нисходит  
 свежих ливней благодать,—  
 и того, как в ней мерцают  
 пламена земного лета!

### *Яркая осень*

В дождливых шорохах и в опаданьи груш  
 Вдруг лето отошло и воцарилась осень:  
 Заиндевелость призм, ликующая просинь,  
 Очарованье глаз, восторг капризных душ!

И кажется на миг, что, смертью смерть поправ,  
 Листва еще дрожит в своей тревоге хрупкой  
 Над яблоком с гнильцой меж обморочных трав,  
 И над обманчивой ореховой скорлупкой.

Розарий в третий раз раскрылся и поблек,  
 И поползла роса по пышным георгинам,  
 И сумрак обагрил своим дыханьем львиным  
 Грядущую весну моих прозрачных щек.

Затем, что смерти нет — и возрождение длится,  
 И в пепел, в перегонной, сквозь листопад и тлен,  
 Вплывая поутру, вещает феникс-птица  
 О неизбежности извечных перемен.

*Перевел А. Големба*



---

**АЛЕКСЕЙ АРБУЗОВ**

★

## **ВЫБОР**

*Драма в двух частях*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ДВОЙНИКОВ Николай Андреевич, 34 (Пролог — 40 лет.)  
ИППОЛИТ, 33-39 лет  
ЯКОВ, 33—39 лет  
ГРИША, 28—34 года } его друзья  
ЛЯЛЯ — жена Якова, 33—39 лет.  
ЛАРУШКА — ее племянница, 20—26 лет.  
ЖАННА, 26—32 года.  
КОРОЛЕВИЧ — двоюродный брат Двойникова, 41—47 лет.  
ДОЧЬ Двойникова.

Наше время

### **ПРОЛОГ**

На сценической площадке — персонажи этой истории. Полутьма, только лица говорящих слабо освещены.

Яков тихонько играет на гитаре.

Двойников. С чего все началось... Кажется, в день моего рождения... Мы собрались под вечер... Тут все и решилось... Именно в этот день.

Ларушка. Нет, надо научиться себя сдерживать... Совсем уж не могу в сторону глядеть — все на него, на него... День рождения — подарок надо бы веселенький, а я ему стеклянного кота... Дура какая, господи.

Гриша. Пора, пора... Нельзя же все время под влиянием другого жить. Уеду от него — надо самим собою становиться!..

Ляля. Кому как повезет... А в тридцать с хвостиком жизнь менять поздно — что выбрано, то выбрано. С Яшей спокойно... А этот... Нет уж избави боже! Вот разве пошутить? Легонько полететь с ним в бездну — но чтоб к утру возвратиться... Не опоздать к завтраку — успеть чаю Яше налить.

Яков. Не ясно — зачем я нужен ему?.. За что держит? Легко, ненавязчив... Отчасти шут гороховый. А может, жена красивая? Хотя на это ему наплевать. Талант... Ему безразлично все.

Сцена постепенно светлеет.

Двойников. Да... Удивительные были дни. Вдруг все исполнилось... Выбирай любое! Столько лет неудач — я почти перестал себе верить... И вдруг... Как снег на голову...

На сцене уже полный свет. Действие началось.

В комнате у Двойникова — Гриша, Яков, Ляля, Ларушка.

Яков (*поет Двойникову под гитару*).

...Честь имеем вас поздравить  
Со днем ваших именин...

Ларушка (*поправляя*). С днем рождения, Яша...

Яков. День рождения в размер не укладывается.

Гриша. Я сегодня напьюсь. Поражу всех. Groш мне цена, если не напьюсь.

Ларушка. Но почему, Гришочек?

Гриша. Я полюбил женщину. Безумно. Но она равнодушна ко мне.

Яков. Эх, милый... Женщины — позор человечества.

Ляля. Ты сегодня совершенно разнуздан, моя прелесть.

Яков. Ужинать хочу. Когда вы нас кормить будете?

Ляля. Вскоре. Ипполит когда придет?

Двойников (*смотрит на часы*). Явится... того гляди.

Гриша (*усмехнулся*). Ну конечно, без Ипполита нельзя.

Яков. Ревнуешь? Напрасно. Ипполит у нас продолжатель и последователь. (*Указывая на Двойникова*.) Объявлен его официальным преемником.

Гриша (*развел руками*). А я тем временем полюбил женщину.

Ларушка. Тетка, пойдем лучше на кухню... к ужину готовиться надо.

Ляля. Пошли, милое дитя. (*Двойникову*.) А вы, Коля, лихо устроились — заставляете знакомых женщин званые ужины вам готовить... сохраняя в то же время холостое положение.

Двойников. Ну что вы, Лялочка... Я бы на вас женился, но вы не дождалась — вон за этого гитариста замуж вышли.

Ляля. Я для вас старовата — совсем уж за тридцать. Но вот Ларушка у нас есть — милая моя племянница.

Двойников. Я бы хоть сейчас под венец... Но как другие поглядят?

Яков (*взглянул на Гришу, приснул*). Другие не одобряют.

Ларушка. Все вы смеетесь, смеетесь... как глупенькие. (*Стремительно выбегает из комнаты*.)

Ляля. Перебор — ученые люди. (*Уходит за Ларушкой*.)

Гриша. Глядеть тошно на вас...

Яков (*бренчит на гитаре*). И верно — почему ты холост, Никушка?

Двойников. А черт его знает...

Гриша. Поздновато задаешь такие вопросы, Яков Матвеевич... Пятнадцать лет вместе — учились, работаете... Поздновато.

Яков. Он загадочный тип, Гриша.

Гриша. Ну и что? Я тоже загадочный. (*Подошел к окну*.) Почти решил. (*Обернулся*.) Уеду я от вас.

Двойников. Что так?

Гриша. Надоело существовать в тени твоего таланта.

Яков. Бунт на корабле, Коля.

Двойников. Пусть отправляется. Ему на пользу будет.

Гриша. Ипполиту ты бы так не сказал.

Двойников. Конечно. Он тебя умнее.

Гриша (*идет к Двойникову*). Это шутка, надеюсь?

Яков (*берет Гришу за шиворот*). У тебя уже три привода за драку. (*Сажает его в кресло.*)

Гриша. Это в юности было. Теперь я остепенился.

Яков. Как хорошо-то. (*Подошел к балкону, смотрит вниз.*) Что это там роют... в сквере?

Двойников. Клумбу решили воздвигнуть.

Яков. Шикарное место для памятника.

Гриша. Может статься, в связи с вашим успехом, Николай Андреевич, вас туда и поставят — в бронзе? Все-таки жили напротив.

Двойников. Вот бы поставили... Я жизнелюб — хотел бы навеки остаться на земле. И если не живым, то хоть в бронзе.

Гриша. Веселишься?

Двойников. Три года я жил наедине с моей работой — почти изверился в самом себе. И теперь, когда все позади, мне просто бывает иногда весело.

Гриша. Позади?.. Ну, а положи руку на сердце... считаешь, что твоя работа закончена?

Яков. О чем ты болтаешь? Работа опубликована и переводится на другие языки...

Гриша. Николай Андреевич, ты очень странно молчишь.

Двойников. Видишь ли... В науке вообще не бывает законченных работ. Мысль нельзя исчерпать — одна рождает другую. Это неизбежно.

Гриша. После всех славословий и поздравлений тебя с повышением переводят к академику Варду. Первостатейно! Здравствуйтесь, процветание и благоденствие. Но можешь ли ты продолжить у Варда то, что начал здесь?

Яков. Опять мутишь воду, несчастный?.. Все обстояло так мило...

Гриша. Мило? Вот это точно определено.

Входят Ляля и Ларушка с посудой.

Ляля. Дети, убирайтесь отсюда. Мы на стол накрывать будем.

Яков. Пойдем на балкон, Григорий. Поглядим, как ему копают памятник на сквере. (*Уводит Гришу на балкон.*)

Ляля (*Двойникову*). А вы что же?

Двойников. Они мне надоели. Их обуяла чисто дамская страсть — выяснять отношения. (*Выходит.*)

Ларушка. Шутит все... (*Помолчав.*) Он тебе нравится?

Ляля. Несомненно. (*Разглядывает тарелки.*) Черт те что — все тарелки разные... Боже мой, боже мой, какое добро пропадает.

Ларушка. Ты о чем?

Ляля. О Двойникове, разумеется. Удивительно изящное существо. Когда вы наконец поженитесь?

Ларушка. Ты с ума сошла!

Ляля. Почему же... Он поглядывает на тебя не без любопытства. А ты, насколько я понимаю, совершенно ошалела от любви к нему.

Ларушка (*вскрикнула*). Тише!.. (*Помолчав.*) Неужели уж так заметно?

Ляля. Один Гриша не замечает.

Ларушка. Он славный... Гриша.

Ляля. Весьма. А Двойников — личность. Он пойдет далеко. Так далеко, что рядом с ним идти будет опасно. (*Поглядела на нее.*) Но не тебе.

Ларушка. Почему?

Ляля. Это трудно объяснить.

Ларушка. Я дурочка?

Ляля. Ты прелесть. И не мозоль глаза, скорее выходи за него...  
 Ларушка. Скорее... Легко сказать.  
 Ляля. Соберись с силами... *(Вдруг засмеялась.)* И торопи события.  
 Торопи. *(Выходит из комнаты.)*

С балкона появляется Гриша.

Гриша *(неуверенно)*. Как дела?  
 Ларушка. Расставляем посуду.  
 Гриша. Кажется, уже расставили?  
 Ларушка. Не совсем.

Долгое молчание.

Гриша. Да. Разговор у нас с вами... первостатейный.

Ларушка беспомощно озирается. Гриша вынимает из кармана конверт, оглядывается и передает его Ларушке.

Ларушка. Что это?  
 Гриша. Письмо. Я написал тут, что люблю вас. Я никогда бы не смог вам этого сказать. А в письме все получилось довольно хорошо. Даже замечательно. Я тут написал, что не могу без вас жить. Это не преувеличение. Это действительно так. Потом я написал, что хотел бы уехать с вами. Но самое главное в письме то, что все это правда. *(Помолчав.)* Совершенная правда. *(Быстро уходит на балкон.)*  
 Ларушка. Ну вот... еще недоставало. *(Разглядывает письмо.)* Толстое... Все-таки милый он.

Возвращается Двойников.

Двойников. Вы обиделись? Простите нас, Ларушка... Сегодня мы все насмешливо настроены друг к другу. Вот и ваш Гриша тоже...

Ларушка *(негодую)*. Николай Андреевич, у вас нет никаких оснований называть Григория Филипповича моим. Может, вам неприятно, что я подарила вам стеклянного кота, но я несведущий человек в таких вопросах... Я и так устаю в своем фотоателье, где всегда царит ужасная неразбериха. Опять вы смеетесь?

Двойников. Вы такая хорошенькая, Лара, что на вас невозможно смотреть без смеха. *(Проводит рукой по ее волосам. Она не отстраняется.)* Завидую вашему будущему мужу.

Ларушка. Зачем завидовать-то... Станный вы.

Двойников *(неожиданно)*. Я устал.

Ларушка *(испуганно)*. Почему?

Двойников *(медленно)*. Чего бы я хотел всего более? Сесть в поезд Москва—Владивосток и ехать... Неторопливо двигаться к Тихому океану.

Ларушка. Одному?

Двойников. Если в купе оказались бы вы, я, вероятно, не протестовал. Может быть, даже счастлив был... и все время смеялся.

Ларушка. Смеяться-то зачем?..

Они замолкают, не зная, видимо, как им вести себя дальше.

Входит Ляля с очередной порцией посуды.

Ляля. Ипполит звонил — он уже вышел из дома... Объявил, что направляется сюда с какой-то девицей.

Двойников. Ипполит с девицей? Что-то новое.

Ларушка. Вилки не хватит... *(Выходит.)*

Ляля *(Двойникову)*. Спичку дайте. *(Закуривает.)* Вы уже решили переходить в институт... к Варду?

\* Двойников. Отказываться, видимо, грешно. Большие возможности.

Ляля. Завидую, так сказать, со стороны Яши.

Двойников. О нем не беспокойтесь — не пропадет.

Ляля. Сказано с некоторым оттенком сарказма, не так ли?

Двойников. Всего лишь с тем оттенком, которого он заслуживает.

Ляля. А в вас, Коля, появилась эдакая нотка игривости.

Двойников. Просто разомлел при виде огромного куска пирога (*указал на кухню*), который маячит в отдалении.

Ляля. Это вы фигурально — о пироге?

Двойников. По-всякому. Но Яшу я люблю. Он веселый дядя. А ловкость человеку никогда не мешала.

Ляля. Ловкость и я люблю. Во всех, так сказать, разделах бытия. (*Не сразу.*) Кстати, ловкач мой на месяц в Карелию уезжает... так что я, видимо, буду скучать на даче. Приезжайте — на лодочке покатаемся. (*Улыбнулась.*) У нас закаты хороши.

Двойников. Рассветы тоже?

Ляля. Увидим... может быть. (*Посмотрела на него внимательно.*)

Ого! А в вас появилось нечто человеческое.

Двойников. Да. Деградирую.

С балкона возвращаются Гриша и Яков.

Яков. Лялочка, кушать хочется ужасно.

Ляля. Ступайте на кухню. Лара что-нибудь вам соорудит... предварительное.

Гриша. Ну что ж, закусим в преддверии Ипполита.

Ляля (*глядит им вслед*). Ваш Гришенька буян.

Двойников. Пытается выгладеть.

Звонок.

Ляля. Ну вот и Ипполит наконец...

В комнату стремительно входит Ипполит.

Несколько поодаль от него Жанна.

Ипполит. Здравствуй. Вот тебе гвоздики. Куплены оптом — в кувшине. Ляля, раскидай по сосудам. (*Передает ей цветы.*)

Ляля. Роскошный вы у нас мужчина, Ипполит. (*Уходит с цветами из комнаты.*)

Двойников. Со спутницей все же познакомил бы.

Ипполит (*улыбаясь*). Товарищ из Ленинграда.

Двойников. Звучит таинственно.

Жанна (*здороваясь*). Суворова.

Двойников. Пообстоятельней хотелось бы.

Жанна. Жанна Владимировна.

Ипполит. Наш коллега. Познакомились в Ицколе. Вместе забирались на Эльбрус. Отменный спутник. Положительный герой. Однако покидает Ленинград. Нынче утром прибыла в Москву. За отсутствием мест в гостиницах оставила чемодан у меня. Дальнейшее окутано туманом.

Двойников. Туман — это по поводу номера в гостинице?

Ипполит. В том числе.

Жанна. Вы простите, что я к вам неожиданной гостьей... Ипполит Николаевич уговорил. (*Улыбнулась.*) Впрочем, без труда. Мне хотелось с вами встретиться.

Ипполит. Видишь, какая она откровенная, наша Суворова.

Жанна. Дело не в том, что вы сейчас в центре разговоров, — хотела повидать вас потому, что тема вашей работы где-то рядом с моей...

Двойников (*чуть помолчав*). В Москву вы надолго?



Жанна. Ничего о себе не знаю. Я — как бы это выразить помягче — на распутье сейчас.

Двойников. То есть?..

Жанна. С мужем разошлась.

Двойников (*несколько смущен ее прямой*). Чем же он вам... не подошел?

Жанна. Я ему не подошла.

Это сказано с такой неожиданной резкостью, что Двойников мгновенно понял — дальше об этом говорить нельзя.

Двойников. Я думаю... ужинать пора. Надо женщинам сказать. Ипполит. Стоп... У меня разговор к тебе... (*Приоткрыл дверь — из кухни доносится смех, пенье.*) А они, кажется, не скучают.

Двойников. Любимое Гришино занятие — хором поют...

Ипполит. А мы поговорим.

Жанна (*встает*). Вы позволите?.. Мне позвонить надо.

Ипполит. Телефон в коридоре.

Жанна. Я заметила. (*Уходит.*)

Двойников. Однако хороша... Необыкновенно.

Ипполит (*как-то сокрушенно*). Еще и умница. Это ты увидишь.

Двойников. Влюбился наконец?

Ипполит. Пока нет. Страшновато. Наше знакомство в Ицколе короткое — всего несколько дней. Я как-то немею с ней. Или болтлив как дурак. Мне кажется, я ее просто боюсь... (*Улыбнулся.*) Нет, такие женщины не про нас. Они, как венок из лавров, увенчивают голову победителя. Только победителя.

Двойников (*помолчав*). Пожалуй.

Ипполит. Николенька...

Двойников. Ну?

Ипполит. Последние дни у нас как-то все с тобой не просто. Мы что-то недоговариваем.

Двойников (*нетерпеливо*). Дальше.

Ипполит. Достаточно ли ты понимаешь, чем тебе грозит переход к Варду?

Двойников. Именно?

Ипполит. Идти к нему в институт значит распротиться с темой, которой ты отдал почти три года жизни. А ведь весь смысл твоей работы в том, что она только подступ к чему-то весьма значительному.

Двойников (*почти со злостью*). Тема завершена. Работа опубликована. (*Вдруг вспыхнул.*) Почему ты приговариваешь меня к тому, чтобы я всю жизнь шел только одной дорогой? Ты не хотел, чтобы я опубликовал свою работу — один ты! — я не послушался... И что же? (*Берет лежащую на столе книгу.*) А теперь вопреки очевидности хочешь доказать, что прав был не я, а ты?

Ипполит (*берет из рук Двойникова книгу, листает ее*). Ну что же... если не приглядеться пристально, это можно счесть за некоторый итог... Но ты знаешь чуть больше тех, кто читает эту книгу. Ты знаешь!

Двойников (*не сразу*). А если я хочу остановиться и поразмышлять?

Ипполит. Только трусость и неверие в свои силы позволяют нам останавливаться в минуты, когда мы должны нанести решающий удар.

Двойников. Выражайся яснее, милый.

Ипполит. Так вот. (*Медленно.*) В твоей книге встречаются догадки, которые пока лишь смутно мучают твое воображение, но всякая попытка довести их до логической ясности была бы для тебя далеко небезопасна... (*Резко.*) Волей-неволей она бы вынудила тебя замахнуться на авторитеты, весьма в науке весомые.

Двойников (*не сразу*). Имеешь в виду Королевича?

Ипполит. Именно. Володеньку Королевича. Твоего милого двоюродного братца. (*Значительно.*) И не только его.

Двойников. Так-с... Другими словами, обвиняешь меня в трусости?

Ипполит. Куда там. В осторожности. (*Усмехнулся.*) Несомненно, это звучит ласкательнее.

Двойников. Как интересно-то... Оказывается, мою позицию можно истолковать и таким вот образом. Забавно, что ты прямолинеен до такой степени.

Ипполит (*ворчливо*). Полагал, что за десять лет совместной работы ты изучил досконально это мое основное достоинство.

Двойников. Видишь ли, Поля... Кроме твоих предположений, существует еще нечто. Нечто очень простое и человеческое. (*Улыбнулся.*) Усталость.

Ипполит (*стропливо*). Усталость еще никому не диктовала правильного выбора.

В дверях появляется Жанна.

Жанна. Я без стука. Простите... (*Оглядывает их.*) Вид, однако, у вас обоих какой-то... взерошенный.

Ипполит. Беседуем.

Жанна. Понимаю. (*Улыбнулась.*) Серьезная мужская беседа — почти всегда вид драки. (*Взглянула на Двойникова.*) Николай Андреевич, известен ли вам профессор Сергачев?

Двойников (*с любопытством поглядел на Жанну*). Лично с ним еще не знаком, но работы его знаю.

Жанна. Илларион Игнатьевич равнодушия не вызывает. Тут обычно две позиции — за или против. (*Улыбнулась.*) Вы как?

Двойников. Выдающийся экспериментатор. Смелый человек.

Ипполит. Что до меня, то мечтал бы работать с ним.

Жанна. Мне это, очевидно, предстоит... Если все сложится. Я только что говорила с ним по телефону. Он сейчас в Москве — на совещание приехал.

Ипполит. Завидую... Значит, жить будете в двухстах от нас километрах?

Жанна. Пустяки — до Лифарей три часа езды на машине.

Двойников (*улыбнулся*). Боюсь, что мы сможем там встретиться, Жанна Владимировна.

Жанна. Не поняла.

Двойников. Сегодня утром я получил письмо от Сергачева. (*Берет со стола конверт, смотрит на него.*) Он предлагает мне работать у него в Лифарях.

Ипполит. Немыслимо! Ты у нас просто нарасхват, Николенька. И что же ты ответил ему?

Двойников. У меня есть слабость, Поля: прежде чем ответить, подумать немножко.

Ипполит. В данном случае думать не о чем. Лифари стоят Москвы. Надо соглашаться.

Жанна (*мягко*). Вы вряд ли правы... Дело, разумеется, не в том, что столица обычно заманчивее периферии. Возможности, предложенные Николаю Андреевичу у Варда, заманчивы во всех смыслах. В его распоряжении будет штат сотрудников самой высокой квалификации, да и материальных средств окажется достаточно, чтобы вести спокойную работу. А Лифари — учреждение беспокойное. Характер у Иллариона Игнатьевича... непрост. Девиз «не тронь меня — и я тебя не трону» ему враждебен. Словом, работать у Сергачева значит обречь себя на сложную, непокойную жизнь.

Ипполит. Странновато... Вы что же, отговариваете его?

Жанна. Предупреждаю. Всего только.

Ипполит (*поглядел на молчащего Двойникова*). Ну а ты по-прежнему все еще раздумываешь и рта раскрыть посему не можешь? Двойников. Нет, я, пожалуй, решил...

Звонок.

Жанна. Кажется... звонят?

Двойников. Странно.

Ипполит. Обязательно какой-нибудь монстр возникнет. Увидишь.

Появляется Яков.

Яков. Николай, это почти невероятно, но..

Двойников. Что еще?

Яков. В коридоре Королевич.

Ипполит. Н-да... Знаменательно.

Яков. Пускать?

Двойников. Давай.

Яков уходит.

Ипполит. Предполагал любое. Но он?:

Двойников (*с улыбкой погладил его по голове*). Пан бушует?

Ипполит (*бьет его по руке*). Сгинь.

Жанна (*смеется*). Ипполит, уймись...

В комнату быстро входит Королевич. За ним появляется любопытствующий Яков.

Королевич (*подходит к Двойникову*). Поздравляю. Тридцать четыре?

Двойников. Угадал. По-прежнему отстаю от тебя на семь лет. (*Жанне*.) Мой двоюродный брат. Надеюсь, известен вам. Очень не дурак.

Жанна (*Королевичу*). Суворова.

Королевич (*Двойникову*). Лестно меня представляешь.

Ипполит. Точно.

Королевич (*рассмеялся*). Поглядите только, как он меня не любит.

Ипполит. Любовь свободна, мир чаруя.

Яков (*Жанне*). Не угодно ли вам последовать за мной на кухню?

Я буду не я, если вам не поднесут там чего-нибудь значительного.

Ипполит. Идея. Жанна, познакомьтесь: Яшенька — человек без стержня. Его характер очень мило оттеняет жена.

Яков (*незлобиво*). Клянусь, он прав!

Ипполит. И прочь отсюда. (*Указывая на Двойникова и Королевича*.) А этим и без нас будет весело.

Берег Жанну под руку и уводит с собой. Яков следует за ними.

Королевич. Забавный малый... (*С интересом поглядел вслед ушедшей Жанне*.) Но как бывают иногда милы женщины. Загляденье.

Двойников. До сей поры женщины тебя как будто не занимали.

Королевич. Напрасная трата времени, милый. Но эта уж очень хороша. (*Оглядывается*.) У тебя здесь симпатично, хотя дань аскетизму отдаешь. И прав — вещи мешают думать, на них постоянно натываешься. Жениться еще не собрался?

Двойников. Вопрос дебатруется.

Королевич. В этом случае размышлять бесцельно. Думай не думай, в результате несомненная осечка. Но и одиночество не сахар.

Двойников. Где же выход, Володенька?

Королевич. Любить женщин можно, но придавать этому значение не стоит. Побережем наши волнения, милый.

Двойников. Когда же прикажешь волноваться?

Королевич. Когда работаешь. Ты написал серьезную книгу. На ней следы волнения.

Двойников (*внимательно поглядел на Королевича*). Благодарю.

Королевич. Наши отношения оставляют желать лучшего, Коля. Мы исповедуем разные истины. Это вызывает естественное раздражение. (*Помолчав.*) Но когда я кончил читать твою работу, меня порадовала мысль, что матери наши были сестрами.

Долгая пауза.

Твое молчание что-нибудь означает?

Двойников. Я думаю, что последует за твоими словами.

Королевич. Как мы подозрительны друг к другу... Любопытно.

Двойников. Очень.

Королевич. Ну а если начистоту: чем я тебе особенно непригож?

Двойников. Методом своей полемики. Ты слишком часто отсутствие научных доказательств заменяешь тирадами в честь лиц и событий, не имеющих прямого отношения к делу. Чарующего впечатления это не производит.

Королевич. Не все думают, как ты, Коля. Очень не все. (*Помолчав.*) А с тобой приятно беседовать.

Двойников. Ей-богу?

Королевич. Говоришь что думаешь.

Двойников (*весело*). Да. Это упрощает дело.

Королевич (*неожиданно*). А помнишь, как в нашем милом детстве я промолчал однажды и всю вину взял на себя, когда ты вдребезги раздолбал мой велосипед?

Двойников. Оказывается, ты умеешь хранить приятные воспоминания. Кстати, как поживают твои сыновья?

Королевич. Вполне благополучно. (*Усмехнулся.*) Впрочем, это не по моему ведомству, Коля.

Двойников. Ты... ты разошелся с женой?

Королевич. Упаси бог. К чему делать лишние жесты.

Двойников. И то. (*Помолчав.*) Теперь говори.

Королевич. О чем, милый?

Двойников. Я хорошо понимаю, что ты возник поздравить меня с днем рождения... но ведь что-то еще должно за этим последовать.

Королевич (*не сразу*). Я знаю все о твоём успехе. Ты жил мужественно и стойко. Даже с некоторым перебором. Однако самое трудное предстоит сейчас. Тебе надлежит сделать выбор.

Двойников. Выбор?

Королевич. Победа сама по себе не многого стоит. Свое решающее значение она получает позже. Когда наконец выбран путь, по которому пойдешь дальше. Ты понял?

Двойников. Все правда.

Королевич. Я знаю о предложении Варда. Ты получил его во вторник, а сегодня воскресенье... Но до сих пор ответа ты ему не дал.

Двойников. Твоя информированность поражает. Чем ее объяснить, Володя?

Королевич. Мне не хочется, чтобы ты прогадал.

Двойников. Прогадал... (*Улыбнулся.*) Ловкое словечко. (*Испытующе.*) Итак, ты полагаешь, что мне следует принять его предложение?

Королевич. Ну что ж, учреждение крайне респектабельное. Сильные ветры там не дуют, а основы у них потрясают без особого воуду-

шевления. Словом, уютный уголок. Но я хочу предложить тебе, Коля, нечто большее.

Двойников *(не сразу)*. Что же это?

Королевич. Перебирайся в наш институт. *(Улыбнулся.)* Во всяком случае, тебе дается чудесная возможность взорвать изнутри организм, к которому ты был так критичен. Шучу, конечно... *(Серьезно.)* У нас тебе будут предоставлены самые широкие возможности... объем работы, общественная значимость, наконец! И тебя не дадут в обиду — ты станешь максимально защищен.

Двойников. Восхитительно. Но за что мне сие?

Королевич. Ты доказал, что талантлив. Только и всего. *(Помолчав.)* Правда, наш институт исповедует направление, не совпадающее с конечными выводами твоей книги... Но я убежден, что для молодого ученого умение многообразно охватить явления и найти им неоднозначные ответы доказывает широту его научных воззрений.

Двойников. Ты удивительнейший человек, Володя. Ведь ты же отлично знаешь, что я тебе отвечу.

Королевич. Знаю... пожалуй. *(Помолчав.)* Ну что ж — в конце концов верность себе превыше всего.

Двойников. В твоих устах этот девиз звучит особенно блистательно.

Королевич. Все. Не станем больше препираться. Я устал. *(Внимательно поглядел на Двойникова.)* Итак, ты решил согласиться на предложение Варда?

Двойников. Как сказать... Можно ведь принять и иное предложение.

Королевич. Иллариона Игнатьевича Сергачева?

Двойников. Ты все-таки поразительно информирован.

Королевич. Приходится.

Двойников. И для чего... приходится?

Королевич *(задумчиво)*. Видишь ли, Коля, в твоей работе, пусть пока неосознанно, есть нечто, направленное против истин, которые исповедую я. Мысль эта не лежит на поверхности, она глубокого заложения, и все же она живет в твоей книге. Мне по душе, что тебя не страшат авторитеты, но я не убежден, что должен потворствовать попыткам зачеркнуть открытое и утвержденное мною. *(Улыбнулся.)* И не только мною, милый. Заметь — я всегда окружен коллективом единоверцев, мне претит позиция ученого-одиночки. *(Помолчав.)* Ну как, по-твоему, должен поступить я?

Двойников. Если человеку истина дороже личного благополучия, он смело может поступать любым образом.

Королевич. Ты смеешь полагать, что я не верю в истины, которые пытаюсь утвердить?

Двойников. Нет... Но мне кажется, что ты так далеко зашел в своей неправде, что она стала для тебя правдой.

Королевич *(после долгого молчания)*. Вероятно, на этом нам и следует закончить наш разговор.

Двойников. Пожалуй.

Королевич. Да... Совсем забыл — жена просила передать тебе привет.

Двойников. Спасибо... И ей передай от меня... *(Улыбнулся.)* Она... всегда нравилась мне.

Королевич *(погрозил ему пальцем)*. Думаешь, я этого не видел?.. *(Прислушался к пенью, которое возникло с новой силой.)* А у тебя там весело... на кухне.

Двойников. Да... Ликуют. Им нравится почему-то, что мне тридцать четыре.

Королевич. А я, злодей, отвлек тебя от дела.

Двойников. Пустяки... Мы так редко встречаемся...

Королевич. Не то, что тридцать лет назад... Помнишь, мы жили тогда два лета вместе на даче...

Двойников. Говорят, в ту пору я весьма увлекался пусканьем мыльных пузырей.

Королевич. Но более всего тебе нравилось, когда я сажал тебя на закорки и бегал вприпрыжку вокруг нашей дачи.

Двойников. Счастливые времена.

Королевич. По всей видимости. *(Пошел к двери, обернулся неожиданно.)* Так вот, Коля, быть благородным — право каждого, но стоит ли забывать, что я еще никогда не покидал поле боя побежденным... Словом, к Варду ты можешь идти, но Сергачев... *(Улыбнулся.)* Очень не рекомендую, Коленька. *(Быстро уходит.)*

Двойников *(один)*. Ну что же. Ну что же.

Входит Ипполит.

Ипполит. Однако он довольно основательно хлопнул дверью.

Двойников. Было отчего.

Ипполит. Во всяком случае, этот стук прозвучал для меня весьма жизнеутверждающе. Ты его прогнал?

Двойников. Видимо.

Жанна *(в дверях)*. Ваш очень не дурак удалился?

Двойников. Бежал.

Жанна. Весьма любопытный тип. Игриво поднимает брови и делает попытки пронзить взглядом.

Двойников *(улыбнулся)*. Успешные... попытки?

Жанна. Не слишком. Он косит немного.

Входит Яков, за ним идет Ляля.

Яков. Свинство, в конце концов... Николай Андреевич, мы когда-нибудь поднимем бокалы? Содвинем их разом?

Ляля. Ну, ты уже столько раз их сдвигал, несчастный...

В комнату входит очень веселая Ларушка, за ней следует Гриша.

Ларушка *(ей, видимо, море по колено)*. Николай Андреевич, а это правду говорят, что вас совершенно-совершенно женщины не занимают... ну, каким образом? *(Жанне.)* Вы только подумайте, такой серьезный, взрослый человек — и на тебе!

Гриша *(Якову)*. Говорил — будь с ней осторожен... Ларушка, дайте посидим на бульварчике минут пятнадцать...

Ларушка *(хлопает кулачком по столу)*. Нет, не посидим на бульварчике минут пятнадцать!

Ляля *(Якову)*. Ну вот, выпустил черта из бутылки... Умнее ничего придумать не мог?

Ларушка *(идет к Двойникову)*. Ну а вы-то чего нахохлились? Господи, грустный какой... Мне Ося Глезер, наш главный фотограф, постоянно говорит: козь мысли невеселые придут, будь добра, открой, пожалуйста, шампанского бутылку или перечти, в крайнем случае, «Женитьбу Фигаро».

Ипполит. Форменное бедствие.

Гриша. Идемте на бульварчик, Ларушка.

Ларушка. Ни за что!

Телефонный звонок.

Ляля. Кажется, телефон...

Яков. Я подойду. *(Уходит в коридор.)*  
 Ларушка. Боже мой, какой беспокойный день рождения! *(Увидела Жанну.)* А вы-то откуда появились?

Возвращается Яков.

Яков. Николай Андреевич, внимание! У телефона академик Вард.  
 Гриша. Первостатейно.  
 Двойников *(встал)*. Так.

Молчание.

Ипполит. Видимо... пробил час.  
 Жанна *(мягко)*. Ну?.. Что же вы ждете, Николай Андреевич? Вы решили?  
 Двойников *(взглянул на нее, улыбнулся)*. Решил. *(Быстро уходит.)*

Некоторое время все молчат.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Простенький бревенчатый дом. Мы видим открытую веранду и часть прилегающего к ней сада. Начало августа. День идет к концу, но летнее солнце все еще в вышине, до темноты далеко. На веранде в плетеном кресле неподвижно сидит Двойников — он слушает музыку. Звучат завершающие аккорды, а затем диктор объявляет: «Вы слушали концерт для рояля Глазунова в исполнении Святослава Рихтера... Через две минуты последние известия». Звонок телефона. Двойников выключает транзистор. Снимает телефонную трубку.

Двойников. Да...  
 Мужской голос. Березова мне.  
 Двойников. А куда вы звоните?  
 Мужской голос. Хлебозавод?  
 Двойников. Вы ошиблись...  
 Мужской голос *(сердито)*. Очень сожалею. *(Вешается трубка.)*

По саду к веранде идет Гриша. Заметив Двойникова, он останавливается и окликает его.

Гриша. Николай Андреевич!  
 Двойников. Гришка!

Они бегут навстречу друг другу, молча обнимаются.  
 Двойников разглядывает его улыбаясь.

Шесть лет?

Гриша *(рассмеялся почему-то)*. Без нескольких недель. *(Он взволнован.)* Ты изменился.

Двойников. Зато ты нисколько. Гришка — и все тут. Я по тебе скучал.

Гриша. Ей-богу? *(Серьезно.)* Приятно. Ты ведь теперь... *(Тычет пальцем куда-то в вышину.)*

Двойников *(весело кивнул ему)*. Именно. В Москве давно?  
 Гриша. Третий день. Но к тебе появиться решил сегодня. Как-никак день рождения... Сорок! Помнишь, как шесть лет назад мы веселились на твоей старой квартире? *(Вдруг серьезно.)* Веселились отчаянно.

Двойников. Тогда все и решилось.

Гриша. Да. Все.

Двойников. Жену-то привез?

Гриша. А как же! Я, понимаешь, совершенно не умею жить без нее. Несчастнейший человек, то есть счастливый. Жаль, сына показать не могу — в Алма-Ате остался. Жена этим обстоятельством несколько взволнована — любит отпрыска колоссально.

Двойников. Сейчас-то она где?

Гриша. По саду гуляет. Понимаешь, Николай Андреевич, мне хотелось с тобой встретиться вот так... без свидетелей. Не знаю почему, но уж так. Ты извини... Мы не помешали? Может быть, другие планы?.. Ты не стесняйся... свои ведь, говори...

Двойников. Будет тебе! *(Обнял его.)* Работой доволен?

Гриша. Несомненно. В Алма-Ате у меня полная самостоятельность. Сам себе Двойников. Хотя ничего удивительного пока не совершил. *(Помолчав.)* Но ты велик. Превзошел все мыслимое. Гигантским образом превзошел.

Двойников. Милый... *(Негромко.)* Я все еще в начале пути.

Гриша *(обескураженно)*. Не дури... *(Поглядел на него внимательно.)* Добившись почти всего, считаешь, что ничего не имеешь... Это ловко!.. *(Вдруг рассердился.)* О тебе книги пишут!

Двойников. Просто я сделал верный выбор. Помнишь, позвонил телефон, я взял трубку и отказал Варду. А на следующее утро сел в автобус и поехал сюда, в Лифари. Автобусный билет стоил два пятьдесят. Не слишком дешево — ведь до института Варда я мог доехать на метро за пять копеек. Но я истратил два пятьдесят и приехал к Сергачеву. Все остальное случилось само собой.

Гриша. Не пойму.

Двойников *(вспыхнул)*. Человек поставил цель, и до нее сто шагов. Он сделал девяносто девять и устал, хочет отдохнуть... не зная, что до победы ему остался всего один шаг. Мне повезло — я выбрал Лифари, это и был последний шаг, Гришка!

Гриша *(торжествуя)*. Вот видишь!.. Значит, ты все-таки дошел до цели?

Двойников. Во всем этом присутствует некий юмористический момент, Гриша: утром ты наконец добираешься до цели, а к вечеру тебе почему-то начинает казаться, что до нее снова сто шагов.

Гриша. Да-а-а... Ты баснословен.

Двойников *(весело)*. Еще бы.

В саду появляется Л а р у ш к а .

Ларушка. Гришенька, я соскучилась... И затем, мне тоже интересно на Николая Андреевича взглянуть... *(Подходит к ним.)* Здравствуйте, Николай Андреевич. Ого, вы какой!

Двойников. Какой?

Ларушка. Нет, правда, очень повзрослели.

Двойников. Зато вы все такая же замечательная. Можно поцеловать вас?

Ларушка. По-моему, не надо. Какой сад у вас богатый. *(Помолчав.)* А все-таки интересно: столько всего произошло, а вот опять стоим вместе. Разговариваем. Смешно, да?

Гриша. Что же тут смешного?

Ларушка. Все-таки. *(Неожиданно целует Гришу.)* А он у меня похудел, правда? Очень много работает. Такой милый. Застегнись, а то ветрено тут. Мы сына тоже Гришей назвали. В прошлом месяце ему четыре годика исполнилось. Превосходный ребенок.

Гриша. Подарок-то отдай.



Ларушка. Я и забыла. *(Вынимает из сумочки тубетейку.)* Тубетейка вот редкой работы. Вы теперь за границей часто бываете — мы в газетах читали,— там, я думаю, интересно в такой показаться.

Двойников. И покажусь. Тубетейка просто великолепная. *(Надевает ее.)*

Ларушка. Вам идет. Это я доставала. *(Гладит Гришу по голове.)* Нет, правда — он у меня очень нерегулярно питается. Катастрофа, честное слово.

Гриша. Ты все-таки болтушка.

Ларушка. Неправда. А вы знаете, что Гриша кандидат у нас и к докторской готовиться решил? Мы в Алма-Ате тоже не сидим руки сложив...

Гриша *(улыбнулся)*. Ужасно я ее все-таки люблю, Коля.

Двойников. Еще бы. Она всегда прелесть была.

Ларушка. Смотрите-ка, солнце зашло... Наверно, дождь будет...

Из дома на веранду выходит Жанна.

Двойников *(подходит к ней, указывает на Гришу)*. Узнаешь? Жанна. Гриша...

Гриша. Здравствуйте, Жанна Владимировна. Опять вы невозможно прекрасная.

Двойников. А Ларушку нашу помнишь?

Ларушка *(Жанне)*. Сад у вас замечательный.

Жанна. Мне он тоже по душе.

Двойников *(кивает на Жанну)*. Ее величайшее увлечение. Только выпадет свободная минутка — сразу что-нибудь преобразовывает.

Ларушка. А что? Чехов учил любить деревья.

Жанна. Тебе звонили из Общества дружбы — завтра надо встретиться с председателем Международного конгресса Руэром. Поездки в Голландию тоже, видимо, не миновать.

Двойников. В данный момент это невозможно.

Жанна. Объяснишь им это сам.

Гриша. Вы вместе работаете?

Двойников. Увы, сколько ни уговаривал! Ссылки на супругов Кюри тоже не помогают. Она, видишь ли, лицо самостоятельное.

Из дома выходит Ипполит.

Ипполит *(увидел Гришу)*. Вот это явление... Гришка!

Двойников. Ты с ним поуважительнее — кандидат наук пред тобою.

Ипполит. Кандидат? Черт знает что творится на этом свете! И Лариса — любовь моя. *(Целует ее.)*

Двойников *(весело)*. А почему ему можно?

Ларушка. Он же не спрашивал меня.

Гриша. В этом мире постоянно происходят всяческие безобразия. И Ипполит этот в их числе *(Двойникову)*. Как он, не надоел тебе?

Ипполит. А я его добрый гений. Пропал бы он без меня.

Жанна. Их, Гриша, водой не разольешь. Даже в одинаковых пиджаках ходят.

Гриша. Они всегда были... братья-чечеточники. *(Ипполиту.)* А что не женишься, брат?

Ипполит. Прозевал. Всех из-под носа увели.

Жанна. Он у нас медлительный господин.

Ипполит. Это есть. *(Двойникову)*. Прими корреспонденцию — семьдесят три поздравления из двадцати шести стран. Почтальон третий заход делает — очень тобой недоволен.

Двойников. Мне на минутку тебя... *(Берет Ипполита под руку, они спускаются в сад.)* Муратову звонил?

Ипполит. Да.

Двойников. И что же?

Ипполит. Все не утверждено.

Двойников. Чего они тянут, как думаешь?

Ипполит. Ответственность чувствуют. Не пустяк затеял. *(Не сразу.)* Все-таки жизнью рискуешь, Николенка.

Двойников. Декламатор ты. Если к вечеру не будет ответа, утром поедем к Муратову.

Ипполит. Ты его не зли, он торопливых не любит.

Гриша. Все как шесть лет назад — опять его Ипполит прикарманивает.

Жанна *(кричит с веранды в сад)*. Братишки, у вас тут друзья!

Двойников. Сейчас появимся! *(Ипполиту.)* Смотри, Жанне не проболтайся.

Ипполит. Ну что ж, будем веселиться.

Поднимаются на веранду.

Жанна. Снова тайны?

Ларушка. Николай Андреевич всегда был человек таинственный. И его часто решительно нельзя было понять.

Жанна. Ну, эту свою особенность он сохранил полностью.

Гриша *(осторожно)*. Коля... Не знаю, право, но вчера мы были у Ляли... Ну, и позвали ее и Яшеньку к тебе сегодня... Ты уж извини — Яша говорил, что вы не часто теперь встречаетесь, но... *(Поглядел на всех.)* Вы что молчите? Я свалал дурака?

Двойников. С чего ты взял?

Жанна. Мы рады будем...

Двойников. В конце концов, Ляля — очаровательная женщина, а Яша нам на гитаре поиграет.

Ипполит. Григорий, ты пригласил их зря.

Жанна. Все-таки ты удивительно неспокойное существо, Ипполит.

Двойников *(ласково)*. Легче, легче живи, Ипполитушка. *(Подходит к Жанне и негромко говорит ей.)* Все, что предполагалось на сегодня, отменяем. Вечер с друзьями проведем... Ты не сердись?

Жанна. Что ты, милый.

Двойников. Ну и отлично. *(Идет к Ипполиту и Грише.)* Скорее ко мне, вы сейчас ахнете... Бочонок «кинзмареули» из Грузии получил!..

Ипполит. Было бы любопытно.

Гриша. Он светлая голова, я всегда утверждал это.

Мужчины уходят. Жанна и Ларушка остаются вдвоем.

Ларушка. Вы думаете, они напьются?

Жанна *(улыбнулась)*. Будем надеяться на лучшее.

Ларушка. Дело в том, что Грише это очень бесполезно — у него печень дурная. *(Помолчав.)* Как тихо у вас... Спокойно.

Жанна. Уже вечер... и день рождения Коли... В обычные дни Лифари — беспокойное место.

Ларушка. Конечно... Если человек знаменитый, вокруг, наверно, страшная толкотня... *(Улыбнулась.)* У нас с Гришей очень хороший сын. Шаловливый, понятливый и кушает с удовольствием. Вообще, мы живем довольно весело.

Жанна. Жить весело, вероятно, большое счастье.

Ларушка. Еще бы.

Жанна. Алма-Ата — приветливый город. В юности я там бывала — я ведь с детских лет непоседа.

Ларушка. Мне обстоятельства не позволяют. Я только домом занимаюсь. Если человека любишь, за ним надо следить... то есть всячески о нем заботиться. И завтрак вовремя и рубашка чистая. Особенно если такой человек, как Николай Андреевич, — вы просто обязаны окружить его своим вниманием.

Жанна. А отчего эту роль вы отводите — и без всяких размышлений — женщине... а не мужчине, например?

Ларушка (*озадаченно*). Ну, так полагается.

Жанна (*задумчиво*). Самое забавное, что вы, вероятно, правы. Самое забавное.

Ларушка (*неожиданно*). Вы счастливы? Счастливы вы или нет? Вы простите, что я так спрашиваю, но мне очень хочется от вас услышать... Вы счастливы?

Жанна (*чуть помедлив*). Да.

Ларушка (*не дождавшись большего*). Как вы ответили... всего двумя буквами.

Жанна. А здесь количество букв не поможет. Один мой коллега сказал: счастье — это полное отсутствие информации. (*Усмехнулась.*) Вот видите, Ларушка. (*Помолчав.*) Я об ужине позабочусь. (*Уходит.*)

Ларушка (*одна*). Ей невесело. Господи, как же это? Рядом с ним — а ей невесело.

По саду идут Яков и Ляля.

Ляля (*Якову*). Ты попроще держись, виноватый вид тебя украшает мало.

Яков. Да и не случилось между нами ничего основательного. (*Заметив Ларушку.*) Вон племянница твоя сидит. В больших грустях.

Ляля. Есть отчего. Бедняжка. (*Окликает ее.*) Лариса, мы прибыли.

Ларушка. Какой сад прекрасный, правда, Ляля?

Ляля. Не грусти. Зато в Алма-Ате яблоки — лучше нету.

Ларушка. Николай Андреевич изменился очень. Жалко его.

Яков (*изумился*). Жалко?

Ларушка. На рубашке двух пуговиц недостает. Я посчитала. И брюки не отутюжены. А ведь день рождения сегодня.

Яков. Его шеф, покойник Сергачев, в рубище гулял. Знаменитым так полагается.

Ляля. Смени интонацию на более ласковую, солнышко. Ты на редкость противный малый, когда злишься. А весельчакам все списывается.

Яков (*Ларушке*). Ну а как он реагировал на Гришкину затею пригласить нас? Недовольство выражал?

Ларушка. Вот еще... Он даже обрадовался. Ипполит, правда, говорил что-то...

Яков. Этот не забывчив.

Ляля. Жаль, гитару ты не захватил... В этом доме вряд ли есть. (*Где-то отдаленно грохочет гром.*) Слава богу, гроза стороной прошла, скоро и солнышко появится. Природа переменчива — учись у нее, Яша.

Яков. Мне твоя дрессура осточертела, Лялячка. Временами в молдавские степи сбежать хочется. О, где ты, моя Земфира?!

Ляля. Вот в этом духе и продолжай, моя прелесть. Как раз то, что мне надо.

Из дома выходят Гриша и Двойников, они тащат маленький бочонок вина.

Гриша. Ларушка, познакомься — редчайшее грузинское... Бесконечно удовлетворяет.

Ларушка. А к вам еще гости, Николай Андреевич.

Яков (*выходя вперед*). Рад видеть тебя, старче. Поздравляю.  
Ляля (*протягивает Двойникову очень красивую розу*). С воспоминанием.

Двойников. Благодарю.

Яков. Извини, что без спроса... Но Гриша нас так убеждал...

Выходит из дома Ипполит.

Пойми и прости, что можешь простить.

Ипполит. Сладкие речи всем слушать приятно.

Яков. Здравствуй, сердитый молодой человек.

Ипполит. Молодой — ну, это вряд ли, всем на днях по сорок, а сердитый — это верно. Как твой шеф поживает?

Яков. Королевича имеешь в виду? Крутится.

Ипполит. О начальстве надо с уважением говорить, Яша.

Ларушка. Как вы все неинтересно разговариваете. Скучно ведь.

Ляля. Скоро развеселимся, племянница. (*Двойникову.*) Сколько мы не виделись? Более двух лет. Селяви. А когда-то восход солнца встречать собирались.

Двойников. Молодость... Безумная молодость, Ляля.

Ляля. На мой счет это звучит в самое яблочко. Если бы ты только знал, Яша, как я мечтала изменить тебе с ним. (*Вздохнула.*) Сорвалось!

Яков. Крепись... И пусть тебя никогда не покидает надежда, старушка.

Гриша. А давайте споем что-нибудь хором.

Ипполит. Хором у нас получится теперь довольно нескладно.

Из дома выходит Жанна.

Жанна. Еще телеграммы, Коля... (*Отдает ему стопку телеграмм.*) Совсем почтальона замучил. (*Ляле.*) Давно мы с вами не виделись. Рада, что пришли.

Ляля. У вас тут хорошо. (*Огляделась.*) Просто. И сад — загляденье.

Яков. Николай этих райских куш вполне достоин. Так что благодарное человечество, Жанна Владимировна, не забудет вашего подвига.

Жанна (*чуть нервно*). Я и сама подумываю, а не уйти ли в садоводы. И благодарное человечество, как вы говорите, никогда меня не забудет.

Яков (*Двойникову*). А ты, говорят, затеял нечто сокрушительное? Безумству храбрых споем мы песню?

Жанна (*настороженно*). О чем вы?

Двойников. Пустяки... (*Обнимает ее за плечи и подводит к Ларушке и Грише.*)

Ляля (*Якову*). Вот глупенький... При Жанне говорить этого не следовало.

Яков. Понятия не имел, что она не в курсе.

Гриша (*орудуя у бочонка*). Внимание, я тост сказать хочу. А ты держи себя благопристойно, Ипполит. (*Поднимает бокал.*) Коля, ты достиг вершины — и я счастлив. Я бесконечно люблю тебя, хотя ты и не отвечал взаимностью в той же мере... Пожалуй, нас разлучил Ипполит. Впрочем, ну его к черту, пусть купается в лучах твоей славы... И Жанна Владимировна необычайный молодец — вон какой замечательный сад для тебя воздвигла. И про Яшу упомяну... Не знаю, что тут у вас случилось, но... не ссорьтесь, братцы. Помните всегда о нашей молодости, когда мы так славно дружили...

Ипполит. Ура! И привет Грише Манилову... Собакевичей — на мыло!

Гриша (*разозлился*). Иди ты все-таки к черту.  
Яков (*весело*). Началось! Все как шесть лет назад!

Телефонный звонок.

Ипполит. Я подойду. (*Подходит к телефону.*)  
Ларушка. Он все-таки ужасно злой, этот ваш Ипполит.  
Ляля. Отчего же злой? Справедливый. (*Смотрит с улыбкой на удивленного Якова.*) Да-да... Замаливай грехи — одно тебе остается.  
Ипполит (*у телефона*). Жанна, тебя..  
Жанна. Иду. (*Подходит к телефону, разговаривает неслышно.*)  
Гриша (*веселится с бокалом в руке*). Ипполит, ты меня уважаешь?  
Ипполит. А ну тебя.  
Двойников (*подшел к Ипполиту*). Что стряслось?  
Ипполит. Однако..  
Двойников. Кто звонит?  
Ипполит. Муратов.  
Двойников. Быть не может... Но почему не меня?  
Ипполит. Не ведаю. Позвал ее.  
Двойников. Полагаешь, он расскажет ей?  
Ипполит. Тогда пропал ты, Николенька.  
Яков. Прошу вновь наполнить пустующие бокалы. Позвольте и мне, блудному сыну, произнести нечто вроде покаянного спича.

Жанна повесила телефонную трубку, смотрит на Двойникова.

Ларушка. Погоди, Яша, я не допила еще..  
Двойников (*подшел к Жанне*). Случилось что-нибудь?  
Жанна. Муратов мне рассказал все.  
Яков (*с бокалом в руке*). Друзья, проникнитесь состраданием. Каюсь в ошибках. Понимаю, как был недалевиден.

В саду появляется Королевич, он слушает Якова, не поднимаясь на веранду.

Пошел работать к этому Королевичу, хотя научной платформы его никогда не разделял. Словом, оступился в смятении, пал самым подлейшим образом.

Королевич (*из сада*). Ну... к чему так-то уж, Яков Матвеевич?  
Ларушка (*вскрикнула*). Ой, зачем же вы людей пугаете? Появились откуда-то...

Королевич. Прошу простить. (*Поднимается на веранду, подходит к Якову и улыбаясь долго смотрит на него.*)

Яков (*обороняясь*). А что такое, собственно?.. Шутливый тост, в конце концов...

Ипполит. Уж очень много ты шутишь, Яша.

Яков (*понимая, что сейчас на карту поставлено все*). Могу и серьезно. Считаю мою работу у вас, Владимир Федорович, величайшей ошибкой, которую себе не прощу никогда.

Королевич (*сочувственно*). Мне, несомненно, придется это запомнить.

Ляля. Напрасно вы угрожаете нам... (*Взглянула на Двойникова.*) Наши друзья нас в беде не оставят.

Королевич. О да, Елена Георгиевна. Они учтут эффектнейшую жертву ферзя, которую учинил тут наш прямодушный Яков Матвеевич. (*Оглядывает всех.*) Общий поклон. А далее, милый мой Коля, позволь своему вечному оппоненту сердечно поздравить тебя с сорокалетием. (*Подходит к Двойникову и целует его.*) Достижения твои не поддаются описанию, и я почти повержен. В течение последних месяцев крысы стая-

ми бегут с моего корабля, и скоро я останусь совсем без крыс. В полном одиночестве. Заходите тогда, добрейший Яков Матвеевич, попить ко мне чайку с вашей очаровательной супругой. (*Двойникову.*) Умоляю о конфиденции хотя бы на несколько минут.

Двойников. Но... может быть, ты с нами поужинаешь, Володя?

Королевич. Благодарю за великодушие, братец, но последнее время я все чаще и чаще ужинаю один. Надеюсь, что присутствующие простят, что мы покидаем их. (*Обнимает Двойникова и ведет его вниз по ступенькам.*)

Ипполит. Да... Обломала ему жизнь когти...

Жанна (*смотрит вслед Королевичу*). Я все еще боюсь его... пожалуй, единственного человека на земле. Как он пытается уничтожить все, что делал Коля... и как он был ласков с ним.

Двойников и Королевич сходят в сад — он и делается центром сцены.

Дом и веранда отходят на задний план.

Королевич. Не часто мы с тобой видимся, милый.

Двойников. Вероятно, дьявольски устали. (*Улыбнулся.*) Друг от друга.

Королевич. Похоже на это. Наше сражение длилось несколько лет. Но ты победил. Я — повержен. Сегодняшний эпизод с этим великолепным Яшенькой с блеском сие подтверждает. (*Помолчал, вздохнул.*) Если бы ты знал, милый, как я устал от измен.

Двойников. Могу себе представить.

Королевич (*поглядел вокруг*). Очень у тебя здесь хорошо. Да, я устал... Меня теперь часто клонит ко сну. (*Усмехнулся.*) Все стало как-то призрачно, и шум жизни почти затих для меня. Но это не старость... нечто худшее... Но что же? Никак не подберу слов. (*С печальным недоумением.*) Мои дети не любят меня. Все так нестройно.

Двойников. Соберись с силами, Володя. (*Улыбнулся.*) И снова в бой.

Королевич (*покачал головой*). У тебя мне не взять реванша.

Двойников. Жаль. Я застоялся... без драки.

Королевич. Не смейся надо мной. (*Помолчал.*) Я пришел искать у тебя защиты.

Двойников. Защиты?

Королевич. Черные мысли, братец. Они приходят обычно по ночам. Когда не спится. Нет... ничего осязаемого... просто усталая игра ума. И мне почему-то начинает казаться, что ликвидируют институт... Закроют мой раздел работы... и я останусь совсем один. Я не верю, что одиночество благодатно для человека... (*Тихо.*) Но я боюсь, что это случится.

Двойников (*почти изумленно смотрит на него*). Не узнаю тебя.

Королевич. Ты во многом поколебал меня, во многом оказался прав. (*Волнуясь все более.*) Истины, в которые я верил, оказались полуправдами. Ты видишь, я говорю это сейчас, когда имя мое еще что-то значит в академии... Но я готов публично признать твою правоту в нашем многолетнем споре, только... я бы хотел...

Двойников. Что?

Королевич. Институт!.. Я не могу представить себе день, когда его не станет... (*Яростно.*) Здесь все дело моих рук — это не может умереть, не может! Конечно, направление работы следует изменить... Почему бы и не лишиться некоторых старых сотрудников... Я вовсе не собираюсь держаться за каждого — ты должен иметь это в виду. А руководителем всех научных работ мы могли бы выдвинуть с тобой нового человека... Это мог бы быть Ипполит.

Двойников. Ипполит?

Королевич. Ему пора перестать быть твоей тенью. Ипполиту нужна самостоятельность, ты слишком подчинил его себе... *(Лихорадочно.)* Да и остальные руководящие должности... У тебя много талантливых учеников...

Двойников. Что ты говоришь?.. Опомнись!.. Ты хочешь руководить людьми, которые годами с тобой спорили, враждовали с твоими теориями.

Королевич *(почти не сознавая сути своих слов)*. Институт. Я хочу сохранить свой институт... Пойми, он стоил мне почти всей жизни.

Двойников. Сохранить? Но что? Стены или научную идею?

Королевич *(теряясь)*. Да... Не знаю... Может быть. *(Вытирает платком пот со лба.)* В конце концов, мы могли бы найти какой-то разумный компромисс. *(Слабо.)* Жаль института — там все очень налажено. Железная дисциплина, Коля. Железная. *(Помолчав.)* Обещай, что ты подумаешь об этом. Хорошо?

Двойников *(почти обнимает его)*. Успокойся... И гони к черту дурные мысли... Ведь все это твои ночные домыслы, не более.

Королевич *(растерянно)*. Ты думаешь? Впрочем, возможно... Жена велела тебе кланяться. Очень просила, чтобы ты навестил ее.

Двойников. Я зайду непременно.

Королевич. Добрая, в сущности, женщина. *(Почти удивленно.)* И так переменялась. *(Усмехнулся.)* Не к добру. *(Почему-то шепотом повторяет.)* Не к добру. Хорошие жены становятся особенно заботливы, когда их мужьям не миновать беды. Ну, будь здоров. *(Помолчав.)* А тебе было не просто одолеть меня. Уж я-то знаю. *(Собирается уйти, но вдруг обернулся в нерешительности.)* И еще... Завтра в министерстве продолжение дискуссии... Пойдет речь о моем институте. Попроси Ипполита не держаться по отношению ко мне уж слишком жесткой позиции... *(Слабо улыбнулся.)* Не надо.

Двойников. Я ему скажу.

Королевич. Спасибо. *(Вдруг шутовски поклонился.)* Желаю всяческих удач. *(Уходит.)*

Двойников. Как страшно... Нет, он не притворялся. *(Он потрясен.)* Это была правда. Он кончил свой путь. *(Не сразу.)* Какая беда...

На веранде Ипполит пристально смотрит на возвращающегося Двойникова.

Ипполит. Что с тобой?

Яков. Понятненько. Двоюродный братец, как обычно, испортил настроение. *(Весело.)* Надеюсь, он убрался, злосчастный мой шеф?

Двойников *(долго смотрит на Якова, а затем говорит негромко)*. Яша, уйди, пожалуйста, отсюда

Яков *(не понял)*. Что-что?..

Двойников. Видишь ли... Тебе не следует быть здесь... Уходи.

Ларушка. Что вы, Николай Андреевич?..

Гриша *(вспыхнул)*. Как не совестно тебе!..

Жанна *(подошла к Двойникову, нежно обняла его)*. Успокойся.

Яков все еще пытается улыбнуться и что-то сказать, но Ляля берет его пиджак, висевший на перилах, и набрасывает ему на плечи.

Ляля. Идем!.. *(Усмехнулась.)* Бедное создание...

Берет его за руку и, как ребенка, ведет за собой. Они исчезают в глубине сада.

Гриша *(он подавлен)*. Отвратительно.

Ларушка *(тихо)*. Просто даже понять нельзя.

Ипполит. Наконец-то... Проснулось в тебе нечто человеческое.

Жанна *(улыбнулась Ипполиту)*. И на что только ты его не толкаешь...

Двойников. При чем тут Ипполит... *(Вспыхивая.)* Если бы вы видели, как он уходил.

Жанна. Кто?

Двойников. Володя.

Гриша. Ничего у вас понять нельзя... Странные вы все тут люди. Правда, Ларка?

Ларушка. В каком-то смысле в Алма-Ате, конечно, веселее.

На некоторое время темнеет. А когда свет возникает снова, мы видим кабинет Двойникова. Уже поздний вечер, в кресле одиноко сидит Жанна, она слушает музыку, а может быть, задумалась.

Входит Ипполит, остановившись в дверях, он долго смотрит на Жанну. Видимо, почувствовав его взгляд, Жанна оборачивается. Музыка звучит тише.

Жанна. У тебя величайший талант — появляться бесшумно.

Ипполит *(негромко)*. Да. Я одарен этим. *(Усмехнулся.)* К тому же, я не без удовольствия могу молчать с тобой долгие часы.

Жанна *(с укоризной)*. Ипполит... Мы условились.

Ипполит. Но я и не говорю ничего.

Жанна *(не сразу)*. Непростой нынче вечер... И этот ваш Яшенька...

Ипполит. Коля был прав. Нас должны окружать только необходимые люди. Обилие информации мешает мыслить. Лишние люди — это лишняя информация.

Жанна. Весьма черствые рассуждения. А как быть с добротой?

Ипполит. С добротой временно погодим.

Жанна *(помолчав)*. Где Коля?

Ипполит. Укладывает спать Гришу с женой. Словом, занимается не своим делом.

Жанна. Бедный Коля... *(Усмехнулась.)* Не повезло ему со мной.

Ипполит. Ты слишком настаиваешь на этом. К чему? Быть плохой хозяйкой не самая важная доблесть. *(Помолчав.)* Что сказал по телефону Муратов?

Жанна. Вот придет Коля... *(Тихонько.)* Ой, как мне трудно с ним, Ипполит.

Ипполит. Мне тоже не легко.

Жанна *(задумчиво)*. Представляю себе. *(Разглядывает Ипполита.)* Сподвижник гения... Он и тебя свел на нет. *(Резковато.)* Где ты? Я тебя не вижу за ним.

Ипполит *(спокойно)*. Какое неразумие... Какое заносчивое неразумие. Я лишен комплексов и знаю, что рядом с ним стою немало. Свою полноценность я вижу в дружбе с ним. Он без меня проживет, но хуже, чем со мной. А мне без него жить, наверно...

Жанна *(насмешливо)*. Храбрый малый.. Все ясно и просто. И ничто не причиняет боли.

Ипполит *(весело)*. Ничто. Даже то, что я люблю тебя.

Жанна. Эту тему мы исключили из наших разговоров.

Ипполит. И зря! Я ведь ничего не добиваюсь. Мне даже радость доставляет, что ты любишь его. *(Улыбнулся.)* Честное слово.

Жанна *(после долгого молчания подходит к Ипполиту)*. Вероятно, мне давно следовало бы уйти... Он просто не по плечу мне.

Ипполит. Не следует слишком много думать о себе, если любишь.

Жанна. Я сама знаю, что прав ты. Но смирить себя... Нет! Сегодня я в ярость приходила, когда меня дружно всхвалили за этот сад, который я, оказывается, воздвигла для Николая Андреевича... «Благодарное человечество не забудет...» — декламировал ваш Яков. Но ведь копаться в саду я люблю только потому, что мне в эти часы хорошо думается о работе.



Ипполит. Ты суфражистка.

Жанна. Что? *(Это прозвучало так неожиданно, что она даже улыбнулась.)*

Ипполит. Ну, конечно! Борец за женские права... Все это в наши дни выглядит комично. Ты старомодна... Я даже начинаю удивляться, что люблю тебя. Ты просто зануда, в конце концов. Несомненно, это трогательно, но решительно непродуктивно. Ты талантливый человек, но его тебе не догнать. И с этим надо смириться.

Жанна. Трудновато, милый.

Ипполит. Тогда следует от него уйти. Ну что ж, возьми в мужья меня. Мы будем вполне равноценной парой. Я — это как раз то, что тебе нужно. *(Серьезно.)* Только это не будет счастьем.

Жанна *(слабо улыбнулась)*. Очень трудно понять, чего ты все-таки хочешь.

Ипполит *(почти грубо)*. Хочу, чтобы ты была с ним и чтобы он был счастлив.

Жанна. А чтобы счастлива была я — этого не хочешь?

Ипполит. Мне желать, чтобы ты была счастлива с другим мужчиной? Это было бы безумием.

Жанна. Как тебе не надоест шутовство.

Ипполит *(почти грустно)*. Но что мне еще остается в моем положении?

Жанна *(помолчав)*. Да. На редкость печальный день.

Ипполит. На редкость?.. Почему?

Жанна *(серьезно)*. Я, кажется, прощаюсь навсегда со свободой... сегодня. Навсегда, понимаешь?

Входит Двойников.

Двойников. Ну вот, в доме воцарился покой — я наконец угомонил их. Чудесные они все-таки ребята... Ларушка особенно пленительна. *(Поглядел на них.)* А у вас тут что?

Жанна. Размышляли, как нам с тобой быть.

Двойников. К решению этого вопроса еще не пришли? Ты очень выразительно молчишь, Жанна.

Ипполит *(поглядел на них)*. Э-э... Я пошел... Спокойной ночи.

Жанна. Будет лучше, если ты останешься.

Ипполит *(обернулся в дверях)*. Судя по всему, вы, вероятно, ссору затеете?

Жанна. Конечно. Но отчего бы и тебе не принять в ней участие?

Двойников. Ого.. Это звучит многообещающе.

Ипполит *(садится)*. Ну ладно, давайте поссоримся, но только поскорее. Уже поздно, я хочу спать.

Жанна *(Двойникову)*. Итак, поговорим. Мне звонил Муратов.

Двойников *(неуверенно)*. Сообщил что-нибудь интересное?

Жанна. Считает, что я должна удержать тебя от опыта, который ты предложил. Он описал суть тобой задуманного. Жалею, Коля, что услышала это не от тебя.

Двойников. Видишь ли... *(Улыбнулся.)* Коли тебе понятны размеры риска, то должны быть ясны и причины, по которым я был с тобой неоткровенен.

Жанна. Благодарю, ты очень мило шутишь. В манере Ипполита. Ты вообще многому от него набрался. Это радует. Так вот — размеры риска мне понятны вполне. Как и Муратову. Ты бросаешь вызов небесам, милый... И Муратов хочет, чтобы я как жена удержала тебя от опыта.

Двойников. Он может простым приказом закрыть его. Отчего же он обращается за помощью к тебе?

Жанна. Видимо, ему нравится то, что ты задумал. Слишком уж велик был бы выигрыш... Но он тобой дорожит, и роль решающей фигуры ему не по душе.

Двойников (*подошел к ней, ласково провел руками по ее волосам*). Как ты полагаешь поступить?

Жанна (*как-то устало*). Ну что же... Опыт задуман блистательно. (*Усмехнулась.*) Цель велика. (*Вспыхнув.*) Но ты, надеюсь, понимаешь, что я сделаю все что смогу — все, слышишь? — чтобы остановить тебя.

Двойников. Это не может не радовать... Благодарю. Но у тебя нет никаких шансов удержать меня от задуманного.

Жанна (*с комическим отчаянием*). Смирись, гордый человек!.. До сих пор тебе везло, но на сей раз... (*Задумчиво.*) Видишь ли, тут есть нечто от превышения власти над доступным человеку.

Двойников. Туманно. И, пожалуй, несколько высокопарно.

Жанна (*застенчиво*). Ты мне дорог.

Ипполит. Bravo!.. Вот это довод. Молодец, женщина.

Жанна (*обернулась к Ипполиту*). Ты пытался образумить его?

Ипполит. Неоднократно. Вчера к тому же я пытался уговорить дождь не идти. И представь, к вечеру мне это удалось.

Жанна. Хватит!.. Ты любишь его. И ты не смеешь быть равнодушным. Ну? Почему ты молчишь?

Ипполит. Меня восхищает его затея. Не знаю, смог ли бы на это решиться я, но он... У него нет другого выхода: он жил, чтобы осуществить это.

Жанна. Чудовищно. И у тебя хватит силы не остановить его?

Ипполит (*невесело улыбнулся*). Я бесконечно счастлив, что такие силы у меня найдутся. (*Твердо.*) Успех гадателен, но шаг сделать надо. А кто, кроме него, имеет на это право?

Двойников быстро обнимает его и отходит в сторону.

Все должно быть так, как хочет он.

Жанна (*с неожиданной страстностью*). А может быть, тебе легче бы жилось, не будь его на свете?

Ипполит (*молча встает и медленно подходит к Жанне*). Мне хотелось бы еще раз сказать, как сильно я тебя люблю — даже при нем сказать это, пусть знает! — если бы я не испытывал сейчас глубочайшего к тебе презрения. (*Медленно выходит из комнаты.*)

Двойников (*яростно*). Так оскорбить способна только женщина. Иди и проси у него прощенья!

Жанна. Вы оба помешались на любви друг к другу... Ничего не видите вокруг!.. Все последние дни я чувствовала, я почти знала, что должно случиться что-то... Как ты мог ни слова не сказать мне о том, что готовишь?

Двойников. Я всегда мечтал работать с тобой вместе. Ты не хотела этого!

Жанна. Да, я должна делать свое дело! Быть с тобой на равных мне не дано. Ипполит почти убедил меня в этом. А значиться в твоих ассистентах, суетиться вокруг тебя... Нет, не сумею! Для этого у меня слишком скверный характер!

Двойников (*строптиво*). Что верно, то верно.

Жанна. Думаешь, мне легко жить с тобой? Просто?

Двойников. Еще бы, твоя гордыня сводит тебя с ума!

Жанна. Остаться одной — сколько раз это казалось мне единственным выходом. И все же...

Двойников. Что?..

Жанна. Я не смогла... И ты сам знаешь почему... (*Почти с отчая-*

нием смотрит на него, потом порывисто обнимает и целует страстно и долго.)

Двойников (медленно опускается у ее ног, кладет голову ей на колени). Смотри, ты меня не оставляй... Мне будет тогда плохо... Просто невозможно, слышишь?

Жанна. Я и сама вижу. (Целует его руки.) Пропала я... Пропала, пропала...

Двойников. Знаешь, я так тебя люблю, что мне все время кажется, что ты покинешь меня, уйдешь... Я все еще не верю — боюсь тебя потерять... Как не верил когда-то, что ты будешь со мной...

Жанна (ласково, с горечью). Нет, теперь я уже всегда буду с тобою... теперь уж всегда, теперь уж всегда...

Двойников. Мы всю жизнь уезжаем друг от друга, уезжаем и снова встречаемся. Наверно, это и есть счастье. И наши встречи и ночи потом... Помнишь, в Стокгольме — как я встречал тебя с цветами, когда ты летела на конгресс. А потом Таллин, белые ночи, мы бродили по улице Выру, и из окошка в нашей комнатке на самом верху было видно, как всходило солнце... И ты никак почему-то не могла закрыть двери на ключ...

Жанна (прислушивается). Слышишь... Музыка. Что это, не знаешь?

Двойников. Альбинони...

Жанна. Удивительная, правда? Сделай громче, и я скажу что-то...

Двойников (почти шепотом). Говори же...

Жанна (тихо). Слушай-ка, Андрейч... (Берет его руку.) Эй... У нас будет ребенок.

Двойников (после долгого молчания, еле слышно). Правда?

Жанна (тихо). Да. (Не сразу.) Ты что замолк?..

Двойников. Знаешь, мне иногда бывает страшно.

Жанна. Чего?

Двойников. Счастья.

Ипполит (кричит в окно из сада). Эй вы!..

Двойников. Ну что?

Ипполит. Эй вы — я вас люблю!.. Я приношу вам свои извинения. Спокойной ночи, дурачки. (Исчезает.)

Двойников (задумчиво). Только кажется иногда, что все это снится.

*Конец первой части.*

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Дача Двойникова под Москвой. Сад невелик. За кустами малины и смородины видны клубничные грядки. Дача недавно отремонтирована — на всем следы видимого достатка.

Начало августа. День идет к концу, но летнее солнце все еще в вышине, до темноты далеко. На веранде в плетеном кресле расположился Двойников. По радио транслируется симфонический концерт — звучат завершающие аккорды, и затем диктор объявляет: «Вы слушали концерт для рояля Глазунова в исполнении Святослава Рихтера. Через две минуты слушайте последние известия». Звонок телефона. Двойников выключает транзистор, снимает телефонную трубку.

Двойников. Да...

Мужской голос. Березова мне.

Двойников. А куда вы звоните?

Мужской голос. Хлебозавод?

Двойников. Вы ошиблись...

Мужской голос. Очень сожалею. (Вешается трубка.)

По саду к веранде идет Гриша. Заметив Двойникова, он останавливается и окликает его.

Гриша. Николай Андреевич!  
Двойников. Гришка!..

Они бегут навстречу друг другу. Молча обнимаются.  
Двойников разглядывает его улыбаясь.

Шесть лет?

Гриша (*засмеялся почему-то*). Без нескольких недель. (*Он взволнован.*) Ты изменился.

Двойников. Зато ты нисколько. Гришка — и все тут. Я по тебе скучал.

Гриша. Ей-богу? (*Серьезно.*) Приятно. Ты ведь теперь... (*Тычет пальцем куда-то в вышину.*)

Двойников (*весело кивнул ему*). Именно. В Москве давно?

Гриша. Третий день. Но к тебе появиться решил сегодня. Как-никак день рождения... Сорок! Помнишь, как шесть лет назад мы веселились на твоей старой квартирке? (*Вдруг серьезно.*) Веселились отчаянно.

Двойников. Тогда все и решилось.

Гриша. Да. Все.

Двойников. Жену-то привез?

Гриша. В Алма-Ате оставил. Отпрыску нашему два годика — куда ж ей от него ехать. Любит его колоссально.

Двойников. Счастлив?

Гриша (*подумав*). Наверно. К тому же сын — личность первостатейная. А жена у меня... туземочка. В библиотеке работает. Такая, знаешь, птичка-невеличка. Но сын мил, мил, черт возьми! Твоей-то наследнице уже четыре скоро?

Двойников. Через месяц. Вполне милое создание. (*Помолчав.*) Работой доволен?

Гриша. Несомненно. В Алма-Ате у меня полная самостоятельность. Сам себе Двойников. Хотя ничего удивительного не совершил, но... (*Шутливо раскланялся.*) Кандидат наук. С осени думаю за докторскую приняться...

Двойников (*улыбнулся*). Догоняй, догоняй, братец. Я докторскую в прошлом году защитил.

Гриша. Что ж, в твои годы успех немалый.

Двойников. Вся штука в том, что однажды я сделал верный выбор. Помнишь, позвонил телефон, я взял трубку и объявил Варду, что принял его предложение. К Сергачеву, до Лифарей, билет стоил два пятьдесят. К Варду метро обошлось мне в пять копеек. (*Засмеялся.*) Я начал с выигрыша, Гришка! Помнится, в тот день Королевич взду-мал угрожать мне... Но я отказался от предложения Сергачева вовсе не потому. Надо было оглядеться и определить свою жизнь не торопясь — серьезно. Как видишь, я оказался прав.

Гриша (*осторожно*). Николай Андреевич.. А ты не продолжил ту работу?.. Ну, которая принесла тебе успех? Помнится, ее тема казалась тогда первостатейной... в ней был заложен динамит!

Двойников (*весело*). Час пробил, Григорий, вскоре я вернусь к ней. Я достаточно укрепил позицию, чтобы нанести удар. И я его нанесу!

Гриша (*восторженно*). Ты молодец!..

Из дома на веранду выходит Ларушка.

Ларушка. Коленька, я соскучилась... Куда же ты подевался?..

Двойников. А ты взглядишь, Лариса, какое возникновение...

Л а р у ш к а (*всплеснула руками*). Гришечка...

Г р и ш а (*он очень взволнован*). Ну вот... это я...

Л а р у ш к а. Ого, вы какой... Нет, правда, очень повзрослели.

Г р и ш а (*точно оправдываясь*). Шесть лет, Ларушка.

Л а р у ш к а. А все-таки интересно, столько всего произошло, а вот опять стоим вместе. Разговариваем. Смешно, да?

Г р и ш а. Что же тут смешного?

Л а р у ш к а. Все-таки.

Д в о й н и к о в. Ты с ним поуважительней, он у нас кандидат наук теперь. К докторской готовится.

Л а р у ш к а. Вот и Коленька у меня... Такой милый. Застегнись, а то ветрено тут... Да!.. Телеграммы вот — почти двадцать штук... И все от разных лиц. Почтальонша совершенно с ног сбилась. А одна телеграмма даже из Алма-Аты — от тамошнего института.

Двойников с улыбкой поглядел на Гришу.

Нет, правда, он у меня очень нерегулярно питается. А тут еще собрался на теплоходе вокруг Европы ехать... Сегодня как раз его кандидатуру обсуждают. Мы все-таки рассчитываем — зачислят его.

Д в о й н и к о в. Ох ты и болтаешь...

Л а р у ш к а. А как все-таки славно, что мы опять увиделись... Коленька, сходи за Яшей — вот поразится...

Г р и ш а (*обрадовался*). А Яков у вас разве?

Д в о й н и к о в. Живет... устроился вон в пристройке.

Л а р у ш к а. Яша у нас как свой, и Ляля такая милая... Когда меня нет, обязательно чаем Коленьку напоит. Ступай, Коля, а мы с Григорием Филипповичем старое времечко вспомним — как он меня в парке культуры на карусели катал.

Д в о й н и к о в. Удаляюсь. Гриша, я ревнивец — держись в границах. Умоляю. (*Скрывается за кустами малины.*)

Л а р у ш к а (*не сразу*). Вы поездом приехали?

Г р и ш а. Самолетом.

Л а р у ш к а. Поездом спокойнее все-таки.

Г р и ш а. До Алма-Аты путь нелегкий. Вы мои письма порвали?

Л а р у ш к а. Зачем же?

Г р и ш а. Читаете?

Л а р у ш к а. Бывает. У вас, говорят, яблоки замечательные. Алма-атинские. Я так о них мечтала.

Г р и ш а. Да... а вон как все получилось, Ларушка... вон как.

Л а р у ш к а. А знаете, мне кажется иногда, что я бывала в Алма-Ате. Нет, правда... Когда?.. Не пойму. Разве во сне?.. Вот приехала бы в ваш город и сразу узнала бы... все.

Г р и ш а. А это хорошо, что не порвали.

Л а р у ш к а. Я, бывает, ночью возьму прочту... (*Помолчав.*) А сына назвали как?

Г р и ш а. Гришей. Вон как оригинально. Григорий Григорьевич.

Л а р у ш к а. Я бы тоже так назвала.

Г р и ш а (*негромко*). Боже мой, Ларушка...

Л а р у ш к а. Что вы?

Г р и ш а. Вдруг представил, как все бы могло быть.

Л а р у ш к а. Не надо. Поздно ведь.

Г р и ш а. Помните, мы в скверике сидели, дождик пошел, а вы сказали: «Я за Колю замуж выхожу».

Л а р у ш к а. Мы тогда соленый миндаль ели.

Г р и ш а. Хорошо вам живется?

Л а р у ш к а. По-всякому. Коля ведь трудный. В общем, хорошо.

Г р и ш а. И слава богу... Значит, счастливы?

Ла ру ш ка. Если не задумаюсь — счастлива... А как подумаю обо всем, так вдруг тягостно делается... Просто невесело. Вот вокруг Европы на пароходе ехать собирается... Я не поеду. *(Помолчав.)* У вашей жены отец казах? Значит, раскосенькая она?

Гри ша *(улыбнулся)*. Раскосенькая.

Ла ру ш ка. И сын раскосенький?

Гри ша. И сын. Уж такой раскосенький.

По саду идут Двойников, Яков, Ляля.

Яков. Гришан!

Гри ша. Яшенька!.. *(Целуются.)*

Ляля. Любят мужчины обниматься. И чего ради?

Гри ша *(раскланивается перед Лялей)*. А вы, Ляля, еще прекрасней стали.

Ляля. Финиширую.

Ла ру ш ка. Да будет, Ляленька, сорока нет.

Ляля. Близятся, проклятые.

Гри ша. Детей завели?

Двойников. Не те люди.

Гри ша *(как-то растерянно)*. Но Ляля ведь не работает...

Яков *(кивнул на Двойникова)*. Она вон у нашего таланта правая рука. Главный советник.

Ла ру ш ка *(обнимает Лялю)*. Тетушка у нас чудо... *(Целует ее.)*

Гри ша. Да!.. Совершенно забыл... подарок тебе, Коля, алма-атинский... *(Достает из кармана плаща сверток.)* Тюбетейка редкой работы.

Ла ру ш ка *(рассматривает тюбетейку)*. До чего прелесть... Вот на пароходе вокруг Европы поедешь — там, я думаю, интересно будет в такой показаться.

Двойников *(засмеялся)*. Ах ты песик мой бедный... Ладно, спасибо Гришка!.. *(Якову.)* Мне на минуту тебя.

Берет Якова за руку; они спускаются в сад.

Ла ру ш ка *(Грише)*. А правда, для своих лет Коленька многого добился?

Гри ша. Первостатейно...

Ляля. Пожалуй. Только шесть лет назад, на мой глаз, он больше обещал. *(Резко.)* Куда больше.

Ла ру ш ка. Всегда ты критикуешь его. Глупо просто.

Двойников и Яков спустились в сад.

Двойников. Ну, звонил? Нет еще ответа?

Яков. Пока молчат.

Двойников. Чего они тянут, как думаешь?

Яков. Ответственность чувствуют. Не пустяк затеял — три путевки вокруг Европы.

Двойников. Да, дело нешуточное... Но если Муратов словечко замолвит, все образуется.

Гри ша *(оглядывается)*. А у вас тут симпатично... И ягод изобилие.

Ла ру ш ка. Тетушкина страсть.

Ляля. Ягоды, Гриша, во всех смыслах штука дьявольски полезная.

Ла ру ш ка. Нынче хотя бы... ужин у нас для разных лиц. Знаете, какие расходы?.. Спасибо, Ляле на ум пришло... Вот утречком соседка ягоды на рынок и сvezла.

Двойников *(возвращаясь из сада)*. Но я же категорически за-

претил... Хорош доктор наук. Подумали бы, как это со стороны выглядит?

Ляля. И подумаем. Всему свой черед. А сегодня — надо. (*Улыбнулась и произнесла очень значительно.*) Надо, Коленька.

Двойников (*смягчаясь*). Ну, хорошо... (*Ласково поглядел на Лялю.*) Беда с вами. (*Поцеловал Ларушку.*) Просто беда. (*Улыбнулась Грише.*) И чего не придумают...

Ляля. Лучше объявите, о чем в саду секретничали, миленькие?

Яков. Проблема путевок волнует. Вот, Гришан, решили вокруг Европы поплавать. (*Ляле.*) Поддержки Муратова добиться хотим.

Гриша. Самого Муратова? Чудно вы тут живете.

Ларушка (*удрученно*). Вот именно — чудно. Могли и меня записать все же... Лялечку ведь берете.

Двойников. Милая, я не простой смертный... Число путевок ограничено, разговоры пойдут.

Ларушка (*удрученно*). Пожалуй. Обидно только.

Ляля (*серьезно*). Вряд ли обращаться к Муратову по мелочам целесообразно, Коля. У тебя к нему есть просьбы посущественнее. Надеюсь, не забыл?

Яков (*Грише, улыбаясь*). Вник? Секреты все.

Ларушка (*смеется*). Тетушка у нас полководец!..

Яков. Лично я с детства усвоил одно: женщине не перечить и слушаться во всем. (*Подмигнул.*) И вообразите — живу очень мило.

Гриша (*неопределенно*). Такие у вас, значит, дела. (*Помолчал и вдруг с интересом.*) Ипполит бывает у тебя?

Двойников. Случается. Он ведь в Лифарях, а там после смерти Сергачева дела идут не лучшим образом. Да... Очень был своеобразный старик. Талантище. Я одно время увлекался им до крайности, было в нем тогда нечто удивительно пленяющее... Ум и острота, а заносчив и драчлив был, как мальчишка... Вот Ипполиту и приходится теперь крайности его расхлебывать. Да и Королевича они против себя ожесточили... А дразнить моего милого двоюродного — ой как опрометчиво.

Гриша. А он еще у вас тут сила — Королевич?

Яша (*медленно*). И немалая.

Двойников (*усмехнулся*). Ну, я-то его не страшусь. Данному Мефистофелю, несмотря на все его маневры, душу мою заполучить так и не удалось. Не на таковского напал — верно, Яша?

Яков молчит улыбаясь.

Ляля. Ну что ты расхвастался?.. Зачем, Коля?

Ларушка. Глядите, солнце зашло... Наверно, дождь будет.

По саду идут Ипполит и Жанна.

Ипполит (*стремительно*). Привет собравшимся. Поздравляю с днем, Николай.

Гриша. Ипполитушка!

Ипполит. Вот это явление... (*Целуются.*)

Жанна. Не ожидали нас. Мы из Лифарей к вам...'

Ипполит. Должен сказать, не только с поздравлениями. (*Двойникову.*) У меня дело к тебе. Впрочем, время терпит.

Яков (*подходя*). Здравствуй, сердитый молодой человек.

Ипполит. Молодой — ну, это вряд ли, всем на днях по сорок... А сердитый — это верно. Ужас какой сердитый.

Яков. Да... Ты у нас политик... Наш Ипполитик.

Ипполит (*Двойникову*). Неужели он еще не надоел тебе?

Яков. Да он бы без меня пропал.

Ипполит. Видимо. *(Грише.)* Пройдемся-ка, азиат... Расскажешь про свои доблести.

Берет Гришу за руку и уводит в глубь сада.

Яков *(Жанне)*. Муженек ваш в отличной форме. Полон бодрости. Это радует.

Жанна. Погода с утра хорошая была. Он во всем от погоды зависит.

Яков. Качество завидное. *(Уходит в дом.)*

Ляля подходит к стоящему на ступеньках Двойникову.

Ляля *(взглянув в сторону Жанны)*. Возникает некая шероховатая ситуация, Двойников.

Двойников. Именно?

Ляля. Ипполит и Жанна. Оставлять их на ужин?

Двойников. Конечно.

Ляля. Ну-с... А теперь представь приглашенных — как они, на твой глаз, контактируются с Ипполитом? Он ведь субъект взрывчатый.

Двойников. Милая... Нельзя не звать. И не думай.

Ляля *(улыбнулась ему)*. Будь умницей, Коля...

Ляля отходит к малиннику, ест ягоды, поглядывая на Ларушку и Жанну. Двойников присоединяется к гуляющим по саду Ипполиту и Грише.

Ларушка *(подсела к Жанне)*. Я слышала, у вас в Лифарях сад замечательный?

Жанна. Чудесный. Я люблю в саду копать.

Ларушка. И ягод у вас много?

Жанна *(улыбнулась)*. Совсем нет.

Ларушка. Да, Чехов учил сажать деревья. Жаль, детей у вас нету.

Жанна. Может быть.

Ларушка. А у нас очень хорошая девочка. Шаловливая, понятливая и кушает с удовольствием. Вообще, мы живем довольно весело.

Жанна. Жить весело, вероятно, большое счастье.

Ларушка. А меня такая вот мысль занимать вдруг стала: а есть ли оно... счастье?

Из сада доносится громкий смех Ипполита и Гриши.

Жанна. А вы так нигде и не работаете?

Ларушка. Что вы! Все хозяйство на мне. И Коля и Верочка...

Ляля *(подходит к ним)*. Жанна Владимировна, если человека любишь, ничего, кроме него, существовать не должно. И завтрак ему надо приготовить вовремя... И совет верный в делах дать — кто же, кроме тебя, это сделает... Особенно если такой человек, как Николай Андреевич... Тут уж любящая женщина обязана всю себя ему отдать...

Ларушка *(Жанне)*. Видите, как верно...

К веранде подходят Двойников, Гриша, Ипполит.

Гриша *(Ипполиту, продолжая)*. Не знаю, что тут у вас случилось, но заявляю — не ссорьтесь, братцы... Помните всегда о нашей молодости, когда мы так славно дружили.

Ипполит. Ура! И привет Грише Манилову. Собакевичей — на мыло!

Гриша *(обозлился)*. Иди ты все-таки к черту!



Яков (*он вышел из дома чуть раньше*). Началось! Все как шесть лет назад. (*Двойникову.*) Еще одна телеграмма — от народной артистки Макаровой; помнишь, ты помогал устроить ее сына в клинику.

Ларушка (*оживляясь*). Нет, верно? От самой Макаровой? Лестно, правда, Коля?

Ляля. Подумаешь... Не люблю я эту артистку.

Двойников. Всем ты недовольна...

Гриша (*не сразу*). А давайте споем что-нибудь хором.

Ипполит. Пещерный ты у нас житель, Григорий. (*Вдруг решительно.*) Ладно, что время терять зря. Поговорим о деле, юбиляр.

Двойников. Ну что ж... Пошли ко мне. Присутствующие простят.

Жанна. Я с вами.

Ипполит. Надо ли?

Жанна. Надо.

Ипполит. Пошли.

Двойников, Ипполит и Жанна уходят в дом.

Ляля (*негромко Якову*). А после них и я... Ты не мешай, когда я буду с Колей говорить.

Яков. Лялечка... А может быть, не стоит?

Ляля. Стоит, миленький. Очень даже стоит.

Гриша (*подошел к Ларушке*). Ну а вы опять пригорюнились, Ларушка.

Ларушка (*тихонько*). А что, если все напрасно было, Гриша? И все не так... все неверно.

Поворот круга. Двойников, Ипполит, Жанна входят в кабинет Николая.

Ипполит (*оглядывает кабинет*). Мило обставился. Вполне интеллигентно. Даже слишком.

Двойников. Лялины затеи. (*Вынул бутылку коньяка.*) Пригубим?

Ипполит. Было бы любопытно.

Жанна (*улыбнулась*). Я ведь тоже тут.

Ипполит. Видал? Не подвергает коньяк осуждению. Это меня как-то с ней примиряет.

Двойников. Только это?

Жанна. Ему не слишком повезло со мной, Николай Андреевич.

Ипполит. Врешь, я счастлив. Ты — другое дело. Вероятно, с ним ты была бы счастливее. Он изящный ум, а я грубиян, женщины шарахаются от меня. (*Кивнул на Жанну.*) Только эту я и смог склонить к браку. И то три года понадобилось. Правда, она лучше всех, но это уже другая статья.

Жанна. Шалтай-болтай сидел на стене...

Ипполит. Ладно. Выпьем в таком случае. (*Поднял рюмку.*) За работу! (*Пьет.*) Есть коньяки, которые вздоржали справедливо. Этот из них. (*Протягивает рюмку.*) По второй — и к делу. (*Показал на Жанну.*) За нее. За то, что настанет такой день, когда она меня полюбит. (*Двойникову.*) Ты что молчишь?

Двойников (*негромко*). За нее.

Все пьют.

Ипполит. Итак, насладились вполне. Теперь за дело. (*Стремительно.*) Вот что, Николай, надо спасти Лифари. Перебирайся к нам, прошу тебя. Нам это необходимо — тебе еще более. (*Резко.*) Не раздумывай, это вопрос жизни.

Двойников (*помолчал изумленно и расхохотался*). Да.. Личность ты все-таки неожиданная. Все это не может не трогать. Спасибо, Поля. (*Помолчав.*) Но зачем я вам нужен?

Ипполит. После смерти Сергачева институт обезглавлен; Лепский ты боец, Любавин стар и хворает. Дела наши плохи, Коля, впрочем, ты сам, наверно, наслышан. У Сергачева имелось немало врагов — увы, не по душе им был не только его характер. Так вот, идеям Иллариона Игнатьевича институт никогда не изменит, но... Нужны люди, Николай.

Двойников. Ну а ты сам? Разве ты не сила?

Ипполит. Еще нет. *(Тихо.)* Еще нет. *(Яростно.)* Мне не хватало тебя все эти годы... Я словно без рук остался. Мы были нераздельны. *(Помолчав.)* Сейчас я учусь ходить один. Без поддержки. И я научусь! Но дело не терпит. Ты не в лучшей форме. И все же... вдвоем мы спасем институт. Суть не в твоём таланте только — ты ровно мыслишь, ты трезв, твоя сила и в этом.

Двойников *(не сразу)*. Ты заявил, что мой переезд в Лифари нужен мне более, чем вам... Что сие обозначает?

Жанна. Видимо, это его обычный полемический задор...

Ипполит. Не мешай! Никакой это не задор, и нечего дипломатничать, Жанетта. Я приехал говорить с ним начистоту. Так вот, Николаенька, тебе грозит беда. Ты тратишь себя по пустякам и преуспел главным образом в жизни, а не в работе. Не улыбайся, и такое случается нынче. Пройдет несколько лет, ты преуспеешь до предела, и на тебе можно будет поставить крест. А вспомни, как ты начинал — работа, которую ты опубликовал тогда, заставила всех смотреть на тебя с надеждой....

Двойников. Бросаться в бой, не имея укрепленных тылов, неразумно, милый. Мне были нужны устойчивые позиции... Я потратил на это годы, и вот они есть у меня! Теперь я смело могу продолжить свою работу.

Ипполит. Отлично. И в Лифарях это сделать легче, чем здесь.

Двойников *(не сразу)*. Вряд ли. Лифари — местность беспокойная. Зачем притягивать к себе молнии?

Ипполит. Не слишком ли ты суетишься, человек?

Двойников. Цель!.. Она слишком велика и оправдывает средства.

Ипполит. Но средства частенько изменяют цель.

Долгое молчание.

Итак, ты отказываешься нам помочь?

Двойников. Видишь ли... Не все идеи Сергачева близки мне сейчас.

Ипполит. Но ведь совсем недавно ты разделял их...

Двойников *(улыбнулся)*. Это было вчера... Но вот наступило сегодня.

Ипполит *(Жанне резко)*. Пойдем отсюда!

Жанна. Погоди... Почему ты хочешь, чтобы он думал, как ты?

Ипполит. Потому что я прав.

Двойников. Это твоё заявление комично. И Королевич звал меня не раз в свой институт. Но я, как видишь, не поддался.

Ипполит. Чем ты бахвалишься? Сравнил своего двоюродного брата с Сергачевым... Опомнись!

Двойников. Запомни, Ипполит, — я не терплю, когда люди свою нетерпимость и узость взглядов именуют идейностью. Мысль жива только тогда, когда она эволюционирует.

Ипполит. Профессиональное занятие перерожденца — эволюционировать! *(Подходит вплотную к Двойникову.)* Запомни — твоя песен-

ка спета. Все... Конеч! Ты навсегда остался в этих стенах. И больше не сделаешь ни шагу. Конеч! Конеч.

Двойников. Неправда! Меня окружают друзья... Даже из Алматы пришла сегодня телеграмма...

Ипполит (*в отчаянии*). Ты смешон! (*Идет к двери, останавливается на пороге.*) Я не искал благотворительности и твоей помощи, просил не для себя... Я-то не пропаду — можешь быть уверен. Да, мне не легко сейчас, отчаянно трудно — без тебя... Но я не отступлю ни на шаг... (*С какой-то отчаянной веселостью.*) Все равно победа будет за мной! Иначе быть не может. Нет, нет!.. (*Уходит.*)

Жанна. Не стоит на него сердиться...

Двойников. Я и не сержусь.

Жанна. Таков уж он... И тут ничего не поделаешь.

Двойников. Я знаю. (*Помолчав.*) Ну он — пусть... А вы? Неужели и вы?..

Жанна. Мне кажется... Нет, не люблю поучать. (*Вспыхнув.*) Но как бы я хотела всегда видеть вас рядом с ним. Вспомните, Коленька, как было славно, как весело было... тогда.

Некоторое молчание.

Двойников (*негромко*). Вы меня не оставляйте... Мне будет тогда плохо... Просто невозможно...

Где-то далеко звучит музыка. Они прислушиваются к ней.

Жанна. Слышите?.. Музыка... Что это?

Двойников. Альбинони.

Жанна. Удивительная, правда?.. Почему вы молчите?

Двойников. Не пойму... Эта музыка, она вам ничего не напоминает?

Жанна. Да... кажется. Нет... Не помню.

Двойников. И я забыл.

Жанна. Как странно — точно все это уже было когда-то...

Музыка замолкает, и, уже неподвластные ей, они вдруг засмеялись.

Жанна. Вот пустяки... Правда?

Двойников. Иногда вдруг померещится.

Жанна (*улыбнулась*). Бывает.

Двойников. И все же... Чем я бы мог помочь Ипполиту?

Жанна (*не сразу*). Только ни слова ему об этом. Королевич подал Муратову докладную записку о Лифарях. Ну, и о деятельности Ипполита. Записка более чем несправедлива... Она грозит Ипполиту немалым. Сегодня к вечеру она должна быть наверху с резолюцией Муратова... Попытайтесь объяснить ему суть дела. Он прислушивается к вам, я знаю — он вас любит.

Двойников (*помолчав*). Виталий Евгеньевич — натура неординарная, он не терпит подсказок и советов... Мой звонок может и помешать делу. Хотя...

Жанна (*негромко*). Это надо сделать...

Двойников. Да... вы правы... (*Оживляясь.*) В конце концов, я могу позвонить ему сейчас же... (*Берет телефонную трубку, набирает номер.*) Софья Васильевна? Это Двойников. Мне бы товарища Муратова... Он у себя?

Женский голос. У Виталия Евгеньевича сидит кто-то.

Двойников. Понимаю. Он очень занят.

Женский голос. Что вы... Ничего серьезного. Я могу дать ему трубку.

Двойников. Нет-нет... Я позвоню попозже. *(Повесил трубку.)* Я думаю, что было бы тактически неверно отрывать его от дела.

Жанна. Вам знать лучше... *(Улыбнулась.)* Вы ведь теперь вхожи всюду.

Двойников. А вот смеяться надо мной не надо. *(Помолчав.)* Хорошо у вас в Лифарях?

Жанна. Чудесно. Сад стал необыкновенный... Я столько деревьев сама посадила. *(Задумалась.)* Было бы жаль покинуть его.

Двойников. А разве?..

Жанна. Все может быть.

Двойников *(горячо.)* Этого нельзя допустить!

Жанна *(не сразу).* Да... вот как сложилась жизнь. *(Улыбнулась.)* Не поехали вы к нам тогда в Лифари.

Снова звучит та же музыка.

Двойников. Тогда?

Жанна. Шесть лет назад.

Двойников. А вы вспоминаете то время?

Жанна. Случается. Иногда — так странно... Помню, была я как-то в Таллине по делам... Жила на улице Выру в старом доме на верхнем этаже... Июнь, белые ночи... И однажды я не могла уснуть, долго смотрела в окно, как всходило солнце, и вдруг вспомнила вас... так отчетливо... ясно... *(Улыбнулась.)* А потом никак не могла ключ найти, чтобы запереть комнату...

Двойников *(негромко.)* Трудно вам живется?

Жанна. Нелегко. *(Задыхнулась от какой-то обжегшей ее мысли.)* Иногда мне кажется — сама не пойму, что это? — но кажется иногда, что мной не прожита какая-то главная сторона моей жизни... Как будто из книги потеряно несколько страниц — самых необходимых... Хочу вспомнить... и не могу! *(Слабо улыбнулась.)* А без них все теряет смысл... все ненадежно.

Двойников *(тихо).* И мне кажется так иногда.

Жанна. А тут еще эти беды грядущие... возможна потеря Лифарей... *(Помолчав.)* И потом...

Двойников. Говори же...

Жанна *(берет его руку).* У нас будет ребенок...

Двойников *(тихо).* Что?

Жанна. У нас... с Ипполитом.

Двойников *(еле слышно).* Правда?

Жанна *(тихо).* Да. *(Не сразу.)* Ты что замолк?

Двойников. Знаешь, мне иногда бывает страшно.

Жанна. Чего?

Музыка снова стихает.

Ипполит *(в окне).* Эй вы!

Двойников. Ну что?

Ипполит. Эй вы, довольно препираться... Жанна, я жду тебя в саду! *(Исчезает.)*

Жанна *(с каким-то отчаянием).* Все!.. *(Подходит к Двойникову.)* Вы поможете нам... Я знаю. *(Быстро уходит.)*

Двойников *(смотрит задумавшись, затем подходит к телефону, набирает номер, некоторое время ждет, а потом как-то утвердительно произносит).* Занято.

В кабинет входит Ляля.

Ляля. Ну, Двойников, радуйся!.. Только что Якову возвестили по телефону... Есть решение — плывем вокруг Европы.

Двойников *(задумчиво).* Чудесно. *(Помолчав.)* Ты рада?

Ляля. Сказать правду, волновалась несколько — они могли ограничиться двумя путевками, тебе и Яше.. И как прелестно, что без помощи Муратова обошлось. Теперь сможешь поговорить с ним о главном.

Двойников (*неуверенно*). Но хорошо ли будет?..

Ляля. Миленький, чудесно! Яша у нас прелесть — ему помочь надо. Ты преуспел положительно — в ученом совете почти главный... Что ж Яше-то отставать. Попроси за него Муратова...

Двойников. Все-таки не просто это, Ляля... С его способностями на место Румера... даже просить неудобно.

Ляля. Вполне удобно. Румер-старикашечка помер, а Яшенька наш жив и в расцвете сил. Не во всем задачив? Не беда. Поможешь ему. Преданного человека иметь рядом всегда полезно.

Двойников. Видишь ли... К Муратову у меня уже есть просьба простого характера... Нельзя же сразу с двумя... Может быть, о Яше попозже?..

Ляля. И ведь что забавно, Коля, если Яшу незамедлительно назначат, придется ему, бедняжке, с нами не ехать... вам двоим оставить институт нельзя уже будет.

Двойников (*улыбнулся*). Ах Ляля, Лялечка... (*Помолчав.*) Он не обидится?

Ляля. В новой-то должности? Он у нас с тобой не дурачок. И окажемся мы с тобой, Двойников, в одной каюте... на три недели. (*Усмехнулась.*) Вот надоедим друг другу.

Двойников (*не то восхищаясь, не то изумляясь ею*). А ты интересная женщина.

Ляля. Любящая женщина всегда интересная, Николай Андреевич.

Двойников. Любопытно только, что же тебя больше влечет — то ли должность Румера для Яши, то ли что мы в одной каюте с тобой окажемся?

Ляля. Не скрою. И то и другое мне по душе, миленький. И то и другое.

На пороге комнаты возникает Королевич.

Королевич. Не помешал? Прошу простить мое вторжение. (*Целует Ляле руку.*) С удовольствием замечаю граждан, коих не видел долгое время. (*Двойникову.*) Умоляю о конфиденции хотя бы на несколько минут.

Двойников. Но я очень рад тебе, Володя.

Королевич. Рад? Это любопытно.

Ляля. Не буду мешать вам. (*Улыбнулась Королевичу.*) Мы увидимся. (*Уходит.*)

Королевич. Возраст ранней осени... Волшебство, по всей вероятности. Чем старше я становлюсь, тем занимательнее мне видятся женщины. В юности я ни за одну не дал бы ни гроша. И так, оказывается, ты мне очень рад?

Двойников. Ты сомневаешься?

Королевич. Нынче у тебя званый ужин. (*С комической печалью.*) Но я на него не зван. Не приглашен, бедняжка.

Двойников (*смущенно*). Мы думали... ты так занят...

Королевич. Ты немыслимо прозорлив. Я занят! Для тебя все складывается удивительно удачно, строптивец. (*Игриво.*) Правда, не зван не только я... Злосчастный Ипполит разделит мою горькую участь. И он не зван, твой милый приятель.

Двойников. Откуда ты знаешь?..

Королевич. С неослабевающим интересом я слежу за тобой, Коленька. Видишь ли... Когда человек меняется, он обычно меняется в одну сторону.

Двойников (*вспыхнул*). Что ты хочешь сказать этим?

Королевич. Bravo! Твоя строптивость восхищала меня неоднократно. Помнишь, шесть лет назад ты почти указал мне на дверь... Это было незабываемо. Все-таки он не размазня, мой храбрый братец, размышлял я, поверженный, возвращаясь домой. Ты был до последнего дня строг ко мне и недоступен, Коля,— я даже иногда умирал от смеха по этой причине. Непокорные люди веселят меня; они смахивают, видишь ли, на незадачливых шутов. Прими же по сему случаю в день своего сорокалетия в знак восхищения вот эти ночные теплые пестрые туфли. Их прислал мне в презент из Ирана мой бывший сослуживец, большой трус и в некотором роде чудак. Носи их на здоровье, строптивное дитя.

Двойников (*ему несколько не по себе*). Благодарю... Ты, однако, в игривом настроении сегодня.

Королевич. Бывают дни, когда почти физически чувствуешь, на что ты способен. Я называю это состоянием хорошо выбритого человека. Весьма сожалею, что не смогу у тебя отужинать. Увы, но меня ждет симпозиум, на котором тоже смеху не оберешься. (*Оглядывает комнату.*) Вокруг все очень мило. Процветаешь. Буду рад, если дела твои не изменятся к худшему. А ведь они, черт возьми, могут измениться. На то они и дела, чтобы меняться. То к лучшему, то к худшему. Слышал, кстати, что ты собирался вернуться к своей старой работе... Той самой, о которой мы так спорили с тобой когда-то?..

Двойников. Я никогда не делал тайны, что отложил ее всего лишь на время.

Королевич. Это твое право, непокорный юноша, и было бы глупо его оспаривать.

Двойников. Я рад, что ты так думаешь.

Королевич. Хотя... на ум мне почему-то все время приходит одна и та же мысль.

Двойников. Какая?

Королевич. Что ты почему-то решительно не ищешь со мной ссоры, строптивец. (*Увидел коньяк на столе.*) Ого, какая тут у тебя симпатичная притаилась... Чокнемся?

Двойников (*почему-то обрадовался*). Давай... (*Разливает коньяк.*)

Королевич (*глотнул и подышал выразительно*). Прекрасно расположилась. (*Поглядел в окно.*) А Ипполита ты особенно не привечай — он личность двоякая. Я тут о Лифарях Муратову докладную записку сочинил и не скрыл своих опасений. Ипполит, видимо, будет апеллировать к Муратову, а наш милый Виталий Евгеньевич считается с тобой... (*Очень определенно.*) Так вот, Коленька, не защищай позиций Ипполита. Не поддерживай его понапрасну. (*Улыбнулся.*) Поверь мне, голубка, не стоит. (*Обнял его.*) Ну, будь здоров. Ларочку свою поцелуй от меня... Лялю, естественно, тоже.

Двойников. Передай своей жене, что я очень по ней соскучился.

Королевич. Не смогу. Увы, не смогу, милый. Мы разошлись.

Двойников. Разошлись?

Королевич. Представь себе. Но в общем-то, все закономерно. Дети выросли и самоопределились. И все как-то само собой потеряло смысл.

Двойников. Куда же ты переехал?

Королевич. Зачем же... Она переехала. (*Успокоительно.*) У меня старый телефон, это почти волшебство. По нему ты сможешь звонить мне каждый день. Тебе не кажется, что вскоре это произойдет? Нет? Любопытно. О, придите ко мне, строптивные и непокорные, и вдоволь посмешите нас. Заходите ко мне, Коленька. (*Уходит.*)

Двойников (*смотрит ему вслед*). Хорош... прекрасен... (*С яростью*.) Личность, черт бы его взял... (*Решительно идет к телефону, снимает трубку, затем в нерешимости опускает ее*.) Каков все же...

Звонок телефона.

Да?..

Мужской голос. Николай Андреевич?.. Это Муратов говорит... Мне передавали, что вы звонили мне?..

Двойников. Звонил... да...

Мужской голос. Догадываюсь, по какому делу. Тут материал по Лифарям принесли... весьма серьезный. А вы друг Ипполита Николаевича и, видимо, можете кое-что разъяснить... дополнить...

Двойников (*решительно*). Виталий Евгеньевич, я не погрешу против истины, если скажу, что Ипполит Николаевич — весьма ценный работник. (*Воодушевляясь*.) Талантливый и честный... Я знаю его много лет и готов поручиться за него... Да-да, именно так!

Мужской голос. По-моему, Королевич тут что-то путает... такие воздвиг обвинения... Почему вы молчите?

Двойников. Виталий Евгеньевич... Я думаю, что мне уместнее всего не давать никакой оценки действиям Королевича; он мой близкий родственник все же... да и подробно я не знаком с делом в Лифарях. А беспокоил я вас по другому поводу... После смерти Румера прошел уже месяц, а вопрос о его преемнике до сих пор не решен... Со своей стороны я хотел бы выдвинуть кандидатуру Якова Матвеевича... Именно Якова Матвеевича...

Мужской голос. Я учту вашу просьбу. (*Сухо*.) Крайне сожалею, что вы не помогли мне разобраться в вопросе о Лифарях. Всего доброго. (*Вешает трубку*.)

Двойников (*тихо*). Вот и все.

В комнату вбегает Л а р у ш к а.

Л а р у ш к а. Ну, Коленька, поздравляю — столько народу явилось... И даже сам Николай Фадеевич... Ты не рад?

Двойников (*рассеянно*). Да... Может быть.

Л я л я входит в комнату.

Л я л я. Двойников, пора возникнуть перед гостями, все собрались уже... Ларушка, миленькая, поведем его...

Л а р у ш к а (*смеется*). Пошли, пошли, заждались все...

Взяв его руки, Ляля и Ларушка ведут Двойникова на веранду. Здесь накрыт стол, за ним уже расположились гости. Появление Двойникова встречается приветственными возгласами. Кто-то вскакивает из-за стола, обнимает его. Смех. Аплодисменты. Двойников чуть смущенно отвечает на приветствия. С некоторой неловкостью подходит к нему Ж а н н а.

Ж а н н а (*негромко*). Вы... вы дозвонились до Муратова?

Двойников (*улыбаясь разводит руками*). Сделал что смог... (*Участливо*.) Прошу к столу.

Яков (*с бокалом в руке*). Николай Андреевич!.. Коля... Дорогой! Позволь старому своему другу от души поздравить тебя с этой несущеточной датой. Ты выбрал нелегкий путь и достойно прошел его, достигнув вершины. Поверь, что в нашем институте все любят твой легкий, чисто юношеский, изящный талант. Коля!.. Что я еще могу тебе пожелать более того, что ты уже имеешь?.. Будь же всегда здоров и весел.

Крики, аплодисменты; все пьют.

Двойников (*вставая*). Мои дорогие... Я хочу вам сказать, что я... я счастлив вполне. И мне иногда даже бывает страшно...

Жанна (*приподнимаясь*). Чего? (В полной тишине.) Счастья?

Снова начинает звучать знакомая нам музыка.

Двойников (*в каком-то безотчетном порыве выходит из-за стола, берет Жанну за руку*). Погодите!.. Как это было... Как это было тогда? Не помню...

За столом замешательство, некоторые из гостей встают.

Жанна (*недоумевая*). О чем вы?

Двойников. А может быть, все это только снится?..

Темнота. Вступает новая музыкальная тема, а затем звук трубы, настойчивый и ликующий, заглушает собой все остальные звуки оркестра.

### ЭПИЛОГ

И вот сцену ослепляет яркий солнечный свет. Возникли приметы городского сада. В центре — окруженный горкой цветов памятник, на нем виден только постамент с надписью и ступни ног изображенного человека. На дорожке появляется Двойников, немного изменившийся, чуть постаревший. С ним идет его Дочь, еще совсем девочка.

Дочь (*остановилась возле памятника, рассматривает его*). Погляди-ка, памятник... А раньше его не было здесь.

Двойников. Его поставили, когда ты уезжала.

Дочь. Смешно.

Двойников. Что, милая?

Дочь. Немножко на тебя похож.

Двойников. Вот уж несколько.

Дочь (*читает надпись*). Двойников. И фамилия как у тебя.

Двойников. Это другой Двойников, солнышко.

Дочь. Другой... конечно. (*Снова рассматривает надпись*). Он уже давно погиб. (*Повернулась к отцу*). А кто он был, папа?

Двойников. Он?.. Как тебе сказать?.. Весьма большой чудак. Никак не мог уговориться. (*Помолчав*). Забавно, когда-то давно-давно он жил вон в том доме, выходил на свой балкончик, смотрел на этот сад и шутил, что хотел бы навсегда остаться на земле... Хоть в бронзе. (*Улыбнулся*). Вот и свершилось. Он получил то, о чем мечтал. (*Резко*). Но чего, чего он достиг? Ведь он мертв, а мы... Мы еще живы. Жить — это уже значит быть правым, слышишь?..

Дочь. Значит, он так ничего и не добился? Не был счастлив?

Двойников. Счастлив?.. (*Помолчав*). Кто знает... (*Его горло вдруг перехватывают слезы*). Кто знает...

Дочь. Ты плачешь... Почему? Ты знал этого человека?

Двойников. Нет... Я не знал его... (*Улыбаясь*). Я его, видишь ли, совсем не знал.

Конец.





---

---

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

★

## *Исповедь мореплавателя*

Ну что тебе надо еще от меня?  
Чугунна ограда. Улыбка темна.  
Я музыка горя — ты музыка лада,  
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена  
прославил. Такие отгрохал лампады!  
Ты музыка счастья — я нота разлада.  
Ну что тебе надо еще от меня?

Смеялась: «Ты ангел?» — я лгал, как змея.  
Сказала: «Будь смел» — не вылезил из спален.  
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален.  
Ну что тебе надо еще от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.  
Последний горит под твоим снегопадом.  
Был музыкой чуда — стал музыкой яда.  
Ну что тебе надо еще от меня?

Но и под лопатой спою, не вина:  
«Пусть я удобренье для божьего сада,  
ты — музыка чуда, но больше не надо!  
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.  
И вышла усталая и без наряда.  
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.  
Ну что тебе надо еще от меня?»

## *Автомат*

Москвою кто-то бродит,  
накрутит номер мой.  
Послушает и бросит —  
отбой...

Чего вам? Рифм кило?  
Автографа в альбом?  
Алло!..  
Отбой...

Кого-то повело  
в естественный отбор?  
Алло!..  
Отбой..

А может, ангел в кабеле,  
пришедший за душой?  
Мы некоммуникабельны.  
Отбой..

А может, это совесть,  
потерянная мной?  
И позабыла голос?  
Отбой..

Стоишь в метро конечном  
с открытой головой,  
и в диске, как в колечке,  
замерзнул пальчик твой.

А за окошком мелочью  
стучит толпа отчаянная,  
как очередь в примерочную  
колечек обручальных.

Ты дунешь в трубку дальнюю,  
и мой воротничок  
от твоего дыхания  
забьется, как флажок...

Порвалась связь планеты.  
Аукать устаю.  
Вопросы без ответов,  
ответы в пустоту.

Свело. Свело. Свело.  
С тобой. С тобой. С тобой.  
Алло. Алло. Алло.  
Отбой. Отбой. Отбой.



---

---

ЖАН-ЛУИ КЮРТИС

★

## МОЛОДОЖЕНЫ \*

*Роман*

**Я** и забыл. «Юниверсал моторс». Ариана обещала Веронике, что она познакомит меня с «какой-то шишкой» в этом гигантском предприятии. Там я зарабатывал бы в два-три раза больше, чем в той французской фирме, где я служил. Фирма по электромеханическому оборудованию, которая взяла меня год назад в качестве стажера. Поэтому я сперва переходил из отдела в отдел, работал и в лаборатории по исследованию сопротивления материалов, и на испытании котлов, и в отделе ИБМ<sup>1</sup>, не говоря о неделях, проведенных непосредственно на строительстве. Наконец я получил штатное место в производственном отделе, то есть там, где вырабатывается план предстоящих работ. У меня были неплохие виды на постепенное повышение по должности, а в смысле социального обеспечения мое положение ничем не уступало положению государственного служащего. Работа эта вызывала у меня весьма умеренный интерес, но я выполнял ее добросовестно и справлялся с ней как будто неплохо. Мне несколько претил тот дух артельности, который наша дирекция пыталась привить всему персоналу: и рабочим и специалистам. От всех нас требовали, чтобы мы принимали близко к сердцу дела фирмы, болели за ее процветание, радовались ее достижениям, восхищались и гордились новыми моделями локомотивов и турбин, которые она выпускала. У нас должно быть чувство, что все мы, как любил говорить наш шеф, «члены одной большой семьи», хотя наша профсоюзная газета уже не раз предостерегала рабочих и служащих против иллюзии «отеческой опеки». У нас были свои стадионы, залы для игр, библиотека, и нас всячески призывали проводить там часы досуга. Само собой разумеется, ноги моей там никогда не было. Из принципа. Наши хозяева дошли даже до того, что пытались организовать и наш отдых: у фирмы были свои пансионаты в горах и на берегу моря, где нам предлагалось на очень выгодных условиях проводить отпуск. Короче говоря, пределом мечтаний нашей дирекции было бы, видимо, чтобы мы все вообще никогда не расставались. Но при всем этом мы, конечно, были вольны вне рабочих часов располагать своим временем как заблагорассудится и иметь свою личную жизнь. «Отеческая опека» фирмы нам предлагалась, но не навязывалась.

Что касается «Юниверсал моторс», то тут совсем другое дело.

«Юниверсал моторс» — этакая махина! Весь мировой рынок, да что там мировой рынок — вся планета охвачена щупальцами этой компании. Ее годовой бюджет превосходит бюджет Французского государства. Сотни тысяч рабочих на всех континентах работают на нее. Тысячи инженеров. Не меньше шести вице-президентов. А на вершине — где-то в невидимой Валгалле — сам президент, он же генеральный директор, он же председатель административного совета. Если бы «Юниверсал моторс» перестала существовать, рухнула бы треть мировой эконо-

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

<sup>1</sup> ИБМ — крупнейшая в мире корпорация по выпуску электронных машин.

мики (тут я, возможно, малость присочинил, потому что точных цифр не знаю, да и не в этом дело, мне ведь на это наплевать). Вот куда моя жена и ее подруга Ариана задумали меня определить — в этот Храм Эффективности, Производительности, Индустриализации. В один прекрасный день Ариана заехала за нами, она добилась наконец, чтобы меня принял человек, занимающий там «очень важный пост». Ему было лет сорок, волосы с сильной проседью, холодный взгляд, скупые жесты. Он задал мне несколько вопросов о том, где я учился, чем специально занимался, где работаю. Разговаривая со мной, он разглядывал меня с головы до ног, как мне показалось, недоверчиво-скептическими глазами. Я тут же решил, что дело не выгорело и продолжения иметь не будет. Но я ошибся. Три недели спустя меня вызвали в Главную администрацию, где-то в предместье Парижа. Там три господина по очереди подвергли меня настоящему допросу. Причем вопросы были скомбинированы таким образом, что, какими бы односложными ни оказывались мои ответы, в сумме они говорили обо мне больше, чем мне хотелось бы. Первый допрашивающий интересовался моими политическими взглядами и общественной активностью. Состоял ли я когда-нибудь в Коммунистической партии? Участвовал ли в манифестациях за или против войны с Алжиром? Числился ли я в какой-нибудь студенческой политической организации? Какие газеты я читаю? Что я думаю о политике — а) внутренней, б) внешней нынешнего французского правительства? И так далее... Одним словом, типичнейшая охота за ведьмами, поиски ереси в моих мыслях. Вопросы, которые задал мне психолог, были столь же нескромные, да к тому же показались мне просто нелепыми. Часто ли мне снится, что я гуляю по городу без штанов? Каковы мои отношения с родителями? Испытываю ли я к ним временами враждебность? Присуща ли мне агрессивность? Кто я — садист или мазохист? Неужели у меня нет ни малейшего желания быть высеченным?.. Я старался ответить как можно более честно, но все же про себя недоумевал, какая может быть связь между коэффициентами мировой продажи «фордов» или холодильников и моим желанием или нежеланием быть высеченным... И все же, видимо, какая-то связь есть, пусть бесконечно малая, но вполне реальная, и диаграммы «Юниверсал моторс» ее несомненно учтут. На одном конце этой гигантской цепи находится маленький безвестный служащий, о котором более или менее достоверно известно, что его не терзают мазохистские сны, на другом — лишний доллар падает в кассы компании... Великие тайны Прибылей. Как тут не растеряться.

Мне выдали анкету на семи страницах, которую я должен был заполнить и отослать. Вернувшись домой, я взялся за анкету, и вот тогда-то я твердо решил не заниматься в компании «Юниверсал моторс». На первой странице была напечатана следующая фраза (по-английски и по-французски): «I promise to devote my entire time, abilities and capacities to the exclusive Service of the Company». Когда я ее прочел, я сперва подумал, что мне что-то померещилось. Но нет, черным по белому там было это написано, и французский перевод полностью соответствовал английскому тексту. Я кликнул Веронику, чтобы ей вслух прочесть эту поразительную фразу: «Настоящим я клянусь посвятить все свое время, все свои способности и силы исключительно Службе Компании». Нет, ты только подумай, Вероника, слова «Служба» и «Компания» напечатаны с заглавных букв! Честное слово, ну погляди! Она кинула рассеянный взгляд на анкету, она ее не заинтересовала, и присяга в верноподданнических чувствах не вызвала у нее того недоумения, что у меня. Ты не понимаешь, что это чудовищно (спрашиваю я)? От свободного человека требуют, чтобы он отдавал все свое время и все свои силы служению промышленному предприятию, словно это обряд пострижения в монахи. Надо дать какую-то клятву! Я просто в себя прийти не могу. Интересно, что думали эти типы, составляя такой текст? Это чистая формальность (говорит Вероника). Не ломай себе голову, ответь на вопросы, подпиши где надо и поскорее опусти в почтовый ящик. Пустая формальность (спрашиваю я)? Если ты думаешь, что все эти президенты, генеральные директора и прочие служащие высшего ранга «Юниверсал моторс» бросают слова на ветер, то ты ошибаешься. Все они пооканчивали различные университеты, у них вот какие головы (я показываю

какие), это нынешние гуманисты, Вероника, технократы, они — соль земли, детка, во второй половине двадцатого века. Да, именно соль земли. И уж поверь, если они требуют от такого маленького человека, как я, посвятить всю свою жизнь «Юниверсал моторс» да еще поклясться в этом, то знают, что делают. Ах, эти нынешние гуманисты! Они стреляют без промаха! Все они воспитанники Высшей политехнической школы и тому подобных заведений... Черт бы их побрал! Их на мякине не проведешь. Эта анкета — штука вполне серьезная. Если я ее подпишу, то перестану существовать как личность. Я зачеркнул! Меня нет! Я превращаюсь в некий живой организм, наделенный интеллектом (не столь, конечно, высоким, как у технократов, но все же...), я буду существовать лишь для того, чтобы служить Компании с большой буквы. Служить — чему? Бог ты мой! Самому мрачному, самому нелепому (потому что его легко было избежать) бедствию из всех, которые когда-либо обрушивались на несчастное человечество, — автомобильной индустрии. Мир превращен в гараж, улицы городов — в грязные, запоганенные желоба, люди — в безумных, оболваненных шоферов. Великолепие неба и земли навсегда утрачено, все задымлено выхлопными газами. Кошмар миллиардов неистребимых машин, размножающихся почкованием. И этой великой напасти на человечество и природу, этому преступлению я должен посвятить свою жизнь!..

Нет, черта с два буду я им служить... Они очень хорошо платят (говорит Вероника). Хорошо платят (говорю я)? Не так уж и хорошо, если все взвесить. Три с половиной тысячи новых франков в месяц — это безумно мало, учитывая все их требования. Черта с два я продам свою бессмертную душу «Юниверсал моторс» за три с половиной тысячи новых франков в месяц, за такой грошовый оклад! Моя бессмертная душа стоит куда дороже. Ты откажешься, Жиль? Да, я откажусь. Ты с ума сошел! Отнюдь нет, наоборот, это самое разумное из всего, что я сделал с тех пор, как появился на свет. (И тут я спокойно беру анкету и под оторопелым взглядом Вероники невозмутимо разрываю ее на мелкие кусочки. Сцена точь-в-точь из какого-нибудь современного фильма, она и по сей день стоит у меня перед глазами.) А Ариана? Что я скажу Ариане, которая взяла на себя труд познакомить тебя со своим другом? Нет, научи меня, что я должна ей сказать. Да пусть она катится ко всем чертям! Это легче всего! Пусть она вместе со своим любовником катится ко всем чертям! Он, надо думать, тоже из технократов и спит с ней методично, все время поглядывая на часы, чтобы, не дай бог, не опоздать на пленарное заседание Административного совета или в финскую баню — на интенсивный отдых.

Поскольку я заговорил о семейном бюджете и о необходимости (по мнению Вероники) повысить наш «жизненный уровень» (ее термин, не мой), я расскажу о другой, тоже не увенчавшейся успехом попытке, которая имела место года три спустя после рождения нашей дочурки. К тому времени мы уже поменяли квартиру. Наше новое жилище было большего метража, куда более привлекательное, без тех примет убожества, которые так удручали нас в первой квартире. К тому же здесь царила относительная тишина; соседи вели себя пристойно. Окна нашей спальни выходили в монастырский сад. Заработок мой значительно повысился, и я мог, не ломая себе голову, платить за квартиру в три раза больше, чем прежде. Короче говоря, это было еще не роскошное жилье, далеко не роскошное, но мне действительно казалось, что мы можем им удовлетвориться, во всяком случае на ближайшие два-три года. Вот тогда-то Вероника и высказала свое желание начать работать. Если к моей зарплате прибавить ее будущую зарплату, говорила она, то мы сможем нанять прислугу, которая будет вести хозяйство и заниматься ребенком. Скучно, говорила Вероника, сидеть день за днем одной дома. Даже с малышкой. Ей скучно. Она хочет работать. Ее тяготит, что она всецело зависит от мужа, словно какая-нибудь восточная жена. Она хочет «полностью реализоваться как личность» (фраза из репертуара Арианы). Хорошо, хорошо. Но что ты намерена делать, дорогая? Поскольку ты какое-то время училась на медицинском факультете, ты, может быть, смогла бы подыскать себе место в клинике или лаборатории. Нет, это ее не устраивало. Она хотела рабо-

тать журналисткой или кем-нибудь в издательстве, в театре, в кино или на радио. Одним словом, она мечтала именно о той работе, которой заняты герои современных романов: они либо репортеры крупной газеты, либо писатели, либо режиссеры, если они не просто «левые интеллигенты», словно это профессия (а может быть, это уже и в самом деле стало профессией?). Выбор, который сделала Вероника, это выбор нашего поколения, воспитанного в мире аудио-визуальной (как они говорят) пропаганды, массовой культуры и ничем не ограниченных развлечений. В мире газетных полос, любительских кинокамер, транзисторов, телевизоров, переизбытка художественных впечатлений. Образы, образы, образы. Постоянная драматизация жизни. Сколько я знал ребят моего возраста, которые мечтали стать режиссерами, знаменитыми журналистами, писателями, актерами! Имя им легион. А вот такие, кто хотел бы стать бухгалтерами, нотариусами, инженерами, встречались куда как редко. «Работать» для Вероники не значило воспитывать детей или ухаживать за больными. Лаборатория, контора или даже магазинчик кустарных промыслов — нет, это все не то. Работа — это радиостудия, съемочная площадка в кино, кабинет в редакции... И она даже не задумывалась над тем, обладает ли она необходимой подготовкой, чтобы работать в этих областях, или, вернее, это было само собой разумеющимся. Короче, с помощью все той же Арианы она добилась встречи с одной редакторшей журнала «Горизонты». Я пошел с ней. Помещение редакции оформлено в американском стиле. Все рационально. Большие просторные комнаты, голые белые стены, четкие геометрические формы. Торжество пластика и плексигласа. Молоденькие сотрудницы в коротких юбках, стриженные под мальчишку, с миндалевидными глазами чуть ли не до висков и зелеными веками, все как одна похожие на Клеопатру из цветного голливудского фильма. Можно было подумать, что находишься в институте красоты или в редакции журнала мод. Редакторша, знакомая Арианы, приняла нас любезно. Это была дама лет сорока, еще довольно красивая и редкостно самоуверенная. Она задала Веронике несколько вопросов. Пробовала ли она себя в журналистике? Что ее больше интересует: зрелища, интервью, критика или страничка «Для вас, женщины»? Во время нашей беседы вошел фотограф и стал снимать Веронику. Таким аппаратом, который тут же выдает готовый снимок. И я понял, что красота Вероники, ее облик, ее стиль имеют не менее важное значение, чем ее еще никак не проявленные способности, потому что «Горизонты» публикуют в каждой рубрике фотографию ведущего этого отдела. Сотрудники журнала должны быть не только квалифицированными журналистами, но и физически привлекательны, «сексопильны», обладать современной динамичной внешностью. Люди входили в кабинет (мы ведь не были важными посетителями, и редакторша разрешала прерывать нашу беседу), обсуждали какие-то вопросы, уходили, приходили другие, звонил телефон, она отвечала, но после каждой из этих интермедий возвращалась к разговору с Вероникой. Если бы записать на магнитофонную ленту все, что говорила эта женщина во время нашего визита, не указывая собеседников, то получилось бы примерно следующее: «Здравствуйте, Ариана говорила мне, что вы красивая, она не ошиблась. Она, пожалуй, даже преуменьшила. Вы очень красивая, да, да, очень красивая. Здравствуйте, месье (заметное охлаждение тона: я не очень красивый. Говорят, что я недурен собой, что у меня даже есть известный шарм — мне это не раз говорили, — но я не очень красивый, а главное, совсем не денди). Вы очень молоды оба, просто дети. Да, Софи, скажите, чтобы он подождал, я занята. Он ужасная зануда, я его хорошо знаю. Скажите, что у меня совещание. Ой, Софи, минуточку. Позвоните Шутцу по поводу макетов. Они недурны, но мне хотелось бы что-то менее выраженное. Да, да, именно менее выраженное. Ему бы следовало набраться идей на выставке, которая сейчас развернута в галерее Ворт. Образ Зрелой Женщины должен быть понятен, но не сразу, а Шутц сделал ей такие вмятные груди. Понимаете, не хватает двусмысленности. Я полагаюсь на вас, детка... Как видите, в этом чертовом заведении всем приходится заниматься. Но я не жалеюсь. Я обожаю эту суету!.. Не знаю, миленькая, сейчас у нас нет свободных вакансий, но в ближайшие дни может кое-что появиться. Вы когда-нибудь брали ин-

тервью? Когда вы были студенткой, вы, наверно, подрабатывали, распространяя социологические анкеты. Да? Ну что ж, значит, у вас есть кое-какой опыт. Это уже кое-что. Внешне вы как раз то, что нам нужно. У вас современный облик. Ваша жена могла бы сниматься в кино, Жиль. (Она видела меня первый раз в жизни и звала уже по имени. Простота и сердечность на американский манер. В «Горизонтах» все очень демократичны...) Но, похоже, вас такая перспектива не вдохновляет?.. Извините, опять этот телефон. Ни минуты покоя. Это ты, Моника? Слушаю тебя, детка. (Пауза, потом поучающим тоном.) Не настаивай так категорично на икре, киска. Наши читатели, конечно, не из социальных низов, но и не самые высокооплачиваемые. Помни, что их средний доход три тысячи новых франков в месяц. Наша аудитория — это те, кто еще завоевывает жизненные позиции и не имеет пока устойчивого положения. В разделе «Для вас, женщины» вы можете апеллировать к естественной потребности наших читательниц в комфорте и элегантности, но при этом поостерегитесь, чтобы ваши материалы не развивали у них комплекса неполноценности. Поэтому, повторяю, не будем пропагандировать черную икру. Мы работаем на публику, которой хочется жить шикарно, но у которой еще нет для этого ни финансовых, ни, быть может, даже интеллектуальных возможностей... Посоветуй им проводить отпуск в пансионатах Средиземноморского клуба, а не на Багамских островах, во всяком случае, пока Средиземноморский клуб не организовал там своих филиалов... (Пауза.) Как тебе понравился разворот о Вьетнаме?.. (Пауза.) В самом деле? Это моя находка, детка! Да, эту неделю я собой довольна. Жаль только, что вылетела еще одна фотография вьетнамских военнопленных... (Пауза.) Что и говорить, снимки чудовищны, но ведь именно этого я и добивалась: надо смущать покой, понимаешь, киска, необходимо встряхнуть, растормошить читательскую массу. Ну, привет, трудись и помни, не нажимай на икру... Ну что ж, продолжим наш дуэт, Вероника, вернее, наше трио. Как видите, здесь ничего нельзя пускать на самотек. Послушайте, детка, кажется, через несколько дней я смогу дать вам пробную работу. Знаете эту шведскую актрису, которая так прозвучала в последнем фильме Бергмана? Вы говорите хоть немножко по-английски? Объясниться сумеете? Так вот, она будет в Париже на будущей неделе. Надеюсь, вы читали «Горизонты» и знаете стиль наших интервью?.. Да, Жак? (Пауза, во время которой пришедший говорит, что ему надо.) По всем вопросам верстки иди к Рене, это его дело... Нет, старик, это не пойдет, решительно. Весьма сожалею, но статья о Дюамеле не будет. Это не в нашем стиле. Тем более в номере, где у нас выступит Морис Бланшо. Вот если бы ты предложил Мориака — это еще куда ни шло. Но Дюамель не для нас... Да, да. Слушай, он видел разворот о вьетнамских военнопленных? Ну как? Я собой довольна... Привет, Жак... Так что же я говорила? Да, вы, конечно, знаете стиль наших интервью...»

И так далее и тому подобное. Я чуть ли не дословно передаю этот разговор — таким карикатурным он и был. Я «офонарел» (так бы она выразилась в начале шестидесятых годов, не уловив случая употребить модное тогда словечко). Я глядел на нее, слушал, запоминал. Невероятно интересно. Их манера разделять последние новости и сервировать их своим читателям: еще не готово — теперь в самый раз — объединение, пальчики оближете — внимание! — перешли к следующему. Точно дозированное месиво из весьма умеренного прогрессизма на потребу средних классов. Гибрид из вьетнамских военнопленных и последних моделей самых модных портных. Эдакий грубый комбикорм культуры для жвачных мелких буржуа вперемежку с панированными блюдами из меню интеллигенции. Эдакая смесь претенциозности с подлостью... Все это я вдруг увидел своими глазами, и меня затошнило.

Самой собой разумеется, к Веронике никто так и не обратился и говорили с ней доброжелательно в тот раз, видимо, только чтобы оказать любезность приятельнице. Быть может, у редакторши даже было смутное намерение дать Веронике попробовать свои силы в журналистике, заказать ей интервью. Но это намерение как-то рассосалось в последующие дни, потому что жизнь мчится стремительно и каждое утро приносит целую прорву сенсаций и разных ошеломляющих

новостей, все так заняты, так перегружены в «Горизонтах», да и повсюду... И я лишний раз удивился всеобщему ничтожеству — люди суетятся впустую, сами вечно чего-то добиваются и принимают тех, кто тоже чего-то добивается, обещают кому попало и что попало и тут же забывают об этом и переходят к другим делам. Люди, которые говорят друг другу по телефону: «Мы должны непременно повидаться» — и думают при этом: «Господи, какая зануда!» — и несмотря ни на что у них назначено не меньше шести встреч ежедневно, просто так, ни ради чего, лишь бы изображать деятелей, лишь бы убедить самих себя, что они живут интенсивной жизнью... Существует целая система приспособлений, позволяющая этим марионеткам постоянно пребывать в такой безнравственной суете: телефонные линии, сеть железных дорог, автобусные станции, мириады частных машин, армии машинисток и стенографисток — одним словом, прочный базис (как они выражаются), на котором разыгрывается этот вселенский фарс... О чем мечтают «молодые кадры»? О том, чтобы когда-нибудь быть в числе тех, кого вечерние газеты, столь падкие на светскую хронику, не колеблясь называют VIP (Very Important Person)<sup>2</sup> — лишь бы поразить воображение пассажиров метро в часы пик... Зловещая картина нашего времени: вечерние газеты выставляют напоказ жизнь VIP, чтобы растравить души жителей предместий, пробудить у них всепожирающую тоску в духе мадам Бовари и усилить хроническую депрессию, охватывающую пассажиров метро к концу дня. С одной стороны, неприкрытый садизм, с другой — беспросветная тупость. Если вдруг задумаешься над всем этим, разве не задумаешься от презрения?

Если вдруг задумаешься... Но чтобы быть правдивым, я должен признать, что в течение всего этого периода (в первые месяцы после рождения нашей дочки) я был почти все время спокоен и счастлив, главным образом из-за Мари. Она в самом деле занимала все мои мысли. Но мне не кажется, что Вероника переживала нечто подобное. Материнская любовь — вот еще одно из тех понятий, которое следовало бы пересмотреть, поскольку теперь модно пересматривать все наши укоренившиеся и, казалось бы, совершенно незыблемые представления. Пресловутая материнская любовь не такое уж всеобщее чувство, как это принято думать. Кто знает, может, оно больше связано с нравственными установлениями определенной культуры, нежели с инстинктивными движениями души? И кто знает, не будет ли все это «пересмотрено» в наш век? Когда родилась Мари, у меня возникло ощущение, пусть иллюзорное, что одно из конечных предназначений моей жизни реализовалось: я стал ответственным за другое существо. Ответственность, которую я чувствовал, была для меня в равной мере и бременем и радостью. Отныне я перестал быть центром всех своих помыслов, Мари естественным образом заняла это место. Вероника же, напротив, с рождением дочки нимало не утратила сознания автономности своей личности, не утратила своего аппетита к удовольствиям и радостям жизни. Малютка Мари была для нее, конечно, объектом нежности и любви, но жизнь продолжалась с ее чудесами и обещаниями, не все из которых уже были выполнены, но, надо надеяться, еще будут, и материнство никак не должно стать тому преградой. В этом отношении Вероника была, безусловно, более современна, чем я, и, возможно, более прозорлива. Она, должно быть, предвидела время, когда наша дочь оторвется от нас, уйдет из семьи, а сама Вероника будет тогда еще привлекательной женщиной, которая ни от чего еще не отказалась и полна ожиданий. Кстати, в одном из наших разговоров о будущем дочки она так сформулировала эту мысль: «Когда Мари исполнится двадцать лет, нам еще не будет пятидесяти. Мы будем очень молодыми родителями, как теперь и принято. Что мы будем делать, когда она выйдет замуж, чем мы заполним наш досуг?» Такого рода вопросы мне и в голову не приходили, настолько я был счастлив тем, что у нас есть этот маленький человечек, которого я каждый вечер брал на руки, и теплота этого тельца наполняла мое сердце нежностью. Тогда мне казалось (хотя несколько примеров в нашем окружении должны были мне доказать обратное), что наш ребенок яв-

<sup>2</sup> Очень важная личность (англ.).



ляется гарантией против разлада между нами, против крушения нашего брака, против беды.

Мы с Вероникой жили в однообразном, привычном ритме, который создавал иллюзию стабильности. Время уходило неизвестно на что, но кто в наши дни знает, на что оно уходит? Праздновались, как водится, дни рождения, зажигались маленькие голубые и розовые свечечки, которые надо было потом задуть. Так, из года в год, наша жизнь уходила, как свечной дым. Мы все больше и больше удалялись от счастливого берега юности, где в течение скольких-то дней под аккомпанемент музыкальной шкатулочки каждый бывает принцем, безответственным и бессмертным. Нам исполнилось двадцать шесть, потом двадцать семь лет... Мы принадлежали уже к другой биологической и социальной категории — немножко менее бессмертной и немножко менее прекрасной, — к категории взрослых, но еще молодых взрослых, тех, кто голосует, читает политические еженедельники, имеет регулярный доход и рождает детей. Переход в эту новую категорию — дело нелегкое. Нам помогало все, что придумал наш век, чтобы смягчить столкновение с реальностью: вся машинерия, организующая теперь досуг. Наш автомобиль, уикенды в Нормандии, отпуск в Коста-Брава, в Сен-Тропезе (потом это будет Греция, Ливан). Телевидение. Синемадика. Стопка книг за год, которые «необходимо прочесть». Спектакли, которые «необходимо посмотреть». У нас обедали наш друзья Шарль и Ариана. Мы, в свою очередь, обедали у них. Мы вместе с ними ходили в те подвальчики, куда молодые пары из среднего класса обязательно должны ходить не реже раза в месяц. Все эти вечера, удивительно похожие один на другой, слились в моей памяти в один обед в ресторане — в один-единственный вечер, безвкусный и глянцевиный, как калифорнийское яблоко, которое не хочется укусить, даже когда его рекламирует роскошный иллюстрированный журнал.

Один из этих вечеров, однако, четко выделяется на фоне остальных своим финалом и теми последствиями, которые он имел для нас. Начался он, как обычно, в ресторане, с неизбежного при каждой встрече стенания на тему о несчастной доле парижских автомобилистов.

— Я думала, что нам так и не удастся поставить машину, что мы всю ночь проедем вокруг этого ресторана. Операция «паркинг» становится все более неосуществимой.

— Меня так и подмывало врезаться в задние бамперы и смять их в лепешку.

— Он просто кипел. В буквальном смысле слова. Я боялась, что у него начнется нервный криз.

— Не волнуйся. Тебе недолго придется ждать. Мне не избежать его, как и всем.

— Я ему говорю: поедem в сторону площади Мобер, может быть, там удастся поставить машину, и вернемся сюда на такси.

Они еще несколько минут говорят на эту тему, лишь слегка варьируя то, что говорилось в предшествующие встречи. Но Жиль не слушает. Его внимание привлекают скорее их жесты, выражение их лиц, интонация, слова. Шарль и Ариана разыгрывают перед ним комедию, от которой он всякий раз не может оторваться. Спектакль начинается с их появления, раскованно-фамильярного, но не без высокомерия. Они приветливы с девушкой в гардеробе и с метрдотелем, которого зовут по имени; но демократичное добродушие не уничтожает ни сознания своего социального превосходства, ни требования уважения к себе. Нет сомнения; что они имеют право на хорошо расположенный столик и на особые знаки внимания. Они здороваются за руку с хозяином ресторана («Клод — наш друг») — очень корректным молодым человеком, последним отпрыском гордой династии рестораторов, который к тому же наизусть знает, «кто есть кто» в деловом мире. «Ты нам оставил наш столик, Клод, ты ангел!» Она подходит к своему месту. Шарль становится за ее стулом, чтобы сперва отодвинуть его, а потом придвинуть. У нее обнаженные плечи, улыбка кинозвезды или манекенщицы с обложки иллюстрированного журнала (спокойная, тонная веселость, доброжела-

тельность ко всему миру; keep smiling<sup>3</sup>). Метким взглядом охватывает она зал, наверное, чтобы засечь знаменитостей, которых есть шанс здесь повстречать. Ресторан оформлен в стиле двадцатых годов: много стекла, абажуры в форме куполов с висюльками, официанты в коротеньких передниках, смахивающих на набедренные повязки. Жиль прослеживает направление взгляда Арианы и лишний раз отмечает, что за соседними столиками расположились пары, удивительно похожие на Шарля и Ариану, — а, собственно говоря, почему они должны быть другими? Создается впечатление, что здесь встречается каждый вечер четко ограниченный круг парижан (возраст — от тридцати до пятидесяти, зрелые люди, которые уже подбираются к руководящим постам и солидным доходам). У всех у них явно очень много общего. Жиль и Вероника выглядят на их фоне еще студентами, особенно Вероника — она кажется совсем девочкой рядом со своей подругой: Ариана уже в полном расцвете красоты, с царственной осанкой, и Вероника охотно разыгрывает при ней роль младшей сестры, которой многому еще надо научиться, но она подает блестящие надежды. У Арианы уже десятилетний сын, мальчик смысленный, хитренький и не по годам развитый, если судить по тем забавным историям, которые рассказывают о нем его родители. Как раз сейчас Ариана говорит о нем (в ответ на вопрос Вероники, здоров ли малыш). К слову, у него простое, мужественное имя и не очень затасканное — его зовут Рональд... Итак, в день рождения юного Рональда спросили, какой бы он хотел получить подарок: модель космической ракеты малого размера (и все же она стоит больше двадцати тысяч старых франков), любые книги на эту же сумму (Жиль начинает прислушиваться), акцию компании «Шелл» или несколько грамм золота? Малышка с ходу отверг как игрушку, так и книги, затем долго колебался между акцией и золотом и наконец остановил свой выбор на акции. Но тогда, добавил он, мне придется ежедневно просматривать биржевую сводку в папиной газете. В этой фразе соль анекдота, вот тут-то слушатели и должны разразиться смехом. Счастливые родители вундеркинда подают пример, Вероника тоже смеется, хотя и не так безудержно, как они. Жиль с трудом изображает на своем лице подобие улыбки.

— Не правда ли, здорово? — говорит Ариана.

— Восхитительно! — поддакивает Вероника.

О чем только думают современные карикатуристы? Чего они ждут? Почему бы им не создать наряду с «Несносным Жожо», «Противным Виктором» и «Ужасным Альбером» новый персонаж — маленького мальчика в духе времени, из молодых да ранних, понимающего что к чему? Этот новый герой перенял бы эстафету плейбоев старшего поколения во всем, что касается эlegantности, автомобилей, деловой сметки, а также — почему бы и нет, будем же наконец современны, чего нам стесняться после Фрейда? — в сфере эротики. Вот было бы смеху-то!

— Но вас не пугает, — нерешительно говорит Жиль, — что мальчишка растет чересчур расчетливым?

— Чересчур не бывает, — возражает Шарль, — особенно в наш век. Если бы меня в свое время научили понимать цену золота и акций!.. — И он жестом показывает, какую бы он сделал карьеру, если бы его воспитание было более реалистичным.

— Вы мечтатель, мой бедный Жиль, — говорит Ариана. — Вы все витааете в облаках. Вы поэт!

Ариане и Жилю так и не удалось перейти на «ты». Да они толком и не пытались.

— Вы правы, — говорит Жиль. — Я не поэт, но, наверно, немного старомоден.

— В этом твое обаяние, дорогой.

Тем временем они изучают меню, не зная, на каком из фирменных блюд остановиться: кролик по-охотничьи, или мясо в горшочке, или буриде, или мирон-

<sup>3</sup> Улыбайся (англ.).

тонское жаркое? Ведь теперь модны простые, сытные блюда, приготовленные в добрых традициях старофранцузской кухни, питательные и без всяких там фокусов — никаких американских салатов и бифштексов по-гамбургски, это едят в drugstores. В ресторане «Ар деко»<sup>4</sup> посетителей так и подмывает повязать салфетку вокруг шеи, по обычаю коммивояжеров давних довоенных лет. Говорят, принцесса Критская обожает бурида... Да вот и она сама! Честное слово! Нет, точно она, узнаешь ее, Вероника? С кем это она? Ну конечно, с Фредди. То-то дня два назад в «Пари уикенд»... И Ариана дружески машет Фредди и даже посылает ему воздушный поцелуй. Шарль его тоже приветствует, а Фредди отвечает широкой улыбкой и элегантным жестом.

— Вы знакомы? — спрашивает Ариана Веронику. — Да нет, не может быть. Ты его знаешь! Ну, Фредди, администратор ночных кабае? Вот уже несколько недель, как они всюду появляются вместе.

— А я думала, что она сейчас живет с... (Называется имя известного миллионера.)

— Нет, это уже пройденный этап. Ты отстаешь от жизни, детка. Ну, Фредди и ходок! Ну и мошенник! Он спит только с фирменными девчонками, да к тому же и титулованными. Я всегда ему говорю: «Фредди, ты король снобов».

— Почему вы называете его мошенником?

— Да потому что он и есть мошенник, — отвечает Шарль. — Хотя ты и витаешь в облаках, ты, наверно, слышал об этом нашумевшем деле с песо.

— Да, что-то слышал.

— Так вот, это его работа. Наркотиками он тоже немножко промышляет.

— И он ни разу не попался?

— Что ты! — Шарль широко улыбается. — Он же хитер, как змей, и у него большие связи. А кроме того, он сам работает на полицию разных стран. Думаю, что наводчиком он тоже бывает.

— Нет, вы только поглядите, какое у Жилия выражение лица! — восклицает Ариана. — Нет, вы только поглядите! Он бесподобен!

— Уж не скажешь ли ты мне, что ты шокирован?

— Ничуть. Я считаю, что этот тип имеет право на существование и что принцесса нашла себе подходящего спутника. Просто я думал, что морда у него на редкость соответствует его занятиям.

Обе дамы протестуют. Ну что ты! Фредди очень привлекателен, очень сексопилен... Да и его успехи у женщин тому доказательство...

— Хорошо, допустим, что это обольстительный сутенер. Но что он сутенер, у него на морде написано.

— Ты в этом ничего не понимаешь, — говорит Вероника.

— Что там ни говори, он роскошный мужик! — говорит Ариана подчеркнуто объективным тоном. — Пусть мошенник, если вам угодно, но обаятельный мошенник.

— Скажите, вы бы ему доверили ваши драгоценности?

— Конечно, нет, но это не мешает ему быть очень симпатичным парнем.

— Сдаюсь! Прошу вас только об одной милости: не знакомьте меня с ним.

Тон остается дружеским. На лицах — улыбки. Они умеют собой владеть. Умеют жить. К тому же разговор вскоре переходит на другую тему, по которой легче договориться. Речь идет об американских неграх и о сегрегации в Южных Штатах. (Перемена темы вызвана появлением в ресторане красивой негритянки.) Ариана рассказывает, что на прошлой неделе она обедала «у друзей» (она называет их фамилию), и среди приглашенных была одна знаменитая актриса (она и ее называет), разговор зашел о линчевании в штате Джорджия, сообщениями о котором были тогда полны все газеты. Ариана сказала, что видные деятели должны во всеуслышание протестовать против этих ужасов, и она обратилась к актрисе: «Вот вы, мадам, например, вы же представляете всю нацию». — «Я? Но что вы хотите, чтобы я сделала?» — недовольно спросила актриса. (Тут Ариана

<sup>4</sup> Декоративное искусство (франц.).

ее описывает: блондинка, матовая розовая кожа, выглядит на двадцать лет, роскошные драгоценности.) «То, что делают, мадам, когда протестуют против несправедливости: выходят на улицу». — «Вы хотите, чтобы я вышла на улицу?» — «А почему бы и нет?» И Ариана, пренебрегая недовольством хозяина дома, подзывает лакея: «Будьте добры, принесите мне «Монд». Он приносит, и Ариана, отодвинув тарелку с икрой (Ариана, правда, не сказала, что там угощали икрой, но, судя по другим деталям ее рассказа, икру им наверняка подавали)... И так, отодвинув тарелку с икрой, Ариана прочла вслух статью из «Монд», где описывалось это линчевание во всех подробностях, причем некоторые были действительно чудовищные, но она не пропустила ни одну. Актриса волновалась все больше и больше, хозяин дома тоже.

— Вот этого я и добивалась, — заканчивает Ариана. — Встряхнуть этих светских людей, которые так легко забывают, что происходит вокруг них. Пробудить в них совесть.

Она отпивает глоток бордо, и Шарль восхищенно, чуть ли не со слезами на глазах глядит на свою красивую и мужественную супругу, которая не боится нарушить мирный обед в гостях, чтобы помочь угнетенным. Что касается Жилья и Вероники, то похоже, они тоже под сильным впечатлением от услышанного.

— Вы правы, — говорит Жиль очень серьезно. — Люди недостаточно интересуются тем, что происходит вокруг. Я тоже так считаю. Взять хотя бы атомное оружие. Кто протестует? В Англии — молодежь и Бертран Рассел. Во Франции — никто. Однако это проблема, которой все должны...

— Позовите, пожалуйста, метрдотеля. Где мисочки? Антуан, что здесь сегодня происходит? Нам полчаса не подают вина, забывают принести мисочки. Вы распустили людей, Антуан. Да, прошу вас. Спасибо, Антуан. Простите, Жиль, я прервала вас. Вы говорили, все должны... что?

— ...Все должны быть обеспокоены радиоактивными осадками и тем арсеналом атомных бомб, который уже существует. Но можно подумать, что людям на это наплевать. Либо они смирились, стали фаталистами. Протестует лишь жалкая кучка молодежи, да и то... Во Франции нет даже маршей против бомбы, публика как бы анестезирована всеобщим процветанием.

— Спасибо, Антуан. Вероника, ты заметила, какие у них здесь красивые мисочки? Знаешь, где они их нашли? У Инно всего-навсего. Надо бы и мне их достать. Десять франков штука, просто даром. Да, Жиль, вы говорили о походах против бомбы?.. Да, конечно. Но вы не считаете, что это отдает немного, — она делает паузу, чтобы почувствовали юмор, — фольклором.

— Фольклором? — переспрашивает Жиль, растерявшись оттого, что она употребила это слово в таком странном контексте.

— В конце концов, — говорит Ариана, — я думаю, что нужна сила, чтобы что-то изменить. Разве нет?

— Никто не протестует, — говорит Шарль, — потому что нет людей с достаточным нравственным престижем, чтобы возвысить свой голос, чтобы забить тревогу. Нам недостает такого человека, как Камю.

— Может, ты и прав, — говорит Жиль. — Но ведь есть еще Сартр. Почему он молчит? Да, Камю наверное высказался бы против бомбы.

— Он непременно бы это сделал, можете не сомневаться, — говорит Ариана иронически-сниходительным тоном.

— А ведь прежде вы очень его любили, — замечает Жиль с улыбкой. — Куда больше, чем я. Похоже, что ваше увлечение прошло.

— Увлечение Камю? У меня? — недоумевает Ариана, подняв брови. — Откуда вы взяли?

— Мне кажется, я когда-то слышал, как вы говорили про «Чуму», будто это...

— Да никогда в жизни! Это вам приснилось. Либо вы путаете меня с Шарлем, который действительно любил Камю. Да, Шарль любил. Но я — нет. Конечно, что и говорить, это был весьма достойный человек, в нравственном плане даже безупречный, тут я не спорю...

— Вы, верно, читали статью, которая была напечатана в «Литературе» год или два назад?

— Что за статья? — спрашивает Ариана уже холодным тоном. — Что-то не помню. Должно быть, я ее не читала. Впрочем, к тому времени мое мнение о Камю сложилось уже окончательно.

И Ариана продолжает говорить об этом писателе. Она подчеркивает, что он прославился десять — пятнадцать лет тому назад по причинам, лежащим «вне литературы», но что теперь уже можно правильнее оценить его место в национальной сокровищнице. Говорит она все это профессорским тоном, словно стоит на невидимой кафедре. Жиль с интересом наблюдает за ней. Украдкой он поглядывает и на Шарля. Шарль зажмурился и плотно сжал челюсти. Но так как монолог Арианы затягивается, он снова приоткрывает глаза и слегка откидывает назад голову. Между веками струится его голубой, отливающий сталью, неумолимый взгляд.

После окончания лекции, на протяжении которой Камю был подвергнут вивисекции, снабжен всевозможными этикетками и погребен в маленький саркофаг, разговор снова переходит на более невинные темы, хотя и продолжает вертеться вокруг эстетических вопросов: выдаются оценки, выносятся окончательные суждения. По поводу пьесы Женэ Ариана заявляет, что каждый просвещенный француз шестидесятых годов обязан ее посмотреть на сцене. Попутно она мимоходом расправляется не меньше чем с полдюжиной известных драматургов, которые, по ее мнению, представляют «вчерашний театр». (Время от времени необходима такая массовая экзекуция, настоящая чистка. Когда плацдарм расчищен, дышать становится легче.)

Их разговор становится похож на обзор культурных событий в еженедельнике. Речь идет теперь о выставке художников-маньеристов. Ариана смогла ее посмотреть, потому что была в числе тех привилегированных, которых пригласили на вернисаж.

— Даже на вернисаже было смертоубийство, — говорит она, — хотя там все очень хорошо организовали. Но вам не удастся ее посмотреть. Пойти туда невозможно.

— Почему? — удивляется Жиль.

— Да потому, что на эту выставку паломничество! Очередь стоит с пяти утра, все оцеплено полицией, в толпе могут сбить с ног...

— А там выставлены работы Антонио Джелати? — с интересом спрашивает Жиль.

— Чьи?

— Антонио Джелати. Венецианский маньерист. Быть может, он не из первой обоймы, но какой удивительный мастер. Вы помните его «Разносчика вафель»? О, это широко известная работа!

Вероника отхлебывает вино. Видно, от вкусной еды кровь ударила ей в лицо. Но этот юношеский румянец ей идет.

— Да, помню, конечно, — уклончиво говорит Ариана. — Но я в точности не могу сказать, есть ли эта картина на выставке, там ведь десятки полотен...

— Меня не удивляет, что эта картина ускользнула от вашего внимания, — галантно говорит Жиль. — Не пей так много, дорогая, — добавляет он, обращаясь к жене. — Ты что-то раскраснелась. А знаете, — продолжает он без перехода, — что мне вдруг пришло в голову: вот уже больше получаса, как мы говорим только о развлечениях.

На него смотрят три пары удивленных глаз.

— А о чем бы ты хотел говорить?

— Не знаю, да о чем угодно. Но меня это вдруг поразило: вот уже больше получаса речь шла только о таких вещах, которые нас развлекают, забавляют, помогают приятно провести время — одним словом, доставляют только удовольствие... Мы и в самом деле вступили в цивилизацию досуга и развлечений.

— Вы только сейчас это заметили?

— Конечно, нет, нам это достаточно гвердили. Но никогда еще меня это так не поражало, как сейчас. Мы сидим в шикарном ресторане, верно? Я ведь в

этом плохо разбираюсь, потому и спрашиваю, но раз вы сюда ходите, значит, это шикарное заведение?

— Не разыгрывай, пожалуйста, простофилю!— восклицает Шарль.

— Ладно. Итак, мы сидим в этом шикарном заведении, рядом с легендарной принцессой (я лишь цитирую газету) и принцем (правда, с душком, но от этого он только еще живописней) — принцем ночного Парижа, мы сидим здесь, едим вкусные вещи и говорим только о том, о чем говорить приятно..

— Я вижу, к чему он клонит!— восклицает Ариана.— Сейчас он нам скажет, что на другом полушарии, в джунглях, в это время бомбят деревни... Мы все это знаем, это камнем лежит на нашей совести, и забываешься разве что на те часы, которые проводишь за столом, с друзьями. Вам незачем нам говорить, что мы подонки. Мы это сами знаем.

Однако по ней не видно, чтобы это ее огорчало.

— Мы все подонки, но я думал как раз не о Вьетнаме. Я думал о нас самих — о людях западной цивилизации, о нашем... как бы это назвать?— неопатристе или неоэпикуризме, как вам угодно. Вот вам пример: на днях я листал в книжной лавке американские журналы на глянцевиной бумаге, которым у нас, кстати, начинают подражать.

— Ты имеешь в виду «Playboy»? <sup>5</sup>

— Ага, да и другие с не менее вызывающими названиями. Одним словом, я листал журналы, похожие один на другой как две капли воды. Так вот,— он презрительно кривит губы, машет рукой,— это удручающе, это чудовищно.

— Удручающе?

— Все в этих журналах построено на предельной расслабленности. Разумеется, у читателей. Полное отсутствие какой-либо внутренней дисциплины, все пущено по воле воли, абсолютная размагниченность личности. Потакают только двум страстям: чувственности и тщеславию. Секс и показуха... Нет, это в самом деле мерзко. Я вовсе не разыгрываю из себя какого-то там реформатора, но страна, идеалы господствующего класса которой выражаются такими журналами, прогнила до мозга костей. Да, прогнила, даже если она посылает ракеты на луну. За что так называемые развивающиеся страны стали бы нас уважать? Я говорю «нас», потому что американцев и европейцев я сую в один мешок, ведь у нас единый образ жизни, разве что у них холодильников побольше. Зачем существовать обществу, чье представление о счастье воплощено в «Playboy»?

— Валяй, зачеркивай сразу, единым махом, полмира,— говорит Шарль.— Дай только волю этим моралистам!

— Недорого же вы цените человеческую жизнь,— серьезно говорит Ариана.

— А как же нам ее ценить, если мы ее проводим в обрахлении и погоне за ощущениями. «Playboy»... Знаете, несколько лет назад я читал один роман. Там шла речь об одном крупном вельможе восемнадцатого века, который живет исключительно в свое удовольствие и испытывает дикий страх перед смертью. Кто-то рассказал ему, что карпы отличаются долговечностью из-за каких-то микробов в их кишечнике. Тогда этот вельможа начинает поглощать карпов и доживает до двадцатого века. Но его держат взаперти в подземелье замка две старые девы, его праправнучки, потому что за это время... — Жиль выдержал паузу, чтобы усилить эффект,— он переродился в гориллу. Оказывается, в нашем организме есть зачаточные клетки гориллы, которые развились бы, живи мы несколько веков. Возможно, с точки зрения биологии все это чушь, но аллегория поучительная.

— А ты ведь обожал Америку, американцев,— говорит Вероника.— Он мне все уши прожужжал рассказами о своих американских друзьях. Такие уж они удивительные, и утонченные, и деликатные...

— Они были в самом деле удивительными и, полагаю, такими остались. Но

---

<sup>5</sup> Журнал для мужчин, где наряду с серьезными материалами печатаются порнографические фотографии и реклама.

к делу это не относится. В Нью-Йорке можно отыскать десять праведников. И даже десять тысяч. И даже сто тысяч.

— И они могут предотвратить ядерную войну?

— Она не будет предотвращена, потому что нет бога, чтобы отделить праведников от неправедников.

— Бога уже давно нет на земле.

— Да, но власти это прежде не признавали.

— А теперь признали?

— Вот будет Вселенский собор, и вы увидите.

— Дорогая, непременно попробуй эти блинчики, они залиты жженым ромом. Здесь их так готовят, что пальчики оближешь!

— Ну что я говорил! — воскликнул Жиль, смеясь. — Погоня за ощущениями! Жизнь — это румяный блинчик, пропитанный ромом, посыпанный сахаром и залитый вареньем.

— Не так это плохо, — говорит Шарль. — Как ты сказал: обарахление и погоня за ощущениями? Честное слово, не так уж плохо. А что ты предлагаешь взамен?

— Сам не знаю. Может быть, любовь... Да, да, вот именно. — Он снова смеется. — Что за чушь я несу сегодня, да еще здесь, в этом кабаке! Нашел место!

— Хорошо еще, что ты это сам понимаешь, — говорит Вероника.

— А я так не считаю, — заявляет Шарль не без торжественности. — То, что он говорит, не лишено смысла.

— Спасибо, старик.

Они улыбаются друг другу сквозь клубы сигарного дыма — Шарль только что закурил.

— Обычная мужская солидарность, — говорит Ариана.

Она предлагает провести остаток вечера в клубе. Собственно говоря, это и было предусмотрено сегодняшней программой. Вот уже несколько недель, как «все» стали ходить в клуб на улицу Гренель. Дамы на несколько минут исчезают, чтобы вновь «навести красоту», которая, возможно, пострадала от жары, еды и вина. Они возвращаются, освеженные и прекрасные, и все выходят на улицу. Опять встает проблема автомобилей. Поехать ли на улицу Гренель на машинах, рискуя мотаться бог знает сколько времени в поисках стоянки, или пойти пешком? Нет, лучше пешком, улица Гренель недалеко.

Клуб состоит из бара на первом этаже, оформленного также в стиле конца века, и зала для танцев в подвале. Посетители тут примерно те же, что и в ресторане, это тот же социальный слой, но, кроме них, здесь много представителей совсем другого социального слоя, вернее, вообще другой породы. Это те, кому нет еще двадцати. Девочки по облику и по одежде напоминают марсианок или жительниц Венеры, какими их изображают в комиксах. А у мальчишек прически и костюмы, как у щеголей эпохи романтизма; таким образом, между полами образовался разлет в два или три века. Однако лица мальчишек и девчонок чем-то похожи и почти все красивы. Марсианки ли они или романтики, обращены ли они в будущее или в прошлое, все эти подростки безупречно элегантны. Где это они научились так красиво одеваться? Их рубашки, платья, галстуки, платки пастельных оттенков. Вся эта гамма розовых, сиреневых, желтых, голубых и изумрудных тонов — истинная отрада для глаз. Дети потребительского общества, они сами похожи на продукты потребления высшего качества, в роскошной упаковке. Так и хочется выпить их с пяток и унести домой в целлофановых пакетах, чтобы съест с аппетитом, запивая легким шампанским, словно это персики. Почти все они танцуют в подвале. Танцуют группами, не касаясь друг друга. Выпив по рюмке у стойки, обе пары тоже спускаются в подвал, и Шарль с Арианой там сразу встречают друзей. Все садятся за один столик, церемония знакомства. Жиль не старается скрыть, что он утомлен, лицо его вытянулось, но Шарль прилежно играет свою роль. Он немного отяжелел после роскошного обеда, быть может, ему хочется прилечь и вздремнуть, но об этом и речи быть не

может. Standing<sup>6</sup> обязывает. В клуб ходишь не ради удовольствия, а чтобы соответствовать тому образу, за который ты себя выдаешь. Поэтому Шарль мужественно играет свою роль, словно он актер в фильме «Новой волны», — впрочем, обстановка, «вторые планы» тоже немислимо напоминают какие-то знакомые кадры. Он много говорит, «выдрючивается», очень громко смеется, танцует... Зато Ариана и Вероника неутомимы. Чувствуется, что их силы неисчерпаемы, что они могли бы пить, болтать и танцевать всю ночь напролет, даже несколько ночей кряду. Жиль с интересом смотрит, как они танцуют. Шарль тоже присел рядом с ним, чтобы минутку передохнуть.

— Похоже на ритуальные танцы, верно? — говорит Жиль. — Те же движения, те же ритмы. Мы это сотни раз видели в кино, в документальных картинах про Амазонку или Центральную Африку. Но это очень красиво. Быть может, это ритм заклинания. Быть может, то, что сейчас рождается в миллионе подобных подвальных, это новая религия красоты, молодости.

Шарль не отвечает. Ему, видно, не по себе.

— Давай выйдем на воздух, — говорит он вдруг, — здесь просто нечем дышать.

Он встает. Жиль идет за ним. Они пробираются сквозь тесную толпу танцующих.

— Мы немного пройдемся, подышим, — говорит на ходу Шарль дамам.

Они обе тут же перестают танцевать.

— Как, вы уходите? Вы бросаете нас здесь одних?

— Мы зайдем за вами, — говорит Шарль, — минут через двадцать, в крайнем случае через полчаса.

Ариана возражает. Похоже, что она всерьез сердится.

— Наши друзья составят вам компанию, — уговаривает ее Шарль. — А мы тут же вернемся. Мне необходимо выйти подышать, не то мне будет плохо. До скорого.

И они поднимаются на первый этаж. Жиль охотно последовал за Шарлем, быть может, он просто был не в состоянии чему-либо противиться — ведь он тоже выпил.

На улице Шарль делает несколько глубоких вдохов.

— Ариана недовольна, — говорит он добродушно. — У нас с ней отношения, как в первые дни после свадьбы. Она теряет покой, как только я куда-нибудь иду без нее. Она ревнива, как тигрица.

— Я полагаю, ты не возражаешь?

— Еще бы!

— Но вы счастливы?

Шарль останавливается, тогда останавливается и Жиль. Шарль поворачивается лицом к своему товарищу и кладет ему руку на плечо.

— Мой дорогой Жиль, — говорит он проникновенным голосом. — Я желаю тебе и твоей жене быть через десять лет такими же счастливыми, как мы.

— Постараемся брать с вас пример...

Шарль поспешно отдергивает руку и прикрывает ладонью губы, чтобы скрыть отрывку. Но, увы, поздно.

— Я обожрался, — говорит он, как бы извиняясь. — Мясо в горшочках было изумительное. Вот только зря я взял добавку. Вообще я слишком много ем. Смотри, как я раздался, боюсь стать на весы. Скажи, ты заметил, что у меня изменилась фигура?

— Ты стал посolidнее, но тебе это идет.

Шарль вынимает из кармана кожаный портсигар.

— Дать сигару? Да, я забыл, ты не куришь. Я тоже пытаюсь ограничить куренье: сигару в день, после обеда. Врачи в один голос говорят, что сигары не вредны.

Он показывает Жиллю портсигар.

<sup>6</sup> Уровень жизни (англ.).



— Это мне подарила Ариана на день рождения,— говорит он растроганно.— Она никогда не забывает поздравить меня с днем рождения,— повторяет он.— Она знаешь какая? Она...

Он снова набирает в рот дым и выпускает его.

— Она — во!..

И он показывает большой палец.

— Пошли, малыш,— говорит он вдруг покровительственным тоном.— Выпьем где-нибудь вдвоем.

И они двинулись дальше.

— Скажи, а кто такой Алекс?— спрашивает Жиль. Он произносит это небрежным тоном, который из-за внезапности вопроса кажется фальшивым.— Когда мы входили в клуб, Ариана говорила о каком-то Алексе. Она удивилась, что его нет.

— Он там вечно торчит.

— А кто он?

— Понятия не имею, какой-то playboy! Мы едва с ним знакомы. У него башлей навалом.

— Вероника его знает?

— По-моему, нет.

— А ну-ка вспомни получше,— мягко говорит Жиль, стараясь не изменить взятого легкого тона.— Ариана сказала: что-то нет твоего Алекса.

— А, верно, верно. Значит, они познакомились. Ты что, ревнуешь?

Шарль вдруг начинает проявлять бурный интерес.

— Ты с ума сошел! Я просто так спросил. Впрочем, Вероника, кажется, говорила мне об этом типе. Я забыл.

— Ладно, знаем!— посмеивается Шарль и стискивает локоть Жили.— Принайся, что ревнуешь? Это прекрасно, если молодой муж ревнует.

— С Вероникой мне нечего опасаться.

Они выходят на более многолюдную улицу. Некогда этот район был похож на провинцию. Но за последние несколько лет он стал как бы сердцем ночного Парижа, одним из самых беспокойных мест западного мира. Старые маленькие быстро преобразились. Одно за другим они вступили в эру неона, никеля и меди. Повсюду открылись магазинчики готового платья для молодежи. Но они похожи не на обычные лавки, а скорее на какие-то пестрые пещеры, на маскарадные гроты, на огромные орхидеи с модными лепестками и тычинками из латуни. Подвешенные на пружинках предметы колышутся от малейшего дуновения. Вспыхивают и гаснут разноцветные огоньки. Появились здесь и всевозможные экзотические ресторанчики, главным образом китайские, так что эти маленькие улочки с их витринами из красного лака, их бумажными фонариками, вывесками, украшенными драконами, лотосами и идеограммами напоминают Китай из детской книжки с картинками. А бары все названы на американский манер — здесь невольно думаешь о прериях и индейцах, о салунах из ковбойских фильмов, о безумных временах сухого закона. Идешь по этим улочкам, кое-как пробираясь между сверкающими автомобилями, касаешься, обходишь их, иногда останавливаешь жестом руки, а иногда и просто перелезаешь через них — через самые низкие, самые дорогие. Небольшое кафе (оно же табачная лавочка), все залитое неоновым светом, звенящее от пронзительной музыки, привлекает Шарля и Жили. Здесь тоже сидят молодые ребята, но они совсем не похожи на посетителей клуба. Эти подростки, одетые как бродяги, афишируют свою бедность: поношенные джинсы, бесформенные куртки, ковбойки, почти у всех — металлические значки со всевозможными лозунгами; одни свидетельствуют о пацифизме тех, кто их носит (Out with the bomb<sup>7</sup>. Мир Вьетнаму), другие провозглашают евангелие всеобщей любви (I love you, love me<sup>8</sup>, или, более прозаично, просто свою привержен-

<sup>7</sup> Долой бомбу (англ.).

<sup>8</sup> Я люблю вас, любите меня (англ.).

ность к тому или иному певцу, Bob Dylan is the King<sup>9</sup>). У всех мальчишек длинные волосы — так они демонстрируют свое нежелание считаться с тем, что принято. Говорят, что полиция начинает вылавливать и преследовать этих невинных бунтарей, делая вид, что принимает их за опасных провокаторов.

Шарль и Жиль пристраиваются к стойке, заказывают пиво; на глазах у этих бедняков они не смеют пить виски. Никто не обращает на них никакого внимания.

— Я им завидую, — говорит Жиль. — Они живут где и как им заблагорассудится. Они переезжают границы без гроша в кармане. Они не несут ни за что ответственности, а поскольку они выступают против всего гнусного, что есть в мире, совесть у них чиста.

— Будь тебе двадцать лет, ты бы хотел жить, как они?

— Да. Не задумываясь. А ты нет?

Шарль колеблется. Какая внутренняя борьба происходит в нем? Кладет ли он на одну чашу воображаемых весов Ариану и семейное счастье, на другую — свободу располагать собой по своему усмотрению, всевозможные похождения? В конце концов он кивает.

— Да, я тоже жил бы, как они, — говорит он. — Ты представляешь себе, какая сексуальная свобода царит в их среде... Скорее всего полная общность. Все девчонки принадлежат всем парням и наоборот. В молодые годы мне бы это понравилось. И даже теперь. Но поздно.

Быстрым взглядом оценивает он свое отражение в зеркале, целиком занимающем одну из стен кафе. Кто-то бросает монетку в щель музыкального автомата. Вделанный в него маленький экранчик оживает, на нем расплываются красные, сиреневые, желтые круги, потом изображение обретает более четкие формы, и появляется коренастый молодой человек латинского типа. Он поет: «Просыпаясь, я думаю о тебе» — странным голосом, одновременно и мужским и детским, ласкающим и жеманным. Мелодия его песенки вся состоит из патетических модуляций, а каждый куплет кончается словом «ночь», которое в его исполнении звучит как стон.

К Шарлю подходит девушка.

— У вас не найдется франка?

— Для музыкального автомата?

— Нет. Просто мне нужно собрать десять франков, чтобы поужинать в стояке на улице Канетт.

У нее скорее красивое лицо. На ней джинсы и мужская рубашка. Ее интонации, ее манера держаться находятся в полном противоречии с тем образом, под который она себя подгоняет. Чувствуется, что ей как-то неловко просить милостыню. Она явно заставляет себя это делать. Шарль шарит в кармане.

— Я сказала франк, но если вы найдете пять, я не откажусь.

Слова ее звучат несколько вызывающе. Шарль протягивает ей франк. Она не говорит спасибо. Она поворачивается к ним спиной.

— А у меня ты ничего не просишь? — спрашивает Жиль.

Она смотрит на него, улыбается.

— Если хочешь, можешь мне тоже что-нибудь дать, — говорит она.

— Почему вы подошли ко мне, а не к нему? — торопливо спрашивает Шарль.

— Он совсем другое дело, — говорит она.

— Вы говорите ему «ты». Это потому, что он моложе меня?

Она изучает их по очереди, сравнивает.

— Да. Разница лет в восемь, в десять.

— Красиво, ничего не скажешь! Берут у тебя деньги, а вместо того чтобы сказать спасибо, тебя же еще обзывают старой калошей.

— Когда идешь по кругу, никогда не говоришь спасибо, такое правило.

— По кругу?

<sup>9</sup> Боб Дилан — король (англ.).

— Ну да, когда идешь стрелять деньги.

«Ночью... я схожу с ума», — стонет на экране коротышка-южанин. Это производит трогательное впечатление, потому что он совсем не похож на невропата: он крепко скроен, так и видишь его склонившимся над огромным блюдом спагетти. Но мода, пришедшая из Америки, навязывает популярной песенке этот меланхолический стиль, этот щекочущий нервы романтизм; а смуглый певец кажется искренним, да к тому же у него сильный, богатый модуляциями голос, свойственный людям солнечных стран. Несколько парней столпились у экрана. Все время кто-то входит и выходит. На тротуаре перед дверью группами стоят ребята и о чем-то шепчутся.

Девушка кладет в карман монету, которую ей протянул Жиль.

— Спасибо, — говорит она. — Ты здесь часто бываешь? Я что-то тебя не видела...

— Я здесь впервые.

— Может, еще увидимся? Если тебе захочется меня найти, то по вечерам я всегда либо здесь, либо в «Сен», на улице Сен. Меня зовут Лиз.

Она уходит. Жиль провожает ее взглядом. Она такая тоненькая, что мальчишеская одежда ей идет.

— Ты силен! — говорит Шарль не без горечи. — Глазам своим не верю.

— Чего это ты не веришь своим глазам?

— Я и не подозревал, что ты можешь иметь такой успех с первого взгляда. — Он допивает пиво. — Я считал, что ты как я. Того же поля ягода.

— Я что-то не понимаю, о чем ты...

— Ну, мне казалось, мы с тобой одного возраста. В известном смысле уже пенсионеры.

Он окидывает желчным взглядом своего товарища.

— Да, ты и в самом деле еще молод. А я, конечно, уже не тот. Я утратил...

Он не оканчивает фразы. Он снова изучает свое отражение, потом сравнивает его с отражением Жили. Есть зеркала, которые ничего не прощают. Он вот стоит перед таким зеркалом. Шарль вздыхает.

— Ничего не попишешь, я на несколько лет старше тебя, и это заметно. Мне кажется, я чертовски постарел за последнее время... Господи, во что мы превращаемся! Хочешь верь, хочешь нет, но в двадцать лет я был очень красивый. Да, да, кроме шуток, я был одним из самых красивых мальчишек Левого берега. Я мог бы стать профессиональным сутенером.

Жиль не в силах удержаться от смеха.

— Однако это правда, — продолжает Шарль очень серьезно. Он снова смотрит на себя в зеркале. — Что за морда! — говорит он язвительно. — Отъелся, как боров. Брюшко. Мешки под глазами... Ух, не хотелось бы мне проснуться рядом с собой в одной постели... Ты смеешься? Не над чем смеяться!

— Нет есть над чем. Ты забавный парень. Ты мне нравишься, когда говоришь все что взбредет в голову.

Шарль думает о чем-то, наморщив лоб.

— Впрочем, Ариана, когда просыпается, выглядит тоже немногим лучше.

— Ну да?

— Честно. Лицо отекает, глаза как щелочки, груди расплуснуты... Конечно, вечером, когда она меня ждет, чтобы куда-нибудь отправиться, это другая женщина. Ума не приложу, как у нее это получается.

— Кстати, не пора ли нам к ним вернуться? Наверно, мы бродим уже больше полчаса...

— Подождут. Мне что-то неохота к ним идти. Знаешь, я лет пять не гулял вот так, с товарищем. Дай мне хоть немного подышать воздухом свободы.

— Но нам с Вероникой надо идти домой... Нас ждет baby-sitter.

— Ничего, не умрет! Она за это деньги получает. Ей что, плохо у тебя? Она хорошо пообедала и выпить может, если хочет, пусть себе сидит, курит и читает свои книжки. На что она жалуется?

— Она ни на что не жалуется, но Вероника...

— Нет. Успеется. Наши бабы не скучают, можешь не волноваться. Они обожают клуб. Они обожают танцы, шум и все прочее. Пошли, посидим в другом кафе, вся эта шпана вокруг действует на меня угнетающе.

Жиль не сопротивляется. Ночь в этих узких улочках, освещенных разноцветными фонариками и насыщенных тихим шелестом молодости и желаний, обладает особой прелестью, и ей невозможно противиться. Ночь, заставившая стонать средиземноморского мальчишку, превращает эти улочки в сады Армиды, расцвеченные мерцающими волшебными огоньками, и чьи-то прекрасные лица скользят мимо в темноте, как кометы. Колдовство ночи и алкоголя, обжигающего гортань. Все движется, и сплетается, и тонет во тьме, и пропадает навсегда. Лестница, обтянутая черным бархатом, ведет в какое-то подземелье. Приходится вцепиться в перила, чтобы не упасть. Приглушенный свет ламп. Чьи-то взгляды, которые вы ловите на себе, входя в зал. Осторожное форсирование зала, этого коварного океана, к спасительному берегу — к стойке.

— Ну, козлик, что будем пить? — говорит Шарль, с нежностью поглядывая на Жюлия.

— Ничего, я уже набрался... И ты тоже...

— Нет... Я угощаю... Два больших шотландских виски, пожалуйста...

— Послушай, давай вернемся в клуб. Нам здорово влетит...

Шарль нагло смеется. Он призывает в свидетели смутно вырисовывающиеся вокруг силуэты:

— Он боится, что ему влетит! Жалкий человек! Им полезно немножко подождать. Настал их черед. Ой, знаешь...

Его смех становится звонким и дробным, он хихикает, как лукавая субретка.

— Знаешь, ты здорово врезал сегодня Ариане.

— Я? Врезал?

— Да еще как! В ресторане. И с таким невинным видом. Ну и язычок у тебя — бритва. — Шарль хлопает Жюлия по плечу. — Помнишь, что ты сказал насчет этого гада, Фредди? Точно, от одного его вида блевать хочется. Почему я ему руку подаю, сам не знаю... А потом насчет Камю. Ты ее крепко уел, когда напомнил, как она прежде восхищалась Камю. Я получил полное удовольствие, потому что ты бил в самую точку. Ведь еще недавно у нее только и свет в окошке был что Камю. И чего это она вдруг так переменялась, не знаю...

Добродушное выражение вдруг сползает с лица Шарля, оно становится жестким, и в его воспаленных глазах вспыхивает что-то злобное.

— Когда она начинает трепаться о том о сем, не считаясь ни с чьим мнением, словно все люди, кроме нее, дерьмо, я... я бы ей... ну, я не знаю, что бы я с ней сделал...

Он стискивает в руке стакан.

Они выходят на свежий воздух, бродят по улицам. Потом заходят в другой бар. Неторопливо молча пьют. Наконец Шарль говорит с таинственным видом:

— Я тебе сейчас скажу одну совершенно страшную вещь. Но только ты никому ни звука. Даже жене, понял?

Жиль смотрит на него, сиюсь изображать на своем лице внимание. Шарль выдерживает паузу. Он чуть отворачивает голову. Пустой взгляд устремлен в одну точку.

— Ариана изменяет мне, — говорит он чуть слышно.

Жиль не знает, как ему реагировать, он часто моргает, но в полутьме бара этого не видно.

— Ты уверен? И давно?

— Абсолютно наверняка. Я даже знаю с кем.

— И ты идешь на это? Ты молчишь?

Шарль толкает Жюлия локтем в грудь и подмигивает.

— Я олимпийски спокоен, — заявляет он. — Да к тому же... — и он снова хихикает, словно над неприличным анекдотом, — я тоже ей изменяю. Мы квиты. У меня вот такая девочка! — И он поднимает большой палец.

— Ну что ж, если у вас так заведено... Если вы таким образом счастливы...

Смех Шарля резко обрывается. Перед этими сбивами настроения и выражения лица просто теряешься.

— Счастливы? Кто счастлив? Ты, может быть?

— Да...

— И ты готов поклясться жизнью твоей дочки?

Жиль не отвечает.

— Вот видишь. Чего же зря болтать? Кто может быть счастлив в наше-то время? Погляди на этих мальчиков и девочек. Не похоже, чтобы им было весело: никто даже не улыбнется. А как они танцуют? Мрачно! И это счастье? Не смехи меня.

Однако Шарль не смеется. Он допивает виски.

— Я был счастлив, только когда был мальчишкой, — продолжает он. — Да, да, мальчишкой, лет в двенадцать или тринадцать. И с тех пор никогда. Я бывал возбужден, весел, все что угодно, но счастлив — нет!

— Пошли. Они уже, наверно, потеряли терпение...

— Обожди, дай мне договорить. Не пожар! Дай договорить. В двенадцать, тринадцать лет я был на редкость чистым мальчишкой. Этаким волчонком, представляешь? С родителями — они были очень хорошими людьми — мы по воскресеньям ездили...

— Получите! Сколько с нас?

— Да подожди, тебе говорят! — гневно останавливает его Шарль. — Я же не договорил. Так вот, в двенадцать лет я был на редкость чистым мальчишкой. По воскресеньям я со своими родителями...

— Я все это уже слышал. Что ты хочешь сказать?

— ...мы ездили в деревню на нашу маленькую ферму в Перш.

У Шарля слезы на глазах, он сопит, его кадык дергается.

— Ладно, ладно. Ты был чудный мальчишка. Ну и что с того? Что ты хочешь сказать?

— А вот что я хочу сказать: я превратился в марионетку.

— Прекрасно! Уничуждение паче гордости, Время от времени это помогает... Ну, пошли, что ли?

— Одну минуточку, Жиль, будь другом. Я должен тебе рассказать о своем первом причастии...

— Только не сейчас. Завтра, я тебе обещаю, я все выслушаю. Ну, давай... Нет, не сюда, это уборная... Вот выход. Возьми меня под руку.

Я вернулся домой около четырех утра. Вероника спала. Три часа спустя я тихонько встал, не разбудив ее. Увиделись мы только вечером, после очень утомительного для меня дня — мне стоило невероятных усилий хоть кое-как справиться со своей работой. Вероника закатила мне сцену... Вы что, с ума сошли? Бросили нас и, вместо того чтобы зайти за нами — ведь мы договорились, — надрались, как свиньи!

— Я не надрался.

— Шарль был мертвецки пьян и, кроме того, безобразно вел себя с Арианой.

— Браво! Отлично! Наконец-то он взбунтовался.

— Ах вот как, ты считаешь, что это отлично? Он приползает домой в четыре утра мертвецки пьяный, безобразничает...

— Ему бы следовало стукнуть ее разок-другой, я имею в виду жену, чтобы показать, что он хозяин дома, а ей надо знать свое место. Так поступали наши предки, и правильно делали.

— Ах вот как! Но я тебе не советую возрождать обычаи старины, потому что со мной, мой милый, этот номер не пройдет, будь уверен!

Вероника говорила сухо. Я никогда еще не видел ее такой — лицо оскорбленной богини, жесткий взгляд. Озлобление старило ее. Думаю, она меня действительно ненавидела в эту минуту. Смывшись от наших дам, как озорные мальчишки, и не придя вовремя за ними, мы совершили не просто преступление, а

тягчайшее оскорбление их Величеств. Эта невинная проделка, которая случалась, я думаю, во все времена и у всех народов со всеми мужьями хотя бы один раз и которой, мне казалось, не следовало придавать никакого значения, объяснив ее мужской солидарностью, вдруг оказалась грубым выпадом, чудовищным, злонамеренным актом. В два часа ночи, обезумев от волнения, я позвонила на всякий случай домой (говорит Вероника), и мне ответила няня, она сказала, что сама беспокоится, не случилось ли чего... Как ты мог забыть, что она ждет нас к часу?

— Я рассчитывал, что ты к часу вернешься. Я ведь оставил тебе машину.

— Но вы должны были за нами зайти! Друзья Арианы вскоре ушли. Хорошо же мы выглядели одни в этом гадюшнике!

— А что, наверно, неплохо. Ведь ты обожаешь атмосферу клуба.

— Две женщины одни!

— А, брось! Вы вполне в состоянии постоять за себя.

— Кинуть нас на произвол судьбы! Это так грубо. Я просто слов не нахожу.

— Вас не приглашали танцевать?

— Мы там ни с кем не были знакомы.

— Словно это помеха! А спекулянты наркотиками что зевали? Вам надо бы позвонить этому Алексу, он тут же прибежал бы.

— Ты не ошибся. Пожалуй, он и в самом деле прибежал бы.

— И ты встретила бы его с распростертыми объятиями, не сомневаюсь.

Эти слова были явно лишними. Во всех ссорах всегда говоришь что-то лишнее, именно поэтому они так опасны. Я постарался, как всегда, когда мы ссорились, благоразумно свернуть на юмор, но на этот раз Вероника не поддалась, а последнее замечание насчет Алекса оказалось непоправимым. Мы вдруг замолчали — ее парализовал, я думаю, гнев, а меня леденящий ужас. Я представил себе, что могло бы произойти, если бы Вероника позвонила этому типу или если бы случай привел его в тот вечер в это заведение. Они танцевали бы под ободряющим взглядом Арианы. Я не знал этого Алекса, но я представил себе его таким, каким обычно изображают подобный персонаж в кино или в комиксах: виски, челюсть, «неотразимая улыбка», волчий взгляд, уверенность профессионального соблазнителя... Вероника была бы счастлива этому отвлечению. Она кокетлива, любит, чтобы за ней ухаживали, чтобы ее находили обольстительной. Так и вижу их вместе. Я создаю сценарий, перед моим внутренним взором прокручивается целая кинолента, и каждый ее кадр старательно выбран, чтобы терзать меня ревностью. Они танцуют. Он крупный специалист по современному танцу. Потом он провожает ее на место. Угощает шампанским. Появляется бутылка «Дом Периньон» (я знаю от Шарля, что это одна из лучших марок). Завязывается игривый разговор, легкий и полный забавных ассоциаций, разговор в стиле, присущем этим людям, которые слова в простоте не скажут. А это-то и нравится Веронике. И конечно же, тут начинает действовать эта «клубная атмосфера» — ее волнует этот тип, про которого известно, что он обожает женщин и знает, как с ними обходиться. Кинолента видений движется у меня перед глазами (я готов уже кричать). Вот Вероника с ним вместе выходит на улицу, получив благословение Арианы, — та просто счастлива, что сыграла со мной такую злую шутку. Вероника соглашается зайти к нему выпить еще рюмочку. И вот она обнаженная в его объятиях. Она запрокидывает голову, на лице ее то особое выражение, которое я так хорошо знаю. Я чувствую, что сейчас закричу, но в горле у меня пересохло, я не в силах издать ни звука. Я оцепенел от ревности. И вдруг я становлюсь абсолютно спокойным. Я решаю: если Вероника мне когда-нибудь изменит, ну что ж, я ее убью. Очень просто. Убью их обоих. Вот самый естественный и разумный выход.

День за днем я до изнеможения выпытываю у Вероники: когда она с ним встретилась в первый раз? где? что именно было между ними? Хорошо, я ей верю. Пусть реального ничего не было, но в мыслях она была готова?.. Нет? Ей не хотелось быть с ним? Хорошо, я ей верю. Но все же он ей нравился? Этого же

она не отрицает? Тебе приятно с ним, Вероника, потому что он погружает тебя в атмосферу, которую ты любишь. Роскошь, элегантная среда, надежда на всевозможные развлечения — все то, что я не в силах дать тебе.

— Послушай, Жиль, прекрати. Я больше не могу. Ты бессмысленно терзаешь нас обонх.

— Но мне хочется разобраться в этой истории до конца. Признаюсь, дорогая, я ревную, верно. Я боюсь тебя потерять. Но, согласись, у меня есть к этому основания... Нет? Ты уверяешь меня, что нет? Ну, поцелуй меня. Если бы ты знала, если бы ты только знала, как я тебя люблю!.. Да, я не сомневаюсь... Но все же и ты признайся, что чего-то тебе не хватает. Я ошибаюсь? В самом деле?.. Знаешь, что я тебе скажу: если я иногда и ненавижу твою подругу Ариану, то только потому, что у меня есть основания опасаться ее — ее влияния на тебя. Ты восхищаешься ею, ты ей завидуешь, тебе кажется, что у нее более блестящая, более интересная жизнь, чем наша... А кроме того, она себе многое разрешает, и ты ее за это не осуждаешь. И вот я говорю себе: раз ты считаешь вполне естественным, что у Арианы любовник, то в один прекрасный день ты, возможно, решишь, что и тебе уже пора завести любовника. Я знаю, дорогая, что я самый большой идиот на свете. Ты мне это уже не раз говорила. Но это лишь доказывает, что я дорожу тобой больше, чем... Одним словом, если бы я тебя потерял, я бы все потерял. Все, решительно все! Давай больше никогда не будем ссориться. Никогда. Обещаю тебе не говорить больше об Алексе и постараюсь не ревновать.

Думаю, что именно этот вечер нужно считать началом конца. Постепенно все, связывающее нас, истлело. Теперь мне даже кажется, что мы уже тогда это знали. Но можно знать и делать вид, что не знаешь, можно продолжать себе лгать, даже когда все уже становится очевидным. Каждый день я отмечал, как рвалась очередная ниточка наших отношений. Я присутствовал при медленном, неумолимом, но пока еще скрытом приближении катастрофы. Вероника скучала. Иногда я ловил ее полный тоски взгляд, устремленный к какой-то неведомой мечте, в которой мне не было места, которая могла обрести реальность только в мое отсутствие. Вероника была пленницей, утратившей веру в то, что когда-нибудь вырвется на свободу. Между нами возникали теперь такие ужасные молчания, что мне казалось, я растворяюсь, погружаюсь в резервуар с кислотой. А бывали минуты, когда уже я глядел на нее равнодушно, как на чужую, или с озлоблением, как на врага. Кто она такая, чтобы меня так истязать? Чтобы так много требовать от жизни и от мира? И чтобы презирать меня за то, что я не могу создать ей этот непрекращающийся праздник, этот бесконечный дивертисмент, который она назвала бы счастьем. Да, она красива, но почему красота должна давать ей особые привилегии? На земном шаре миллионы красивых девочек, и они вовсе не считают, что все им положено по праву. Она не умнее, не способнее, не эмоциональнее любой другой. Ее сила заключалась только в моей любви, в том, что я не мог без нее жить, что я до смерти боялся ее потерять. Чем она была вне этого? Богатством внутренней жизни она уж никак не поражала. Напротив, по сравнению с другими пейзаж ее души казался мне до отчаянья унылым. Вот, к примеру, моя сестренка Жанина — человек совсем иного порядка. У нее всегда есть чем одарить другого: весельем — так веселье, улыбкой — так улыбка, вниманием — так сердечное внимание, теми мелочами, которым нет цены. А Вероника!.. И тогда я вдруг начинал ее любить за ее обездоленность. Я был полон к ней сострадания. Она представлялась мне существом хрупким, обойденным судьбой, которое надо было поддержать, защитить. Именно потому, что у нее не хватало глубинных ресурсов души, она испытывала необходимость во всем том, что может создать иллюзию полноценного существования, значительности личности: в деньгах, во всевозможных материальных ценностях, в кастовых привилегиях, в социальном честолюбии — в тех вещах, без которых сильные натуры легко обходятся. Через несколько лет, когда ее красота поблекнет, у нее вообще ничего не останется. Мне хотелось бы обрушить на нее золотой дождь, засыпать ее всеми теми игрушками, о которых она мечтала, — положить к ее ногам

роскошные квартиры, загородные дома, машины, платья от знаменитых портных, путешествия, светское общество — так, как приносят больному ребенку каждый день новую игрушку, радуясь, что у него загораются глаза. До тех пор я никогда не страдал от того, что зарабатываю сравнительно мало, зависть такого рода была мне незнакома. Могу сказать с полным чистосердечием: подобные вещи меня нисколько не занимали, на деньги я плевал. Но с тех пор, как Вероника оказалась рядом, мысль о деньгах стала для меня мало-помалу каким-то наваждением, потому что именно они дарили всяческое благополучие, они были путем ко всему, в них была истина, они означали жизнь... Это пришло постепенно, подкралось каким-то коварным путем. Я стал подсчитывать свои будущие доходы, возможные дополнительные заработки, хотя такого рода упражнения по устному счету мне были не только трудны, но и противны. От этих подсчетов я чувствовал себя каким-то подавленным, униженным. Я думал о богатых, особенно о тех, кто знаменит, чьи фотографии заполняют журналы. Там же рассказывали об их счастье: они охотятся в Кении, собирают картины мастеров, дают маскированные балы своим друзьям (их всего две или три тысячи и ни одним больше — миллиардеры не станут дружить с кем попало). Их счастье казалось мне ничтожным по сравнению с тем, какое могло бы быть у меня, сумей я удовлетворить все желания Вероники. Я был в бешенстве, что у меня нет тех тридцати, пятидесяти или ста миллионов, которые позволили бы мне купить ей шубу, поездку в Мексику, лестные знакомства — все то, что надо, чтобы Вероника взглянула бы на меня наконец любящими глазами. Как на мага, который ударом волшебной палочки умеет одарить всем, что пожелаешь. Но у меня никогда не будет тридцати миллионов, я никогда не стану волшебником. Вероника металась взад-вперед по нашей трехкомнатной квартире, как молодой зверь в клетке; рассеянно играла с девочкой; листала журналы с глянцевиной бумагой; зевала; звонила своим родителям, своему брату, Ариане (во время этих телефонных разговоров она оживала); подолгу сидела неподвижно, положив руки на колени, с пустым взглядом. И все курила, курила. Я был исполнен к ней сочувствия. Минуту спустя я ее ненавидел. Мне хотелось сослать себя куда-нибудь, умереть. Потом мы шли спать. Ночь нас сближала, хотя я не мог не заметить, что Вероника и тут стала другой, что даже в любви я ее как бы утомлял, что с каждым днем она все больше охладевала ко мне. Иногда она меня даже отстраняла, не грубо, нет, скорее устало. Но я, я не устал от нее. Тело ее не изменилось, оно было таким же теплым, пахло, как прежде, и опьяняло меня, как в первые дни. Когда она засыпала в моих объятиях и я мог лежать неподвижно, прижимая ее к себе, я впадал в какое-то странное состояние — что-то промежуточное между отчаянием и блаженством; я не спал, я вслушивался в ее дыхание; я был счастлив — несчастлив.

Вероника оживала, только когда мы принимали друзей или сами ходили в гости. Она чувствовала себя счастливой лишь в окружении людей. Приемы и всевозможные выходы в свет составляли светлую часть ее существования. Все остальное время, то есть часы, проведенные в обществе дочери и мужа, было для нее унылой, серой повседневностью. Надо, однако, сказать, что вечера в обществе друзей не были ни праздниками ума или сердца, ни даже интермедиями бурного веселья. Люди, с которыми мы встречались, не отличались особым блеском. Их разговоры поражали своей стереотипностью. Эти люди не жили непосредственными импульсами, а все время глядели на себя со стороны, словно смотрели фильм, и эти кадры воображаемого фильма, где каждый играл свою роль, постепенно подменяли реальность. Только я один в нашей маленькой компании позволял себе некоторую независимость суждений. Так как их конформизм (или его шикарный вариант — анархизм) меня бесил, я всегда им возражал, часто даже наперекор своим глубоким убеждениям. Я частенько загонял их в тупик и легко оставил себе таким образом репутацию человека эксцентричного, против чего, впрочем, Вероника никак не возражала: она приветствовала все, что нас как-то выделяло, что поднимало наш престиж. Конечно, она была достаточно трезва, чтобы не обманываться насчет ординарности наших друзей, но за неимением лучшего ей приходилось ими довольствоваться, поскольку те люди, с которыми



ей хотелось бы общаться, были для нее недоступны. До сих пор мне казалось, хотя специально я над этими вещами и не задумывался, что снобизм — это порок, а снобы — своего рода маньяки. Оказалось, я ошибался, вернее, слово это за последние годы просто изменило свой смысл, оно утратило свою отрицательную характеристику: напротив, люди стали кичиться тем, что они снобы. Отныне это значило быть элегантным, изысканным, взыскательным в выборе развлечений и знакомств. Понятие это стало почему-то обозначать качества, чуть ли не смежные с дендизмом. А по сути оно выражало болезнь века, своего рода нравственный рак, не щадивший никого, но особенно свирепствующий в средних классах. Явление это массовое, явно связанное с особенностями потребительского общества. В эпоху экономической и культурной нивелировки обращение к снобизму оказалось отчаянной попыткой прибегнуть к дискриминации, оно было своего рода защитным рефлексом против демократизма. Защита, впрочем, иллюзорная, потому что к ней прибегают не единицы, а большинство, и потому попытки переплюнуть других в снобизме могут множиться до бесконечности: на любого сноба всегда найдется еще больший сноб, презирающий первого, — это дьявольская механика, подобная алкоголизму или наркотикам, где все время приходится увеличивать дозу. Вероника и ее друзья вообще часто напоминали наркоманов. Когда кто-нибудь из них называл то или иное модное имя (а они только чудом могли быть лично знакомы с этими людьми), остальные смотрели на собеседника тем странным блуждающим и вместе с тем сосредоточенным взглядом, который я потом не раз замечал у мальчиков и девочек, потребляющих героин. Они как бы видели сны наяву. Ариана была вхожа в некоторые дома, где наряду с обычным светским обществом бывали и люди из мира литературной и художественной богемы. Рассказы Арианы об этой среде, всякие забавные истории и сплетни, которые она охотно передавала, Вероника слушала в каком-то упоении: это была ее «Тысяча и одна ночь». Помимо этого круга, в который Ариана все обещала ввести Веронику, но, конечно, не вводила (потому что снобизм требует исключительности, ему необходимо, отталкивая толпы непосвященных, соорудить заслоны, заделывать щели, это борьба не на жизнь, а на смерть, и она не знает пощады), так вот, помимо этого круга, были другие круги, где блистали звезды покрупнее, но они находились на расстоянии миллионов световых лет. Их свет доходил иногда до нас, таинственным образом пойманный иллюстрированными журналами, которые листаешь в приемной зубного врача; были и такие звезды, о существовании которых можно было догадаться только по тому влиянию, которое они оказывали на далекие галактики, но уловить их не могли даже телескопы «Вояж». Например, была одна дама, бедность которой могла сравниться только с ее родовитостью (она появилась на свет прямо из бедра Юпитера и прошла то ли сквозь дом Романовых, то ли сквозь дом Виттельсбахов, точно не помню), жила она в скромной гостинице и по пятницам приглашала трех-четырёх друзей к себе на чай, который подавался в выщербленных чашках. Только трех-четырёх, больше не могли вместить ни ее апартаменты, ни ее сердце. Так вот, быть принятой этой августейшей нищенкой было пределом самых дерзких мечтаний. Перед этой честью отступали все балы Венеции, ужины у греческих миллиардеров и даже приемы в саду Букингемского дворца. В мечтах наиболее оголтелых снобов эта треснутая чашка с чаем, подаваемым по пятницам, сияла, как святой Грааль.

Поскольку Веронике и ее друзьям не удавалось добиться заметных успехов по линии светских связей, они пытались чего-то достичь в интеллектуальной сфере. Ну что ж, естественная тяга к развитию. И уж не я, конечно, стал бы их за это осуждать: мое сердце убежденного социалиста заранее на стороне всего, что содействует духовному прогрессу... Но, к несчастью для Вероники и ее друзей, культура во всех ее проявлениях не была конечной целью их устремлений, она не была также ни способом внутреннего самоусовершенствования, ни источником радости, но лишь средством, не менее действенным, чем любое другое, выделиться из массы. Так они тешили себя иллюзией, что принадлежат к элите. Приобщение к культуре было у них лишь новой ипостасью снобизма. Оно было

скомпрометировано уже в самом своем истоке низостью тайных помыслов (тайных даже часто от них самих). Но, значит, то, к чему они приобщались, было не культурой — ведь культура всегда бескорыстна, — а ее гримасой, ее подделкой. По мне уж лучше бы они трепались только на светские темы, это казалось мне менее варварским. Их художественные и литературные суждения были продиктованы, само собой разумеется, исключительно желанием полностью соответствовать новейшим модным веяниям. Никаких отклонений! Здесь царил настоящий террор. Никто из них не осмелился бы признаться, что ему нравится Пуччини или даже Вивальди. В музыке ценились только додекафонисты и последние квартеты Бетховена. И так соответственно во всем. Я мог бы составить полный перечень авторов, которыми они обязаны были восхищаться, а также черный проскрипционный список имен, которые нельзя было даже произносить под страхом окончательно себя скомпрометировать. Я знал наизусть их маленький катехизис. Стендаль, например. Любить Стендаля можно по тысяче разных причин, но те причины, по которым они его любили или уверяли, что любят, были отнюдь не стендалевскими и вызывали бы презрение Анри Бейля. Хор этих нежеланных подпевал он счел бы апогеем парижского светного тщеславия. Они его любили, потому что им сказали, что Стендаль писал для «happy few»<sup>10</sup>, что любовь к Стендалю — свидетельство нравственного совершенства, членский билет клуба, в который не так-то легко попасть. То же самое относится и к Гобино<sup>11</sup>, который вдруг, ни с того ни с сего стал модным автором. Одна из их самых ходовых оценок примерно такая: «Это трудно читается, даже довольно скучно, нужно пробиться сквозь текст, но — стоит того», — оценка, над которой здорово потешался бы Стендаль, полагавший скуку безошибочным показателем бездарности сочинения. Само собой разумеется, все они считали ясность синонимом поверхностности, и наоборот, вычурность и затемненность стиля — свидетельством глубины мысли. Одним словом, тюленье стадо, жадно хватающее на лету сардины современной глупости.

Я страдал оттого, что и Вероника участвовала в этом хоре рабов хорошего тона, что она копировала их манеру держаться, повторяла их слова. Она стояла большего. Когда мы с ней вдвоем обсуждали прочитанные книги, увиденные фильмы, выставки, на которых бывали вместе — когда она была вне зоны действия Террора и его запреты не сковывали ее по рукам и ногам, так как я был ее единственной публикой, — она вдруг начинала говорить непосредственно, то, что ей подсказывал ее личный вкус. И тогда я убеждался, что она способна на собственную оценку, быть может не всегда оригинальную, но, во всяком случае, абсолютно нормальную, я хочу сказать — независимую и свободную. Однако в присутствии других Террор ее парализовал, и тогда она, как и все они, становилась до ужаса малодушной. Именно это и приводило меня в отчаяние: ее боязнь скомпрометировать себя, интеллектуальная трусость.

Большую часть времени мы отдавали развлечениям. Девочку мы поручали заботам наших родителей или приходящей няни, а сами отправлялись то в Сен-Жермен-де-Пре, то в Синематеку, то в театр, то в гости к кому-нибудь из приятелей. Все это в какой-то мере повторяло наши студенческие увеселения. Ведь именно к этому Вероника и стремилась — навсегда остаться веселой, беззаботной студенткой, такой, какой была до нашей свадьбы. Что до меня, то я предпочитал бы проводить большее количество вечеров с ней наедине. Мне нужна была она, а не люди вокруг. Но Вероника уверяла меня, что современные молодые супруги должны бывать в обществе, вести активную социальную жизнь, не то они косятся, стареют. И я заставлял себя верить ей, чтобы скрыть от себя то, что было уже очевидным, но с чем невозможно было примириться: она меня уже не любила. Весь этот период я жил как в аду. А что такое ад, я знаю совершенно точно — это выражение скуки на лице того, кого любишь. Итак, мы почти не бы-

<sup>10</sup> Избранные (англ.).

<sup>11</sup> Жозеф Артур де Гобино (1816—1892) — французский дипломат и писатель, автор «Эссе о неравенстве рас».

вали дома, мы ходили **туда**, куда ходят в Париже «шестнадцать миллионов молодых людей». Но изображать из себя молодых было все более трудно, по мере того как вздымались волны новых поколений и оттесняли нас все ближе и ближе к берегу. Между этими подростками и нами была теперь большая дистанция, чем между нами и сорока-пятидесятилетними, хотя по возрасту мы были гораздо ближе к ним. Это было очень странно. В театре, например, мы видели, как шумит вокруг нас огромное молодое племя, из которого мы были изгнаны по воле большинства. Этот остракизм нас пугал: они не проявляли к нам никакой враждебности, дело обстояло куда хуже — мы просто для них не существовали. Вероника была этим еще более удручена, чем я. Я вспоминал иногда Лиз, которую встретил в ту знаменитую ночь вместе с Шарлем в кафе. Она обратилась ко мне на «ты», повела себя со мной как со сверстником, как с товарищем. И я стал понимать чувства Вероники по поводу понятия «молодость», которое имело в ее глазах чрезвычайное значение и входило в ее мифологию счастья. Вероника, хотя она была так красива, что ей не нужна была никакая косметика, часто говорила о том, что необходимо делать, чтобы остаться или, на крайний случай, казаться молодой: особый режим, гимнастика, косметические процедуры и т. д. Она читала специальные статьи на эту тему. Страх перед утратой молодости стал настоящим наваждением. Точно то же испытывала Ариана и другие приятельницы Вероники. Все, к чему подходил эпитет «молодой», приобретало абсолютную ценность, словно весь «взрослый» мир был миром деградации и упадка. Век создал новый культ, и они истово приносили ему жертвы.

Я также иногда размышлял над тем, какой **была** бы моя жизнь, если бы я не женился. Наслаждаться, наслаждаться любой ценой — такая жизненная установка, видимо, заразительна, потому что и я (я это чувствовал) заразился ею. Будь я свободен, думал я, я мог бы потратить деньги, которые сейчас расходуются на хозяйство, на самого себя. Я мог бы покупать куда больше книг, пластинок, мог бы путешествовать за границей, мог бы менять подруг хоть каждый месяц, была бы охота. Одним словом, вел бы жизнь безответственного сибарита. Я мог бы использовать весь свой досуг, чтобы читать, развлекаться, думать, может быть, даже заниматься: я часто мечтал о том, чтобы продолжить образование, и в частности изучать философию, изучать систематически, посещая лекции. Но раз я был женат, об этом и речи быть не могло. Однако все мои мечты казались мне ничтожными, когда я, приходя домой, играл с моей дочкой и видел ее улыбающуюся мордочку. Всем честолюбивым планам я предпочитал присутствие этого маленького существа. Я говорил себе, что моя жизнь никогда не будет по-настоящему несчастливой, раз есть Мари. Я размышлял над быстрой эволюцией наших с Вероникой чувств. Я находил этим изменениям те причины, о которых уже говорил, хотя тогда я еще не мог их осознать со всей определенностью. Случались дни, когда я считал виноватым одного себя, брал всю вину на себя: я был и недостаточно деловит, и изрядно щепетилен, и чрезмерно строг, и неспособен приноровиться к современным нормам жизни. Я жалел Веронику, сокрушался, что она встретила именно меня, что ей так не повезло. А в другие дни, напротив, я упивался мыслью, что я — один из немногих разумных, трезвых людей в этом сумасшедшем веке, подорванном всевозможными неврозамн.

Однажды вечером, когда я почему-то больше обычного злился на Ариану и Шарля, я сел писать о них своего рода маленькое исследование в духе американских социологов (хотя куда менее наукообразное), которые подвергают анализу ту или иную социальную группу общества своей страны. Читая такие работы, часто кажется, что эти ученые разглядывают своих соотечественников словно те какие-то паузасы. Я записал все свои наблюдения над этой образцовой супружеской парой и тут же обнаружил, что, говоря о них, я тем самым говорю и о Веронике, о всем том, что доставляет мне страдания в наших отношениях. Короче, это неожиданно оказалось своего рода сведением счетов. Я писал страницу за страницей, не отрываясь, стиснув зубы. Вероника сидела в нескольких метрах от меня, курила и слушала транзистор.

— Что ты делаешь? — спросила она меня. — Ты пишешь роман?

— Да что ты, это всего лишь портрет. Портрет Арианы. Помнишь, мы с тобой говорили об этом несколько месяцев тому назад? Ты даже нашла хорошее заглавие: «Амазонка цивилизации досуга».

— Да, помню. А почему ты пишешь это именно сегодня?

— Не знаю, так захотелось.

Она отправилась спать, а я остался за столом и писал до двух часов ночи. Поставив точку, я перечитал все подряд и испытал чувство, похожее на то, что испытывают школьники, когда им кажется, что домашнее сочинение удалось. Но чувство, пережитое мной, было все же сильнее и другой природы. Я сумел одолеть то, что причиняло мне боль, и тем самым автоматически боль уменьшилась. Я сунул листочки в какую-то папку. На следующий день Вероника даже не вспомнила о моей писанине. Я — тоже. Лишь дня через два она спросила меня, закончил ли я свой опус. Нельзя ли это прочитать?

— Знаешь, лучше не надо, — сказал я, охваченный паникой.

— Почему?

— Ты снова скажешь, что я ненавижу Ариану, а это неверно. Ты сочтешь мою оценку предвзятой и несправедливой.

— Какое это имеет значение? Дай-ка мне эту штуку, мне любопытно, что ты можешь напелсти про Ариану.

Хотя я предчувствовал, к каким последствиям может привести это чтение, я протянул ей мои листки. Она шепотом прочитала заглавие: «Дамочка» — и искоса метнула в меня такой взгляд, что я вздрогнул. Я сидел в кресле недалеко от нее. Я раскрыл книгу, но не читал, а исподтишка наблюдал за Вероникой. Она читала, нахмурив брови, лицо ее оставалось напряженно-спокойным.

Вот этот текст:

«Муж нашей Дамочки деловой человек, а может, он крупный служащий, одним словом, какой-то «руководящий кадр». Примерно четверть его оклада уходит на оплату роскошной квартиры в соответствующем районе. Остальные деньги расходуются по следующим статьям (перечисляем по нисходящей, в порядке важности): приемы, выходы в свет, ведение хозяйства, два автомобиля, туалеты Дамочки, дети, косметика Дамочки, костюмы мужа, прислуга-испанка, пластинки, книги. Дамочка и ее муж — незапрограммированные потребители. Многие покупается в кредит. В конце месяца часто трудно свести концы с концами».

Квартира обставлена современной мебелью, но они мечтают о подлинной старине. Дамочка приобрела две или три абстрактные картины у своего кузена, художника еще малоизвестного, но которому предрекают великое будущее. Эстетическое наслаждение, которое они получают от созерцания картин, отнюдь не омрачено мыслью о том, что это неразумное помещение денег. Когда у мужа выпадает минутка досуга, что случается весьма редко, он создает из проволоки и цинковых пластинок динамическую скульптурную композицию в духе Кальдера.

На люди Дамочка появляется только в выходных туалетах. В частности, вечером она надевает униформу своей социальной группы, а именно — платье, скопированное с модели знаменитого портного, украшенное бриллиантовой брошью на левом плече. Лишь муж удостоен привилегии созерцать ее в «разобранном» виде — например, утром, когда она просыпается: припухшие веки, лоснящиеся от ночного крема щеки, горькие складки у губ, обвислые груди. Впрочем, он радует супругу примерно тем же видом, разве что без крема, потому что пока еще мужчины крем широко не употребляют. После того как муж отбывает на службу, тайный соглядатай смог бы наблюдать медленную метаморфозу Дамочки (занимающую примерно два часа). Потом эта процедура повторяется еще раз в конце дня, в результате чего вернувшийся с работы муж всякий раз с радостью и удивлением замечает, что его жена с утра помолодела лет на десять и выглядит не хуже тех архитипов женской красоты, которые популяризирует кинематограф.

Интимная жизнь супругов протекает на редкость спокойно. Аппетиты Дамочки удовлетворены — конечно тайно и в разумных пределах — любовником. С тех пор как муж стал еще больше работать, чтобы обеспечить то, что они и их друзья называют *standing*, его аппетит в этой области периодически резко падает. Их образ жизни не благоприятствует интенсивному эротизму: они никогда не ложатся раньше двух часов ночи, да к тому же он уже устал после весьма напряженного рабочего дня. Но так как любовь и радость, которую она приносит, является одним из основных пунктов жизненного кредо данной супружеской пары, они уделяют этой проблеме большое внимание. Дамочка, ее муж и их друзья говорят о физической стороне любви откровенно, называют вещи своими именами, не гнушаясь вульгарных слов, как и положено молодым французам шестидесятых годов, шагающим в ногу с веком. Такие вольные разговоры предусмотрены правилами игры или, точнее, относятся к некоему обряду мимикрии: необходимо подогнать себя под ту картину нравов, которая изображена в новых фильмах и описана в романах. Эти фильмы и романы, таким образом, создают некую социальную реальность, которую они призваны разоблачать, но это фиктивная реальность.

В светской жизни эта пара участвует весьма активно. В конце концов Дамочке удалось убедить мужа, и он в конце концов с этим согласился, что после восьми часов, проведенных в служебном кабинете, принимать по вечерам гостей или ходить в гости — необходимая разрядка. Поэтому по приходе домой ему надлежит незамедлительно принять душ, переодеться и проглотить тонизирующую таблетку, чтобы подготовиться к предстоящему длинному вечеру. Что до Дамочки, то она готовится к вечеру с пяти часов дня. Карусель званных обедов приводит нашу супружескую пару поочередно к другим супружеским парам, которые, в свою очередь, в какой-то день пообедают у Дамочки и ее мужа. Программа увеселений, сообразующаяся со временами года, строго регламентированная, словно церемониал какого-то двора, предусматривает, помимо званных обедов, два ежемесячных посещения совместно с двумя-тремя супружескими парами модного кабаре. Стереотипность званных обедов сказывается решительно на всем: на меню, сервировке стола, на том, как расставлены цветы на скатерти, на туалетах дам и застольных разговорах. И все же микроскопические различия, доступные лишь многоопытному глазу, помогают сотрапезникам не забывать, у кого именно они нынче в гостях, и не чувствовать себя чем-то вроде дрессированных лошадей на цирковой арене. Во время вечеров, которые Дамочка, ее муж и их друзья проводят в кабаре, они особенно четко видят себя как бы со стороны, в ролях молодых супругов в «духе времени». Этот спектакль доставляет им огромное удовлетворение: чувства, которые они изображают, постепенно перерождаются в подлинные чувства или почти подлинные, и вскоре все эти пары оказываются спяными общим «чувством товарищества», но некоторое соперничество все же остается, а также дух соревнования; и тут снова незначительные различия между этими парами (прежде всего экономического порядка — мужья занимают один более, другой менее блестящее положение) поддерживают в каждой из них иллюзию своей индивидуальности. Дамочка, например, читает солидные еженедельники с большим рвением и вниманием, чем ее подруги, поэтому она лучше информирована о том, что происходит в мире книг, кино и театра. В этой компании она слышит интеллектуалкой. К тому же ей единственной выпала честь быть на «ты» с управляющим клуба в Сен-Жермен-де-Пре. Быть накоротке с управляющим клуба считается в кругу Дамочки лестным. А то, что у этого типа морда сутенера и весьма сомнительная репутация с точки зрения уголовного кодекса, не играет никакой роли, даже напротив, эти отметины несправедливой жизни сообщают ему в их глазах живописность, они придают его личности пикантность неоконформизма и авантюризма («Какой же мерзавец наш Фредди!», «Настоящий подонок, но как очарователен!», «И знаете, при всем при том у него чуткая душа, я его просто обожаю»). Так или иначе, кто же откажется быть на «ты» с человеком, чьи фотографии иногда печатают в иллюстрированных журналах и который, как говорят, находится в самых интимных отношениях с одной из прин-

цесс из круга завсегдатаев модных кафе, чьи любовные похождения поражают фантазию средних классов на всех широтах.

Другая сфера социальной активности Дамочки, которой она отдается каждое утро, как только муж уходит на службу, а дети в школу, это телефон. Между десятью утра и полуднем она обзванивает всех своих подруг, а они звонят ей. Прежде всего надо поблагодарить ту, у которой они были накануне, потом сплетничать насчет этого вечера с каждой из приглашенных туда дам. Этот вид социальной деятельности является западным эквивалентом «палабра» диких племен или, быть может, неопознанным рудиментом какого-то доисторического обряда, когда пещерные люди, еще не привыкшие пользоваться только что созданным языком, тренировались, бормоча что попало, опьяненные возможностью произносить членораздельные слова. Ничто не дает Дамочке такого острого ощущения полнокровной жизни и связи со своим поколением и миром, как эта утренняя болтовня по телефону. Вместе с тем это вполне невинное занятие помогает ей бороться с пустотой, ибо, несмотря на наличие мужа и детей, Дамочка пуще всего боится одиночества.

В ряде газет есть рубрики, где перечислены книги, которые надо прочитать, спектакли, которые надо посмотреть, выставки, на которых надо побывать. Эти рубрики мощно питают интеллектуальную жизнь Дамочки. Она покорно следует их указаниям. Она не раз говорила своим подругам, употребляя американское выражение (она вообще часто употребляет этот незаконнорожденный жаргончик, который один ученый-профессор окрестил «франглийский», тщетно надеясь тем самым убить его в колыбели): «Вы еще не видели этого фильма? Бегите скорее, это must!» Всецело, даже с какой-то яростью отдаться каждой «Новой волне» — ее золотое правило. Этому правилу сравнительно легко следовать. И Дамочка явно предпочитает доверять оценкам печати, чем своему непосредственному ощущению или суждению, которое, однако, существует и бывает верным. Вот тому маленький пример. Десять лет назад Дамочка высоко ценила — или ей казалось, что ценила, — Альбера Камю. А теперь она от него отказалась, потому что одна из газет, чьи установки она принимает безоговорочно, опубликовала «уточняющую» статью, весьма мало лестную для писателя. Дамочка тут же учуяла, что Камю перестал был великим писателем в глазах всех, за исключением разве что скаутов, и она трижды, если не больше, отреклась от него. Зато она стала превозносить до небес Жана Жанэ, хотя втайне испытывает (тут она ничего не может с собой поделать) отвращение к самой теме его произведений.

Словарный запас Дамочки постоянно пополняется теми готовыми словесными клише, которые порождает калейдоскоп событий: «я отношусь к себе самокритично», «функциональные декорации», «операция «Отпуск», «он вышел на финиш». Любит она также и словечки театрального жаргона: «это большая накладка», «здесь нужна чистая перемена», «он такое отлудил!». Два ее самых любимых эпитета, конечно, «забавный» и «сумасшедший». Кроме того, у нее нынешняя манерка придавать всем своим утверждениям вопросительную интонацию, непременно прибавляя к ним слова «разве нет?», или «не правда ли?»: «Это хорошо, разве нет?»

Во время званного обеда, когда Дамочка овладевает беседой и говорит без умолку, улы, несколько дольше, чем хотелось бы, с алломбом изрекая всевозможные общие места, муж бросает иногда на нее косой взгляд, и взгляд этот странным образом совершенно лишен нежности. Лицо мужа при этом застывает, становится каменным. Так проходит несколько секунд. Потом это напряженное, жесткое выражение вдруг разом спадает — словно он смиряется, сдается; и он нервным жестом подносит бокал к губам. В таких случаях он пьет немного больше обычного.

Хотя Дамочка хорошо обеспечена и живет привилегированной жизнью, она полна обид. Одним словом, Дамочка неудовлетворена и явно дает это понять, хотя никогда этого прямо не говорит. Прежде всего потому, что каждый день ее все больше удаляет от того славного времени, когда ей было двадцать лет и мир, казалось, существовал только для нее. Беда, если твои молодые годы прошли в

таком обществе и в такую эпоху, которые обожествили молодость. Впрочем, в этом пункте муж разделяет тревогу и тайные страдания жены. Быть может, он страдает даже больше нее, потому что, если Дамочке еще не дашь ее возраста и она в свои тридцать с лишним лет сохранила известную грацию, привлекательность мужа ушла безвозвратно. Служба, заботы о карьере, чересчур обильная пища, слишком короткие ноги — все это изменило его: волосы на висках заметно поредели, на лбу появились залысины, подбородок отяжелел, шея раздалась, а вся фигура излишне уплотнилась. Короче, он быстро и нехорошо стареет, сознает это и страдает. А ведь когда-то он был сияющим юношей, таким принцем, властвовавшим над всеми сердцами. Теперь уже никто не провожает его восхищенным взглядом и он не властвует ни над женой, ни над детьми — вот разве что над своей секретаршей.

Есть и другой источник неудовлетворенности, но он мучает больше Дамочку, а муж готов с этим смириться. Оба они понимают, что, какие бы усилия они ни делали, до вершины пирамиды им не добраться. Социальной пирамиды. Быть на «ты» с администратором модного ночного клуба — это все же жалкий симптом светских успехов. На вершине пирамиды обосновалось космополитическое общество, состоящее из людей с громкими именами и крупными доходами — главное, крупными доходами, — и еще когорта знаменитостей: те два социальных сектора, которые, видно, навсегда останутся недостижимыми. И когда в каком-нибудь баре Дамочка узнает ту или иную знаменитость, лицо которой стало всем знакомо, она пожирает ее взглядом. Она понимает, что у этой звезды нет никаких оснований ею интересоваться. Это сознание ее терзает, делает ее порой агрессивной по отношению к своим подругам — так люди иногда бывают агрессивны ко всем, кто им подобен, не прощая именно того, что те — зеркало их самих. В такие-то минуты прозрения, впрочем редкие, она вдруг осознает убожество своего тщеславия, тщетность усилий, стереотипность своего языка и манер; она чувствует, что постоянно разыгрывает для себя и других какую-то комедию и что сама она чем-то похожа на мадам Бовари. Тогда она бывает готова разрыдаться, и, может, дай она волю нахлынувшим чувствам, она стала бы простой, сердечной женщиной, была бы счастлива своей жизнью с мужем и детьми и терпеливо оберегала бы их повседневное благополучие. Но это благословенное просветление, едва возникнув, проходит, уступая место привычным наваждениям, постоянной неудовлетворенности.

Именно потому, что Дамочка в одно и то же время привилегированна и неудовлетворена, она являет собой крайне консервативный элемент общества. Поскольку она привилегированна, она заинтересована в стабильности той социальной системы, которая обеспечивает ей положение в обществе, определенную покупательную способность, благосостояние, комфорт жилья — короче, позволяет продолжать свой сон наяву («Современная молодая женщина, красивая, в духе времени» и т. д.). А поскольку она неудовлетворена, она стремится компенсировать то, что ей не хватает, все более интенсивным потреблением материальных благ, которые являются символами богатства, а также упорной надеждой на дальнейшее продвижение мужа по служебной лестнице — вплоть до самых высоких постов. Стремление к приобретательству и жажда повышения — вот самые надежные гаранты политической покорности и конформизма. Само собой разумеется, эта супружеская пара придерживается либеральных взглядов, у них распылчатые прогрессистские симпатии, это значит — они осуждали войну в Алжире (хотя муж, тоскуя о французском величии, связанном с понятием «империя», был озабочен потерей этой старой экзотической провинции) и теперь осуждают расизм. Но ведь эти мнения составляют тот «интеллигентный минимум» (как говорят, «жизненный минимум»), который считается обязательным в среднем классе: иначе «думать» нельзя... Но вот зато гонка атомного вооружения их не волнует, так как этот вопрос уже вышел из моды, и на обобществление средств производства они тоже не согласны, ибо эта акция привела бы к краху предприятия, на котором работает муж, равно как и к трагическому понижению жизненного уровня, который и сейчас наша Дамочка считает абсолютно недостаточным.

Одним словом, этот ограниченный и более чем умеренный прогрессизм, по сути, является не чем иным, как символом их кастовой принадлежности, наравне с соответствующей квартирой и устройством приемов. Режим прекрасно ладит с такого рода прогрессистами. Между либерально-капиталистической Францией и гражданами типа Дамочки и ее мужа царит полное взаимопонимание. Загипнотизированные проблемами-однодневками, в вечной погоне за всем самоновейшим, в метаниях за новыми товарами ширпотреба и за новыми развлечениями, какие только может им сервировать «культура», кондиционированная всеобщим снобизмом, свирепствующим в шестидесятые годы, Дамочка, ее муж и им подобные являются самым податливым человеческим материалом в руках технократов и Власти».

Вероника аккуратно собирает листочки и кладет их на стол. Лицо у нее каменное. Ни слова не говоря, она встает, уходит в комнату девочки и плотно притворяет за собой дверь. Ее приглушенный голос долетает до гостиной. Она разговаривает с дочкой, которая, оказываясь, еще не спит. Можно предположить, что Вероника нежно воркует с маленькой, что ей обычно не свойственно. Кажется даже, что она несколько педалирует нежность. Жиль не двинулся с места. До сих пор он делал вид, что погружен в чтение. Теперь же он отрывает глаза от страницы и бросает взгляд на листочки, лежащие на столе. Дверь открывается, в комнату входит Вероника, берет с каминной полки пачку «галуаз», достает сигарету и прикуривает своим обычным мужским жестом. Она явно нервничает, откидывает назад волосы, затыгивается и выпускает дым. Затем она садится в кресло напротив Жилья, поднимает с пола газету и разворачивает ее. Шуршание бумаги делает молчание все более нестерпимым. Так проходят минута или две, не предвещающие ничего хорошего.

— А я и не знала,— наконец говорит она,— что ты умеешь писать.— Голос у нее сухой и резкий.— Тебе бы следовало использовать этот маленький талант. Вдруг повезет, тебя опубликуют, ты хоть что-то подработаешь, и мы сможем хоть немножко поднять наш жизненный уровень.

Интонация не оставляет никакого сомнения относительно чувств, которые владеют Вероникой. Жиль закладывает книгу, он пытается улыбнуться.

— Надеюсь, ты не сердисься,— говорит он.— Это шутка, и все. Я не придаю этому никакого значения.

— И все же над этим шедевром ты потрудился несколько часов. Но я говорю серьезно: раз ты умеешь писать — пиши! Желательно в более легком жанре. То, что можно загнать куда-нибудь. Это пошло бы на пользу всем: для тебя — приятное занятие, для меня — минуты покоя, а для твоей маленькой семьи — дополнительный доход.

Он на секунду опускает глаза, его щеки подергиваются, словно он страдает. Когда он наконец решается ответить, голос его звучит хрипло:

— Вероника, мне не хотелось бы, чтобы ты говорила со мной таким тоном. Нам не стоит ссориться...

— Каким тоном? — резко обрывает она его.

— Ты взбешена, и я думаю, что...

— Я? Никуда! Я просто хочу дать тебе хороший совет. А то в дни перед твоей получкой бывает туговато, а это не радует. Ты же отлично знаешь, что я материалистка и мне необходимо жить все лучше и лучше. Как той Дамочке, которую ты здесь описываешь.— Она метнула взгляд на листочки на столе.

— Здесь речь идет об Ариане, а не о тебе...

— Об Ариане, в самом деле? Не считай меня, пожалуйста, большей идиоткой, чем я есть.

— Вероника, я никогда не считал тебя идиоткой. Положи, пожалуйста, газету, раз ты ее не читаешь.

Снова молчание, очень напряженное. Она так и не повернула головы в его сторону, ни разу. Где-то внизу хлопнула дверь. Вероника комкает страницу газеты, которую она наверняка не читает. Жиль наклоняется, протягивает руку к



Веронике, словно хочет коснуться ее плеча или затылка. Резким движением она отстраняется, как-то вся сжимается.

— Ты не впервые меня критикуешь,— говорит она.— Это становится просто невыносимым. Никак не могу взять в толк, какие у тебя основания относиться к нам с Арианой свысока. Ты сам-то отнюдь не супермен.

— Я никогда не выдавал себя за супермена.

— Да, но ты говоришь и ведешь себя так, словно ты внутренне убежден в своем превосходстве.

— Неверно.

— Ты презираешь своих друзей, особенно тех, кто достиг более блестящего положения, чем ты. Не буду утверждать, что ты им завидуешь, но все же иногда трудно этого не подумать.

— Твои друзья,— отвечает он уже более твердым голосом,— являются вариантами весьма банального современного типа: это новая ипостась все того же претенциозного мещанина, который все время что-то изображает, будто позирует для камеры. Люди, которые всегда играют, наводят на меня смертельную тоску. Тут я ничего не могу поделать. Нет у меня вкуса к стереотипной продукции.

Она выпрямляется и смотрит наконец ему прямо в лицо. Глаза ее мечут молнии.

— По какому праву ты утверждаешь, что они стереотипны? — восклицает она в бешенстве.— Твое высокомерие просто невыносимо. Да кто ты такой, в конце концов, чтобы всех судить? Жалкий полунинтеллигент! Да такого добра, как ты, навалом во всех бистро Латинского квартала, лопатой не разгребешь. В полночь их выметают на улицу вместе с опилками и окурками.

— Не ори, стены тонкие.

— Пусть соседи слушают, если хотят.

— Можно все обсудить спокойно.

— Я ничего не намерена обсуждать, даже спокойно. Я хочу сказать только одно: когда человек так не приспособлен к жизни, как ты, то противно презирать других за успех.

— Вот, успех! Лишь это тебе важно.

— А почему бы и нет? Когда есть выбор между успехом и прозябаньем, то почему бы не выбрать успех? Учти, что неудачники тоже стереотипны...

— Для тебя люди, которые не зарабатывают десять тысяч франков в месяц и не обедают каждый вечер в обществе,— ничтожества. Если я так выгляжу в твоих глазах, если я не заслуживаю у тебя другой оценки, то и говорить не о чем. Нам просто надо расстаться.

Проходит некоторое время, прежде чем она отвечает.

— Я только сказала, что ты не приспособлен к жизни, вот и все.

— В чем именно, объясни, пожалуйста...

— Да во всем, Жиль! — восклицает она, вдруг смягчившись.— Ты единственный не отдаешь себе в этом отчет. Я тоже не сразу заметила, но после того, как мы поженились... И даже в Венеции, во время нашего свадебного путешествия... Впрочем, Ариана меня предупреждала...

— Я ждал этого поворота. Продолжай.

— Конечно, в эмоциональной сфере и во всем остальном ты вполне нормален, как все. Но в других отношениях...

— Ну, например?..

— Ты не говоришь, как другие, ты не ведешь себя, как другие, ты ни с кем за исключением двух-трех людей не чувствуешь себя раскованно. Все это заметно, не думай. Ну, начать хотя бы с того, как ты одет. Я ведь пыталась взять это в свои руки, но ничего не вышло. Ты никогда не бываешь элегантным. Ну, вот как говорят: «Элегантный мужчина». А между тем и фигура у тебя хорошая, и костюмы я тебе сама выбираю. Но тут уж ничего не поделаешь, всегда в какой-нибудь детали прокол. Все дело в том, я думаю, что тебе на это плевать. Но ведь именно это и значит быть неприспособленным. Человек, который хочет чего-

то добиться в наши дни, в нашем мире, не может не обращать внимания на то, как он одет, какое он производит впечатление. И во всем остальном то же самое. Ты какой-то не от мира сего, словно с луны свалился, я даже не понимаю, как ты справляешься с работой на своей службе. К счастью еще, ты добросовестен и точен — это тебя, наверно, и спасает... В обществе ты всегда говоришь невпопад, словно не слушаешь, о чем идет речь, ты как бы отсутствуешь, думаешь о чем-то своем... Вот когда ты на кого-нибудь нападаешь, дело другое, тут уж ты в полном блеске. Издеваться ты умеешь. Тогда ты возвращаешься на землю и находишь обидные слова.. Или другой пример — твои отношения с сестрой. Когда вы бываете вместе, ты ведешь себя так, будто вы однолетки, вы гогочете, словно дураки какие-то, и никак не можете остановиться. Вс любая чушь смешит. Ваше чувство юмора мне просто недоступно. Если это вообще юмор, что еще надо доказать. Ну, и так далее. Вот все это я и называю быть неприспособленным. Жить с таким человеком, как ты, очень трудно. Ты слишком многое презираешь. На все смотришь свысока.

— Это неверно, Вероника. Я никого не презираю. Просто мне несимпатичны люди, которые ведут себя неестественно, все время что-то изображают, как твои...

— А-а, мои родители?—воскликает она с новой вспышкой гнева.—Ты вволю поиздевался над моим отцом и его познаниями в живописи. Я никогда тебе не прощу, как ты его разыграл в первый же вечер после нашего возвращения из Венеции, придумав эту идиотскую историю с вымышленным италийским художником.

— Ну, это не такой уж криминал.

— Свое мнение о моем брате ты от меня тоже не утаил: оно оказалось не блестящим. Если послушать тебя, то он корыстный, вульгарный тип... Ты бьешь наотмашь, и бьешь жестоко.

— Знаешь, тебе тоже случилось...

Звонок в дверь. Они застывают, выжидая несколько секунд.

— Пойду открою,— говорит Вероника и встает.

— Не надо. Мы сейчас не в состоянии принимать гостей.

— Тем хуже для нас.

Она идет в переднюю, открывает дверь. Раздается зычный голос:

— Добрый вечер, Вероничка. Я оказалась в вашем районе, ходила навещать больную знакомую. Вот я и подумала, что раз я уже здесь, надо заскочить к вам, хотя уже поздно. Надеюсь, я вам не помешаю? Я только на минутку.

И мадемуазель Феррюс, разодетая, в горжетке из рыжей лисы, входит в гостиную. Жиль встает и подставляет тетке лоб для поцелуя.

— У вас здесь как в курилке. Что за воздух! Добрый вечер, племян. Я ходила проведать бедную Женевьеву Микулэ, это настоящая пытка. Ну, как пожилаешь? Что-то ты плохо выглядишь.

Она плюхается в кресло, из которого только что встал Жиль. Вероника с поджатыми губами стоит поодаль и глядит на них недобрый взглядом.

— Дети мои, я умираю от усталости,— говорит мадемуазель Феррюс простодушно.— У вас такая крутая лестница! А после того, как я час просидела у изголовья этой несчастной, у меня вообще нет никаких сил. Ты помнишь Женевьеву Микулэ?

— Нет. Кто это?

— Да не может быть, ты ее знаешь! Когда-то ходила к нам шить. Конечно, ты был еще маленький, но ты не мог забыть. Это моя давняя подруга, еще по пансиону, но потом она обнищала.— Мадемуазель Феррюс говорит это таким тоном, как если бы сказала: «вышла замуж за чиновника министерства общественных работ» либо «постриглась в монахини».— Она из очень хорошей семьи, ее отец был полковником, представляешь. Потом случилась какая-то неприятная история, им пришлось все продать с молотка. По-моему, за всем этим стояла какая-то содержанка, брат полковника был известным гулякой. Они все потеряли; бедняжка Женевьева не смогла совладать с жизнью.. Она ходила к нам шить. Мы давали ей работу из милосердия, потому что толку от ее работы было мало.

Это такая копуха! Можно было пять раз умереть, пока она что-нибудь доделает до конца... В общем, все это очень печально.

— Она больна? Что с ней?

— Конечно, самое плохое, — говорит мадемуазель Феррюс, сощурившись, и взгляд ее становится острым, как буравчик. — Самое, самое плохое. У нее появились пролежни, и тогда под кровать поставили какой-то механизм, чтобы кровать все время тряслась. Мне там просто дурно стало. Эта тряска, запах лекарств...

— Может быть, выпьешь рюмочку коньяку или ликера?

— В принципе мне следует отказаться, но если у вас есть что-нибудь слабенькое вроде анисового ликера, я бы выпила глоточек. Как себя чувствует малышка? — говорит она без перехода. — Можно на нее взглянуть?

— Нет, она спит, — отвечает Вероника деревянным голосом.

А Жиль тем временем приносит бутылку и рюмки.

— Ангелуша наша. Я ее почти никогда не вижу. Я вам тысячу раз предлагала гулять с ней в Люксембургском саду, но вы всегда отказываетесь, словно боитесь доверить мне ребенка.

— Да что ты выдумываешь! — восклицает Жиль и придвигает ей рюмку. — Скажешь мне, когда стоп.

Жиль наливает ликер.

— Самую капельку, — говорит мадемуазель Феррюс так жалобно, словно она заставляет себя проглотить эту жидкость исключительно из вежливости. — Вообще-то я не выношу алкоголя, но после посещения бедняжки Женестьевы... Эта трясущаяся кровать. Надо признаться... А вы разве не будете пить?

— Выпьешь рюмочку? — спрашивает Жиль у жены.

Вероника покачала головой.

— Я тоже не буду, — говорит Жиль. — Извини нас, тетя Мирей.

Взгляд мадемуазель Феррюс переходит с Вероники на Жюль. По ее лицу заметно, что она наконец учуяла семейную бурю и поняла, что пришла некстати, но, видимо, решила игнорировать такого рода ситуации, без которых жизнь, увы, не обходится. Она деликатно потягивает ликер.

— Когда я вышла от Женестьевы Микулэ, я решила пойти в кино, чтобы хоть немножко развеяться. Но в ближайших кинотеатрах шли только две картины — «Тарзан у женщин-пантер» и «Зов плоти», и я как-то не смогла решиться что выбрать.

— Да, — говорит Жиль, — здесь было над чем задуматься.

— Вы их видели?

— Фильмы? Нет.

— Вы что, в кино не ходите?

— Почему? Ходим. Но эти картины мы не видели.

— Понятно, вы, видно, не ходите в эти киношки поблизости.

Это замечание, в котором не было ни утверждения, ни вопроса, не требовало ответа.

— Дома все в порядке? — спрашивает Жиль, прерывая молчание.

— Все, слава богу. Твоя мать, правда, в эти дни что-то замучилась. Я ей всегда говорю: «Марта, ты слишком много хлопотешь, присядь хоть на минутку», — но она и слышать ничего не хочет. Твоей сестры никогда не бывает дома. Где она шатается, понятия не имею. Она не устаивает нас объяснениями на эту тему. Не буду же я... А когда вы придете? Что-то вы нас не балуете. Твой отец сетовал по этому поводу несколько дней назад, а я ему сказала: «Что ты от них хочешь, у них, наверно, много дел».

— Это верно. Мы очень заняты.

— В самом деле? — спрашивает мадемуазель Феррюс, вложив в эти три слова всю меру сомнения. — Я полагаю, однако, вы часто бываете в обществе... А как поживают ваши родители, Вероника?

— Благодарю вас, хорошо.

Ответ прозвучал так сухо, что в комнате воцарилась тишина, какая бывает только в операционной. Мадемуазель Феррюс бросает на племянника красноречи-

вый взгляд. («Я ей ничего не сказала, но на него посмотрела весьма красноречиво. Он все понял».) Она допивает свой ликер, словно испивает до дна всю чашу страданий, затем встает. Жиль берет у нее из рук пустую рюмку.

— Жаль, что я не повидала малышку, — говорит она. — Но раз вы утверждаете, что она спит, ничего не поделаешь...

— Сама знаешь, — говорит Жиль, — когда их не вовремя разбудишь, они потом долго не засыпают.

— Что же, мне пора. Спокойной ночи, Вероника.

Они целуются.

— Спокойной ночи, — отвечает Вероника едва слышно.

— Ты на редкость скверно выглядишь, — говорит мадемуазель Феррюс племяннику. — Уж не болен ли ты? Может быть, перетрудился? Ты и так уже достиг немало. Многие ограничиваются куда меньшим. Лучше побереги себя.

Жиль провожает ее до дверей. Вернувшись в комнату, он видит, что Вероника сидит в кресле.

— Она, конечно, зануда, — говорит Жиль нарочито спокойным голосом, — но мне кажется, ты все же могла принять ее приветливой. Спасибо, что ты ее...

— Прошу тебя, Жиль, без замечаний, а то я пошла все к черту!.. Я ее не выношу. На нее у меня нервов не хватает.

— Вот ты обвиняешь меня, что я часто оскорбляю людей. А ты сама, отдаешь ли ты себе отчет в том, как держишься ты?.. Ты вела себя просто по-хамски! По отношению к старикам, даже если ты не выносишь их присутствия, даже если один вид их тебе противен, надо все же...

— Я не намерена терпеть твою семью, мне и без этого приходится достаточно терпеть. Не требуй от меня слишком много, Жиль. Я предупреждаю: не требуй сегодня вечером от меня слишком много. Я больше не могу... А то я уйду от тебя, по-настоящему уйду, понял?

Он стоит перед ней, пораженный, уничтоженный и бормочет:

— Так вот, значит, к чему мы пришли?

— Тебя это удивляет? После того, что ты написал? После того, что я только что прочла?

— Повторяю еще раз: я писал не о тебе. Умоляю тебя, поверь мне.

— Нет, не верю. Ты врешь и знаешь, что врешь. Ты метил и в меня.

— Не в тебя, клянусь! Только в определенный стиль жизни, поведения, который ты принимаешь...

Вероника пожимает плечами. Чувства, которые всколыхнулись в ней в эту минуту, ожесточили ее черты, и ее красивое лицо стало почти уродливым. А голос, такой низкий, прелестный, таинственный, звучит теперь пронзительно, невыносимо резко. И снова между ними повисает молчание. Кажется, на этот раз его не удастся прервать. Жиль обводит взглядом их комнату, стены, вещи, которые они вместе покупали, словно катастрофа вот-вот поглотит этот домашний мир, где они прожили три года, где выросла их дочка. Его глаза останавливаются на большом сколке кварца, который стоил очень дорого — «сущее безумие». Но Вероника о нем мечтала, потому что он был очень красивый и потому что украшать интерьер минералами очень модно, их можно теперь увидеть в лучших домах. И Жиль подарил ей этот камень ко дню рождения.

— Вероника, — говорит он наконец, — посмотри на меня. Ты сказала, что можешь уйти... Это неправда, верно?

— Не знаю. Ты сам это сказал, первый. Ну, то, что нам надо расстаться. Мы не очень счастливы вместе.

— Но если ты говоришь, что можешь уйти, то ведь не потому, что прочла эти листочки... Ты думала об этом и прежде? Скажи мне правду.

— Да, возможно... Точно не знаю. Но кажется, я об этом думала.

— Но раз ты это сейчас сказала, значит, ты решила? Да? То, что я написал, лишь предлог?

— Быть может. Думай как хочешь. — Она встает. — Я очень устала, пойду

лягу. Давай отложим все разговоры на завтра. Сегодня я уже ни на что не способна.

Она выходит из комнаты. Он слышит журчанье воды в ванной. Несколько минут спустя он уже на улице.

Я вышел на улицу, потому что надо было что-то делать, что угодно, лишь бы не оставаться в этой тихой комнате. Единственное, чего уж никак нельзя было делать — и это я прекрасно понимал, — пойти вслед за Вероникой в нашу спальню. Во всяком случае, до того, как она заснет. Не знаю, в чем именно проявляется «потрясение». Думаю, я был потрясен в тот вечер, но ничего не испытывал, кроме недоумения перед тем, что свершилось невозможное, необратимое. А невозможное свершилось: Вероника не любила меня больше, все было кончено. И необратимые слова были произнесены: разрыв, развод... Я был почти удивлен, что не испытывал «страдания», словно душевное страдание можно сравнить с физическим, словно оно такое же конкретное и подлежит измерению. Но душевное страдание, видно, и есть эта недоуменная пустота, это удивление, исполненное тоски. Я шагал по улице. Минут через десять я очутился возле того самого маленького кафе, в которое мы забрели тогда с Шарлем. И я тут же понял, что не шатался безотчетно по улицам, не шел «куда глаза глядят», как поступают обычно герои романа, когда на них обрушивается несчастье, а прекрасно знал, куда пойду, еще прежде, чем вышел из дому. Я поискал ее взглядом среди мальчишек и девчонок, одетых под бродяг, — ее там не было. Тогда я вспомнил, что она назвала мне и другой бар на улице Сен. Я отправился туда. В этом баре было еще больше ребят. Видно, это было место встречи тех, кто поставил себя вне общества, — их штаб и их крепость. Они не только битком набились в баре, но и выплеснулись на тротуар и даже на мостовую. Слышалась немецкая, английская, голландская, скандинавская речь, кое-где итальянская, но нельзя было уловить ни одного испанского слова. Несколько мальчишек и девчонок сидели и лежали прямо на тротуаре, брезентовые сумки служили кому спинкой, кому подушкой. Эти длинноволосые парни с гитарами не вызывали особого интереса у прохожих. Их воспринимали как один из второстепенных номеров грандиозного карнавала «Последние известия». Каждый день приносил новый спектакль, новую «сенсацию» — все шло вперемешку; моды, катастрофы, патентованные товары, выброшенные на рынок, революции, войны, частная жизнь сильных мира сего, соблазны сладкой жизни... Вчера были молодчики в черных кожанках и Алжир, сегодня эти бродяги и Вьетнам. Завтра будет еще что-нибудь. Протискиваясь между группками, я обошел весь бар. Ее там тоже не было. Тогда я отправился в кино. Показывали шведскую картину без перевода. Я и сейчас еще помню отдельные кадры: голая пара на пляже; крупный план очень красивых женских лиц; какой-то мужчина в черном идет по заснеженному лесу; ребенок, подглядывающий в замочную скважину; вздыбленный конь, пар из ноздрей, дикие глаза; деревенская служанка, бегущая по какому-то лугу в белесых сумерках Ивановой ночи... Пока я смотрел фильм, я все время ощущал, что рядом со мной лежит какой-то ужасный предмет, к которому я могу прикоснуться в любую минуту: мое несчастье. Это ощущение не покидало меня. Думал я также и об этой девочке, которую тщетно искал. Я хотел найти ее и переспать с ней. Но снова и снова, как удары кинжала, меня ранили слова Вероники, особенно насчет полуинтеллигентов, которых навалом во всех бистро в Латинском квартале и которых ночью выметают вместе с окурками... Просто невероятно, что Вероника смогла сказать такую фразу, что такая мысль пришла ей в голову применительно ко мне, что она нашла в себе силы ее сформулировать. Однако она ее произнесла, извергла как струйку яда, выговорила все эти слова с безупречной точностью интонаций, с невозмутимой легкостью. Какие же бездны злобы должны были в ней таиться!.. Эта фраза все разъедает, сжигает, превращает в пепел... Вот, оказывается, каким я был в глазах Вероники! Полным ничтожеством! Но если она видела меня таким, значит, я и на самом деле такой. Никогда не угадаешь, каким вы предстаете перед другими людьми. Как-то раз в кафе я увидел в зеркале лицо в профиль, которое

показалось мне знакомым, но не понравилось, и тут же я его узнал — это был я сам. Быть может, на какую-то долю секунды я увидел себя таким, каким меня видят другие? «Полуинтеллигент, каких навалом во всех бистро...» Значит, таким она меня видела, так оценивала? С каких же это пор? Вдруг горло мое судорожно сжалось и глаза налились слезами. Я утирал их кончиками пальцев в темноте зала. Мои соседи ничего не заметили, к тому же они были захвачены тем, что происходит на экране. Я тоже постарался этим заинтересоваться. Фильм был полон секса, агрессивности и скуки. Скука сжирала этих белокурых викингов, которые с отчаянья кидались либо в смятые постели, либо в морские волны. Даже лошадь была в состоянии нервного криза. Ей явно следовало обратиться к психоаналитику. Но с точки зрения изобразительного решения фильм был абсолютным шедевром. И я подумал о том, что у нашего века отличный вкус, что он производит безупречные вещи — одежду, мебель, машины, фильмы, книги — и предоставляет все это в распоряжение огромного большинства, но огромное большинство не испытывает от этого никакой радости, и скука растет изо дня в день... Я вышел из кино и вернулся в бар на улице Сены. Ее там не было. Я зашел в первое попавшееся кафе, и сердце мое екнуло: она сидела там. Я ее тут же узнал.

— Привет, Лиз!

— Не может быть! Я ждала тебя много вечеров подряд. Я уже не верила, что ты придешь.

— Пришел, как видишь. Ты одна?

— Нет. Ну, если хочешь — одна. Я здесь с ребятами. Значит, ты меня не забыл?

— Нет.

— Почему же ты не пришел раньше?

— Я женат...

— Я знала.

— Откуда?

— Ну что ты, Жиль! У тебя же кольцо.

— А, верно! Ты заметила?

— Еще бы.

— Ты где живешь?

— В гостинице «Флорида». Но я живу вместе с подругой.

— Пойдем еще куда-нибудь?

— Если хочешь. Но лучше не сегодня. Давай в другой раз.

— Ладно. А куда можно сейчас смотаться, чтобы было поспокойнее?

— На набережную, в сторону Аустерлица, в это время там мало народу.

Все эти приходят туда позже.

— Пошли?

Я цеплялся за нее, как потерпевший кораблекрушение. Чуть ли не через день я стал заходить за ней либо в кафе, либо в гостиницу. Иногда я проводил у нее всю ночь и возвращался домой лишь утром. Вероника не задавала мне никаких вопросов. Она сама тоже редко бывала дома. Мы жили без всяких конфликтов, эдакой странной жизнью холостяков, которые сосуществуют в одной квартире то ли по материальным соображениям, то ли по случайному стечению обстоятельств. Моя связь с Лиз поглощала меня настолько, что я не очень страдал от этого воцарения равнодушия, которое развивалось куда более быстрыми темпами, чем я мог бы предположить несколько недель тому назад.

Однако то, что происходило между мной и Лиз, нельзя было назвать настоящей любовью. Просто нам было хорошо друг с другом ночью, и мы охотно проводили время вместе, вот и все. Меня все это вполне устраивало, ничего другого я и не желал. Лиз оказалась милой и не очень умной. Она тоже играла свою маленькую комедию (взбунтовавшаяся дочь, которая порвала со своей средой, конечно буржуазной, чтобы жить своей жизнью в кругу «настоящих» людей и т. д.). Эта игра меня слегка раздражала, но при этом Лиз была присуща прямота и непосредственность, и с ней всегда было легко. Я познакомился и с ее друзьями. Странная компания эти молодые люди. В них как-то уживались искрен-

няя приверженность высоким целям (таким, например, как пацифизм) и дурацкий фарс нищенства. Настоящих бедняков среди них почти не было. Большинство, как и Лиз, происходило из зажиточных семей. Что ни говори, красиво в свои двадцать лет жить как парии и не иметь никакой собственности. Ведь они все же лишали себя многих удовольствий, спали на голой земле, ели мало и что придется. Красиво и то, что они исполнены воли изменить мир массовым протестом, а если придется, то и насилем. Все они великодушны и бескорыстны. У лучших из них было острое чувство политической и гражданской ответственности, которое я одобрял и которым восхищался. И все же в основе этого движения лежало слишком много литературы, литературы порой сомнительной. Да к тому же призывы к анархии и полному раскрепощению часто прикрывали распущенность. Многие из них употребляли наркотики: марихуану, мескалин, ЛСД. Кое-кто спекулировал этими снадобьями. Сама Лиз ежедневно курила несколько сигарет с марихуаной. Я присутствовал иногда на сеансах коллективного курения. Это была целая церемония. Пять-шесть человек собирались в номере, где жила Лиз с подружкой. Кто-то приносил пачку табака, гильзы, машину для набивки и несколько «кубиков», то есть маленьких кусочков марихуаны, примерно грамм по два. Каждый «кубик» (который шел тогда по цене десять новых франков и покупался вскладчину) растирали в тончайший порошок и смешивали с табаком. Кто-нибудь закуривал набитую сигарету, делал две-три затяжки и передавал соседу. Сигарета шла по кругу, словно трубка мира. Процедура требовала тишины, мы разговаривали вполголоса. На меня марихуана не производила никакого впечатления, видно, я невосприимчивый. Иногда кто-то вдруг начинал говорить с большим жаром или смеяться без видимой причины, марихуана оказывала свое действие, и тогда говорили — «его (или ее) прошибло». Этим словом обозначали то состояние блаженства, в которое надо было впасть.

Когда я ходил к Лиз или к ее друзьям, я одевался, как они. Конечно, менее живописно — у меня просто не было вещей такой вопиющей изношенности, — но в старых вельветовых брюках и выдавшей виды куртке, без галстука я в их среде не выделялся. Они приняли меня без возражений. Мы говорили о войне во Вьетнаме и об угрозе атомной войны. Кое-кто из них хотел попытаться организовать во Франции марши протеста против применения ядерного оружия по примеру молодых англичан. Печать молчала об атомной опасности, и общественное мнение пребывало в спячке. Другой аспект нашего прозелитизма выражался в презрении к материальным благам, к тому миру вещей, в котором задыхалась западная цивилизация. Один из нас, американец Дональд, говорил как пророк, когда он обличал «потребительское общество, его жадность, его прожорливость». Я показал ему один абзац у Паскаля: «Пусть они обопьются и околеют там» (те, кто живет на «жирной земле») — и с тех пор эта крылатая фраза вошла в его репертуар наравне с поучениями Лао-Цзе и афоризмами дзен-буддизма. У Дональда была белокрурая борода, волосы до плеч, лицо йога, расширенные от пророческой страсти и наркотиков зрачки. Он был старше других, следовательно, мне ближе, чем остальные. Тем летом я действительно жил одной жизнью с этими отщепенцами. Дочка гостила тогда у моих родителей, сперва в Париже, а потом, во время каникул, в Бретани. Вероника тоже уехала отдыхать, причем надолго, со своей семьей, а потом с Шарлем и Арианой. Я остался один в нашей квартире. Впервые за многие годы я был свободен. Каждый вечер я ходил к Лиз и ее друзьям. Мы чувствовали себя участниками активных действий: Дональд пытался организовать массовую манифестацию, и в течение некоторого времени у нас была иллюзия, что мы находимся в центре всемирного движения, которое, быть может, изменит судьбу земного шара.

Однажды меня с сестрой пригласил обедать в ресторан мой шурин Жан-Марк. Он сказал мне по телефону, что хочет посоветоваться со мной по поводу одного своего плана, который мог бы заинтересовать и Жанину. Судя по его виду, он процветал, хотя у него не было ни регулярных доходов, ни даже профессии. Не знаю, какими сомнительными спекуляциями он зарабатывал те большие деньги,

которые тратил. Роскошество его костюма не вязалось ни с его манерами, ни с характером его речи. Он был одет, как английский денди, а говорил чуть ли не как парижский торгаш.

— Мои дорогие пупсики, у меня колоссальная идея, если подойти к ней с умом, то мы будем в полном порядке. Я малость секу в этих делах, не сомневайтесь. Я вам предлагаю не лажу, а верное дело. Без липы. Помолчи, Жиль, я знаю, что ты скажешь. С твоим обычным пессимизмом, когда это касается меня, ты небось уже прикинул: еще одну аферу затеял мой родственничек. Так вот, заявляю тебе вполне авторитетно: мой проект чистый, законный, и мы даже получим благоговение властей.

— Ты что, намерен создать новую театральную студию или организовать коллоквиум по структурализму?

В тот день у нас с Жаниной было очень хорошее настроение, уж не знаю по какой причине, или, вернее, по той простой причине, что мы были вместе и сидели в солнечный летний день за столиком на тротуаре в Сен-Жермен-де-Пре. Нас так и распирало от желания смеяться и болтать глупости. Жан-Марк с его суперэлегантностью и жаргоном нас забавлял.

— Заглохни, пупсик, когда можно оторвать пару кусков, тут уж не до трепа.

Наконец он нам рассказал о своей затее: открыть в 16-м районе магазин готового платья исключительно для подростков. Он уже разговаривал кое с кем из промышленников насчет финансирования этого проекта.

— Но послушай, Жан-Марк, ведь таких магазинов и так чертова прорва, и каждый день открываются новые. Ну и затея, я вам доложу!

— Не тормозишь, родственничек. Ты же не выслушал до конца: мой маг будет отличаться от всех других.

— А какие у тебя планы на Жанину? Учти, я ни за что не разрешу ей стать манекенщицей.

— Ты — Великий Инквизитор, ты — Квазимодо!

— Не Квазимодо, а Торквемадо.

— Точно! Все могут ошибиться... Да сосредоточьтесь вы хоть на пять минут, черт вас возьми! Мой маг будет популяризировать модную одежду молодых пижонов всех стран мира. Всех — по очереди. Вроде постоянной выставки. Но это будет не только выставка, но и продажа. Выставка-продажа, поняли? Каждые три месяца — смена декораций. Для начала, допустим, Япония. Что носят японские мальчики, понимаешь, которые держат нос по ветру? Какие сейчас в Токио самые современные шмотки? Следующие три месяца — Италия или там Дания..

— Нет, я считаю, что лучше будет Базутоленд. Там молодые люди, которые держат нос по ветру, носят спереди прелестный банановый лист на поясе из ракушек. И если тот ветер, по которому они держат нос, достаточно сильный, то все преимущества этой одежды станут очевидны. Извини, Жан-Марк, мы тебя слушаем.

— Так вот, пупсики, тут надо сыграть на тяге к новому. Молодым все быстро осточертевает. С моей постоянно меняющейся выставкой-продажей я их всех возьму за жабры. Кроме одежды я буду выставлять всякие штуковины, которые привозят из этих стран, например...

— Из Греции — судовладельца.

— Из Персии — шаха.

— I tougt Y taw a putty tat<sup>12</sup>.

— Заткнетесь вы или нет? С вами же нельзя разговаривать. Вы меня удручаете!

Это слово в устах Жан-Марка заставило нас расхохотаться пуще прежнего. Мы никак не могли остановиться. В конце концов ему все же удалось нам объяснить суть своей «колоссальной» идеи: с одной стороны, он хотел заинтересовать

<sup>12</sup> Искаженное английское: «Мне кажется, я вижу киску».



этим проектом отдел культуры, а с другой — соответствующие посольства, которые будут снабжать его материалами для экспозиций.

— Понимаешь, я получу дотации, и посольства будут мне поставлять национальные кадры. Реклама для туризма, усекаешь?

— Жан-Марк, ты гений!

— Оценил наконец. Понял, в чем весь фокус: мой маг будет культурным учреждением. Новизна, сенсация, экзотика. А сверх всего я им еще сервирую и культурку...

Исконная глупость Жан-Марка, едва прикрытая его хитростью и меркантилизмом, никак не отражалась на его чертах. У него было прекрасное лицо, свидетельствовавшее, как казалось, о благородстве ума и сердца... Он добьется успеха, его будут любить. Я чувствовал, что даже на Жаннину, хотя мы и потешались над Жан-Марком, он произвел известное впечатление. Их объединяла и та круговая порука, которая так сильна у всякого поколения молодых. Жан-Марк не мог быть полным ничтожеством, раз ему было двадцать лет... Это их чувство солидарности всегда меня поражало. После того как мы расстались с Жан-Марком, я продолжал над ним посмеиваться.

— Да, но все же он знает что хочет и всего добьется, — сказала Жаннина.

— Не сомневаюсь.

— И все-таки он обаятелен.

— Ты считаешь?

— Так все считают.

Вид у нее был настороженный и вместе с тем чуть ли не вызывающий. Я подумал: «Они друг друга поддерживают. Возраст заставляет их выступать заодно». И я был несколько разочарован тем, что моя Жаннина, такая живая, такая свободная, такая независимая, не смогла подняться над этим конформизмом.

В сентябре Вероника вернулась в Париж. В первый же день она сказала, что надо начинать бракоразводный процесс. На побережье она снова встретила с тем самым Алексом, к которому я ее так ревновал год назад. Они договорились, что поженятся, как только она будет свободна. Мы уже и раньше говорили о разводе. Я был на все согласен при одном только условии: дочка должна была остаться со мной. Вероника на это легко согласилась, поскольку ее будущий муж, видимо, не горел желанием держать при себе ее ребенка от первого брака. Мы договорились, что она сможет видеть Мари всегда когда захочет и что два месяца в году девочка будет жить с ней. Адвокат успокоил нас, объяснив, что все эти пункты могут быть оговорены в постановлении суда, и сказал, что вообще все может быть решено ко всеобщему удовлетворению, если супруги предварительно договорятся между собой относительно условий развода. Он подсказал нам также нашу дальнейшую линию поведения. Мы должны были поочередно не ночевать дома, а потом обмениваться письмами, полными упреков и жалоб. Так мы и поступили. Я даже помог Веронике сформулировать ее письмо ко мне, где она, в частности, писала, что я стал чудовищно грубым и она не в силах меня больше выносить. Мы смеялись чуть ли не до слез, когда писали это письмо. Наша история завершалась каким-то фарсом, который надо было разыграть в официальной инстанции. Наши отношения опять стали чуть ли не товарищескими. Если бы у Вероники не было перспективы нового брака, мы могли бы, мне кажется, даже продолжить нашу совместную жизнь. Трагедия бывает только на сцене. А в повседневной жизни происходит постоянное смещение жанров, вечное «ни то ни се», изнашивание дней...

Вероника ушла жить к своим. За все это время она была у нас дома всего один раз, накануне того дня, когда мы вместе должны были отправиться в суд, куда нас вызвали для традиционной попытки примирения. Я был дома один — наша дочка находилась в это время у моих родителей. Вероника была очень элегантна, во всяком случае такой она мне показалась, и держалась с удивительной уверенностью, вызванной, быть может, сознанием того, что ее любят и что ее ожидает богатство и роскошь. Я нашел, что она стала за этот период более зре-

лой, достигла, так сказать, полного расцвета и немножко играла в «светскую женщину, пришедшую с визитом...». На ней был бежевый костюм, гармонирующий с цветами осени. Над ее прической явно потрудился знаменитый парикмахер. Какой пройден путь от язвительной девчонки, с которой я повстречался на концерте во дворце Шайо! Я никак не мог себе представить, что эта молодая дама была в течение пяти лет моей женой... У меня было странное чувство, будто я куда моложе ее. Думаю, что я и был моложе...

— Ты решил, что скажешь завтра судье?

— Нет, не очень. Я думаю, он будет задавать нам вопросы, а нам придется только на них отвечать.

— Да, как будто все это происходит именно так... Мы с тобой ведь обо всем договорились, верно?

— Как будто. Меня волнует только одно — как быть с Мари, но раз ты согласилась... Не вижу, что еще может нам помешать.

— Виноваты обе стороны?

Она слегка склоняет голову к левому плечу и улыбается. Он тоже улыбается. Они сидят друг против друга несколько церемонно, как люди во время визита вежливости.

— Да, виноваты обе стороны. Наши адвокаты все это изложили в своих прошениях, никаких осложнений быть не должно. Ты представляешь себе, как это происходит в суде?

— Понятия не имею. Но знаешь, мы будем наверняка не единственными, там, должно быть, тьма людей. Поэтому я полагаю, весь церемониал будет очень быстрым.

— А потом ты снова уедешь на юг?

— Да, на несколько недель. Может, мы совершим небольшое путешествие в Грецию. У друзей Алекса есть яхта.

— Понятно... Это будет чудесно.

— Да, наверно... Можно закурить?

— Ну что ты, конечно! Почему ты спрашиваешь?

— Ты, небось, отвык от дыма за эти два месяца, что я здесь не живу. Скажи, Жиль... Мне хотелось бы спросить тебя об одном...

— Да?

— Ты мне «изменял»? — спрашивает она, выделяя это слово иронической интонацией.

— Да, — отвечает он не задумываясь, — но только после нашей ссоры, помнишь?

— Да, я не забыла.

— До этого вечера никогда.

— В этот вечер ты ушел из дому, чтобы пойти к какой-то девчонке?

— Да. Но фактически все произошло лишь несколько дней спустя.

— Ты ее уже знал?

— Едва. Я встретился с ней за три месяца до этого — это тоже памятный вечер, тот самый, когда мы с Шарлем бросили вас в клубе...

— Я это тоже помню. Так, значит, в тот вечер ты познакомился с этой девушкой?

— «Познакомился» тут не подходит. Мы и десяти слов друг другу не сказали.

— Значит, любовь с первого взгляда?

— Нет. По-настоящему нет.

— Но если тебе пришлось в голову найти ее спустя три месяца, то все же...

— Она мне понравилась, это верно. Но на самом деле мне просто надо было как-то забыться.

— Да, понимаю.

— А почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Меня это интересует. Я плохо представляю, что у тебя может быть...

Одним словом, выходит, что знаешь плохо даже тех людей, с которыми живешь, даже самых близких.

— Это, собственно говоря, общее место.

— Я должна тебе сказать, Жиль... Мне немного неловко, но... Знаешь, я была в курсе дела.

— Ах вон что? Чего же ты тогда меня спрашиваешь?

— Чтобы выяснить, скажешь ли ты мне правду. Заметь, однако, я не сомневалась, что скажешь. Потому что я все же тебя немного знаю.

— А каким образом ты была в курсе?

— Тебе это покажется очень гадким...— Она на секунду умолкает.— Не догадываешься?

Жиль смотрит на нее вопросительно. Лицо его выражает искреннее недоумение.

— Не догадываешься... Господи, придется тебе сказать. Конечно, когда ты перестал ночевать дома, а это случилось раз пять или шесть, я должна была бы быть идиоткой, чтобы ничего не подозревать. Но так как я хотела знать точно, я организовала за тобой слежку.

— Не может быть! Частный детектив?

Она подтверждает кивком головы.

— Послушай, не осуждай меня, пока не выслушаешь до конца. Прежде всего я должна сказать, что обратилась к детективу по совету Арианы.

— Что за странная идея...

— Не такая уж странная. К таким вещам часто прибегают при разводах, когда одна из сторон хочет иметь некоторые преимущества. Если можно предъяснить доказательства, что...

— Ясно. Таким образом я оказывался виноватым? Но ведь показания частного детектива не признаются действительными?

— Они действительны, если детектив дает их под присягой.

— Ты все предвидела...

— Не я, Ариана.

— Она, видно, поклялась меня погубить.

Вероника улыбается.

— Она была разочарована, потому что, в конце концов, я отказалась от этих доказательств. Это было слишком мерзко. Я бы себе этого не простила.

— Эти чувства делают тебе честь...

— О нет...

— Поверь, делают. Во всяком случае, спасибо тебе.

— Я уничтожила снимки и даже негативы, у меня больше ничего нет.

— Как, он сделал фотографии?

— Конечно. Но не волнуйся: только на улице.

— Это просто невероятно. Подумать только, что кто-то ходил за мной по улице, выслеживал, подглядывал, фотографировал. Меня прямо дрожь пробирает. А я ничего не подозревал...

Она подносит руку в перчатке ко рту, словно желая подавить смехок.

— Представь себе, именно это и значит следить. А ты к тому же так рассеян, дорогой...

Он поднимает глаза, глядит на нее с удивлением. Она сказала это слово машинально. Она улыбается.

— Видишь, Жиль, есть привычки, с которыми быстро не расстанешься.

— Тем лучше. Скажи, хочешь, я приготовлю чай?

— Спасибо, с удовольствием, только я сама его приготовлю.

— Нет, не беспокойся.

Она все же пошла с ним на кухню. Прислонившись к двери, она задумчиво смотрела, как он возится. Через открытое окно видна рыжая листва, клочок неба, статуя в глубине аллен.

— Мне жаль этой маленькой кухни,— говорит она.— Нам так повезло с этим окном, выходящим в сад миллионера.

— Зато у тебя будет кухня миллионера... Прости, Вероника, я не хотел этого сказать.

— Не важно. К тому же, знаешь, Алекс не крупный миллионер, не такой, как этот господин напротив... До чего же ловко и красиво ты собираешь чайный поднос... Ты, по-моему, сделал успехи.

— Вот попробуй, какой чай.

— Признаю, я никогда не умела заваривать чай. Не получалось.

— Я научился. Готовлюсь к холостяцкой жизни.

— Нет! Я надеюсь, ты женишься.

— Я в этом совсем не уверен.

Вероника и Жиль с подносом в руках возвращаются в гостиную. Он наливает ей чай.

— Подумать только... Фотографии... — говорит он. — Мне бы в голову такое не пришло.

— Да, я знаю. Ты не способен на дурной поступок.

— О, я за себя не поручился бы!

— Нет, не способен. Ты лучше меня. Я никогда в этом не сомневалась, с самого начала.

Он усмехнулся в смущении.

— Давай не будем соревноваться в вежливости... Тебе с сахаром? Черт, я забыл на кухне сахарные щипцы.

— Не ходи. Спасибо. Молока совсем капельку.

Он снова садится и отпивает глоток чаю.

— Вы уже назначили день вашей свадьбы? — спрашивает он не поднимая глаз.

— Нет еще. Спешить некуда. Мы выждем не менее шести месяцев после развода.

— Он добр к тебе?

— Алекс? Да, очень. Он милый. Пока у нас все очень хорошо.

— Почему ты говоришь «пока»? Надо верить, что это надолго.

Вероника чуть печально усмехнулась.

— Лучше не питать особых иллюзий...

— Но раз вы женитесь, значит, вы считаете, что...

— В принципе да. Но можно ли в наше время на что-нибудь твердо рассчитывать? Я предпочитаю жить настоящим.

Молчание.

— Меня беспокоит, как Мари будет проводить у вас эти два месяца. Дети так чувствительны к переменам обстановки, атмосферы, окружающих их людей... Она не поймет, кто этот господин.

— Мы думали об этом. Скажем ей, что это ее дядя.

— Да. Но Мари очень тонкая девочка. Долго ее не удастся обманывать.

— Что поделаешь. С этим придется примириться. В наш век от детей мало что можно скрыть. Их не убережешь от... впрочем, теперь они развиваются скорее, чем прежде. И может быть, они менее ранимы.

— Мари очень развита для своих лет, но не думаю, чтобы она была менее ранима, чем я был в детстве.

— Она на тебя похожа, это правда.

— Ты думаешь, он будет к ней хорошо относиться?

— Алекс? Да, я в этом уверена.

— Но ты говорила, что он не очень любит детей.

— Я уверена, что он будет очень хорошо относиться к Мари.

— Вы намерены жить больше на побережье или в Париже?

— И там и тут. А кроме того, мы будем много путешествовать.

— Я хочу попросить тебя об одной вещи. Но, может, тебе это покажется нелепым...

— Все равно, скажи.

— Если можно, не ездь с ним в Венецию.

Она нежно улыбнулась.

— Хорошо. Обещаю. Буду придумывать всякие предлоги.

— Это, наверно, будет нелегко, потому что Венеция безусловно входит в программу его светских развлечений. Наверно, и в октябре еще кое в каких дворцах устраивают празднества... Ладно, забудь о моей просьбе. Как бы то ни было, эта Венеция и наша так не похожи друг на друга... Я полагаю, что на нашу ладью ты больше не попадешь.

— Ты фетишизируешь воспоминания.

У Жилья чуть заметно вздрагивают щеки и веки, быть может, от фразы, которую только что произнесла Вероника или просто оттого, что она употребила слово «фетишизируешь». Она это заметила.

— Тебе это больно? — спрашивает она.

— Да нет, что ты! — Он мотает головой, потом говорит, видно, чтобы переменить тему: — Выпьешь еще чаю?

— Охотно. Чудный чай. Почему это мне никогда не удавалось так заваривать?

— Для этого надо быть немножко китайцем. Сколько насыпать... Сколько настаивать... Вот, например, ты протираешь чайник внутри, после того как ошпарила его кипятком? Нет? Ну, тогда и говорить не о чем. Чтобы хорошо заварить чай, существует строго определенная последовательность действий, которые требуется выполнять внимательно и точно. Я бы даже сказал, с любовью...

Он как будто шутит. Наливает чай, придвигает ей чашку. Вероника не спускает с него глаз. Он высокий и худощавый. На нем свитер и вельветовые джинсы в широкий рубчик. По его серьезному, еще юному лицу волнами проходят то тени, то вспышки.

— В этой одежде, — говорит Вероника, — ты очень, очень похож на студента. С ума сойти, до чего ты молодо выглядишь!

— Ты тоже.

— Я по-другому... Да, я думаю, что тебе надо жениться. Если бы ты встречал кого-нибудь с теми же вкусами, с теми же стремлениями, что у тебя... Я была ошибкой. Теперь мы это знаем.

В ее тоне звучит покорная печаль, которая не кажется ни притворной, ни искусственной. И вместе с тем она как бы извиняется.

— Мне кажется, что ты хочешь что-то сказать и не решаешься. Говори все что хочешь, Жиль, я готова все выслушать.

— Что ж, поскольку это ничего не изменит... что бы мы ни говорили друг другу... не могла бы ты попытаться сказать мне как можно более откровенно, почему все-таки у нас ничего не получилось? Конечно, у меня было время об этом подумать самому, и я нашел кое-какие объяснения. И все-таки я до конца еще не могу понять... Так вот, может быть, ты могла бы мне сказать, какова, по твоему мнению, основная причина нашего разлада? Я обещаю тебе, что не рассержусь, даже если это будет мне обидно. Пусть даже хуже, чем обидно — я тоже готов все выслушать.

Она допивает свой чай, он берет у нее из рук чашку, потом она осторожно вытирает уголки губ платком, который вынула из сумки. Взгляд Жилья задерживается на этой сумке, которую он как будто только что заметил. Это очень красивая вещь, роскошная, явно дорогая. Черная лаковая кожа, испещренная неравномерным узором, — видно, крокодиловая.

— Нет, ты не знаешь этой сумки, — говорит Вероника, кладя ее рядом с собой на кресло. — Когда я схватила ее, перед тем как выйти, я не подумала...

Она не договаривает фразы и чуть заметно краснеет.

— Не важно, — говорит Жиль. — Не извиняйся.

— Я готова ответить на твой вопрос, — начинает она, — но не уверена, что смогу сказать что-нибудь определенное. Просто мы не сошлись характерами, вот и все. У нас разные представления о... Ну, о том, как жить, что ли, как относиться к жизни. Ты словно из другого века.

— Какое содержание ты вкладываешь в эти слова?

— Я не умею это выразить. Может быть, надо было сказать не «из другого века», а «другой породы». Вот, например, ты вполне довольствовался тем, что у нас было, ты не считал, что относительно это очень убогий уровень. Я говорю: относительно... Когда мы жили вместе, я знала, что так будет изо дня в день, без всяких неожиданностей. И теперь я могу тебе признаться: меня это пугало.

— Тебя это пугало?

— Мне казалось, что все от меня ускользает.

— Все?

— Мне хотелось вести другую жизнь, не ту, которую мы вели.

— Более роскошную? Более блестящую? Более разнообразную?

— Да. Я ничего не могу с собой поделать, я предъявляю к жизни требования, которых у тебя нет. Впрочем, ты это и сам прекрасно знаешь, ты меня не раз за это упрекал. За то, что я слишком многого хочу... Ну что ж, я и в самом деле многого хочу.

— Но все-таки это недостаточная причина для того, чтобы нам расстаться.

— Вполне достаточная! Я же говорю тебе: я боялась. Боялась, что неинтенсивно живу. Нам дана только одна жизнь, и она проходит очень быстро. — Вероника хмурит брови, похоже, что она произносит защитительную речь. — Скоро нам будет уже по тридцать. Больше трети жизни прошло вот так. Фу! Улетела! Жить осталось только каких-то жалких двадцать лет. жить в том смысле, как я это понимаю, потому что — я тебе это уже не раз говорила — какой я буду и что со мной будет после пятидесяти, меня решительно не интересует. Я хочу получить все сейчас. Не в шестьдесят и даже не в пятьдесят. Тогда это будет поздно.

Некоторое время они молчат. Жиль, видно, обдумывает то, что услышал. Он сидит, упершись локтями в колени и склонив голову. Вероника раскрывает сумку и вынимает пачку «галуаз». Берет сигарету, закуривает, глядит в окно. Небо блекло-голубое, чувствуется осень. Потом она снова переводит взгляд на Жилья.

— О чем ты сейчас думаешь? Ты можешь мне это сказать?

— Да, только это не очень интересно.

— Скажи все же.

— Я думал о письмах, на которые я как-то наткнулся и имел нескромность прочесть.

— Мои письма? — спрашивает она после мгновенной паузы.

— Нет. Это было лет пять назад, я открыл шкапулку, в которой моя мама хранила фотографии и разные документы. Мне хотелось посмотреть фотографии. Ленточка, стягивающая пачку писем, развязалась, я узнал почерк отца и не смог одолеть любопытства. Это была переписка между отцом и матерью с сентября тридцать девятого по май сорокового. В мае отец попал в плен. Это был год моего рождения... В письмах речь шла о них самих — они тогда были молодожены — и обо мне до и после моего рождения... Вот о чем я думал, когда ты меня спросила.

Вероника озадаченно смотрит на него.

— Я не вижу тут никакой связи с тем, что я говорила.

— Быть может, ее и нет. Знаешь, как приходят мысли в голову. Иногда трудно проследить ассоциацию... Я забыл сказать, что когда я читал эти письма, меня охватывало чувство счастья. Да, я думаю, это было именно счастье. С тех пор я вел себя по-другому с родителями. Они заметили перемену в моем отношении к ним, но, конечно, не подозревали о ее причине.

— Ты говоришь, что был счастлив, читая эти письма? Почему?

— Они написаны, как ты понимаешь, безо всякой претензии на стиль, да и вообще безо всякой претензии, но в интонации было столько добра и все, что говорилось в них, было сказано с такой простотой и милотой...

— И от этого ты испытал такое...

— Не буквально. Это трудно объяснить. У меня возникло впечатление, что я как бы продолжение... словно вода в русле реки, чудесное, непрекращающееся движение от истока к устью. Если хочешь, своего рода вечно живое настоящее. Я

говору сейчас несколько высокопарно потому, что я никогда не пытался проанализировать это впечатление, но по сути оно очень простое.

Несмотря на попытку Жилия разъяснить свою мысль, Вероника, судя по ее виду, по-прежнему мало понимает, при чем здесь все это. Она смотрит на Жилия с недоумением, видно, думая про себя, что он все-таки какой-то чудной, что его занимают какие-то странные, несуразные мысли, малопонятные даже ему самому, что во все это нелепо углубляться и пытаться сопоставить с реальностью сегодняшнего дня. Однако она все же решается сказать:

— Ты вспомнил об этих письмах по контрасту с нами?

— Нет. Я подумал о них в связи с твоей фразой о краткости жизни и с твоим желанием получить сразу же все сполна.

— А, понятно, — проговорила она еле слышно, хотя очевидно, что она мало что понимает. Она в нерешительности: меняет позу, словно собирается встать, глядит на свои часы. — Мне, пожалуй, пора, — говорит она.

— Ты ни о чем не жалеешь?

Она застывает от внезапности этого вопроса.

— Жалею? Ты имеешь в виду... нас? Конечно, жалею. — Она делает неопределенный жест. — Когда что-то кончается, это всегда грустно. Да, я буду жалеть о многих... о всех хороших минутах, которые у нас были несмотря ни на что.

— А без Мари тебе не будет скучно?

— Конечно, будет. Но что ты хочешь, Жиль? Я еще молода. Я хочу жить, как живут молодые. В наши дни нельзя жертвовать собой ради ребенка.

— Для тебя это была жертва?

— Я неудачно выбрала слово. Конечно, это не была жертва, но все же когда появляются дети, это уже не то. Они становятся главным, а к этому я еще не была готова. И кроме того, в наш век дети нам по-настоящему не принадлежат. — Снова кажется, что она произносит защитительную речь. — Как только они начинают самостоятельно выходить из дома, они уже оторвались от тебя, у них появляется свое общество, и все кончено, домой их не заманишь. Поэтому, в конце концов... Но я понимаю, что у тебя это все по-другому. Ты прирожденный отец, Жиль. Нет, я не шучу, это правда. Признайся, пока Мари будет с тобой, ты будешь счастлив?

Он не отвечает на это. Он говорит:

— Знаешь, когда я тебя спрашиваю, не сожалеешь ли ты ни о чем, я вовсе не собираюсь тебя в чем бы то ни было переубеждать, просто мне любопытно знать, что ты думаешь, что ты чувствуешь. Мы просто болтаем, и все. Вполне доверительно, я надеюсь?

— Конечно, Жиль, я всегда любила с тобой говорить.

Он глядит на нее с нежностью. Он улыбается, качает головой.

— Нет, не всегда. Тебе часто случалось со мной скучать. Я тебе что-то рассказывал, а ты едва слушала. Ты думала о другом. Ты была далека, очень далека.

— Ну, например, когда, я не помню?..

— Нет, это было. И даже в самом начале. Даже в Венеции. Бывали моменты, в ресторане, да и не только в ресторане, когда ты полностью отсутствовала. Признайся... Ты уже в то время подозревала, что совершила ошибку, ведь верно? Что наш брак — ошибка?

Он говорил безо всякого ожесточения, напротив, очень мягко. И этим же тоном, словно они соревновались друг с другом в обходительности и деликатности, этим же мягким тоном она отвечает, глядя ему прямо в глаза.

— Да, верно, с первых же дней я поняла, что мы не созданы друг для друга.

— Мы никогда не говорили о нашем путешествии в Венецию. Но ты была очень разочарована, правда? В частности, убожеством гостиницы? Да?

— Я, наверно, много раз тебя ранила? Тем, что не скрывала своего разочарования?

— Нет, не ранила, скорее печалила. Знаешь, когда любишь, невыносимо угадывать, что человек, которого ты любишь, не считает тебя достаточно импозантным, что ли... чувствовать себя не на высоте ни в социальном, ни в финансовом плане, сознавать, что человек, которого ты любишь, чуть ли не презирает

тебя. Нет ничего более разрушительного, ничто не вызывает большей депрессии, ничто так не истребляет тебя. Да, это то слово. И тебя охватывает страх, потому что понимаешь, что любовь связана с уважением, которое ты должен вызывать, с твоим престижем...

— Я тебя действительно заставила страдать?

— Да, — говорит он, улыбаясь, — Очень.

— Прости меня.

— О! Все это уже прошло. А потом, я ведь тоже не без греха.

— И все же, несмотря ни на что, мы иногда бывали очень счастливы. Вот в Венеции, скажем. Помни об этом.

— Да, мы были счастливы, это правда. Я рад, что ты тоже это помнишь.

Он встает, подходит к ней и кончиками пальцев гладит ей щеку. Она хватается его руку и стискивает ее между ладонями. Так они застывают на две или три секунды. Потом он легонько высвобождает руку.

Она тоже встает и, перейдя на деловой тон, спрашивает, в котором часу им надлежит завтра явиться в суд. Затем она натягивает перчатки. Он выходит с ней в переднюю и подает ей пальто.

На мгновение она задерживается у фотографии дочки. Фотография стоит рядом с декоративным сколком кварца.

— Он твой, — говорит Жиль. — Когда ты устроишься в своем новом доме, ты его возьмешь...

— Ты считаешь, — говорит она как-то вяло. — Ты не хочешь оставить его у себя?

— Он твой, — повторяет Жиль. — Я хочу, чтобы ты взяла его на память.

— Хорошо... Спасибо.

Они целуются. Потом Жиль отворяет дверь. Они говорят друг другу «до завтра», и Вероника начинает спускаться по лестнице, держась рукой за перила. Вдруг он говорит глухим голосом:

— Вероника!

Она останавливается и запрокидывает голову. Она быстро поднимается к нему. Они стискивают друг друга в объятиях. Он говорит:

— Я надеюсь, что ты будешь очень счастлива.

Он напряженно смотрит на нее, словно хочет навсегда удержать в памяти ее лицо. Он целует ее в щеки, в губы. Она высвобождается, отстраняет его. Она спускается по лестнице не оборачиваясь, чуть быстрее, чем в первый раз.

Не знаю уж, какому импульсу я подчинился, когда вернул ее, чтобы еще раз поцеловать. Видимо, в первую очередь той панике, которая овладевает нами, когда у нас навсегда отнимают любимую вещь или близкое существо. Мы прожили вместе около пяти лет, и вот она ушла. Вечером, вернувшись домой, я уже не застаю ее дома, я никогда не буду больше просыпаться рядом с ней, ее голова не будет больше лежать на моем плече. Я поддался рефлексу страха... А еще, как бы это сказать?... Когда я глядел, как она спускается вниз по ступенькам лестницы в пальто цвета ржавчины, так ладно на ней сидящем, одной рукой в лайковой перчатке скользя по перилам, а в другой держа дорогую сумку из крокодиловой кожи, меня вдруг пронзила мучительная жалость к ней. Не впервые Вероника вызвала у меня это чувство, внешне, казалось бы, так мало оправданное: ведь она была и красива, и избалована, и в перспективе ее ожидала «блестящая жизнь», как раз такая, о которой она всегда мечтала. Она отнюдь не была тем человеком, который должен вызывать сострадание. С другой стороны, ее поведение по отношению ко мне тоже было совсем не безупречным. Часто она проявляла жестокость и пренебрежение, она никогда меня не щадила. И все же я был преисполнен жалости к ней. Она сказала: «Жизнь коротка, я все хочу получить сейчас». Это крик сердца тех, кому нечего дать... Она была катастрофически бедна и останется такой и в дворцах Венеции, и в виллах на Лазурном берегу. Ведь она ничем не обладала, кроме красивого лица, красивого голоса, красивых манер. И она ошибалась: жизнь удивительно долгая, потому что так быстро начинаешь и никогда



не кончаешь стареть, потому что когда-нибудь тебе стукнет сорок, пятьдесят, шестьдесят лет — возраст, к которому Вероника заранее питала отвращение. Я не знал человека, за которого она собиралась выйти замуж. Быть может, он был из лучших людей, и умный, и добрый, и верный, и он останется с ней до конца своей жизни, и она всегда будет чувствовать себя любимой и избранной. Но то небольшое, что я о нем слышал от общих знакомых, вселяло в меня сомнение. Мне рассказывали, например, что он, мало сказать, завсегдатай того ночного клуба, куда мы иногда ходили с Вероникой и нашими друзьями, он просто «толчется там каждый божий день». А ведь этот клуб вряд ли то место, где «каждый божий день» находят себе прибежище ум и доброта. Во всяком случае, по моему разумению... Этого человека видели также в различных увеселительных заведениях на побережье, в обществе сезонно-модных дам: манекенщиц, которым создают рекламу, кинозвезд средней величины или наследниц громких состояний — короче, того сорта «сенсационки» (по выражению моей приходящей прислуги), которыми интересуются вечерние газеты. Вблизи всегда случался фотограф, в объектив которого этот тип щерил все свои тридцать два зуба. Одним словом, он представлялся мне эталонной марионеткой-жуиром, напрочь лишенным человечности от той легкой жизни, которую выдает наша эпоха наподобие железы внутренней секреции, выделяющей свои гормоны. Но я мог и ошибаться. Тем не менее мы знаем, что таким вот людям, которым все дано (знаем, потому что перипетии их жизни фиксируются светской хроникой эпизод за эпизодом — вот поистине роман наших дней!), таким вот людям быстро все приедается, и они охотно меняют места жительства, игрушки и женщин. Я представил себе Веронику лет через десять или пятнадцать, Веронику, отвергнутую этим баловнем судьбы, но отвергнутую с соблюдением всех законов, то есть получившую (если она догадалась обратиться за помощью к ловкому адвокату) солидный куш отступных и хорошую пенсию и поселившуюся на авеню Фош или в вилле на берегу Средиземного моря, подобно вышедшей в тираж содержанке, которая за несколько лет усердной службы успела «сколотить себе изрядный капиталец». Я представил себе распорядок жизни этой вот Вероники: она будет держать прислугу-испанку, как у всех, если только в этом апокалипсическом будущем не придется искать домашних работниц где-нибудь в глубине Лапландии или в последних, чудом уцелевших резервациях индейцев племени хибаро. С этой прислугой, наглой и требовательной, у нее будет тысяча «проблем»: трудно жить в наше время одинокой женщине... Вероника продолжала бы «принимать у себя» и «бывать на людях», но на уровне явно более низком, чем ее прежний standing. (Подобно философам, которые не могут не пользоваться специфическими терминами при исследовании тех или иных философских вопросов, рассматриваемая мной тема вынуждает и меня прибегать к определенным выражениям и оборотам.) Итак, она будет вести примерно ту же жизнь, но на уровне куда более низком, ибо, перестав быть супругой миллионера (и утратив тем самым связанные с этим положением привилегии), она автоматически вылетит из обоймы. Ее станут меньше приглашать, да и то в дома, куда менее шикарные, чем прежде. И начнется такой ужасный упадок, что по сравнению с ним хронический алкоголизм с приступами белой горячки покажется сущим пустяком. Но точно так же, как бывшие содержанки утешаются плюшевым уютом и радостями изысканной кухни, Вероника тоже найдет утешение в этих усадьбах или им подобных, например в казино (она всегда играла с азартом) или в обществе красивых, не знающих устали молодых людей, что вполне в духе стареющих содержанок. Вся ее отчаянная доблесть будет брошена на беспощадную борьбу за сохранение всеми доступными способами (как то: косметическая хирургия, гимнастические упражнения и всевозможные массажи) своей «физической» формы. Она станет скучать. Ее будут терзать неосуществимые желания, назойливые видения прошлого. Все большая неудовлетворенность и одиночество. А ведь то, что я себе представил, было еще лучшим вариантом, при котором Веронике не надо было бы зарабатывать на кусок хлеба. Глядя, как она спускалась по лестнице нашего дома, молодая и нарядная, в пальто цвета осенних листьев и с сумкой от «Гермеса» (полное соответствие определенному архетипу элегантной молодой дамы), я, словно в двойной экспозиции, видел вместе с тем и

будущую Веронику, видел как привидение, как эктоплазму, которую можно обна- ружить на фотоснимке медиума в трансе... У меня все внутри перевернулось от невыносимой жалости к ней, и я позвал ее, чтобы еще раз поцеловать.

Несколько дней спустя я отправился навестить моих стариков. Само собой разумеется, дочка, как и всегда, спросила, где мама. Я ей ответил той дежурной формулой, которую взрослые почему-то считают нужным в таких случаях препод- носить детям: что мама уехала путешествовать, что она скоро вернется и тогда возьмет ее к себе на несколько дней... Жанины в тот вечер не было дома. Я остал- ся обедать. Развода в разговоре едва касались, о Веронике вообще не было речи, и не потому, что мы не хотели говорить об этом в присутствии девочки. Просто мои родители проявляли в этих вопросах всегда исключительный такт. Я бы нико- гда не допустил, чтобы Веронику хоть как-то осудили, но мне нечего было опасать- ся: ни одного худого слова не было произнесено по ее адресу даже тетей Мирей, которая, видимо, получила строгий наказ и делала героические сверхъестест- венные усилия, чтобы скрыть свое торжество и сдержат поток возмущения. Лишь несколько косых взглядов, многозначительных ухмылок и два-три далеких наме- ка указывали на то, что в ней клокочет вулкан, который только ждет моего ухода, чтобы начать извергаться. После обеда мама с теткой принялись убирать со сто- ла, и я остался вдвоем с отцом, потому что дочку уложили спать. Отец угостил ме- ня маленькой сигаркой — он любил под вечер выкуривать такую сигарку. Я ду- маю, что он жалел меня, печалился о «моей судьбе» и что ему хотелось бы как-то выразить мне свое сочувствие, но он, конечно, не знал, как за это взяться. Он заговорил со мной о Жанине:

— Она частенько видит твоего шурина. Не знаю, есть ли между ними что-то или нет...

— Надеюсь, что нет!

— Я хотел сказать, не собираются ли они пожениться.

— Да это же невозможно!.. Послушай, это невозможно! Жанина не захочет выйти за этого типа.

— Почему? Он скверный парень?

— Он ни плохой и ни хороший. Просто он не подходит Жанине, ну никак не подходит! Я предпочел бы, чтобы она вышла за кого угодно, только не за него.

— До такой степени?

— Ну, это то же самое, как если б мне сказали, что Жанина выходит замуж за содержателя ночного клуба или там за букмекера. Я ничего не имею против содержателей ночных клубов или букмекеров, но... В общем, папа, ты понимаешь, что я хочу сказать?..

Да, он прекрасно понимал, что я хотел сказать. У нас с отцом были одни и те же предрассудки, дурацкие, абсурдные, но мы берегли их как зеницу ока, и если бы у нас их силой вырвали, нам показалось бы, что мы ослепли.

— Знаешь, мы ей ничего не говорим, даже когда она изо дня в день прихо- дит очень поздно. Она ведь уже большая девочка, и мы не решаемся делать ей замечания. Впрочем, я уверен, что там нет ничего плохого. Я ей доверяю. Но было бы хорошо, если бы ты попытался узнать, как обстоят дела. От тебя она ничего не скрывает.

— Хорошо. Завтра или послезавтра я ее увижу и поговорю.

Потом отец стал рассказывать мне о моей дочке, повторяя ее смешные сло- вечки, вспоминая всякие забавные штуки, которые она вытворяла. В общем, все то, что превращает нормальную жизнь детей в этакую повседневную эпопею — кажется, что слушаешь рассказ о детстве Геракла. Моя дочь быстро развивалась, постоянно в чем-то проявляла живость ума, она была забавной, веселой, нежной. Конечно, мне было приятно, что отец так отзывался о Мари. Я ни минуты не сом- невался, что девочка была такой, как он говорил, разве что надо было сделать небольшую скидку на преувеличение. И все же я слушал отца не очень внима- тельно, я был занят другим: я его разглядывал. Постепенно меня охватило какое- то чуть неприятное чувство — то ли тоска какая-то, то ли мне просто стало не по себе. Отец сильно постарел за последнее время, и я вдруг впервые это заметил.

Но не по себе мне стало, я думаю, оттого, что я увидел доброту на его лице, доброту и какую-то удивительную мягкость взгляда. Да, именно от этого. В моих отношениях с отцом я никогда не мог преодолеть скованности, какой-то глубокой неловкости... Я вспомнил, каким я был колючим, замкнутым подростком, как я всегда молчал в его присутствии, хотя он и старался установить со мной контакт. И мне было тяжело от мысли, что он с этим смирился... Мне захотелось встать и уйти. Сколько потерянных лет, непоправимо потерянных, когда я был так неловок с ним, когда ему могло показаться, что я его не очень любил. Сколько их ушло, этих лет... Отец продолжал со мной разговаривать.

— Знаешь, с тех пор как малышка живет у нас, наша жизнь совершенно изменилась. Одним словом, вот что: я тоже открыл для себя «искусство быть дедушкой».

— Ты еще слишком молод, чтобы чувствовать себя настоящим дедушкой.

— Меня это несколько не огорчает, наоборот. Она такая ласковая девушка, проводить с ней время для меня только радость.

— Да, она миленькая, это правда, и она вас обожает, маму и тебя. Она прямо рвется к вам. Но все же не балуйте ее слишком!

В этот вечер по дороге домой я проходил мимо церкви и услышал орган. Я знал эту музыку и любил ее, и потому зашел, чтобы послушать ее до конца. Там шла какая-то служба, должно быть вечерня, хотя я ничего не смыслил в этом. Народу было мало. Я сел на скамейку и, слушая орган, наблюдал за теми немногими, кто сидел здесь вместе со мной. И я недоумевал, как еще в наше время найдутся люди, которые испытывают потребность присутствовать при отправлении архаического обряда, так мало приспособленного к «потребностям современной жизни». Конечно, в богатых кварталах по воскресеньям в одиннадцать часов утра церкви полны-полны. Но это скорее светский обычай, кастовое обязательство: когда зарабатываешь больше определенного уровня, то иногда ходишь на аукцион, зимой уезжаешь кататься на лыжах в горы и приправляешь свою жизнь каплей духовности (одиннадцатичасовая месса, отец Тейар<sup>13</sup> и т. д.). А вот эти несколько заблудших, что явились на вечернюю службу в рядовую церковь безвестного квартала, были настоящими верующими, они пришли сюда не из чувства классовой солидарности, а исключительно по внутренней потребности, по убеждению. Каково же это убеждение? Так как я абсолютно чужд религии, я об этом толком ничего не знаю. Но все же у меня остались какие-то крохи школьных воспоминаний. Вот, например, помнится, мы учили, что бог, чью жертву сейчас прославляют у алтаря, произнес когда-то Нагорную проповедь, и там были малоразумные слова о счастье быть смиренным, обездоленным, бедным и даже о счастье быть презираемым, о счастье страдать. Я глядел на жалкую паству, которая сохранила верность ему, верность через две тысячи лет после его смерти, в эпоху завоевания космоса, победоносного шествия технократов и таких мирноносных вселенских соборов... Говорят, что лицо человека соответствует его профессии, — так и лица этих прихожан соответствовали их вере. Достаточно было взглянуть на них, чтобы понять, что они никогда ничего не потребуют и уж меньше всего — своего места под солнцем. Как сказала бы одна молодая дама, которую я очень хорошо знал, это были «полные ничтожества». Они все отдавали — свое время, свой труд, свои деньги — и никогда ничего не получали взамен. Им, наверно, было невдомек, что, работая локтями, можно протиснуться вперед, они не знали, как надо набивать себе цену, как добывать состояния, как давить все и вся, что тебе мешает на пути, — одним словом, как быть просвещенным гражданином на этой самой гордой из планет. Значит, они получили то, что заслужили: полумрак церкви, где кто-то бормочет абсурдные слова. Полные ничтожества!

— Смотреть даже забавно, но потом как-то стыдно делается, что тебе было забавно, не находишь?

<sup>13</sup> Имеется в виду Тейар де Шарден, современный французский антрополог, философ, теолог.

— Слишком много садизма, — говорит она. Чувствуется, что употреблять это слово она научилась сравнительно недавно. — Сцена пыток, бесконечные драки, сожженные живьем люди... Хорошо еще, что во все эти ужасы не веришь, а то с этого воротило бы.

Он крепче сжимает руку девушки.

— Мы с тобой одинаковые: грубая сила нас отвращает. Может, зайдем в кафе?

Вместе с толпой они выходят из кино. Над их головой красуется огромный щит с рекламой картины: соблазнитель лет тридцати целится из револьвера, причем, если посмотреть на его спокойное, чуть ли не улыбающееся лицо с «энергичными скулами», он выглядит так же нелепо, как самурай, играющий веером. Он убивает, но не теряет при этом своей флегматичности. Образец раскованности. А вокруг героя изображены шпионки, которых он победил в рукопашных схватках, где искусство каратэ чередуется с приемами кама-сутры. Секретный агент должен уметь не только убивать, но и любить.

— А не пойти ли нам в Люксембургский сад? — предлагает она. — Такая погода!

— Прекрасная мысль, пошли. А потом я угощу тебя чаем или чем захочешь. Знаешь, я рад, что мы с тобой погуляем. Давно мы не ходили вместе в кино, да?

— Сто лет!

— Какие мы идиоты, что так подолгу не видимся. Правда, я был очень занят последнее время из-за всех этих историй. Развод — дело не простое!

Она спрашивает, привыкла ли девочка к отсутствию мамы. Он говорит, что да, и даже гораздо легче, чем можно было ожидать.

— Но главным образом благодаря Жанне. Эта женщина просто клад. Без нее я бы пропал. Малышка ее уже полюбила.

— А тебя не раздражает постоянное присутствие чужого человека?

— Нет, Жанна очень деликатна. И так приятно приходиться вечером домой в чистый, убранный дом, где тебя ждет обед. В этом отношении Вероника, как ты помнишь, не всегда бывала на высоте. Одним словом, такие домоправительницы, как Жанна, на улице не валяются. Нам просто повезло.

— Значит, жизнь холостяка у тебя слаживается неплохо... Вероника еще раз приходила?

— Она придет в конце месяца.

Они пересекают бульвар и углубляются в сад. Они медленно идут под сенью рыжей листвы поздней осени.

Ее мысли снова возвращаются к фильму, она говорит, что его недостатки типичны для нашего времени — в частности, например, то, что там масса липы, фальши. Герой все время, кстати и некстати, повторяет, что пьет только шампанское «Дом Периньон» такого-то разлива. А героини одна надменной другой. Или взять эти современные интерьеры, где собрано все, решительно все, что вошло в моду за последний сезон. Это просто смешно, если хоть на минутку задумаешься.

— Но ведь дело в том, что думать не успеваешь, потому что очень крепко закручено действие, — говорит он. — Динамизм нас захватывает. Как в мультипликациях. Ты включен в темповое движение, в чисто механическую систему, где нет места для размышления.

Тут они вспоминают другие мультфильмы, где герой — маленькая Канарейка и гадкая Pussy cat. И они начинают подражать этим персонажам. Это уже из их любимого репертуара.

Навстречу им попадает молодая женщина, которая привлекает внимание всех, кто гуляет в Люксембургском саду, потому что одета она крайне экстравагантно: юбка у нее значительно выше колен, сапоги из белой кожи и курточка — из зеленой. Она похожа не то на неведомую жительницу галактики, не то на героиню комиксов для взрослых — этакая «суперменша», готовая покорять космическое пространство.

— Вот оно, будущее, — говорит Жиль. — Это явление... Какое? Ну, валяй, говори!

— Неожиданное, — не задумываясь выпаливает она, и они оба хохочут.

Они еще в прошлом году придумали эту новую игру, заключающуюся в том, чтобы пародийно употреблять те формулы, которые заполнили обиходный язык из-за стандартизации мышления.

— Конечно, неожиданное и которое могло бы даже... Что могло бы даже? Даже... Что могло бы даже?

Она не может придумать и тут же сдается.

— Которое могло бы даже нас встревожить. Ну как же ты не знаешь? Нет, ты уже не так сильна, как была в прошлом году. И все же, хотя явление это неожиданное, мы... Что мы?

Она ищет слово и находит его:

— Покорены!

— Браво, дорогая! Мы покорены марсианкой. Послушай, а все же смешно встретить ее прямо после фильма: это тот же...

Он резко обрывает фразу и глядит на нее искоса:

— Ну, давай, кончай: это тот же...

— Это легко, — говорит она, улыбаясь. — Это тот же мир.

— Браво, Жанина! Ты сильна! И чего мы с тобой ждем, когда нам надо открыть с тобой школу хорошего тона? Первое занятие: современный язык. Словарный минимум для каждого, кто хочет быть причислен к элите мадам Пепелэ, повторяйте за мной: «Я почувствовала себя покоренной неожиданным явлением марсианки»...

Они прыскают от смеха. Она продолжает:

— ...тревожный облик которой перевернул мое восприятие мира и нарушил мой умственный покой!

— Не говоря уже о моей чистой совести.

И они тоже оборачиваются, чтобы посмотреть на Еву будущего.

— Ты правда думаешь, что это завтрашняя мода? Знаешь, нельзя сказать, что это уродливо... А ведь ты тоже одета вполне по-современному, так мне кажется.

И Жиль останавливается, чтобы ее получше разглядеть. Она тоже останавливается.

— Ты очень, очень шикарно выглядишь... Кто тебя одевает? — спрашивает он, словно ожидая услышать имя знаменитого портного.

И тут он замечает, что Жанина заливается краской. Тогда он весело хватается за ее под руку, и они идут дальше.

— Да, кстати, — говорит он, — папа мне рассказал, что последнее время ты часто видишься с Жан-Марком. Он даже спросил меня, не собираетесь ли вы пожениться?

Говоря это, он усмехнулся, как бы желая подчеркнуть, насколько предположение господина Феррюса нелепо. Но, видно, он тут же чувствует, что шутить здесь неуместно. Жанина вся напряглась, изменилась в лице. Он ждет ее ответа.

— Нет, мы не собираемся жениться, — говорит она наконец.

— Но вы все же часто видитесь? Я слышал, что ты проводишь с ним почти все вечера? Извини, что я задаю тебе такие вопросы, дорогая моя Жанина. Словно ты не взрослая девушка, которая сама знает, как себя вести. Но ведь я тебя спрашиваю не из праздного любопытства, этого мне тебе говорить не надо. Я за тебя беспокоюсь... Да к чему все эти объяснения: мы с тобой, кажется, уже двадцать лет знакомы!

Она молчит, разговор этот ее явно смущает.

— Жан-Марк пытается осуществить свою идею с магазином, — говорит она в конце концов. — А я ему помогаю. Он собирается даже взять меня на работу.

— В магазин готовой одежды всех стран? Да кем ты там можешь работать? Продавщицей, что ли? Или еще кем?

— У меня там будут самые разные обязанности: и что-то вроде секретарши, и модели рисовать придется. Вернее, я буду как бы его компаньоном в этом деле.

— Ясно... Может, посидим немножко?

Они садятся на скамейку. Жиль обнимает сестру за плечи.

— Скажи, и тебе хочется там работать?

— Да...

— Но разве это не... я не знаю, но эта среда... разве тебе она не противна?

— Я так и знала, что ты будешь со мной говорить о Жан-Марке.

— Да? Почему же?

— Как только тебя увидела. Такие вещи я всегда угадываю.

— Ну что ж, тогда давай поговорим о нем.

— Я буду работать с ним в магазине. Мне надоело сидеть дома. Знаешь, у нас не так-то весело: папа, мама, да еще тетка Мирей. Особенно с тех пор, как ты с нами не живешь.

— Это я понимаю, дорогая.

— Мне необходимо хоть как-то развлечься, видеть ребят своего возраста...

— Это вполне естественно. Но я как раз думал, что у тебя есть хорошая компания из милых ребят... Ну, ладно, пусть так. Ты будешь работать у Жан-Марка. Он тебе что-нибудь платит? Или хотя бы собирается?

— Пока об этом и речи быть не может. Те расходы, которые...

— Так я и думал. Жаль, что этот типчик не родился в восемнадцатом веке.

Был бы отличный работоровец.

Это замечание не вызвало у Жанины улыбки.

— Он собирается сделать меня как бы компаньоном, — повторяет она.

— Дорогая моя Жанина, чтобы быть тем, что называется компаньоном, надо иметь хоть какой-то капитал и вложить его в дело; это не твой случай. Так чего же он тебе голову морочит пустыми обещаниями? Что все это значит? Боюсь, что он тебя просто эксплуатирует. Он хочет, чтобы ты работала на него даром, вот и все, мне это яснее ясного.

От его слов у нее делается такой несчастный вид, что он не выдерживает и целует ее в щеку. Она опускает голову, и он видит, что она плачет. Он совсем теряется, бормочет какие-то слова, чтобы ее успокоить, и все повторяет ее имя. Она пытается овладеть собой. Вытирает платком глаза и нос.

— Я огорчил тебя, того не желая, — говорит он. — Прости меня. Больше всего на свете я сейчас хочу, чтобы ты была счастлива, поверь. Что тебя так огорчает, моя дорогая Жанина, ты можешь мне сказать?

Она смотрит прямо перед собой и говорит дрожащим голосом:

— Ты презираешь Жан-Марка. Ты его не выносишь...

— Я его вовсе не презираю. Я просто считаю, что он немного... в общем, мы уже об этом говорили. Но скажи, тебя именно это огорчило? То, что я не испытываю к нему симпатии?

Она снова опускает голову. Он напряженно смотрит на нее. Быть может, он понял, как ему вдруг показалось, то, что она ему не сказала, что, наверное, вообще никогда не скажет. Во всяком случае, на лице его появляется ужас, словно он узнал вещь, которую еще несколько минут назад невозможно было себе представить, но которая, однако... Жанина, видно, догадывается, что в нем происходит, потому что она резко отворачивается. Молчание затягивается. Когда Жиль решается наконец заговорить, он уже снова владеет своим голосом:

— Послушай, забудь все, что я тебе наболтал про Жан-Марка. Я думаю, что в конечном счете он славный парень. Мы как-то плохо понимали друг друга, но, наверно, здесь все дело в разнице возраста... Видно, теперь достаточно быть старше на семь, восемь лет, чтобы все видеть по-другому, в ином свете... Даже у тебя другая точка зрения, чем у меня, на большее число вещей, чем я предполагал... Так обстоит дело, и никуда тут не денешься... Я просто в отчаянии, что так огорчил тебя. Просто в отчаянии. Ты мне веришь?

Она кивает головой.

— Я не знаю, что между тобой и Жан-Марком, — продолжает он, — и знать этого не хочу. Но помни, что я тебя ни в чем не упрекаю и, что бы ни было, ты всегда будешь моей дорогой, любимой сестричкой. Это ты знаешь, верно? Если ты любишь Жан-Марка, я не буду считать, что ты... что это плохо. Клянусь тебе.

Они встают. Он провожает ее до автобуса. Расставаясь, они, как обычно, нежно целуются. Потом, вместо того чтобы идти домой, Жиль идет в сторону улицы Сен. Он входит в весьма скромную гостиницу и говорит портье, что хотел бы видеть господина Дональда. Он поднимается по лестнице и стучит в дверь номера на пятом этаже. Входит. Крохотная комнатка. Длинноволосый, бородатый молодой человек лежит на кровати и читает.

— Жиль! Как давно мы не виделись! Как поживаешь? Порядок? Да нет, видно, не слишком... У тебя какой-то чудной вид.

— А ты как?

— Ты знаешь, вот уже несколько дней, как нас преследует полиция! Облава за облавой в бистро на улице Сен, да и во всех других тоже. Большинство ребят разъехало.

— Почему? Что они имеют против вас?

— Сядь-ка. О, да я сам толком не пойму. Говорят, что мы спекулируем наркотиками, ну и тому подобные вещи.

— А ты все еще принимаешь эту кислоту?

— Ну, конечно. Я ее убежденный приверженец. Скажи, Жиль, что-то случилось? У тебя в самом деле очень странный вид.

— Да нет, уверяю тебя. Послушай, я всегда наотрез отказывался принимать кислоту. Но вот сегодня мне хочется попробовать. Это можно устроить?

Дональд приподымается на локте.

— Да, можно... Но я поражен. Такой принципиальный противник, как ты!.. Что это тебе вдруг взбрело? У тебя что-то случилось? Ведь наркотики часто принимают, когда надо про что-то забыть.

— Нет. Я же говорю тебе: я хочу один раз попробовать.

— Сегодня вечером.

— Сейчас.

— Хорошо. Подожди меня здесь. Я тут же вернусь.

Наркотик не принес мне ничего, кроме нескольких часов смятенья, холодного пота и головокружения, перемежавшегося скоротечными галлюцинациями. Некоторые видения сохранились в моей памяти: тревожные, меняющиеся пейзажи в ярких, но нереальных красках, например, река кроваво-алого цвета, лиловая пена вдоль берегов, розовые, как шербет, горы, деревья цвета морской сини... Весь следующий день я провел в комнате Дональда, понемногу отходя от этого эксперимента, который я поклялся никогда больше не повторять: уж очень он был мучителен и страшен. Потом я вернулся домой. Это была моя последняя встреча с нестриженными отщепенцами, которые все лето были моими друзьями. Даже если бы я захотел их вновь увидеть, я не смог бы их найти, потому что за несколько дней полиция их разогнала, а иностранцев выслала из страны. Этой длинноволосой ораве не могли простить двух смертных грехов: они осуждали применение ядерного оружия и, что еще серьезней, отрицали официальную мораль века. Они считали, что общество, построенное на все растущем потреблении материальных благ, — большое общество. Они находили низкими и непристойными большинство стимулов, которые движут современными мужчинами и женщинами. Они проповедовали возврат к тому состоянию, где нет ни насилия, ни прикрепленности к материальным благам... Поскольку такие кощунственные теории оскорбляют достоинство западного человека, этих еретиков необходимо было изгнать. Итак, они исчезли, и толпа этих безобидных бродяг не мешает на улице Сен победоносному потоку машин.

Впрочем, я никогда не принадлежал к ним по-настоящему — для этого я был уже слишком стар, а кроме того, у меня был ребенок. Две достаточно веские причины. Когда у тебя ребенок, его надо кормить и воспитывать. Когда тебе не восемнадцать, а двадцать семь лет, ты уже не играешь во вдохновенного босняка даже во имя самых справедливых идей.

Итак, я вернулся домой и решил махнуть рукой на то, как все идет в этом странном мире, в мире, где я не раз себя спрашивал: что я, собственно, здесь делаю? Но когда я смотрю на мою маленькую дочку, я, по крайней мере, знаю, что

мне надо делать. И мне кажется, что еще не все потеряно. Вчера было воскресенье, и хотя уже наступила зима, погода стояла еще теплая. Я повел малышку в кукольный театр. В тот, что в Люксембургском саду. Шла пьеса по сказке «Кот в сапогах». Мари была в восхищении. Я тоже. Потом мы гуляли по саду. Я держал ее за руку. Иногда она бросала меня, чтобы попрыгать с другими детьми, но потом снова подбегала ко мне и протягивала мне свою ручку. Мари совсем белокурая, и ее красное пальтишко с красной вязаной шапочкой ей очень идет. И вдруг меня там переполнило острое чувство счастья. Ослепительно солнечный день, и этот веселый сад, полный детей. И моя дочка, для которой я почти все. Я стал строить планы на лето, думал о том, как мы будем вдвоем путешествовать. Когда она подрастет, я повезу ее за границу. Пусть она со мной откроет Италию и Грецию. И я увижу их заново ее глазами. Строил я и другие, не менее прекрасные планы. Я дам ей все что смогу, я хочу, чтобы у нее было все, о чем только может мечтать ребенок в наше время... Но меня тут же охватило нелепое сомнение. Конечно, это было глупо, но что поделаешь, если необоснованные, дурные мысли лезут в голову и не дают покоя. Я подумал, что сейчас Мари меня очень любит, и это естественно, но что, быть может, настанет день, когда она меня будет любить немного меньше, сам не знаю почему, по любой из тех странных причин, по которым в наши дни дети могут нас разлюбить, когда они начинают самостоятельно оценивать мир и людей вокруг себя (за несколько дней до этого, возвращаясь пешком домой, я был поражен обилием зротики во всем, что мне попадалось по пути: в газетах, которые продавались на углах, в рекламах, в киноафишах; и я подумал, что этот повышенный интерес к сексу весьма подозрителен, что эта безумная, маниакальная, агрессивная сладострастность — всего лишь паллиатив и что с такой горячностью прославляют любовные забавы, быть может, только потому, что и этот бог, как и тот, тоже умер, хотя ни один философ еще не возвестил нас о его кончине). Требования новых поколений в ближайшие годы будут все возрастать, становиться все более дерзкими. Чем только не придется откупаться от детей, чтобы сохранить их привязанность? Кем нам придется стать самим, чтобы не быть развенчанными в их глазах, чтобы сохранить их уважение? Надо быть красивым, богатым, элегантным, надо занимать какое-то положение в обществе, надо, чтобы наши имена мелькали в печати, и бог весть еще что надо. А если мы не обладаем всеми достоинствами, то дети — они в наши дни так рано развиваются! — вдруг увидят нас такими, какие мы есть на самом деле, то есть вполне ordinary. И не рискуем ли мы тогда, что они отшвырнут нас в крошечную тьму ночи? Вот что я говорил себе, гуляя в воскресенье по Люксембургскому саду, освещенному веселым зимним солнцем. Но я заставил себя отбросить эту тревогу, эти страхи. А кроме того, моя Мари еще не достигла разумного возраста. Она еще не знает, что у меня нет ни «роллс-ройса», ни громкого имени, ни большого ума, ни особых заслуг в какой бы то ни было области. Для нее я еще прекрасный и замечательный. И пока она не достигнет разумного возраста, она будет меня любить. Наверняка будет любить своим сердечком, не знаящим расчета. Я могу еще быть счастливым. У меня есть отсрочка по меньшей мере на три года.

*Перевела с французского Л. Лунгина.*





---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

## НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Многие страницы давно вышедших номеров «Нового мира» сегодня воспринимаются как документы первых лет социалистического строительства в нашей стране. Видные писатели и журналисты стали летописцами и участниками бурного процесса преобразовательной деятельности нашей партии. В «Новом мире» под рубриками «Советская земля» и «Люди и факты» публиковались очерки о Днепротэсе, Магнитострое, Ферганском канале и многих других стройках первых пятилеток. Журнал печатал ставшие ныне антологическими: «Гидроцентральный» Мариэтты Шагинян, «Соть» Леонида Леонова, «Энергию» Федора Гладкова, «Поднятую целину» Михаила Шолохова, очерки с переднего края созидания.

Сегодня, когда советские люди, выполняя решения XXIV съезда партии, добиваются успехов на всех участках коммунистического строительства, редакция журнала «Новый мир», его авторский актив видят свой гражданский и партийный долг в том, чтобы рассказывать на страницах журнала о наиболее важных достижениях нашего народа, рабочего класса страны.

На берегах Камы в городе Набережные Челны (Татарская АССР) развернулась стройка комплекса заводов по производству грузовых автомобилей. Это самая большая стройка девятой пятилетки.

Под рубрикой «Набережные Челны» вплоть до завершения строительства КамАЗа журнал будет публиковать очерки, рассказы, статьи, стихотворения, писательские дневники, а также произведения крупного жанра, которые создадут писатели, решившие связать свою творческую жизнь в ближайшие годы с ростом гиганта на Каме. Редакция надеется, что эти произведения, собранные воедино к концу стройки, явятся своеобразной ее летописью, станут новым шагом к реализации горьковской идеи о создании истории фабрик и заводов.

Первая писательская бригада «Нового мира» уже побывала на стройке. Около месяца провели на берегах Камы Майя Ганина, Василий Росляков, Анатолий Приставкин, Анатолий Злобин, Феодосий Видрашку и Франц Таурин.

В строительстве на Каме участвует весь народ. Но партийной организации Татарии, естественно, отведена в этом особая роль. Поэтому мы открываем рубрику статьей секретаря Татарского обкома КПСС Мурзагита Фатхеевича Валеева.

М. ВАЛЕЕВ,

секретарь Татарского обкома КПСС

★

## СТРОЙКА НА КАМЕ

**В** Татарии, на реке Каме, строится крупнейший в Советском Союзе, да и в Европе, завод грузовых автомобилей. Его название «КамАЗ» звучит ныне почти столь же привычно, как «ЗИЛ», «ГАЗ», «ВАЗ»... Пройдет около трех лет, и с заводского конвейера, длинного, как взлетная полоса современного аэродрома, сойдут первые машины.

Завод будет ежегодно выпускать 150 тысяч мощных грузовиков. На базе основной модели создается целое семейство автомобилей — около десятка модификаций: самосвалы, фургоны, цистерны. Оснащенные восьмитонными и шестнадцатитонными прицепами, они превратятся во вместительные, экономичные автопоезда. «КамАЗы» различных «профессий» придут на стройки, рудники, лесозаготовки, в колхозы и совхозы.

Комплекс в Набережных Челнах ежегодно даст 250 тысяч двигателей. Они будут устанавливаться не только на машинах, построенных здесь же — на Каме, но и на уральских грузовиках, львовских и ликинских автобусах.

Вместе с основным заводом строятся и предприятия-«спутники»: литейное, кузнечное, прессово-рамное, ремонтно-инструментальное...

Гигантский объем предстоящих работ невозможно выполнить без мощной базы строительной индустрии — нужен свой домостроительный комбинат, заводы железобетонных конструкций и металлоконструкций. Ведь на камских берегах возникнет новый город автомобилестроителей, жилая площадь которого превысит два с половиной миллиона квадратных метров — семьдесят с лишним тысяч благоустроенных квартир.

Для создания нового промышленного комплекса в самый короткий срок и самым эффективным способом используются все возможности советской экономики и науки. Только к проектным работам привлечено свыше шестидесяти организаций двадцати трех различных министерств и ведомств. И все это крупнейшие, лучшие, как принято говорить головные, предприятия и институты в своей отрасли. К примеру, разработка конструкции новой автомашины поручена конструкторскому бюро завода имени Лихачева, а дизеля — конструкторскому бюро Ярославского моторного завода. Эти коллективы успешно справляются с заданиями. Сейчас около двух десятков экспериментальных «КамАЗов» уже проходят испытания. Предварительную оценку им скоро дадут специалисты.

Генеральным заказчиком объекта, естественно, является Министерство автомобильной промышленности СССР. Его институт «Гипроавтопром» утвержден генеральным проектировщиком комплекса автозавода. А генеральным подрядчиком строительства определены четыре крупнейших союзных министерства, уже имеющих огромный опыт форсированного сооружения гигантских объектов: энергетики и электрификации, транспортного строительства, газовой промышленности, связи. Министерство монтажных и специальных работ выступает как субподрядная организация. Каждое из этих ведомств привлекло к руководству работами наиболее квалифицированных и деловых специалистов. Достаточно сказать, например, что генеральным директором завода назначен заместитель министра автомобильной промышленности СССР

Л. Б. Васильев, а начальником строительства утвержден заместитель министра энергетики и электрификации СССР Н. М. Иванцов. Опытных партийных и хозяйственных работников направил в Набережные Челны Татарский обком КПСС. Шефствует над стройкой и Центральный Комитет ВЛКСМ, объявивший ее Всесоюзной ударной.

Сооружение автогиганта в Набережных Челнах показывает, какими огромными экономическими возможностями располагает ныне Советский Союз. «Мы ставим и решаем сегодня такие задачи,— говорил на XXIV съезде КПСС Л. И. Брежнев,— о которых на предыдущих этапах могли только мечтать». Задачи именно такого масштаба решает стройка на Каме.

Директивы партийного съезда предусматривают расширение производства грузовых автомобилей за пятилетку примерно в полтора раза. Строительство автозавода в Набережных Челнах — главная составляющая этой программы, цель которой — вывести советское автомобилестроение на одно из ведущих мест в мире.

\* \* \*

Татария обладает сейчас высоким промышленным потенциалом. На ее долю приходится треть общесоюзной добычи нефти. Она занимает первое место в стране по производству ряда изделий машиностроения, продуктов химии и нефтехимии. Однако пуск одного-единственного объекта — Камского автомобильного комплекса — коренным образом изменит экономический «климат» республики. Достаточно сказать, что основные фонды промышленности увеличатся вдвое, а выпуск продукции возрастет в 2,5—3 раза.

Строительство автомобильного комплекса вызовет серьезные изменения во всех областях экономики Татарии. Существенно изменится, к примеру, структура сельского хозяйства республики. Колхозы, расположенные в окрестностях Набережных Челнов, реорганизуются в совхозы с непривычной прежде для этих мест специализацией. Они будут снабжать жителей Автограда мясом, фруктами, овощами, молочными продуктами. Запланировано строительство птицефабрики производительностью 80 миллионов штук яиц в год, большого теплично-парникового хозяйства.

Но влияние завода будет ощущаться не только в экономике... Площадка в Набережных Челнах должна стать огромной школой создания образцового советского предприятия и образцового советского города в едином комплексе.

В Набережных Челнах нет времянок. Здесь все строится прочно, добротно, красиво — на века.

В новом городе каждому человеку будет приятно работать и удобно жить. Комплексная автоматизация производства исключит неквалифицированный труд, тяжелые операции. Светлые, чистые, просторные, оборудованные по последнему слову техники и технической эстетики цеха, лаборатории, отделы, рациональное оборудование рабочих мест обеспечат людям возможности для наиболее производительного труда. Город создается в полном соответствии с самыми прогрессивными тенденциями современной архитектуры, в сочетании экономичности с комфортом, целесообразности с хорошим вкусом. Здесь будут построены стадион и Дворец спорта, «универсамы» и кафе, театр и цирк, широкоформатные кинотеатры и телевизионный центр, школы и детские сады... Набережные Челны станут не только экономическим, но и культурным центром. К тому же следует добавить, что новый город расположен в исключительно живописной местности и река на этом участке очень красива...

При выборе площадки для сооружения автомобильного завода Госплан СССР изучил около семидесяти вариантов. Прикамский оказался самым экономичным. Он обеспечивал и кратчайшие сроки работ, и минимальную их стоимость. При расположении автозавода в Набережных Челнах железнодорожные и водные пути сообщения рационально связывают его как с базами сырья, так и с рынками сбыта продукции. Здесь легко организовать широкую кооперацию производства с родственными предприятиями Ярославля, Горького, Ульяновска, Тольятти.

Было также учтено, что Татария может предоставить новому предприятию трудовые ресурсы, особенно из сельской местности, где сосредоточена почти половина населения республики и где благодаря постоянному росту производительности труда постепенно высвобождаются рабочие руки. И наконец, еще одно немаловажное обстоятельство — в определенных пределах индустриальная Казань могла подготовить квалифицированных специалистов-машиностроителей, а также привлечь свои научные силы для организации и строительства автомобильного производства.

\* \* \*

Что же происходит на площадке будущего автомобильного гиганта?

На строительстве сейчас занято тридцать тысяч человек.

Каждого, кто впервые попадает в Автоград, не может не поразить размах работ, обилие строительных кранов и тяжелых автопоездов, разнообразие вырастающих словно из-под земли каркасов производственных и жилых зданий. Напряженный ритм огромной стройки чувствуется буквально всюду, о нем постоянно напоминают плакаты, прикрепленные к стенам зданий, кабинам башенных кранов, кузовам грузовиков: «Дадим камский автомобиль в 1974 году!»

В Набережных Челнах сейчас трудно встретить человека, не имеющего отношения к стройке. О сроках ее и планах, о проектной документации, полученной или еще не полученной, о качестве техники говорят и спорят в столовых, магазинах, на улице...

Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 1971 год — решающий для сооружения камского комплекса. Во-первых, начались работы на всех объектах самого завода. Во-вторых, сложилась индустриальная строительная база (в частности, вводится в эксплуатацию домостроительный комбинат). И наконец, в-третьих, возникли первые кварталы нового города, заложены основы его нормального жизнеобеспечения... Стройка идет в напряженном ритме. В иные дни освоение средств приближается к миллиону рублей.

Естественно, в таких условиях главное требование — самым эффективным образом использовать эти огромные деньги, четко, целеустремленно планировать труд тридцатитысячного отряда строителей.

Выполнить это требование не так-то просто. На площадке автозавода, помимо головного подрядного управления «Камгэсэнергострой», работают еще десятки других крупных организаций. И каждая «деталь» этого громадного механизма должна действовать безукоризненно. Малейшая ошибка при таком развороте работ может обернуться миллионными убытками, надолго задержать строительство. Чтобы включить действия всех многообразных подразделений в единый производственный цикл, проектируется автоматизированная система управления стройкой. На стройке широко применяются сетевые графики, математическое моделирование, совершенствуется система информации и планирования.

Строители Камского завода широко используют те передовые методы труда, которые применялись при сооружении ВАЗа и расширении Горьковского завода. Им, в свою очередь, предстоит внедрить в практику ряд интересных новшеств, оригинальных технических и техно-

логических решений. В частности, на «КамАЗе» рождается своеобразная и несомненно прогрессивная форма организации проектных работ. Сейчас многие проектные и конструкторские бюро ускоренно готовят техническую документацию прямо в процессе строительства. В некоторых институтах, например, московском «Гидропроекте», образованы отделы, специализированные на объектах автозавода. Группы проектировщиков, представляющих свои институты и конструкторские бюро на площадке в Набережных Челнах, намечено в скором времени объединить. По существу, возникнет комплексный многоплановый институт целевого назначения, который позволит значительно улучшить координацию проектных работ.

И еще одна примечательная черта прикамской стройки. Здесь в Татарии, на ударном объекте девятой пятилетки, ярко, зримо, убедительно проявляются принципы братского сотрудничества и взаимопомощи всех наций и народностей СССР.

В. И. Ленин призывал коммунистов «бороться *против* мелконациональной узости, замкнутости, обособленности, за учет целого и всеобщего, за подчинение интересов частного интересам общего»<sup>1</sup>.

Эти принципы, правильное сочетание национальных и общегосударственных интересов, определяли наши успехи на различных этапах хозяйственного строительства.

\* \* \*

Ленинская национальная политика открыла возможности для развития экономики и культуры каждого народа Советского Союза.

Бывшая Казанская губерния занимала по грамотности 44 место среди 55 губерний Центральной России. Вся ее промышленность состояла лишь из 196 кустарных предприятий. Чтобы за короткий срок ликвидировать эту ужасающую отсталость, партия приняла меры для ускоренного развития народного хозяйства республики. Сюда были направлены квалифицированные специалисты, лучшие предприятия страны выполняли заказы наших новостроек. Металл и уголь мы получали из Донбасса и с Урала, машины и оборудование из Москвы и Ленинграда. Стремительное становление экономики республики отмечал В. В. Куйбышев на XVII съезде ВКП(б). «Татария, — говорил он, — принадлежит к числу районов, процесс индустриализации которых происходит особенно энергичными темпами».

Эти темпы сохранились и в дальнейшем. Опираясь на поддержку и помощь братских народов советского государства, укрепив хозяйственные связи со всеми национальными республиками, Татария в послевоенные годы в два с лишним раза превысила среднесоюзные темпы экономического роста. Используя богатейший опыт азербайджанских специалистов, при их непосредственном содействии, наши нефтяники сумели в рекордное время освоить богатые природные месторождения и в последнем году восьмой пятилетки добыли 100 миллионов тонн нефти. Более 150 промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов из разных городов Союза участвуют ныне в сооружении Нижнекамского нефтехимического комбината, которому предстоит стать крупнейшим в своей отрасли предприятием Европы.

Строительство автозавода на Каме — новое проявление социалистического интернационализма. Инженер Тадаус Рубляускас приехал в Набережные Челны из Литвы. Шофер Леван Гогоберидзе — из Грузии. Газосварщик Эдуард Атаев — из Туркмении. Такелажник Унбет Турсунбаев — из Казахстана. Штукатур Ашот Паразян — из Армении. Представители нескольких десятков национальностей трудятся сейчас

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 45.

на площадке автомобильного комплекса. И все это — полпреды экономических районов, соединенных с камской стройкой тысячами хозяйственных связей. Если на карте нашей Родины сейчас обозначить города, направляющие в Набережные Челны проекты, материалы, машины, оборудование, людей, то разноцветные кружки густо покроют всю карту Советского Союза.

Вот несколько фактов, иллюстрирующих эти связи. Из города Светловодска (Кировоградская область Украинской ССР) поступили на стройплощадку автозавода более 7 тысяч кубометров сборного железобетона: плиты, балки, колонны, ригеля. Около 200 автомобилей пришли из Миасса (Челябинская область). Кабардино-Балкарский обком ВЛКСМ выдал комсомольские путевки на стройку 25 квалифицированным специалистам: слесарям, сборщикам, шоферам, продавцам. Воронежский филиал института «Гипрокоммундортранс» закончил проектирование трамвайного сообщения для нового города на Каме. Среднеуральский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (Свердловская область) отгрузил 144 тонны металлоконструкций, изготовленных сверх плана. Саранский экскаваторный завод пригласил на стройку 46 экскаваторов...

Рабочие «Главмосстроя» и «Главленинградстроя» из блоков, изготовленных в Москве и Ленинграде, возводят на камской площадке жилые массивы. Здесь поднимаются дома серии НЧ («Набережные Челны»). Эта серия подготовлена московскими архитекторами специально для автозаводцев. Здания отличаются улучшенной планировкой квартир, оригинальной внутренней и внешней отделкой. Сейчас комплексная бригада ленинградцев, возглавляемая Героем Социалистического Труда Николаем Здобновым, строит самый большой в городе дом. В нем будет 324 квартиры — общей площадью 11 700 квадратных метров.

\* \* \*

«Ветераны» стройки (конечно, это название можно применить здесь весьма условно — ведь работы на площадке начались, по существу, в 1969 году) уже переселились в новые дома. Однако с жильем в Набережных Челнах пока очень трудно. Прибывающих рабочих приходится размещать в общежитиях, на частных квартирах, в передвижных домиках. В городе пока не хватает столовых, магазинов, школ. Но каждому понятно, что трудности эти временные, что преодолеть их удастся в сжатые сроки. В самом деле: если в прошлом году было введено в эксплуатацию 100 тысяч квадратных метров жилья, то в нынешнем — 275 тысяч, а в следующем году только в новой части города, в северо-восточном районе, будет возведено более пятидесяти зданий общей площадью 235,6 тысячи квадратных метров. Так же быстро расширяется сеть предприятий бытового и культурного обслуживания. В этом году автозаводцы получают 4 школы, 6 детских садов, 8 магазинов, 4 столовых. Сооружается первый в городе Дворец культуры, 14-этажная гостиница.

Большинство строителей Камского автозавода — молодежь. Средний возраст жителей Набережных Челнов — 23 года. Это тоже своеобразный рекорд: ведь даже на комсомольской стройке — Братской ГЭС — средний возраст рабочих был 26 лет. Для многих наших молодых людей работа на камской площадке явилась началом самостоятельной трудовой жизни. И потому с небывалой остротой встала в Набережных Челнах проблема профессиональной подготовки кадров.

Сейчас более десяти тысяч рабочих садится по вечерам за парты — на курсах повышения квалификации, в школах рабочей молодежи, в ау-

диториях энергетического и строительного техникумов, филиала инженерно-строительного института.

В Набережных Челнах появились уже и автомобилестроители, которым суждено стать хозяевами будущего завода. Они должны смонтировать, пустить и наладить оборудование, а затем освоить массовый выпуск грузовиков. Часть из них приехала с родственных заводов страны. Остальные — с машиностроительных предприятий нашей республики. Началась и энергичная подготовка квалифицированных рабочих и специалистов для автозавода в учебных заведениях Татарии. Новую для себя «профессию» приобрел Казанский авиационный институт — здесь открыт факультет автостроения, который готовит для нового производства конструкторов и технологов.

Редкий день кто-нибудь из работников Татарского обкома партии не вылетает на камскую площадку. Редкий час в кабинетах обкома не раздастся междугородный звонок: вызывают Набережные Челны. И это вполне естественно. Страна дала строителям все, что необходимо для нормальной целеустремленной работы: деньги, проекты, научно сбалансированные планы, материалы, оборудование, машины, квалифицированных специалистов. И теперь все зависит от людей — от их организаторских способностей, от их психологического настроя, от их идейной зрелости.

Своевременный пуск Камского автомобильного завода коммунисты республики считают своей самой важной, самой ответственной задачей в девятой пятилетке.

В Директивах XXIV съезда КПСС записано: «Создать комплекс заводов по производству грузовых автомобилей в Татарской АССР и смежных предприятий в прилегающих районах». За этими строками Директив — глубокая уверенность партии в колоссальных возможностях нашей экономики, в творческой энергии и энтузиазме советских людей.



# ПУБЛИЦИСТИКА

Л. АБАЛКИН

★

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБЩЕСТВО

### НА ПОРОГЕ НОВОГО ЭТАПА

Привычка смотреть на достигнутый уровень развития науки как на нечто законченное и абсолютное — довольно распространенное явление. Примеров тому множество. Для курьеза приведем высказывание Дж. Ст. Милля, который более ста лет тому назад утверждал: «По счастью, в законах ценности (стоимости.—Л. А.) нет ничего такого, что бы оставалось разъяснить современным или будущим писателям; теория этого явления совершенно законченна»<sup>1</sup>.

Это было написано до того, как К. Маркс совершил революционный переворот в теории стоимости, обосновав ее подлинно научно. Однако и сегодня нельзя считать, что теория этого явления (как и любого другого явления экономической жизни общества) «совершенно законченна». Экономическая наука развивается в тесной связи с прогрессом общественного производства и сама служит теоретическим фундаментом этого прогресса.

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии говорилось об ответственности, которая ложится на советскую экономическую науку: «За последние годы она добилась известных успехов. Но быстрое развитие народного хозяйства, новые задачи, которые предстоит решать нашей экономике, выдвигают немало сложных теоретических и практических проблем, требующих пристального внимания как хозяйственных органов, так и ученых».

Что мы знали, когда приступали к строительству нового общества? — спрашивал В. И. Ленин. И отвечал: «...То, что преобразование должно исторически неизбежно произойти по такой-то крупной линии, что частная собственность на средства производства осуждена историей, что она лопнет, что эксплуататоры неизбежно будут экспропрированы»<sup>2</sup>. Эта «крупная линия» исторического развития была установлена К. Марксом и Ф. Энгельсом с исключительной научной точностью. Но она еще не содержала в себе развернутого учения о законах развития социалистической экономики, о механизме ее функционирования.

Создание такого учения — гигантская историческая задача, которая выпала на долю В. И. Ленина. Разработанная им экономическая теория социализма раскрыла пути становления, развития и функционирования социалистической экономики. Ленинскими трудами открывается история политической экономики социализма.

Казалось бы, теоретическое наследие Ленина изучено достаточно полно, почти исчерпывающе. Однако сталкиваясь с новыми проблемами, мы вновь и вновь нахо-

<sup>1</sup> Дж. Ст. Милль. Основания политической экономики. Киев. 1896, стр. 390.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 379—380.



дим в трудах великого мыслителя советы и указания по самым животрепещущим вопросам.

Выводы, сделанные Лениным по вопросам экономической теории социализма, были самым тесным образом связаны с поисками эффективно функционирующего хозяйственного механизма, с налаживанием «сложной и тонкой сети новых организационных отношений, охватывающих планомерное производство и распределение продуктов»<sup>3</sup>. Именно эта идея сегодня необычайно актуальна.

Не пытаюсь проследить всю историю развития политической экономии социализма, отметим лишь, что этот путь оказался не только сложным, но и весьма извилистым. Во всяком случае, академик С. Г. Струмилин имел основание сказать, что «социализм в нашей стране был построен на практике значительно раньше, чем написан первый учебник по теории политической экономии социализма»<sup>4</sup>.

В довоенные годы насущные задачи практического хозяйствования требовали решения неотложных, важных, но относительно частных, если смотреть с точки зрения теории, проблем. Это заставляло ученых в первую очередь обращаться к вопросам сугубо конкретным, практическим. Можно легко понять пафос одного из экономистов тех лет, который писал: «Политическая экономия социализма — это не выдуманные абстрактные схемы и методологизированные построения, лишенные исторического реального содержания, а живая практика диктатуры пролетариата, социалистического строительства»<sup>5</sup>.

В 30—50-е годы советская экономическая наука сделала немало для выяснения закономерностей развития общественного производства. Были изучены наиболее важные особенности социалистической экономики, осуществлена первая научная систематизация законов и категорий политической экономии социализма. Но, к несчастью, иногда борьба за более тесную связь науки с жизнью приводила к тому, что свертывалось исследование коренных проблем экономической теории, а применение марксистской методологии сводилось к простому цитированию.

Б. Г. Кузнецов в своей работе «Физика и экономика», сравнивая развитие двух этих наук, писал: «Большой ущерб экономической теории (а потому и экономической практике) был нанесен появившейся с начала 30-х годов тенденцией требовать под угрозой обвинения в схоластике практических выводов от каждого теоретико-экономического исследования. В физике такие требования иногда звучали, но к ним, как правило, не относились всерьез»<sup>6</sup>. Приходится констатировать, что к подобного рода требованиям в области экономической науки долгое время относились вполне серьезно. Отрицательное влияние на развитие экономической науки оказала монополизация права на развитие теории одним человеком. Постепенно становилась очевидной недостаточность такого подхода к изучению экономики.

Политическая экономия в лучшем случае говорила о том, что делать, не отвечая на вопрос, как делать. Она не доводила познание экономических законов до обоснования хозяйственного механизма социалистического общества, не раскрывала путей и способов их наиболее эффективного использования. Она не превратилась в теорию рационального социалистического хозяйствования. Решение этих проблем — важная задача современного этапа в развитии политической экономии социализма.

Путь для подъема экономической науки был расчищен партией. В решениях XX съезда КПСС осуждены проявления догматизма и чужденчества в науке. Исключительно большое внимание уделяет партия развитию экономической теории, экономической стороны марксизма.

Ф. Энгельс в одном из писем заметил, что «если у общества появляется техническая потребность, то это продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов»<sup>7</sup>. Такая «техническая потребность» — применительно к экономической науке — выявилась, в частности, при осуществлении хозяйственной реформы. Сама реформа стала учителем экономической науки, ее экзаменатором, требовательным и

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 171.

<sup>4</sup> С. Г. Струмилин. На путях построения коммунизма. М. 1959, стр. 5.

<sup>5</sup> Д. И. Черномордик. Экономическая политика СССР. М.—Л. 1936, стр. 3.

<sup>6</sup> Б. Г. Кузнецов. Физика и экономика. М. 1967, стр. 43.

<sup>7</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 39, стр. 174.

справедливым. Если когда-нибудь будет написана биография политической экономики социализма, то период хозяйственной реформы с полным основанием можно бы озаглавить: «Мои университеты».

В процессе разработки и применения новой системы планирования и экономического стимулирования было восстановлено ленинское понимание единства и взаимосвязи политической экономики и экономической политики. Хозяйственная реформа показала, что и как может сделать наука для выработки действительно эффективного курса экономической политики.

Разработка новых проблем, вступление науки в новый этап связаны и с самой логикой ее развития. Проблемы относительно простые уже решены, накоплен эмпирический материал, создана система понятий и законов. И если наука не перейдет к новому, более сложному классу задач, она начнет «буксовать», двигаться не по спирали, а по кругу.

Реформа выявила пробелы в знаниях испытуемого, обнаружила немало «белых пятен». Наглядно стали видны два существенных пробела. О первом уже шла речь — иные положения о законах экономического развития «работали» плохо по той причине, что они были сформулированы в самом общем виде. Не был раскрыт механизм их действия, не были определены наиболее эффективные формы и методы их использования.

Второй пробел, обнаруженный реформой в экономических знаниях и теоретических выводах, — отсутствие совершенно необходимой комплексности. Хотя ученые показали роль экономических рычагов и обосновали возможность применения некоторых из них, не была изучена связь в работе этих рычагов, роль каждого именно как составной части системы. Естественно, это не могло не сказаться на практике хозяйствования, где разные рычаги иногда действовали в противоположных направлениях. Так, например, требование всемерно повышать производительность труда и сокращать излишнюю рабочую силу находилось в противоречии с условиями образования фондов поощрения. Размер этого поощрения ставился в зависимость от величины фонда заработной платы, который, в свою очередь, находится в тесной связи с числом рабочих. Получался парадокс: рост производительности труда и сокращение занятых на предприятии людей «поощрялись» снижением фондов материального стимулирования.

Положение о предприятии, существенно расширившее его права, не было подкреплено необходимыми гарантиями соблюдения этих прав. В результате в прошедшие годы хозрасчетные права предприятий нередко ущемлялись, а экономические методы хозяйствования подменялись администрированием. К примеру, министерства и ведомства часто пересматривали в течение года задания заводов и фабрик. При этом изменения одних показателей вносились без увязки с другими и без обсуждения с предприятием. Например, в 1968 году план Московского нефтеперерабатывающего завода по номенклатуре изменялся 15 раз, а задания по объему реализации — 2 раза. Другие показатели оставались без изменений. Примерно таким же операциям подвергалось и годовое задание волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь». Здесь в течение года план по номенклатуре изменялся 2 раза, по прибыли — 7 раз, по фонду заработной платы — 5 раз, по фондам экономического стимулирования — 2 раза. «Плановые метаморфозы» подобного рода явно не содействуют успеху реформы, они подрывают самую суть новых методов планирования и экономического стимулирования.

Такие нарушения оказались возможными из-за некомплексного осуществления реформы. Экономическая жизнь предприятий строится на новой основе, а условия работы министерств, главных управлений практически остались прежними: оценка их деятельности не находилась (и пока еще не находится) в прямой зависимости от эффективности работы предприятий. Хозрасчет их не коснулся.

Однако возможно ли полное осуществление хозрасчета «по вертикали»? Многие экономисты и юристы отвечают на этот вопрос отрицательно. Они считают, что хозрасчет в принципе неприменим к работе государственного учреждения. Но ведь учреждение учреждению рознь. Министерства и главки не просто учреждения, а хозяйственные органы, то есть учреждения экономического типа, центры определен-

ных хозяйственных систем — отраслей и подотраслей народного хозяйства. Если вся система должна функционировать на принципах самокупаемости, покрывая все расходы собственными доходами, получая прибыль и обеспечивая рентабельность, то нет оснований центр такой системы изымать из хозрасчетного режима.

Новые условия развития экономики, говорил на XXIV съезде КПСС Л. И. Брежнев, «не позволяют довольствоваться сложившимися формами и методами, даже если они хорошо служили в прошлом». Значит, надо двигаться вперед, искать новые, более эффективные подходы к практике управления, создавать наиболее целесообразные условия хозяйствования. Коренная проблема, которая стоит сегодня перед экономической наукой, — разработка теории функционирования хозяйственного механизма, его особенностей в развитом социалистическом обществе. Исследования в этой области кладут начало новому этапу в развитии экономической науки.

Разработка названной проблемы должна быть, во-первых, в достаточной степени комплексной, во-вторых, опираться на решение ряда крупных проблем экономической теории, на единую теоретическую концепцию.

### ВРЕМЯ ТЕОРЕТИКОВ РЕФОРМЫ

В ходе одного из научных обсуждений автору пришлось услышать такое высказывание довольно известного экономиста: «Время теоретиков реформы прошло, наступило время ее чернорабочих!» Фраза, которая в иной аудитории могла вызвать аплодисменты, была встречена с недоумением.

В самом деле, можно ли утверждать, что наступило или наступит время, когда теория должна будет замолчать, считая все свои вопросы решенными? Полагаю, что любой ученый-естественник отвергнет идею законченности познания мира. А ведь естественные науки имеют дело, в общем-то, с неизменными от века к веку законами природы.

Социальная материя — предмет изучения общественных наук — изменяется постоянно. И теория, устанавливающая законы этих изменений, не может стоять на месте. Приращение роли теории или представление о ее законченности неизбежно отражается на прикладных разделах науки: лишены своего фундамента, они оказываются весьма неустойчивыми, подверженными многочисленным колебаниям конъюнктуры.

Отставание экономической теории и последствия такого отставания начинают все более осознаваться в наши дни. В советской экономической науке, писал И. И. Кузьминов, преимущественно развивались прикладные дисциплины «без соответствующего усиления внимания к фундаментальной, теоретической части науки, т. е. политической экономии. В результате этого создалась своеобразная диспропорция между теоретической и прикладной частями экономической науки, которая стала тормозить и развитие прикладной науки»<sup>8</sup>.

Серьезный ущерб развитию политической экономии и экономических наук в целом нанесла недооценка коренных методологических проблем. Вряд ли надо доказывать, что без исследования и разработки метода не может быть и успешного развития самой науки. Сейчас едва ли не каждая вторая работа по вопросам экономической науки выходит с подзаголовком «Вопросы теории и методологии». Однако в последнее время вопрос о методе научного исследования экономических явлений и процессов как-то незаметно был подменен вопросом о методологических основах построения курса (иногда добавляется — «научного») политической экономии социализма. Споры нет — создание по-настоящему хорошего, содержательного учебника является весьма важной и актуальной задачей. Но нельзя забывать, что учебник все-таки представляет собой изложение истин, уже добытых наукой, а не сам процесс «добычи» научного знания. Поэтому и метод изложения не может существенным образом не отличаться от метода исследования.

Иногда можно встретиться с утверждениями о том, что есть, дескать, метод,

<sup>8</sup> И. И. Кузьминов. Очерки политической экономии социализма. М. 1971, стр. 20—21.

разработанный автором «Капитала», и поэтому нет и не может быть особого метода политической экономии социализма.

Несомненно, значимость метода «Капитала» исключительно велика не только для политической экономии социализма, но и для всех наук — и общественных и естественных. Но в каждой из областей научного познания он проявляется в многообразии особенного и специфического в соответствии с многообразием и спецификой предмета исследования. К сожалению, очень часто мы встречаемся с общими ссылками на диалектику как метод познания лишь во введении или предисловии, которые забываются уже на следующей странице.

Поверхностное отношение к экономической теории связано подчас с боязнью схоластики. Бессспорно, схоластика представляет собой опасную болезнь. Для нас навсегда сохраняют свою ценность ленинские указания о борьбе против составления «пустяковых тезисов», «голых абстракций» и «претендующих на принципиальность словопрений». Но именно В. И. Ленин предупреждал: «...кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натякаться» на эти общие вопросы. А натякаться слепо на них в каждом частном случае значит обрекать свою политику на худшие шатания и беспринципность»<sup>9</sup>.

Требования всемерного развития теории и укрепления ее связи с практикой неразрывны. Их единство ярко воплощается в теоретической и политической деятельности Центрального Комитета КПСС. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду указывалось, что «наша партия — партия научного коммунизма. Она неуклонно руководствуется марксистско-ленинской наукой, самой передовой, революционной наукой современности, делает все для ее дальнейшего развития. Теоретическое осмысление явлений общественной жизни, ее главных тенденций, позволяет партии предвидеть ход общественных процессов, выработать верный политический курс, избежать ошибок и субъективистских решений».

За годы, прошедшие после октябрьского (1964) Пленума ЦК КПСС и XXIII съезда партии, проделана значительная теоретическая работа. Она явилась результатом коллективной деятельности Центрального Комитета, партийных и научных кадров. «Однако Центральный Комитет не считает, — отмечается в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду, — что в области теоретической работы у нас обстоит все удовлетворительно. Многие проблемы еще только намечены, они ждут своей глубокой разработки».

Долг советских ученых-экономистов — делом ответить на призыв партии. Для этого необходимо в первую очередь творческое развитие экономической теории.

Марксизм-ленинизм никогда не был сводом неизменных правил и готовых «рецептов». Ф. Энгельс говорил, что учение К. Маркса — «это не доктрина, а метод. Оно дает не готовые догмы, а отправные пункты для дальнейшего исследования и метод для этого исследования»<sup>10</sup>. Как бы продолжая эту мысль, В. И. Ленин писал: «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты *должны* двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни»<sup>11</sup>. Лучше и яснее не скажешь!

Творческое развитие теории невозможно без признания за ученым права на новые выводы, на новое слово в науке. Общество, заинтересованное в развитии экономической науки, должно гарантировать это право, требовать, чтобы против любого теоретического положения выдвигались лишь научные аргументы. Это отвечает нашим коренным, наиболее глубоким интересам и полностью соответствует указанию XXIV съезда КПСС о необходимости создания подлинно творческой обстановки и атмосферы смелого поиска.

Следует сказать и о некоторых практических делах и нуждах экономической науки вообще, ее теоретического звена — в первую очередь. Потребности дальнейшего

<sup>9</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 15, стр. 368

<sup>10</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 39, стр. 352.

<sup>11</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 184.

развития теории вызывают необходимость решения ряда организационных и иных вопросов. До сих пор в стране отсутствует единый центр, разрабатывающий проблемы политической экономии социализма. Предложения о его создании, о ликвидации диспропорции между потребностями науки и организационными формами ее развития уже высказывались в печати. «На современном этапе сложилось резкое противоречие между потребностями в крупных и глубоких исследованиях в области политической экономии социализма и организационными формами руководства и развития этой науки, — пишет В. Д. Митрофанов. — Сосредоточению сил на исследовании крупных теоретических проблем политической экономии социализма, носящих методологический характер, реальной координации научной деятельности советских политэкономов решающим образом, по нашему убеждению, мешает отсутствие в стране единого научно-исследовательского учреждения по разработке политической экономии социализма»<sup>12</sup>.

Многие вопросы необходимо решить в области издательской деятельности, приведя ее в соответствие с современными требованиями к экономической теории.

Уже давно серьезные нарекания вызывает бедность и неполноценность статистических публикаций. Это стало одним из существенных препятствий для изучения и осмысливания реальных закономерностей развития социалистической экономики.

Необходимо обратить внимание и еще на одно немаловажное обстоятельство. Теоретический уровень подготовки экономических кадров в вузах и молодых научных работников за последнее время снизился. Бурный прогресс научного знания, дифференциация науки привели к насыщению учебного плана экономических вузов многими новыми и весьма важными дисциплинами. Повысились требования к математической подготовке будущих специалистов народного хозяйства. Но при этом как-то незаметно ослабло внимание к их теоретическому образованию.

Достаточно сказать, что современные учебные планы и программы отводят на изучение «Капитала» К. Маркса (всех его трех томов) лишь 15 недель. Если бы одновременно студент не занимался ничем другим, то все равно в этот срок он не смог бы достаточно глубоко и основательно освоить этот гениальный труд. Задача усложняется тем, что при изучении «Капитала» сейчас необходимо учитывать все достижения экономической науки, накопленные за последние сто лет. И это естественно: экономическая теория должна быть прочно «привязана» к сегодняшнему дню.

Мало внимания теории экономической науки уделяют программы различных курсов по подготовке и переподготовке руководителей и организаторов производства.

Даже научные работники — специалисты по конкретным отраслям экономики нередко плохо разбираются в общетеоретических проблемах. Экзамен по политической экономии не входит в кандидатский минимум, обязательный для будущих ученых, специализирующихся по проблемам конкретной экономики и имеющих высшее экономическое образование.

Такое положение вряд ли можно признать нормальным. Сегодня для того, чтобы руководить производством, решать конкретные проблемы экономики той или иной отрасли хозяйства, необходимо глубокое знание основ теории марксистско-ленинской экономической науки. Именно так ставился этот вопрос на XXIV съезде КПСС, Директивы которого прямо требуют улучшить подготовку кадров «в первую очередь в области марксистско-ленинской экономической теории».

## СОЮЗНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Экономика всегда была и будет сферой хозяйственной деятельности людей, а ее законы — законами человеческой деятельности. Поэтому при комплексном и широком взгляде на экономическое развитие нельзя упускать из поля зрения всю совокупность социальных факторов, в том числе мотивы деятельности людей, их настроения, привычки, образ мыслей и т. д. Все это чрезвычайно важно учитывать в проведении экономической политики.

<sup>12</sup> «Экономические науки», 1971, № 3, стр. 126.

Обратимся к примеру. Во всех социалистических странах, где существует значительный по удельному весу мелкотоварный сектор, рано или поздно возникает необходимость его обобществления. В любой из этих стран действует закон превосходства крупного производства над мелким. Но с учетом настроения масс и сложившихся традиций, а также других социальных и социально-психологических факторов осуществление этой необходимости не может быть одинаковым как по темпам, так и по форме.

Отказ от учета социальных моментов отрицательно влияет на эффективность отдельных мероприятий, а в теории ведет к грубому «экономизму», к тем примитивным представлениям, которые вырабатываются, как удачно подметил Г. С. Лисичкин, «исходя целиком из вульгарно-материалистического убеждения — стоит заплатить кому следует, и все будет сделано как надо»<sup>13</sup>.

Несостоятельность такого рода «теоретических концепций» уже много раз обнаруживала себя на практике. Пытаемся привлечь рабочих на трудные участки высокой оплатой — не получается. Повышаем ее еще больше — тот же результат. В чем же дело? Не учтены социально-психологические факторы, начиная от престижа и авторитета профессии и кончая условиями проведения досуга, наличием стадиона и клуба.

Существует такой шуточный рассказ. Предприятию требовались сторожа. Оно развесило по всему городу объявления, обещало высокую оплату труда — никто на работу не шел. Потом одному из кадровиков пришла идея: назвать эту должность по-новому — «начальник сторожевого поста». Говорят, что после этого не было отбоя от желающих поступить на работу. Конечно, это шутка. Но в ней есть очень большая доля правды. Действительно, спросят тебя: «Кем работаешь?» Сказать: «сторожем» — вроде бы неудобно, а «начальником сторожевого поста» — звучит.

Дальнейшее развитие социалистической экономики в решающей степени определяется последовательным осуществлением хозяйственной реформы. Однако повышение эффективности производства зависит и от тех или иных привычек хозяйственных руководителей, от умения работать, от «психологической восприимчивости» к новому. Не случайно Л. И. Брежнев говорил на XXIV съезде КПСС о том, что «для успешного выполнения задач новой пятилетки важно добиться у наших кадров определенных сдвигов в подходе к экономическим вопросам, изменения некоторых привычных представлений».

Иногда учет в хозяйственном руководстве социально-психологических моментов отвергается из-за опасения «психологизации» объективных процессов. Однако для этого нет оснований. Б. Д. Парыгин писал, что «за страхами и угрозами «психологизации» нередко скрывалось (правоммерно, видимо, употребить этот глагол и в настоящем времени — Л. А.) упрощенное представление о ходе и закономерностях исторического процесса. Пока есть основания больше опасаться другого — вульгаризации теории исторического материализма в духе чисто экономического детерминизма»<sup>14</sup>.

В работах некоторых ученых встречается довольно упрощенное понимание экономических законов и производственных отношений. Вся деятельность людей в обществе в целом часто рассматривается исключительно как субъективный фактор в противоположность действию экономических законов как фактору объективному. Понять истоки таких суждений нетрудно. Долгое время в отечественной науке господствовало мнение о том, что при социализме нет и не может быть объективных законов, а законы «советского хозяйства» порождены волей пролетарского государства. Поэтому народнохозяйственный план объявлялся экономическим законом социализма.

Такие взгляды отрицательно влияли и на развитие теории и на хозяйственную практику. Сторонники противоположной точки зрения развивают в своих работах представление о действии объективных законов, которые не только не зависят от воли и желания людей, с чем трудно не согласиться, но и осуществляются вне и помимо человеческой деятельности.

<sup>13</sup> Г. С. Лисичкин. План и рынок. М. 1966, стр. 8.

<sup>14</sup> Б. Д. Парыгин. Социальная психология как наука. Л. 1967, стр. 179.

Сторонники подобных взглядов забывают о том, что экономические законы не имеют иной реальности помимо той, которая связана с деятельностью людей в сфере хозяйственной жизни. Помимо этой деятельности они не проявляют себя. Признание этого факта особенно важно сейчас в связи с необходимостью разработки планового механизма социалистического хозяйствования.

При этом следует учитывать, что различные виды человеческой деятельности довольно тесно переплетены и связаны воедино. Именно поэтому перед нами и возникает задача комплексного изучения деятельности людей, которая может быть выполнена только коллективными усилиями различных наук.

Для дальнейшего совершенствования планирования и хозяйственного руководства необходимо, например, преодолеть настороженность в отношениях между представителями экономики и математики, наладить деловые контакты. Широкое внедрение математических методов в экономическую науку — процесс закономерный. «Могущественный ток, — писал В. И. Ленин, — к обществоведению от естествознания шел, как известно, не только в эпоху Петти (Ленин не случайно называет родоначальника именно политической экономии. — Л. А.), но и в эпоху Маркса. Этот ток не менее, если не более, могущественным остался и для XX века»<sup>15</sup>.

С самого своего возникновения марксистская политическая экономия руководствовалась тезисом о единстве качественного и количественного анализа при изучении закономерностей общественного развития. «Капитал» К. Маркса — яркий образец такого единства. Достаточно сослаться не только на схемы воспроизводства и исследование дифференциальной ренты, но и на анализ нормы и массы прибавочной стоимости, тенденции нормы прибыли к понижению, органического строения капитала и нормы процента. Естественно, в исследовании социалистического хозяйства, когда от науки требуются практические рекомендации, одним из условий их обоснованности становится точная количественная характеристика. Если к этому добавить многовариантность возможных хозяйственных решений, то значение количественных методов, в частности оптимальных решений, становится понятным.

Иногда, обычно в пылу полемики, допускаются высказывания, которые никак не способствуют не только взаимной любви, но и элементарному деловому сотрудничеству экономистов и математиков. Мы имеем в виду и призывы заменить (никак не меньше) политическую экономию социализма «новой» экономико-математической наукой, с одной стороны, и упорное нежелание допустить «земные» математические методы и модели в священный храм экономической теории — с другой.

Порой мы встречаемся с такой фетишизацией одной из сторон, которая может нанести лишь вред не только общему союзу наук, но и каждой из «высоких договаривающихся сторон». Недавно корреспондент «Литературной газеты» беседовал с одним из руководящих работников Госплана СССР. Он спросил, можно ли считать строителей всегда виноватыми в срыве сроков сдачи объектов: ведь планы часто бывают несбалансированными, иногда плохо налажено снабжение строек материалами и оборудованием. «Я не уверен, что вы правы даже на пять процентов», — ответил представитель Госплана. Затем, ссылаясь на опыт Мосстроя, он стал доказывать, что нужна в первую очередь... математика. В Мосстрое, дескать, говорят, что нельзя работать без материалов, а без математиков. «Подчеркиваю, не материалов, а математиков»<sup>16</sup>.

Не будем обсуждать вопрос о том, на сколько процентов успех строительства зависит от сбалансированности планов и обеспеченности строек материалами. Разумеется, математика помогает решать и эти вопросы. Опыт Мосстроя показывает, каким именно образом их нужно решать. Но нельзя же закрывать глаза на то, что в целом проблемы сбалансированности снабжения остаются «большим местом» многих строек.

Современные экономико-математические методы — весьма тонкий и деликатный инструмент. Они дают желательный эффект при наличии ряда условий. Недавно экономист В. Н. Козлов выдвинул положение о различии механизмов «тонкого» и «грубого»

<sup>15</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 41.

<sup>16</sup> «Литературная газета», 1971, № 11.

регулирования экономических процессов. К механизму «тонкого» регулирования относятся, например, научная организация труда на предприятии, оптимальная загрузка оборудования и др. Но они могут не принести желаемого эффекта из-за неналаженности «грубого» механизма регулирования: из-за штурмовщины, несвоевременной и некомплектной поставки материалов, плохой обеспеченности транспортными средствами, нехватки рабочей силы и т. д.

Если стройка не обеспечена материалами, то математик начальнику строительного участка не нужен! Потребность в нем появляется тогда, когда устранены «грубые» помехи в работе и на повестку дня выдвигаются изыскание внутренних резервов производства, обеспечение оптимальных условий строительства.

Сложные проблемы возникают в связи с известной несовместимостью объективных экономических процессов и существующих экономико-математических методов. Действительность порой «не влезает» в модели. Как поступить в этом случае? Есть два возможных решения. Первый — патентованное средство Прокруста, который тоже имел своеобразную «модель» и подгонял «действительность» под ее размеры и параметры.

Второе решение связано с разработкой таких моделей, которые бы адекватно отражали специфику экономической действительности. Об этом требовании к математическим моделям пишет академик Н. П. Федоренко: «Никогда не лишне подчеркивать специфичность экономических систем. Это отнюдь не механические и даже не так называемые человеко-машинные системы, а системы социальные, где основным объектом изучения служат взаимоотношения людей. Это не только налагает ограничения на применение тех или иных методов кибернетики и математики в экономике, но и требует разработки принципиально новых, более совершенных и тонких кибернетических понятий и математических инструментов»<sup>17</sup>.

Разработке «методов» и «инструментов» должен предшествовать анализ специфики экономических процессов, выявление внутренних закономерностей развития социалистической экономики. А это, как уже говорилось, требует первоочередного развития экономической теории. Пока же она не дала ответов на многие насущные вопросы. Но «белые пятна» недолго остаются таковыми. На их месте возводятся те или иные теоретические построения. Пробел, оставленный политэкономии, заполняется представителями других экономических (и не только экономических) наук, которые подходят к делу со своими мерками и методами.

Конечно, в любой науке не может быть монополии, и право на ее творческое развитие не определяется полученным в вузе дипломом. Пусть на ниве экономической теории трудятся представители других наук. Это надо только приветствовать. Но при непременном условии, что они подходят к решению вопроса с позиций особенностей данной сферы общественной жизни, то есть как политико-экономии. Иначе не добиться успеха.

Человек, взявшийся за изучение быта и жизни какого-либо народа, должен предварительно овладеть его языком. Это требование применимо к любой науке. Иначе стоимость смешивается с потребительской стоимостью, цена — с оценкой, рента — с рентабельностью и т. д. В данной статье не место разбирать все эти вопросы, но об одном из них все же следует сказать. Речь идет о так называемой дефицитности экономики.

Даже человеку, далекому от проблем экономической теории, нетрудно понять, что народнохозяйственный план должен учитывать реальные возможности экономики. Можно, к примеру, увеличить за пятилетие производство стали на 25—35 миллионов тонн. Больше, видимо, нельзя ни по техническим, ни по экономическим причинам. Следовательно, план отражает известную ограниченность ресурсов.

Однако эту особенность плановых расчетов авторы иных трудовых поднимают до уровня глобальной характеристики социалистической экономики, которая, по их мнению, является дефицитной. Сторонники подобного взгляда считают важным недостатком экономической науки то, что в ней дефицитность материальных благ не характеризовалась как закономерность общественного воспроизводства. Дальше — больше.

<sup>17</sup> Н. П. Федоренко. О разработке системы оптимального функционирования экономики. М. 1968, стр. 23.



Особенностью социалистической экономики объявляется закономерное опережение потребностей над производством.

Обратимся к практике. Потребность, например, металлургии в сырье определяет мощность ее предприятий. Если эта отрасль в состоянии переработать за год а миллионов тонн железной руды, а ее производство (добыча железной руды) составляет а—х миллионов тонн, то «налицо действительно превышение потребностей над производством или дефицитность. Но разве это закономерность социалистического воспроизводства? Нет, это элементарная несбалансированность плана, которая должна быть устранена. И чем раньше, тем лучше.

Для обеспечения пропорционального развития экономики необходимо известное превышение производства над потребностями. В данном случае добыча железной руды должна составлять не а—х, а а+у миллионов тонн. То же самое и по другим видам средств производства.

Если обратимся далее к предметам потребления, то реальная потребность в них, то есть потребность, обеспеченная соответствующими денежными ресурсами, находящимися в руках населения, также должна быть меньше объема их производства. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии указывалось, что «производство товаров народного потребления должно расти более высокими темпами, чем денежные доходы советских людей».

Следовательно, нет оснований для вывода о дефицитности социалистической экономики как закономерности ее развития. Напротив, социалистическая экономика в принципе бездефицитна, и отношение к этому вопросу имеет важные последствия, отнюдь не безразличные для общества.

В самом деле. На начальном этапе социалистического строительства наша экономика была в значительной степени несбалансирована, по многим товарам имела место дефицитность. Для определенного этапа это было действительно неизбежно — слишком большие задачи стояли перед страной и слишком малым экономическим потенциалом она обладала. Отсюда необходимость исключительно высокой централизации плановых решений, жесткого фондирования при распределении ресурсов, преобладание административных методов в руководстве хозяйством и ограниченное использование товарно-денежных отношений.

Но методы и формы ведения хозяйства, сложившиеся в те годы, а также лежащие в их основе теоретические представления иные ученые стали рассматривать как имманентные условия социализма. Упускалось из виду, что они отражали специфические условия развития социалистической экономики на определенном этапе. «За эти годы,— писала М. Ф. Макарова,— выросло поколение государственных, хозяйственных и партийных руководителей, привыкших только к директивным методам руководства с ограничением методов экономических, связанных с материальным стимулированием производства через стоимостные формы. За указанное время выросли и успели состариться экономисты-теоретики социалистического способа производства. Под влиянием сложившейся практики руководства хозяйством развивалась и соответствующая теория социалистического производства как нетоварного»<sup>18</sup>.

Ныне в нашей стране построено развитое социалистическое общество. Современный этап экономического развития во многом отличается от периода 30-х годов. Чтобы полнее использовать заложенные в нем возможности повышения эффективности производства, надо заново проанализировать многие теоретические представления, сложившиеся 30—40 лет назад. Что касается тезиса о дефицитности социалистической экономики, то, на наш взгляд, он не отвечает объективным условиям современного производства.

## ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Одна из закономерностей современного этапа развития советского общества — все более широкое вовлечение трудящихся в управление производством. Формы этого вовлечения различны и многообразны. Они не ограничиваются участием в решении

<sup>18</sup> «Методологические проблемы экономической науки». М. 1967, стр. 77.

хозяйственных вопросов в рамках отдельного производственного коллектива, а поднимаются до обсуждения и участия в разработке глобальных планов и решений.

Вовлечение трудящихся в управление производством — одна из самых коренных и масштабных задач социалистического и коммунистического строительства. На нее неоднократно обращал внимание В. И. Ленин. Он требовал осуществить переход «к поголовному обучению всех трудящихся искусству управлять государством»<sup>19</sup>.

Чтобы управлять, надо быть компетентным. надо обладать определенной суммой знаний. Если мы хотим вовлечь трудящихся в управление производством — а мы этого хотим, — то необходимо обучить всех основам экономической науки.

Проблемы, связанные с обучением основам экономической науки, весьма многообразны. Начнем со средней школы. К концу пятилетки каждый молодой рабочий или колхозник, работник службы быта или служащий будет иметь среднее образование. Однако из всех гуманитарных наук хуже всего представлена в школьной программе наука, изучающая основу общественной жизни, ее экономический базис. Изучение курса «обществоведения» не решает проблемы. Сейчас наиболее существенный пробел в знаниях человека, имеющего аттестат зрелости, — отсутствие экономической подготовки.

Посильно ли пятнадцати-семнадцатилетним юношам и девушкам изучение экономической науки? Да, посильно. Это автор утверждает на основе имеющегося опыта. В течение нескольких лет при Московском институте народного хозяйства имени Плеханова успешно работает экономическая школа старшекласников, в программу которой входят основы политической экономии социализма, основы статистики и курс социалистического хозяйствования. В новом учебном году с помощью преподавателей института в школе № 555 города Москвы созданы классы с экономическим уклоном.

Накопленный опыт представляет несомненный интерес. Но все же это паллиатив. Ведь существуют, например, школы со специальным математическим уклоном, но это не значит, что математика должна быть исключена из программ других средних школ. А сегодня возникает необходимость обучения именно всех молодых людей основам экономических знаний. И потому необходимо, на наш взгляд, вначале в порядке опыта, а затем все более широко вводить в школьный курс особый предмет независимо от того, будет ли он называться политической экономия, основы экономических знаний или просто экономика. Нужно, далее, уже сейчас подумать над подготовкой учителей по этому предмету в педагогических вузах. Необходимо, наконец, изучение опыта тех социалистических стран, где уже налажено преподавание политической экономии в средней школе.

Однако проблема обучения основам экономических знаний намного шире. Она охватывает и высшую школу, и систему переподготовки кадров, и обучение трудящихся, занятых в многочисленных отраслях народного хозяйства.

До настоящего времени в высшей технической школе недооценивается значение экономического образования будущих инженеров. Считается, что дело инженеров — техника, конструкция, проект, а их экономическое обоснование — дело экономиста. Какой ущерб несет наше народное хозяйство от такого, с позволения сказать, «разделения труда»? Новая машина очень часто экономически оказывается неэффективной: ее стоимость растет быстрее, чем ее мощность и производительность. Например, самоходный буровой станок «АБШ», производительность которого вдвое выше ранее применяемых станков «НКР-100М», стоит в десять раз дороже своего предшественника. В ткацкой промышленности производительность новых автоматических станков повышена по сравнению с ранее выпускаемыми моделями на 10 процентов, а их стоимость увеличивалась в несколько раз.

Как тут не вспомнить об одном старом профессоре, который, обращаясь к будущим инженерам, говорил: «Инженер — это человек, который может за полтинник сделать то, для чего другому человеку потребуется рубль». Он, видимо, хорошо понимал единство технического и экономического подхода.

В связи с проводимой в стране хозяйственной реформой значительно усилилась тяга к экономическим знаниям. На многих предприятиях начала создаваться система

<sup>19</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 414.

последовательного обучения всех категорий работников экономике. Большое внимание проблемам политэкономики уделяется в системе партийного просвещения. Все это несомненно отрадные перемены. Но сегодня требуется нечто большее. XXIV съезд КПСС поставил задачу «добиться того, чтобы все рабочие, колхозники, интеллигенция стали сознательными борцами за осуществление экономической политики партии, действовали как государственные люди, в полной мере проявляя свои способности, инициативу, хозяйственную сметку». Для ее решения необходимо поднять на качественно новую ступень всю систему экономического образования.

Мысли, высказанные в этой статье о путях развития экономической науки, отнюдь не бесспорны. Автор стремился рассказать о проблемах наболевших, о вопросах, пока еще не решенных. Ряд из них остался, как говорят, «за кадром».

Экономическая наука в наши дни находится на подъеме, хотя на ее пути еще немало сложных препятствий. Их надо устранить, и притом возможно скорее. В этом кровно заинтересовано социалистическое общество, заинтересован каждый из нас.



---

АГЕЙ ГАТОВ

★

## «ПРОДОЛЖЕНИЕ СПИСКА БЛЕСТЯЩИХ ПОБЕД»

Свои заметки мы хотели бы начать с пространной цитаты: «Кто-то сказал: есть победители, которые хотели бы видеть в противнике тигра либо коршуна, только тогда они испытывают радость победы; их удручает противник, схожий с бараном или цыпленком. Другие победители, напротив того, одолев все и вся и видя, что мертвые мертвы, а сдавшиеся сдались, напускают на себя смирение, «признают вину и молят смерти»,— для них нет ни врагов, ни соперников, ни друзей, душевно опустошенные, они одиноко возвышаются над всеми, испытывая горечь победы. За нашим А-Кью такие пороки не водились, он всегда был доволен собой, и это, пожалуй, лишний раз доказывает, что духовная цивилизация Китая главенствует в мире».

Читатель бессмертной повести Лу Синя «Подлинная история А-Кью», откуда взята эта цитата, вероятно, помнит, что А-Кью, избитый в драке, не сразу преисполнился самодовольства, а лишь тогда, когда смекнул, как обратить свое поражение в победу. Не исключено, что этому способствовал пиетет, которым к нему прониклись с тех пор жители его родного Вэйчжуана. И все же А-Кью побаивался осторожных вэйчжуанцев. Заметив однажды, что выработанная им тактика вызывает одобрение, он совсем разошелся. Однако его почему-то продолжали задирать, и часто дело кончалось дракой. Со стороны могло показаться, что А-Кью опять «теряет лицо», так как всякий раз уходил если не побитым, то посрамленным. Но он не придавал этому значения. «Нынешний век ни на что не похож,— уверовал он.— Будем считать, что меня побил недостойный сын». Найдя в этом ответе утешение и закатив себе для острастки пару оплеух, он теперь был убежден, что в себе избил кого-то другого. Удовлетворенный одержанной над этим «другим» победой, он не уставал о ней рассказывать, все больше возвышаясь в собственном мнении. Остановиться А-Кью уже не мог. Слава его росла, а вместе с ней рос список одержанных им «блестящих побед»...

Бегло пересказанная нами здесь глава из «Подлинной истории А-Кью» называется «Продолжение списка блестящих побед». Называя точно так же и свои записки, мы лишь хотим напомнить читателю, что недавно отмеченное девяностолетие со дня рождения великого китайского писателя-реалиста Лу Синя совпадает еще с одной важной литературной датой нынешнего года — полувековым юбилеем его «Подлинной истории А-Кью». Напомнить и вместе с читателем порадоваться новому изданию в нашей стране тома избранных произведений Лу Синя, на этот раз — в библиотеке «Всемирной литературы», выпускаемой издательством «Художественная литература».

Да и как не вспомнить об этих поистине удивительных похождениях неудачника А-Кью, когда они так напоминают нам злоключения нынешних руководителей ведомства литературы и искусства в Пекине.

Вот что пишут они сегодня: «Образцы революционного театра, созданные под руководством нашего горячо любимого товарища Цзян Цин, показали нам блестящий пример правильного разрешения вопроса о разрушении и созидании... Рождение образцов революционного театра означает, что пролетарские революционные литература и искусство не только достигли новых высот, но уже оказали громадное воздействие на все дело пролетарской революции».

Об этих «блестящих победах» и их «громадном воздействии» в Пекине не устают рассказывать уже много лет, нами цитируется здесь одна из последних реляций — статья, напечатанная в майском номере журнала «Хунци» за этот год. Статья не оригинальная, таких сотни и тысячи. Но что поделать, если во всех случаях авторы пережевывают один и тот же тезис! Он, этот тезис, и в самом деле похож на реляцию хвастливого полковника вышестоящему начальству:

«На фронте литературы и искусства одержана всемирно-историческая победа, созданы три совершенно новых жанра искусства — современная революционная музыкальная драма, современный балет и музыкальная революционная пьеса в концертном исполнении. Эти три жанра вобрали в себя все лучшее, что создано искусством всех времен и народов, подняв его на такую высоту, какой не знала история человечества. Такой блистательный успех стал возможен благодаря тому, что за революцию в театре взялась лично Цзян Цин, которая смело ринулась в схватку с прежними «авторитетами» и твердой рукой очистила театр от феодальной, буржуазной и ревизионистской тухли, воплотив на сцене все без исключения требования Мао Цзэ-дуна к литературе и искусству, начиная с его Яньаньских выступлений 1942 года и кончая директивами периода культурной революции... Особую роль в нанесении сокрушающего удара по китайскому и советскому ревизионизму, мешавшим революции в театре, сыграли Всеармейское совещание по вопросам литературы и искусства, проведенное Цзян Цин весной 1966 года по личному указанию Линь Бяо, и политический отчет Линь Бяо IX съезду КПК» («Хунци», № 6—7, 1969 год, и № 5, 1970 год).

Сия победная реляция слово в слово воспроизводится и в передовых статьях майских номеров «Хунци», «Жэньминь жибао» и «Цзефанцзюнь бао» за этот год — последний орган принадлежит высшему военному командованию, этим, видимо, и объясняется столь лаконичный лексикон военного донесения с фронта. Аргументы же, приводимые авторами подобных статей в подтверждение своего тезиса, не оставляют сомнения в том, что задача разрушения решена действительно блистательно. Национальный театр, насчитывающий многовековую историю, подрублен под корень, его богатейший репертуар публично предан анафеме, то же самое проделано с художественной литературой (за исключением, разумеется, стихов Мао), с изобразительным искусством (культивируется лишь иконопись в прославление Мао) и гуманитарными науками (маоистская «эстетика» не в счет). Герострат и его современник — циньский император Ши-хуан выглядят пигмеями в сравнении с богоподобным Мао, теоретически обосновавшим «историческую необходимость» этой преступной акции и осуществившим ее по всем правилам разработанной им же «стратегии и тактики народной войны».

«Старую литературу и искусство — на мусорную свалку! От них разит, они источают яд, растлевают массы, одурманивают народ, разлагают диктатуру пролетариата», — кликушествовала 3 сентября 1969 года «Жэньминь жибао», признаваясь, что «никакого революционного театра не было бы и в помине», если бы «революционные массы» не покончили раз и навсегда со всей классической и современной литературой и искусством.

Итак, то блистательное, чего «еще не знала история человечества», пекинские культуртрегеры пытаются создать на «обломках» старой культуры. Совсем как в решении другой, политической задачи современности, сформулированной тем же Мао и великодушно обещавшим на развалинах поверженного мира («Если половина человечества будет уничтожена, то еще останется половина...») воздвигнуть «в тысячу раз более прекрасное будущее».

«Прекрасное сегодня» было шумно разрекламировано Пекином еще в 1968 году, когда со страниц газет месяцами не сходили восторженные отзывы о постановках новых спектаклей. В газетах появились исчезнувшие было за время «культурной революции» театральные объявления. Правда, по этим объявлениям нетрудно заметить, что в сто-

лице уцелели лишь три или четыре театральные труппы и функционируют только пять зрелищных предприятий. Но удивляет не это — число побед неумолимо растет, а число пьес также неумолимо сокращается. В 1966 году было официально объявлено о восьми идущих на сцене «шедеврах», в 1968 году их называлось шесть, юбилейный же месячник, пышно проведенный в мае 1971 года в ознаменование 29-й годовщины Яньаньских выступлений Мао, предлагал зрителям лишь четыре спектакля — балет «Красная женская рота» и музыкальные драмы «Взятие хитростью горы Вэйхушань», «Красный фонарь» и «Шацзябан» (они же — в концертном исполнении со включением в программу кантаты «Хуанхэ»). Из репертуара пекинских театров бесследно исчезли такие «шедевры» 1966 года, как «Красный утес», «Часовые под несновыми «гниями», «Барабаны на экваторе», не вошли в число юбилейных даже любимые детища Цзян Цин — балет «Седая девушка» и музыкальные драмы «Смелый налет на полк Белого тигра» и «Морской порт», отправленные на периферию.

Что же действительно новое, если говорить о «блестящем примере правильного разрешения задачи создания», принесла китайскому театру «культурная революция»? В общем, ничего. Все до едкого названные «шедевры» шли на сцене задолго до «культурной революции», как и исполнение кантаты «Хуанхэ», объявленной ныне «новейшим блестящим достижением революционной музыки» (она была написана Си Син-хаем и исполнялась в 40-х годах). Новое в том, что выдержавшие испытание временем спектакли и музыкальные произведения бесцеремонно переделываются, «обогащаются» цитатами из Мао Цзэ-дуна и музыкальными пассажами на эти же цитаты, подгоняются на потребу политическому курсу группы Мао. В этом и состоит «революционная» экспериментарская деятельность Цзян Цин, в этом группа Мао и видит «высшую задачу пролетарской литературы и искусства», призывая творческую интеллигенцию «окончательно разделиться с реакционной теорией «пишите правду». Статья под таким многообещающим названием («Гуанмин жибао», 16 сентября 1969 года) заканчивалась словами:

«Подлинная правда пролетарской литературы и искусства — это всемерно воспевать нашего великого вождя председателя Мао, воспевать непобедимые идеи маоцзэдунизма, со всей страстью создавать героические образы рабочих — крестьян — солдат и воспевать их славные подвиги». Подвиги, разумеется, тоже во славу Мао, ведь только об этом и кричит каждая строчка любой статьи. «Великолепные качества, которые проявляют герои, воспитанные на идеях Мао Цзэ-дуна, делают их более насыщенными, более типичными, еще более близкими к идеалу, а поэтому более обобщенными, чем люди в реальной жизни» («Гуанмин жибао», 20 декабря 1969 года).

Все ясно: требуются герои «еще более близкие к идеалу». Каков же этот «идеал»? Его иконописными образцами уже который год заполнены страницы газет, откуда они перекочевывают и в «революционный театр». Воспитание героя преданного Мао, готового умереть за него, «защищая исконную территорию» (китайская пропаганда не знает лозунга «защищать границы», речь всегда идет о «территории», территории «исконной»), суть главный элемент политики группы Мао и в вопросах литературы и искусства, которой после IX съезда КПК был придан еще более наступательный, агрессивный, откровенно антисоветский характер. Поэтому нельзя недооценивать роль театра Цзян Цин, ревностно выполняющего сегодня свою миссию в идеологической подготовке армии и населения Китая к войне с Советским Союзом, нельзя уже потому, что все другие формы художественного мышления народа сведены на нет и этот вид зрелища — единственное, что ему теперь доступно.

Этого в Пекине и не скрывают. «Революционный театр,— писала 19 декабря 1969 года «Гуанмин жибао»,— как раз и является превосходной школой войны, давая нам самый совершенный, самый волнующий предметный урок, помогающий каждому повысить военные знания и получить правильное представление о войне».

Школа войны! Три года подряд, с 1 октября 1969 года, когда пьеса «Взятие хитростью горы Вэйхушань» была поставлена в новой (если не ошибаюсь, четвертой по счету) редакции, газеты из номера в номер только об этом и твердят. Пьеса стала, мало сказать, штыком сезона, она рассматривается как документ особой политической важности. Что же случилось? В написанном на фактическом материале и изданном в 1957 году романе писателя Цюй Бо «Тайга в снегу», один из эпизодов которого лег в основу по-

ставленного год спустя спектакля, герои ведут себя, как и должно героям революционной войны: они знают, что от неволи их не избавят «ни бог, ни царь и ни герой», никто из них, включая и автора, ни разу не вспоминает Мао, не молится ему как идолу, врага они побеждают своим умом. В новой же редакции пьесы все совершается «по слову председателя Мао», в том числе и операция против укрывшихся на горе Вэйхушань бандитов, совершается лихо, весело, вопреки исторической правде — без каких-либо потерь со стороны наступающих. Мао незримо проходит через всю пьесу. В роли резонера, передающего его указания и комментирующего «великий стратегический курс», выступает начальник штаба полка, и бойцы всякий раз хором отвечают ему тоже цитатами. И так на протяжении всего спектакля: начальник штаба изрекает цитаты, бойцы дружно подпевают ему или же распевают те же цитаты на мотив популярных песен, нисколько не смущаясь тем, что цитируют их, часто в раскавыченном виде, задним числом: действие пьесы происходит в 1946 году, а ведущая ария героя начинается строкой из стихотворения Мао, написанного в 1963 году<sup>1</sup>.

И все же не только этим ограничилась правка Цзян Цин. Судя по газетным высказываниям, она дада образец «соединения революционного реализма с революционным романтизмом». Это уже творческий метод. Оказывается, Цзян Цин «поставила героическую личность командира разведывающего Ян Цзы-жуна в типические условия острой классовой революционной борьбы масс, проходившей хотя и в определенный исторический период, но имеющей всемирно-историческое значение, поскольку именно в этой обстановке (то есть в 1946 году в Маньчжурии, где началась гражданская война против гоминьдановских реакционеров.— А. Г.) герой... смог во всей полноте раскрыть актуальное международное значение идеи всемирной революции, поставленной ныне в порядке дня председателем Мао» («Хунци», № 11, 1969 год).

В актуальном значении этого спектакля для всего мира хочет убедить читателей и «Жэньминь жибао»: «В основе поведения Ян Цзы-жуна лежит революционная идея.

<sup>1</sup> Здесь требуется небольшое отступление. Этот опус Мао (он называется «Вторю товарищу Го Мо-жо») автор предваряет словами: «На мотив Мань цзянь хун». Стихотворение «Мань цзянь хун» («Стала красной от крови река») принадлежит перу полководца XII века Юэ Фэя, который с давних пор слывет в Китае кумиром националистов. Цюй Цю-бо, пламенный революционер, известный китайский писатель-коммунист, оставил об этих стихах Юэ Фэя убийственные строки, написанные за две недели до нападения японцев на Маньчжурию в 1931 году. В те дни китайские националисты вдруг уверовали, что японская военщина вот-вот нанесет удар по Советскому Союзу, и возликовали. И оказалось, что их настроения, в которых доминировала «жажда крови северных варваров», лучше всего выражали стихи Юэ Фэя, как «Хорст Вессель» у гитлеровских претендентов на мировое господство. «Эти людоедские вирши,— писал о «Мань цзянь хун» Цюй Цю-бо,— во все горло распевают сегодня литераторы-националисты... Они запевают войну, направленную на истребление трудящихся масс, войну, имеющую целью агрессию против Страны труда... Литераторы-националисты с ног сбились, разыскивая новые пути для прославления такой «священной войны...». В статье «Героизм мосек, или Литературные мясники», написанной несколько ранее, тот же Цюй Цю-бо свидетельствовал: «Подумать только какая отвага! Ставший легендой Юэ Фэй, оказывается, орал эти стихи, тоже втягивая страну в истребительную войну. Ну как тут империалистам не восхищаться этим людоедским духом! Ай моська, знать, она сильна, ей героизма не занимать! — похваляют они их».

Цюй Цю-бо хорошо понимал, какую опасность таит в себе рост националистических настроений. «Боевая задача на ближайшее время,— писал он в другой статье,— состоит в борьбе против рыцарства, против национализма, так как сейчас в «массовой литературе» на все лады проповедуются бредовые мечты тех, кто радеет о воскрешении Юэ Фэя... Вы хотите заставить трудящуюся молодежь поклоняться словно идолу «национальному духу», хотите ее, доведенную почти до бешенства вашими людоедскими заклинаниями, обуреваемую измененными страстями, бросить на убой, хотите... не гнушаясь ни ложью, ни красноречием, убедить трудящуюся молодежь стать для вас пушечным мясом, чтобы развернуть агрессию против Страны труда, чтобы убивать и калечить трудящихся, чтобы разгромить революцию. Сейчас это не так-то легко сделать».

Три десятилетия спустя после гибели автора этих пророческих строк, от руки палачей китайского народа — националистов-гоминьдановцев, людоедским виршам Юэ Фэя дал новую жизнь рядящийся в тогу коммуниста Мао Цзэ-дун. Он же отдал хунвэйбинам приказ надругаться над могилой Цюй Цю-бо, а совсем недавно в редакционной статье «Пятьдесят лет Коммунистической партии Китая», напечатанной всеми пекинскими газетами 1 июля 1971 года, назвал его «врагом китайского народа». Какая трагическая ирония!

«Пусть над пятью континентами и четырьмя океанами» развевается наше красное знамя (слова в кавычках — из упомянутого выше стихотворения Мао.— А. Г.), во имя нее он и отправляется в логово бандитов». Намек здесь на то, куда предстоит проникнуть армии в будущей «неотвратимой» войне, китайским читателям и зрителям более чем ясен: им давно настойчиво внушают, кого нужно сейчас считать «бандитами».

Да, такова уж природа тех, кто хоть раз вкусил от «моральной победы». Как и А-Кью, они не могут остановиться, они должны каждодневно подогревать себя пусть иллюзорными, зато все более разительными «победами», чтобы совсем не зачехнуть, не захиреть, не почувствовать свое реальное необратимое поражение.

Так оно и происходит в действительности. Не успели смолкнуть фанфары, возвещавшие о «беспрецедентном успехе» спектакля «Взятие хитростью горы Вэйхушань», как газетные страницы захлестнула волна восторгов по поводу «новой великой победы пролетарской революционной линии председателя Мао в области литературы и искусства, великой победы идей Мао Цзэ-дуна» (цитирую напечатанную 11 мая 1970 года всеми центральными газетами на первых полосах статью о премьер-спектакля «Красный фонарь» в ознаменование 28-й годовщины Яньаньских выступлений Мао, поставленном в новой редакции).

Это уже похоже на мистику. За два года до этого, 2 июля 1968 года, буквально теми же словами начиналось официальное сообщение агентства «Синьхуа» о просмотре Мао Цзэ-дуном... премьеры того же спектакля. Вряд ли газеты могли так быстро забыть о той «великой победе». Тогда они писали: «Несмотря на все препятствия, чинимые классовыми врагами, революционное крыло цзаофаней Ансамбля пекинской музыкальной драмы под руководством нашего горячо любимого товарища Цзян Цин добились беспрецедентного успеха в осуществлении революции жанра. Спектаклем «Красный фонарь» сломаны каноны архиконсервативной твердыни! В число национальных ударных инструментов оркестра включен рояль, изменена традиционная для жанра цзин-цзюй манера пения. Для фортепианной игры наступила новая эра: по империализму, советскому ревизионизму и реакции нанесен могучий удар». «Кто бы мог подумать, что рояль, этот «король» буржуазной музыки, прозябавший в лапах смерти, слившись с китайскими национальными ударными инструментами, станет мощным орудием выражения духа, воли и отваги пролетариата, пропаганды идей Мао Цзэ-дуна!» И наконец, «благодаря заново написанному либретто, постановка «Красного фонаря» стала самым ярким цветком в саду ста цветов революционного искусства» («Гуанмин жибао», 3 и 11 июля, 4 августа 1968 года).

Прошло два года, и вот оказывается, что «великая победа», «шедевр», «самый яркий цветок» — вовсе и не победа и не шедевр, что цветок зачах и нужна неотложная операция, чтобы он снова расцвел в «саду ста цветов». Но удалить злокачественную опухоль мало, нужно еще и что-то привить цветку, вдохнуть в него жизнь. И тут на помощь приходит испытанный способ А-Кью, каким он обратил поражение в победу: надо в себе избить кого-то другого.

Спектакль «Красный фонарь» — не новый. Еще в середине 50-х годов он шел под названием «Три поколения» и был тепло принят зрителями, хорошо помнившими мрачные годы японской оккупации. Герой пьесы, стрелочник-коммунист Ли Юй-хэ, получает задание узнать в подпольном комитете КПК новый код и с помощью сигнального фонаря передать его в горы партизанам. По доносу провокатора он схвачен. И тогда его мать рассказывает внучке тайну, которую хранила семнадцать лет. Оказывается, они вовсе не родные — бабушка, Ли Юй-хэ и внучка. Отец девушки был учеником у ее мужа и вместе с ним погиб во время забастовки. Его сигнальный фонарь взял себе Ли Юй-хэ, другой ученик погибшего мужа. Вдова стала ему приемной матерью, а он удочерил маленькую Те-мэй. Смотри же, Те-мэй, говорит бабушка, твой долг — расплатиться за кровь павших. Тем временем жандармы, ничего не добившись от Ли Юй-хэ, арестовывают бабушку и внучку. Но пытки не сломили стойких революционеров. Ли Юй-хэ и бабушка умирают, и тогда японцы выпускают Те-мэй на свободу, рассчитывая через нее выследить явки коммунистов. Смелая девушка обманывает их надежды. Прорвавшись через все препоны, она с помощью сигнального фонаря отца сообщает партизанам новый код.



Когда в 1963 году за эту пьесу взялась Цзян Цин, переделку ей удалось скрыть под названием «Достойная смена». Некоторое время спустя пьесу снова переделали, назвав «Красным фонарем». Отказаться от такого названия теперь, в новой (последней ли?) редакции, видимо, уже было неудобно, не признавать же поражением «великую победу!» Поэтому пошли по другому пути, махнув рукой на «революцию в музыке» и ассимиляцию рояля национальными ударными инструментами. Припомнили, что в первых вариантах пьесы «контрреволюционные элементы ни словом не обмолвились о ведущей роли вождя председателя Мао» («Гуанмин жибао», 11 мая 1970 года), и решили усилить в ней национальное «революционное начало».

Для этого была использована популярная в конце 30-х годов среди бойцов 8-й армии в провинции Шэньси песня «Марш Больших ножей»: «Опустим нож на головы чертей! На фронт, соотечественники!» С маршем «Больших ножей» в пьесу можно было включить и «Алеет Восток», и «председателя Мао», да еще сделать так, чтобы Маньчжурия, изнывавшая в тисках японской оккупации, ждала Мао как мессию, и когда наконец прониклась его «идеями», оккупанты капитулируют и никто посторонний не помогает ее освобождению.

Теперь герою пьесы, идущему на казнь, смело можно приписать возглас «Мао чжуси ваньсуй» («Многие лета председателю Мао»), после чего «великая победа революционного курса» кажется такой «ослепительной», такой «великолепной и ни с чем не сравнимой», что перед ней «меркнет и бледнеет прогнившее искусство ревизионистов», а «Красный фонарь» становится «еще более красным» («Жэньминь жибао», 12 мая 1970 года).

Но и это не все. В нынешней редакции пьеса обращена не столько в прошлое, сколько в сегодня и завтра, поэтому ее герой сделан «еще более близким к идеалу», теперь он, «водрузив Красный фонарь революции, вдохновляет многомиллионный народ нашей страны на окончательный разгром империализма, ревизионизма и реакции и полное освобождение человечества» («Гуанмин жибао», 10 мая 1970 года). А так как действие пьесы, как и во «Взятии хитростью горы Вэйхушань», происходит тоже на Северо-Востоке, в пограничной с Советским Союзом Маньчжурии, то новый лейтмотив спектакля — марш «Больших ножей» — приобретает особый смысл, тем более что заключительный клич «ш-ша!», в котором слышится свист падающего на голову меча, хор должен исполнять, по режиссерской ремарке, «яростно, гневно, во всю силу голоса» («Жэньминь жибао» и «Гуанмин жибао», 5 мая 1970 года).

Новая постановка «Красного фонаря», уверяют газеты, «уже привела в трепет империалистов, ревизионистов и реакционеров во всех странах» («Жэньминь жибао», 9 мая 1970 года). Ну как тут не вспомнить А-Кью с его «теорией моральной победы»!

В 1969 году пекинским газетам стало известно, что над спектаклем «Взятие хитростью горы Вэйхушань» зрители втихомолку посмеиваются: «Ну и что, опять «Шань хай цзин», сколько еще можно!» И несколько дней подряд вся пресса, приводя эту кощунственную реплику, только и писала что о враждебных происках. «Многочисленные факты третирования врагами революционного театра, ругань по его адресу, подрывная вредительская деятельность изнутри и нападки из-за рубежа никогда не прекратятся, если мы... не обрушим против них всей ярости», — негодовал журнал «Хунци» в октябре 1969 года в статье «Защитить революционный театр!».

Чем же этот «злонамеренный» отзыв так напугал руководящий теоретический орган группы Мао?

«Шань хай цзин», «Книга гор и морей» — самое древнее в Китае географическое сочинение, относящееся ко II веку до нашей эры. Собранные в нем разные сведения вперемишу с былями и небылицами давно никем не воспринимаются всерьез, разве что, уличив кого-либо во лжи, говорят: «Э, батенька, будет заливать! Шань хай цзин, бабушкины сказки!..»

Может быть, криминал в том, что напомирование об этой книге уводит зрителей в запретный мир классики? Вполне возможно. Но маоистская критика уловила в нем нечто большее, характерную для образного мышления китайцев склонность к аллегорическим аналогиям, умение посредством известного всем исторического примера и амекнуть на современность. «Шань хай цзин» как раз и есть такая аллегория.

Иероглиф «шань» (гора) входит в название спектакля «Взятие хитростью горы Вэйху-шань»; «хай» (море) — намек на другой шедевр Цзян Цин, пьесу «Хай ган» («Морской порт»), а «цзин» — общее название для книг конфуцианского канона. Намек, что и говорить, не из приятных: великие победы революционного курса председателя Мао — бабушкины сказки, только и всего.

Таким образом, «победители», сами того не желая, вынуждены скрепя сердце признать, что в Китае им мало кто верит, что факты, когда зрители смеются над ними, вовсе не единичны, а многочисленны, и сколько людям не вбивай в голову, что война это тот же театр и одолеть противника можно играючи, обмануть их не так-то просто. Вот Пекину и приходится молить о защите своего дитяти, хотя, казалось бы, после таких оглушительных «всемирно-исторических» побед тому приличествовало бы самому постоять за себя.

Призывая свои кадры и армию «защищать революционный театр и все пролетарское искусство», журнал «Хунци» объявляет врагом № 1 буржуазию и «советских ревизионистов». Переделка нескольких пьес и должна убедить зрителей, что в борьбе с «советским ревизионизмом» армия блестяще выполняет свою роль.

Ультрареволюционная фразеология, к которой так привержены в Пекине, прикрывает шовинистическое нутро программы. Нужны веские доказательства тому, что «диктатура пролетариата» в Китае — не абстракция, не отвлеченное понятие, а вполне реальное насилие в отношении эксплуататорских классов. И газеты из номера в номер не перестают громить буржуев. Но, странное дело, громят они не реальную буржуазию, а... изображаемую в литературных произведениях.

Много лет не стихает уничтожающая критика романа Чжоу Эр-фу «Утро Шанхая», изданного еще в 1958 году. Роман посвящен теме «мирного перевоспитания» капиталистов. В свое время газеты много и охотно писали об этом эксперименте как о крупном успехе политики КПК, вознося хвалу, естественно, Мао Цзэ-дуну. Теперь эту идею приписывают «ревизионистам», обвиняя их в том, что они внедряли ее с целью «реставрировать в Китае капитализм».

В критике романа Чжоу Эр-фу обращает на себя внимание прежде всего стремление авторов переключить шворот-навыворот историю первых лет КНР, перенести на послевоенные годы и наше время «анализ классов китайского общества», которым Мао оперировал в 1929 году и который уже тогда отличался крайне вульгарным, механистическим подходом автора к решаемой проблеме.

Критики как будто сговорились. В своих статьях — а их многие десятки! — они дружно расправляются с одними и теми же тремя капиталистами, олицетворяющими в романе разные слои китайской буржуазии тех лет, словно это не литературные персонажи, а всамделишные владельцы промышленных предприятий и торговых фирм, финансовые воротилы, наживающие барыши на эксплуатации шанхайского пролетариата. Нет того бранного слова, какого они не бросили бы в лицо этим «ненавистным буржуям». Писателя обвиняют в том, что он показывает капиталистов «преуспевающими», «облагораживает» их, «приукрашивает» действительность, не прививает читателям чувства классовой ненависти к врагу. Впечатление такое, что буржуи из романа «Утро Шанхая» и есть главный объект «диктатуры пролетариата», поскольку ни в Шанхае, ни в Кантоне, ни в любом другом городе Китая не только «пролетарские критики», но и сам пролетариат никакой борьбы с реальными капиталистами не ведут. Напротив, живут там капиталисты припеваючи, «диктатура пролетариата» прекрасно с ними ладит, назначает для «консультаций» в высшие органы государственной власти, устраивает для них специальные просмотры «революционных спектаклей», приглашает в праздники на трибуну Тяньаньмэня, наконец, преспокойно продолжает выплачивать им дивиденды спустя двадцать с лишним лет после победы народной революции. Диктатурой пролетариата здесь и не пахнет. Но как все это похоже на А-Кью, тоже утешавшего себя советами Конфуция: «Глубоко презирать и ненавидеть» — и на этом основании считавшего себя победителем!

К числу последних «блестящих» побед нынешних А-Кью, пожалуй, следует отнести и реакцию Пекина на издание в СССР перевода романа известного китайского писателя Лао Шэ «Записки о Кошачьем городе», печатавшегося в 1968 году в «Новом мире» и в 1969 году вышедшем отдельным изданием в издательстве «Наука».

Еще со времен Яньаньских выступлений Мао в 1942 году маоистские критики настойчиво прививают читателям и зрителям вульгарный, примитивный, дидактический подход к явлениям литературы и искусства. Для «анализа» творчества Лао Шэ, которым занята теперь в Пекине «массовая революционная критика», типичны все эти черты. Осенью 1966 года, в самом начале «культурной революции», за рубежом распространились слухи о самоубийстве Лао Шэ, затравленном хунвэйбинами. Пекин не опроверг, но и не подтвердил этих слухов. Три с половиной года официальная печать упорно хранила молчание, пока у нее не возник повод вспомнить Лао Шэ. О многом говорит раздражительное выступление по этому поводу литературного журнала на иностранных языках, издаваемого Пекином с пропагандистскими целями. После опубликования «Записок о Кошачьем городе» в Советском Союзе роман был переведен на ряд языков, издан за рубежом и получил широкую прессу, о нем заговорили, и Пекин уже не мог притворяться, будто ему ничего не известно. Роман и его автора нужно было во что бы то ни стало дезавуировать в глазах зарубежных читателей.

К статье, подписанной «Группой революционных критиков Пекинской гимназии», редакция журнала дала примечание, из которого становится ясно, что крупнейшего китайского писателя наших дней, произведения которого знают и любят не только у него на родине, но и за рубежом, человека, удостоенного в 1950 году правительством КНР почетного звания Народного художника, действительно затравили и его нет в живых: издание перевода произведений Лао Шэ в Советском Союзе расценено как «попытка социал-империалистов вызвать к жизни ушедший призрак бессовестного плута».

Нет нужды комментировать эту крикливую стряпню. В своем романе, написанном в 1933 году, Лао Шэ изобразил некое «Кошачье государство» на планете Марс, куда он случайно попал в результате катастрофы космического корабля. Читая этот роман, нетрудно с первых же строк понять его аллегорический смысл. Годы 1930—1933 характерны для Китая ростом националистических настроений, подогреваемых призывами заправил гоминьдана к антисоветским и антикоммунистическим погромам. Вздурораженные японской оккупацией Маньчжурии, китайские националисты были убеждены, что Япония со дня на день вступит в войну с Советским Союзом и тогда наконец сбудется их вожделения насчет «исконных территорий». Об этом в то время писали все гоминьдановские газеты. А вот как писал в «Записках о Кошачьем городе» Лао Шэ: «Поскольку люди-кошки не могут победить иностранцев, у них остается одна надежда — что чужеземцы сами перебьют друг друга. Для укрепления своей мощи нужна энергия, а кошки не любят ее расходовать. Они предпочитают молить богов о том, чтобы иностранцы ввязались в междоусобицу, которая тотчас позволит им, кошкам, стать сильнее, вернее, увидеть другие страны такими же слабыми, как и Кошачье государство». Великолепно владея оружием сатиры, Лао Шэ и рисует общество, доведенное националистическим угаром до абсурда.

Изниточая этот роман сегодня, пекинские критики выдали себя с головой, разве что на сей раз избив в себе не кого-то другого, а самих же себя, поскольку фактически взяли под защиту гоминьдановскую камарилью, ее идеологию, ее нравы. Лао Шэ вывел в романе типы двух высокопоставленных представителей «Кошачьего государства» — сатрапа Скорпиона, сходство которого с Чан Кай-ши не оставляет сомнений, и его сына — Скорпиона Младшего, рядящегося под либерала. Так воспринимают имена героев книги китайские читатели, так они переведены и русским переводчиком; одними именами центральных персонажей романа автор довольно определенно выразил свое отношение к ним: скорпионы! В статье же, печатаемой в упомянутом выше журнале имена обоих Скорпионов не переведены, а даны в английской транскрипции «Hsieh», ничего не говорящей зарубежному читателю, не знающему китайского языка.

Разделяясь с Лао Шэ, «революционные» критики-гимназисты призывают на помощь Лу Синя, ссылаются на его статью 1934 года «Потеряли ли китайцы веру в себя», хотя та не имеет никакого отношения к Лао Шэ. Они и марш «Больших ножей» в новой редакции «Красного фонаря» не прочь приписать тому же Лу Синю (см. «Жэньминь жибао», 12 мая 1970 года) и даже заявляют, что Лу Синь возлагал на Мао Цзэдуна «все надежды Китая и всего человечества» («Хунци», № 3, 1971 год, статья Чжоу Цзянь-жэня). Видно, эти «знаменосцы новой культуры» запомнили о реакции жите-

лей Вэйчжуана на подобные выходки А-Кью. Высказывать тому явное пренебрежение они, правда, не решались, но с некоторых пор все же предпочитали держаться от него подальше. С пиететом было покончено, особенно после того, как А-Кью расхвастался им по поводу казней в городе, невольным свидетелем которых оказался, и, подражая свисту меча, восторженно шипел «ш-ша!» — демонстрируя этим, как рубят головы.

Китайцы, хотя и лишены ныне возможности читать своего любимого писателя (с 1959 года произведения Лу Синя в Китае не печатаются), веру в себя не потеряли, в этом никто не сомневается. А вот критикам в Пекине она явно изменила. Ах, как их подводит автор А-Кью, ведь он первым стал составлять список «блестящих моральных побед». Дожили Лу Синь до наших дней, до каких умопомрачительных размеров он мог бы довести продолжение этого списка!



---

---

ПАВЕЛ СИМОНОВ,  
профессор

★

## ИСКРЯЩИЕ КОНТАКТЫ

(О некоторых общих проблемах физиологии мозга,  
психологии и этики)

«Идея детерминизма, устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нимало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий... Равным образом и идея исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся складывается именно из действий личностей, представляющих из себя несомненно деятелей».

В. И. Ленин<sup>1</sup>.

Одна из самых важных черт нынешнего этапа развития познания — взаимопроникновение и взаимообогащение различных, подчас далеких друг от друга областей науки. Эта тенденция проявляет себя с годами все более ярко. На наших глазах начинает сбываться предвидение основоположников марксизма о том времени, когда изучение природы и изучение человека сольются в гармоническое знание о мире, частью которого является человеческое общество. Однако процесс такого слияния, чрезвычайно сложный и диалектически противоречивый, чаще всего получает в науковедческих работах одностороннее толкование. Восторги по поводу плодотворности контактов между естественными и гуманитарными науками подчас заслоняют от нашего внимания те конфликты, которые неизбежно возникают в «пограничных» зонах. А между тем именно эти конфликты, как нетрудно догадаться, порождены реальными противоречиями изучаемых объектов и потому таят в себе взрывную силу неотвратимо приближающихся открытий. Мы поведем речь об одном из «пограничных» конфликтов между наукой о высшей нервной (психической) деятельности и комплексом наук, изучающих социальное поведение человека.

Физиология высшей нервной деятельности и отечественная психология на протяжении всего двадцатого столетия руководствуются фундаментальной идеей И. М. Сеченова о том, что причиной любого поступка человека, любой его мысли, любого, самого произвольного на первый взгляд побуждения может явиться только внешний толчок, оживляющий следы полученных ранее впечатлений. Эта идея, порожденная «гениальным взмахом сеченовской мысли» (Павлов), сыграла в свое время выдающуюся роль в борьбе с идеалистическими представлениями о «душе», неподвластной естественнонаучному анализу. Вместе с тем подобный «жесткий» детерминизм фактически лишает человека свободы выбора какого-либо одного поступка из ряда потенциально возможных в данной ситуации. «Выбор между многими возможными концами одного и того же психического рефлекса,— утверждал И. М. Сеченов,— следовательно, положительно невозможен, а кажущаяся возможность есть лишь обман самосознания... первая

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 159.

причина всякого человеческого действия лежит вне его»<sup>2</sup>. Поведение человека в целом на 0,001 предопределено его врожденными особенностями и на 0,999 — воспитанием «в обширном смысле слова». Хотя современный психолог, по-видимому, заметит, что доля врожденных задатков в поведении человека несколько больше одной тысячной, но в главном он будет совершенно согласен с Сеченовым. Легко согласится с этим взглядом и представитель кибернетики, чеховым интересам которого очень импонирует «мысль о машинности мозга», ибо она, по выражению Сеченова, «для всякого натуралиста клад...»<sup>3</sup>. Однако такое «тройственное согласие» еще не дает гарантий, что этот взгляд способен устоять под напором новых фактов, собранных в последние десятилетия наукой о высшей нервной деятельности человека.

Физиология высших мозговых функций послесеченовской эпохи, то есть первой половины нашего столетия, предстает в основном как наука о закономерностях и в известной мере о механизмах приобретения новых знаний, навыков и умений, как наука о запоминании и воспроизведении того, что сохранила память. Можно сказать, что в этих своих пристрастиях физиология мозга шла в ногу с психологией, избравшей основным объектом внимания действие и мышление как «свернутую», обобщенную, перенесенную внутрь мозга деятельность. В более широком плане физиологию мозга конца прошлого — первой половины настоящего столетия можно назвать физиологией регулирования многообразных функций организма от поддержания жизненных констант (уровень сахара в крови, осмотическое давление и т. п.) до регуляции движений, поступления пищи и воды. Естественно, в этой сфере физиологии сравнительно легко смогли сойтись во взглядах со сторонниками общей теории регулирования, разработанной для искусственных автоматических устройств. Известно, что принципы этой теории были распространены Н. Винером на деятельность живых организмов и получили название кибернетики.

Общая теория регулирования, накопившая к моменту своего превращения в кибернетику обширный запас сведений о принципах оптимального управления технологическими процессами, выработавшая точный язык оценки количества информации безотносительно к ее содержанию, несомненно оказалась весьма полезным и своевременным союзником «регуляторной физиологии мозга».

Но, при всех своих впечатляющих успехах, традиционная физиология даже в союзе с кибернетикой оставалась беспомощна в одном: она никак не могла приблизить нас к истинному пониманию целей и движущих сил поведения живых систем. Ведь в области конструирования автоматов вопрос о целях отпадает, поскольку цель привносится конструктором, будь то оптимальный режим сталеварения или распределение артиллерийского огня по территории, занятой противником.

Образовавшаяся брешь была заполнена ссылкой на «универсальный принцип самосохранения», суть которого состояла в том, что главная цель поведения всего живого — постоянно стремиться к покою и равновесию. Одним словом, «уравновешивание с внешней средой», организм-маятник, выводимый из желанного покоя коварной природой и непреклонно стремящийся к биологическому нулю, где, как в раю, «ни холодно, ни жарко, ни есть, ни пить не хочется». Столь фундаментальную цель живых существ нарекли гомеостазом, их поведение свели к ликвидации возникающих влечений, будь то голод, жажда или секс. При этом любое возбуждение есть штраф для нервной системы. А восстановление равновесия должен обеспечивать механизм «замкнутых рефлекторных колец». Схема замкнутого кольца с петлей отрицательной обратной связи поистине явилась «обручальным кольцом» для союза физиологии с кибернетикой. В чем ее суть? Недостаток питательных веществ, вредное воздействие (боль и т. п.) выводят живой организм из состояния равновесия и комфорта (гомеостаза). Это приводит в действие разнообразных механизмов, которые ликвидируют возникшие отклонения и восстанавливают нарушенный баланс. Сигнал о достижении равновесия (отрицательная обратная связь) прекращает приспособительную деятельность до нового отклонения.

В приложении к процессу длительной эволюции живых существ подобная схема заставляет утверждать, что единственной причиной развития, появления новых видов яв-

<sup>2</sup> И. М. Сеченов. Рефлексы головного мозга. М. Изд-во АН СССР. 1961, стр. 92.

<sup>3</sup> Там же, стр. 9.

ляются изменения в окружающей среде, требующие от живых организмов приспособительных перестроек в соответствии с новыми внешними условиями.

Справедливость такого утверждения вызывает серьезные сомнения. Известно, что органический мир на нашей планете изменялся несопоставимо быстрее, чем окружающая его природная среда. Среда лимитировала ход эволюции, отбрасывая нежизнеспособные мутации, но отбор, связанный с изменением внешних условий, представляет частный случай, а не закон развития в целом. Например, нельзя изображать дело так, будто земноводные появились только потому, что в определенную геологическую эпоху начали пересыхать водоемы, в которых обитали предки этих животных. Ведь немалая часть водных животных постоянно рвалась из воды. К этому их побуждали разные причины: исследовательская потребность, стремление к освоению новых территорий, поиски новых объектов охоты. Многие из предков земноводных погибали или отступали обратно в воду, но некоторые мутации оказались способны к постепенному освоению прибрежной каймы. Нам важно подчеркнуть, что эволюция в данном случае определялась целым набором причин, противоречащих принципу гомеостаза, который провозглашался абсолютно универсальным.

Универсализация принципа самосохранения оказывается еще менее продуктивной, когда ее адресуют к анализу человеческого поведения, поскольку человек «свободен не вследствие отрицательной силы избегать того или другого, а вследствие положительной силы проявлять свою истинную индивидуальность»<sup>4</sup>. Это рассуждение подводит нас к проблеме, от которой должна была прятаться традиционная физиология мозга, — к проблеме свободы выбора.

В то время, когда между различными науками существовали глухие заборы, от этой «неудобной проблемы» никак не могла отказаться лишь одна этика. Ведь если мы признаем, что все поведение человека жестко обусловлено воздействиями окружающей среды, прежде всего — историей его воспитания, мы тем самым должны снять с человека ответственность за его поступки.

Словом, этика не может принять концепцию «машинности мозга», не может отказаться от свободы выбора, ибо в этом случае само понятие нравственности становится бессмысленным. Даже самые общественно целесообразные поступки теряют свою ценность, если они продиктованы слепой имитацией поведения себе подобных.

Этически ценен только тот героизм, который базируется на личном решении, продиктован собственной волей. Не обладает моральной ценностью и отказ от поступка, если он обусловлен лишь страхом перед возможным наказанием. Когда никто не увидит и никто не узнает, а я все-таки не сделаю — вот что такое совесть! — заметил Короленко.

Пока физиология высшей нервной деятельности и этика существовали отдельно, ученые чаще всего не обращали внимания, как по-разному в каждой из этих наук трактуются причины поведения человека. Психофизиология твердо придерживалась сеченовско-павловского детерминизма, а этика исходила из подразумеваемой (но не всегда называемой) свободы выбора. Если же это противоречие и замечалось, его быстро снимали расплывчатым тезисом о том, что идея детерминизма (то есть обусловленности тех или иных поступков) все же не противоречит свободе выбора, совести, ответственности человека за свои поступки. Однако даже те, кто в теоретическом плане отстаивал идею «непротиворечия», к счастью, забывали о ней, когда начинали рассуждать о явлениях реальной жизни. Ведь никому не придет в голову мысль снять ответственность с гитлеровского преступника только потому, что в раннем детстве ему вручили нацистский флажок, а остальное довершил гитлер-югенд.

Но при самых первых и осторожных контактах этики с материалистической психологией точки соприкосновения начали искривляться: идея свободы выбора вошла в противоречие с ныне существующей идеей жесткой детерминированности каждого человеческого поступка. Мысль о машинности мозга, по-видимому, уже не работает. Мы стоим на пороге каких-то «великих отказов» и коренных нововведений в саму систему мышления психофизиологов, сопоставимых с теорией относительности, принципами дополненности и неопределенности в современной физике.

<sup>4</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 145.

\* \* \*

Чтобы разобраться в этом клубке противоречий, нужно попытаться увидеть истоки затронутых проблем, реальные жизненные ситуации, которые их порождают. Это заставляет нас обратиться к марксистской теории социально-экономической жизни общества.

Энгельс писал: «Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления, вместо того чтобы объяснять их из своих потребностей (которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются)...»<sup>5</sup>.

Признание потребностей в качестве определяющей причины человеческих поступков представляет величайшее завоевание марксистской философской мысли, послужившее началом подлинно научного объяснения целенаправленного поведения людей.

«Никто не может сделать что-нибудь, не делая этого вместе с тем ради какой-либо из своих потребностей и ради органа этой потребности...»<sup>6</sup>.

Потребность присутствует и играет определяющую роль во всех трех основных разновидностях психических явлений, выделенных описательной психологией, — интеллектуальных (разум), аффективных (чувство) и волевых.

«Мысль — еще не последняя инстанция... — утверждал выдающийся советский психолог Л. С. Выготский. — Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмсии. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления»<sup>7</sup>.

Определяющая роль потребностей еще отчетливее выступает в сфере эмоциональных реакций высших животных и человека, поскольку эмоции, в сущности, отражают величину и вероятность удовлетворения какой-либо потребности в конкретный момент. Причем особенности потребности придают эмоции ее специфическую окраску. Большая или меньшая вероятность удовлетворения потребности по сравнению с первоначальным прогнозом делает эмоциональное состояние отрицательным или положительным. Живое существо стремится ослабить, прервать, предотвратить отрицательную эмоцию и усилить, продлить, повторить положительную.

Многие современные ученые приписывают эмоции роль прерывающего механизма, который определяет, какие именно из конкурирующих потребностей будут удовлетворяться в первую очередь. Благодаря эмоции доминирующей может стать исходно более слабая потребность, если удовлетворить ее легче, чем более сильную. Иначе говоря, человек нередко ориентирует свое поведение на «синицу в руках», подавив стремление к более ценному, но труднодостижимому «журавлю в облаках». Это опасное свойство эмоции переключать поведение на менее значительную, но легче достижимую ближайшую, сиюминутно актуальную цель привело к тому, что в ходе естественного отбора сформировался специальный мозговой механизм, противостоящий эмоциям и в известной мере компенсирующий их не всегда плодотворное влияние на поведение человека. Мы имеем в виду нервный аппарат воли.

Взгляд на волю как на самостоятельную, отличную от потребностей движущую силу поведения все еще разделяется рядом психологов. Отсутствие четкого «распределения обязанностей» между сознанием, действием, мотивами, эмоциями и волей, а также представление о воле как психическом явлении, впервые появившемся только на уровне человека и не имеющем ничего похожего у животных, тем более затруднили оценку воли с позиций физиологии высшей нервной деятельности.

Эволюционную предысторию волевого поведения человека, по-видимому, следует искать в описанном И. П. Павловым «рефлексе свободы», который возникает при наличии преграды так же естественно и неотвратимо, как отделение слюны при появлении пищи.

Человек — существо социальное — воспринимает преграду (в том числе конкури-

<sup>5</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 493.

<sup>6</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 245.

<sup>7</sup> Л. С. Выготский. Избранные психологические исследования. М. Изд. АПН РСФСР. 1956. стр. 379.



рующие потребности) как несвободу, что и заставляет активно работать мозговые механизмы волевого усилия<sup>8</sup>.

Таким образом, мы обнаруживаем категорию потребностей в фундаменте всех основных психических явлений, будь то мышление, эмоции или воля. Что же касается деления эмоций на биологические (низшие) и социально детерминированные высшие (так называемые интеллектуальные, нравственные и эстетические чувства), то за подобной классификацией скрывается далеко не всегда отчетливо осознаваемая и признаваемая классификация потребностей, чрезвычайно разнообразных по их сложности, происхождению, индивидуальной, видовой и социальной ценности, в том числе — потребностей, обусловленных системой производственных отношений, характерных для данного общества, данной исторической эпохи.

Потребности во всем их многообразии и сложнейшем взаимодействии друг с другом, элементарные, как голод, и тончайшие, как жажда художественного творчества, низменные, как эгоистическое стремление к личному благополучию любой ценой, и возвышенные, как желание принести счастье наибольшему количеству людей (К. Маркс), — они и только они движут хитросплетениями человеческого бытия.

Вот почему вопрос о потребностях, их классификации, их взаимоподчинении и взаимодействии ныне представляет первый и основной вопрос, который необходимо поставить перед любой системой взглядов, претендующей на анализ человеческого бытия. Приходится удивляться, что во многих учебниках и руководствах по психологии изложение до сих пор начинается с ощущений, восприятий и представлений, а о мотивах и потребностях говорится где-то в конце торопливой скороговоркой.

Поразительно, с какой настойчивостью представители многих направлений психологии конца прошлого — начала нашего столетия стремились вывести все разнообразие форм психической деятельности человека из какой-либо, непременно одной, главной, все определяющей, потребности, будь то секс, стремление к власти или жажда материальных благ. Вот почему так впечатляет художническая пронзительность Ф. М. Достоевского, который не только наметил три основные группы потребностей человека, но исходил из признания их принципиальной множественности, самостоятельности, несводности к одному-единственному праисточнику.

В «Братьях Карамазовых» Достоевский указывает на три фундаментальные потребности (или три группы потребностей), присущие людям и определяющие их поведение в природной и социальной среде. Он начинает с «хлеба» как собирательного понятия, вобравшего в себя всю совокупность материальных благ, необходимых для поддержания жизни. Достоевский вполне осознает ту роль, которую играют «хлебы», и ярко описывает, сколь многим люди бывают вынуждены поступиться во имя удовлетворения своих материальных нужд. Он сознает силу и убедительность той точки зрения, которая устами «премудрости и науки» провозглашает, что «преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные». «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!»

Однако, отдавая должное власти голода не только над телом, но и над душами людей, Достоевский отрицает вторичность, производность двух других человеческих побуждений от исконной потребности в хлебе. И первое из этих побуждений — потребность познания, «ибо тайна человеческого бытия не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить».

«Потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно». Даже познание, прежде всего познание смысла и цели жизни, не удовлетворяет человека, если он оказывается единоличным носителем добытой истины. Человеку нужна общность идеалов, и он скорее готов усвоить ничем не аргументированные «чудо, тайну и авторитет», чем оставаться в мучительной неопределенности и взвалить на себя «страшное бремя свободы выбора».

Классификация Достоевского заставляет вспомнить известную классификацию Гегеля.

<sup>8</sup> Подробнее об этом см. «Успехи физиологических наук», 1970, т. 1, № 2, стр. 151—150.

«Обозревая все содержание нашего человеческого существования, — пишет Гегель в своей «Эстетике», — мы уже в нашем обыденном сознании находим величайшее многообразие интересов и их удовлетворения. Мы находим обширную систему физических потребностей, на удовлетворение которых работают большая и разветвленная сеть промышленных предприятий, торговля, судоходство и технические искусства. Выше этой системы потребностей мы находим мир права, законов, жизнь в семье, обособление условий, всю многообъемлющую область государства... Наконец, мы находим бесконечно специализированную и сложную деятельность, совершающуюся в науке, совокупность знаний и познаний, охватывающую все существующее»<sup>9</sup>.

Жить, познавать и занимать определенное место в группе, взаимодействуя с другими ее членами, — этими тремя глаголами действительно можно обозначить огромное многообразие побуждений и продиктованных ими поступков.

Интересно, что естественную предысторию подобной классификации мы находим уже при анализе сложных форм поведения животных.

Вот почему изучение этих форм, потребностей, которые их определяют, представляет одну из актуальнейших задач исследования того, что В. И. Ленин назвал «историей умственного развития животных»<sup>10</sup>, включив ее в перечень областей знания, из которых должна сложиться теория познания и диалектика. «Нет никакого сомнения, — писал И. П. Павлов, — что систематическое изучение фонда прирожденных реакций животного чрезвычайно будет способствовать пониманию нас самих и развитию в нас способности к личному самоуправлению»<sup>11</sup>.

\* \* \*

Одной из сильнейших и фундаментальнейших потребностей высших животных является потребность занимать определенное место в стайной иерархии. При этом совершенно не обязательно, чтобы лидирующей особью было самое сильное и агрессивное животное. Ранжирование по силе имеет место, но только у тех видов, где это оправдано интересами популяции в целом. В других случаях критериями, определяющими ранг животного, служат совершенно иные признаки. Например, у некоторых птиц лидирующей оказывается особь, способная к решению тех задач, которые не в состоянии решить другие члены сообщества. Стадом оленей предводительствует старая самка, свободная от детенышей, а отнюдь не самый сильный и злобный самец. У обезьян-гамадрилов и свободно живущих бабуинов стадо возглавляет вообще не одно животное, а группа старых самцов.

Современная наука выделяет два основных типа лидирующих животных. Представители первого обеспечивают сохранение иерархии — порядка распределения пищи, права на самку, сохранения занятой территории. Лидеры второго типа только подают пример. Им безразлично, последуют ли остальные за ними или нет. Нередко, особенно в трудных ситуациях, происходит смена лидеров. Например, у волков, северных оленей и овец господствует сильный самец. Когда же возникают препятствия или опасность, инициатива переходит к наиболее смелому и самостоятельному животному, способному преодолеть стадный инстинкт. Таким животным часто оказывается старая самка, увлекающая за собой все стадо. Склонность к лидерству проявляется у овец очень рано, в возрасте около года. Она не связана с научением и, по-видимому, представляет врожденное качество.

Если лидерство первого типа (господство в группе) сочетается с физической силой и агрессивностью, то лидерство второго типа (вожак, подающий пример) сочетается с развитой исследовательской активностью, бесстрашием и способностью к решению трудных задач.

Иерархическая структура достаточно динамична и время от времени изменяется, разумеется, по-разному у разных видов животных. Одна из форм ее уточнения — иерархические бои. В естественной среде обитания они редко сопровождаются кровопролитием и еще реже — смертью конкурента (исключением может оказаться несчаст-

<sup>9</sup> Г. Гегель. Эстетика. М. «Искусство». 1968, т. 1, стр. 102—103.

<sup>10</sup> В. И. Ленин. Философские тетради. М. Госполитиздат. 1969, стр. 314.

<sup>11</sup> И. П. Павлов. Полное собрание сочинений. М.—Л. 1951, т. III, кн. первая, стр. 343.

ный случай, например, неудачный удар рога). Животным неведомо преследование отступившего противника; убийство особи того же вида не бывает целью борьбы. Внутривидовая агрессивность у животных — это не реакция на противника, а реакция на сопротивляющегося противника. Прекращение сопротивления лишает агрессивное поведение его стимула. Животные обладают обширной системой сигналов «сдачи», автоматически прекращающих поединок.

Сложившимся иерархическим отношениям присуща значительная устойчивость. Жизнь группы животных менее всего похожа на ежечасную борьбу «всех со всеми». Высокранговые птицы агрессивны только к ближайшим по положению в иерархии особям. Эти птицы вмешиваются в драку на стороне слабейшего, то есть более низкого по рангу участника схватки. Даже при искусственном (переданном по радио) электрическом раздражении центра ярости обезьяна атакует не любое оказавшееся поблизости от нее животное, но особь, стоящую на одну ступень ниже в обезьяньей «табели о рангах». Кстати, полный ансамбль агрессивной реакции при прямом электрическом раздражении определенных отделов мозга можно получить только у обезьян достаточно высокого ранга. Раздражение тех же самых точек мозга у низкоранговых обезьян не вызывает агрессивного поведения.

Таким образом, «социальная» организация жизни стайных животных оказывается исключительно мощным фактором, успешно противостоящим даже прямому электрическому раздражению эмоциональных центров ярости и страха. Новейшие достижения физиологии высшей нервной деятельности животных подтверждают глубокую мысль В. И. Ленина о том, что «в действительности «зоологический индивидуализм» обуздано не идея бога, обуздано его и первобытное стадо и первобытная коммуна»<sup>12</sup>. Нетрудно представить себе, какой же силой обладают истинно социальные установки человеческой личности и сколь поспешили некоторые комментаторы, возвестившие эру радиоуправляемых людей-роботов в связи с результатами искусственного раздражения эмоционально-мотивационных мозговых структур.

Вместе с тем механизмы внутривидовых стайных отношений отнюдь не представляют некоего над- и внемозгового эпифеномена. Групповое несводимо к индивидуальному, но оно может реализоваться только через поведение членов группы, через их мозг. Существуют отделы мозга, разрушение которых заметно не сказывается на индивидуальном поведении обезьян и в то же время нарушает их внутрigrупповые контакты. Нередко обезьяны с такого рода повреждениями прекрасно чувствуют себя в клетке, успешно решают достаточно сложные экспериментальные задачи, но отвергаются группой и теряют свое место в стайной иерархии.

Механизмы, обеспечивающие организацию группы, успешно противостоят таким индивидуальным потребностям, как голод, жажда, половое влечение, инстинкт самосохранения (страх). Достаточно хотя бы раз увидеть, в каком строгом порядке осуществляется подход к кормушке у обезьян, как жестоко нормированы отношения между самцами, самками и детенышами, чтобы знаменитый афоризм «любовь и голод правят миром» оказался эффективной, но мало обоснованной фразой даже по отношению к миру животных.

Исключительно интересные факты опубликовала недавно Франсуаза Антуар — психофизиолог из Страсбурга. В клетку, где находилась группа крыс, пища подавалась только в том случае, если какое-либо из животных нажимало на рычаг. Хотя все крысы научились пользоваться рычагом, они вскоре разделились на активно работающих «манипуляторов» и «потребителей», преимущественно питавшихся кормом, добытым «манипуляторами». Принадлежность к одной из этих групп не зависела ни от пола животного, ни от места, занимаемого им в стайной иерархии. А вот поедание добытой пищи целиком определялось иерархическим положением данной особи.

В свете последних данных науки о групповом поведении животных все труднее соглашаться с версией об исходном равенстве наших первобытных предков. Гораздо естественнее предположить, что элементы истинной социализации, связанные с изобретением орудий труда, с присвоением его продуктов, наложились на уже существовавшее к тому времени стайное неравенство, наложились на достаточно сложную струк-

<sup>12</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 232.

туру групповой организации с присущей ей системой лидерства, подчинения и борьбы за изменение иерархической лестницы.

Изучение жизни колоний ныне существующих высших животных показывает, что она не сводится к одному лишь поддержанию раз и навсегда сложившегося «порядка», то есть группового гомеостаза, который приписывают ему кибернетические схемы. В известной мере можно сказать, что динамизм внутренней структуры стаи возрастает при переходе от низших существ к высшим одновременно с возрастанием роли индивидуального опыта в поведении каждого члена сообщества. Самую жесткую групповую организацию мы находим у насекомых. Что же касается высших животных, то в их групповой жизни наряду с тенденциями поддержания «стайного гомеостаза» мы находим явные тенденции его нарушения, перестройки, уточнения в связи с вновь выявившимися факторами, к числу которых относятся рост популяции в целом, взросление молодняка, соотношение возрастных подгрупп, результаты иерархических схваток, рекомбинации брачных пар и т. д. и т. п. Вот почему иерархическую потребность в целом невозможно отнести к числу однозначно гомеостатических, даже имея в виду не индивидуальный, а групповой гомеостаз.

Животные весьма чувствительны к голосовым и двигательным реакциям, свидетельствующим о состоянии других особей. Некоторые высшие птицы и многие млекопитающие остро реагируют на смерть их сородичей. В. Я. Кряжев показал в эксперименте, что собаки отвечают не только на визг и двигательное возбуждение другой собаки, раздражаемой электрическим током, но и на звуковой (или световой) сигнал, предшествующий этой процедуре. В опытах Х. Дельгадо после десяти сочетаний ранее безразличного для животных звука с агрессивным поведением вожака колонии, вызванным стимуляцией мозгового «центра агрессии», обезьяны начали разбегаться при одном лишь звуке.

Группа американских исследователей вырабатывала у обезьян условный рефлекс избегания тока с помощью специального рычага, размыкавшего электрическую цепь. Потом рефлекс «угашали», и успокоившиеся обезьяны переставали нажимать на рычаг. Однако стоило им показать другую обезьяну в состоянии страха или фотографию испуганной обезьяны, как животные немедленно хватились за рычаг. Крыса немедленно перестает пить, если слышит записанный на магнитофон крик боли другой крысы. Особенно чувствительны к этому крику животные, ранее испытывавшие действие электрического тока.

До сих пор мы говорили о поведении животных в случаях, где состояние другой особи служит сигналом опасности, нависшей над самим «зрителем». Гораздо меньше изучен вопрос о способности животных устранять или предотвращать событие, которое им лично не причиняет ущерба. Правда, в этой области нет недостатка во всякого рода житейских «наблюдениях», в рассказах охотников и натуралистов. Например, рассказывают о том, что дельфины помогают больному сородичу всплыть на поверхность воды, чтобы вдохнуть воздух. Говорят даже, что они оказывают помощь только знакомым особям и могут отказать в ней вновь подсаженному дельфину своего вида.

Однако большинство наблюдений такого рода нуждается в строгой экспериментальной проверке: слишком часто наблюдатели принимают кажущееся за действительно существующее. Так, групповое нападение обезьян или собак на врага производит впечатление подлинной взаимопомощи. На самом деле это типичный случай коллективной агрессивности, то есть примитивнейшей формы стадного поведения по принципу «делай как все». Что, почему, зачем — не важно; все бросаются — бросайся и ты. Коллективная агрессивность не менее слепа, чем коллективная паника. В определенных пределах обе формы поведения биологически целесообразны. Нерассуждающее нападение, как и нерассуждающее бегство, дает выигрыш во времени и поэтому было закреплено естественным отбором, но «взаимопомощь» здесь ни при чем.

Более достоверны опыты с конкуренцией между добыванием пищи и сигналом отрицательного состояния другой особи. Если крыса имеет возможность получать раствор сахара в двух рукавах лабиринта, она научается избегать тот рукав, где ее появление сопровождается болевым раздражением другой крысы. Голодные макаки перестают нажимать на рычаг кормушки, если этот рычаг одновременно наносит удар

тока их сородичу. Интересно, что способность к такого рода поведению существенно зависит от места, занимаемого животным в стадной иерархии.

В опытах Х. Дельгадо нажим на рычаг давал обезьяне дольку апельсина и одновременно раздражал «центр страха» у одной из обезьян этой колонии, которая с воплями начинала метаться по клетке. Оказалось, что только вожак колонии стойко отказывался от апельсина. Чем более низкое место занимали животные в стадной иерархии, тем охотнее они поедали свои дольки, не обращая внимания на стенания и вопли раздражаемой обезьяны.

Мы поступили бы крайне опрометчиво, сделав вывод, что вожак относится с большим сочувствием к другим членам группы, чем низкоранговые обезьяны. Вполне вероятно, что для него непереносим сам факт нарушения порядка в колонии, а отнюдь не страдания другого животного. Нам хотелось бы показать, к каким грубым ошибкам способно привести антропоморфическое перенесение наших собственных чувств на поведение изучаемых животных. Например, в литературе многократно описано прекращение борьбы между волками, когда один из них подставляет победителю незащищенное горло. Проверка этого наблюдения Джоном Скоттом показала, что побежденный волк демонстрирует свою капитуляцию опущенным хвостом, а победитель отворачивается от него. Таким образом, в первоначальном наблюдении все перепутано: победителя приняли за побежденного, да еще сочинили мелодраматическую историю о подставленном горле. Пример говорит о том, что только строгий и точный эксперимент способен снабдить нас реальными сведениями о закономерностях и механизмах поведения животных.

Первые опыты с чистым «альтруизмом» у крыс были поставлены, по-видимому, Райсом и Джейнером в 1962 году. Подвешенная в специальном гамачке крыса обнаруживала признаки сильнейшего беспокойства. Вторая крыса могла опустить ее на пол, надавив на педаль. Оказалось, что в этой ситуации крысы давили на педаль в среднем 17,6 раза в минуту вместо 5,4 раза в контрольных экспериментах, когда в гамачке подвешивался кусок пластика.

Еще более убедительный эксперимент провел в 1969 году американский исследователь Дж. Грин. Два рычага открывали кормушку. Поскольку один из них был легким, а второй тяжелым, крысы предпочитали легкий рычаг. Затем к легкому рычагу подключалось реле, раздражающее током другую крысу. Вопрос был поставлен так: будет ли крыса переходить к тяжелому рычагу, чтобы получить корм, не раздражая этим другое животное? Оказалось, что меняют рычаг 80 процентов крыс, ранее испытанных на себе действие тока. Среди крыс, не подвергавшихся болевому раздражению, подобный переход осуществляет менее 20 процентов. Грин сделал вывод о том, что предварительное знакомство с током является обязательным условием выработки данной формы поведения.

Мы полагаем, что Грина в известной мере подвело пристрастие к статистике, из-за которого он пренебрег самой интересной группой животных.

Наши собственные эксперименты были начаты в феврале 1969 года и продолжаются до сих пор. Мы использовали стремление крыс находиться в ограниченном пространстве. Помните крысу из «Рикки-Тикки-Тави» Киплинга, которая всегда ходила вдоль стены и завидовала Рикки-Тикки, легко пересекавшему открытое пространство? Эксперимент был организован таким образом, что пол специально построенного «домика» представлял педаль, автоматически включающую болевое раздражение током другой крысы, находящейся за тонкой прозрачной перегородкой. Из 52 крыс 18 сравнительно быстро отказались от пребывания в «домике», 19 научились этому, только испытав на себе действие тока, а 15 продолжали идти в «домик» как до знакомства с током, так и после него.

Казалось очень интересным посмотреть, какими характерными чертами обладают представители этих трех групп, тем более что современная физиология высшей нервной системы располагает методами количественного определения степени исследовательской активности, страха и агрессивности животных. Опыты показали, что крысы, высоко чувствительные к сигналам болевого возбуждения других особей (писк, движения, попытки вырваться и т. д.), имеют высокий индекс исследовательской активности, низкий индекс страха и слабую агрессивность. Наиболее плохой прогноз для

выработки этой формы условных рефлексов найден у животных, сочетающих страх с выраженной агрессивностью<sup>13</sup>.

В экспериментах сотрудницы нашей лаборатории Л. А. Преображенской на собаках также выяснилось, что только часть собак научается выключать ток, раздражающий другую собаку. Более того, предварительная выработка реакции выключения тока, адресованного самому «исполнителю», не способствует проявлению навыка, когда электроды переносят на другое животное.

Если суммировать результаты опытов на крысах, собаках и обезьянах, создается впечатление, что способность реагировать на состояние другого животного того же вида определяется индивидуальными особенностями данной особи больше, чем уровнем его эволюционного развития. Эта способность, по-видимому, представляет самостоятельную линию эволюции, «вертикаль», пронизывающую разные этажи истории животного мира. В известном смысле можно сказать, что «чувствительная» крыса стоит ближе к «чувствительной» собаке (обезьяне), чем к своему «нечувствительному» собрату. Это не совсем привычная схема для сравнительной физиологии высшей нервной деятельности животных. Ведь в сфере интеллектуальных задач мы привыкли делить животных по этажам эволюции. Например, есть задачи, доступные для собак, но недоступные для крыс, доступные для обезьян, но недоступные для собак и т. д. Впрочем, нечто похожее обнаружено и при изучении агрессивности животных. В ряде опытов было показано, что агрессивность контролируется механизмами групповой (стадной, стадной) организации, а совсем не уровнем развития животного интеллекта.

В предисловии к последнему прижизненному изданию своего классического труда «Интегративная деятельность нервной системы» Чарльз Шеррингтон писал: «...свойственный организму с незапамятных времен принцип самосохранения как бы отменяется «новым порядком вещей»; новые формы существования отрицают формы, предшествующие им; на горизонте появляются новые моральные ценности. Возникает принцип альтруизма... Этот новый дух, по-видимому, в значительной мере соответствует развитию человека на нашей планете. Лорд Актон намеревался создать «Историю Свободы», между тем не менее стоящим было бы создание «Истории Альтруизма». Это может быть сочтено отходом от физиологии, однако я не думаю, что это так... В той мере, в какой физиология включает в себя человека как физиологический фактор на нашей планете, это противоречие, главным действующим лицом которого он является, не лежит вне границ физиологической науки»<sup>14</sup>.

Паразитальный механизм сочувствия, способность почти физически ощущать воздействие, которому подвергается другой, механизм, заложенный эволюцией еще на до-человеческом этапе, приобретает колоссальное значение во взаимоотношениях между людьми. Не переноса на себя внутренний мир другого, человек вообще не в состоянии осознать себя человеком. «Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода «человек» (Маркс)<sup>15</sup>.

О громадной роли сочувствия в воспитании детей прекрасно сказал замечательный ученый-педагог В. А. Сухомлинский: «Труд души — это значит страдать, болеть страданиями и болями человека — прежде всего матери, отца, сестры, дедушки, бабушки. Не бойтесь открывать юную душу для этих страданий — они благородны. Пусть девятилетний сын ночь не спит у постели заболевшей матери или отца, пусть чужая боль заполнит все уголки его сердца. Одна из самых мучительно трудных вещей в педагогике — это учить ребенка труду любви»<sup>16</sup>.

Способность откликаться на боль, радость, тревогу и надежды себе подобных лежит в фундаменте искусства как специфической формы освоения окружающей человека действительности. «Источник прекраснейшей песни — это сочувствие», — пишет

<sup>13</sup> Подробнее см. «Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова». 1970, т. 20, № 2, стр. 379—385.

<sup>14</sup> Ч. Шеррингтон. Интегративная деятельность нервной системы, Л. «Наука». 1969, стр. 26.

<sup>15</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 62.

<sup>16</sup> «Комсомольская правда», 4 марта 1971 года, стр. 4.

Халлдор Лакснесс. Совсем недавно ту же мысль высказал Константин Симонов: «Когда человек думает только о себе, о собственном благе, о собственном кармане, о собственных удобствах, о собственном спокойствии, он может говорить об этом любыми самыми красивыми словами, но истинной поэзии в этих заботах о самом себе нет места. Истинная поэзия появляется в мыслях, словах и в делах человеческих тогда, когда человек принимает в свою душу и берет на свои плечи заботу о других людях, об их надеждах, об их счастье и об их благополучии»<sup>17</sup>.

Сострадание не только не означает всепрощения, но яростно отрицает его. Уже эксперименты на животных обнаруживают отрицательную корреляцию между страхом и чувствительностью к сигналам страдания, исходящим от другой особи. Эти сигналы принципиально отличны от сигналов опасности как угрозы, нависшей над самим «зрителем», а способность реагировать на первые из них скорее противостоит инстинкту самосохранения, чем питается им. По-видимому, сигналы боли, испытываемой животным-«жертвой», создают в мозгу «зрителя» очаг возбуждения, которое само по себе отрицательно для животного-«зрителя», и зритель активно ослабляет, устраняет этот очаг.

Разумеется, социально обусловленная человеческая совесть — явление несопоставимо более сложное, чем способность животных реагировать на сигналы состояния себе подобных, но эксперименты, о которых мы вели речь, помогают приблизиться к пониманию того, какие механизмы мозга связаны с отрицательным возбуждением, которое человек переживает как «угрызения совести». Совесть также противостоит страху и обнаруживает явное сродство с механизмами гнева; по меткому определению К. Маркса, стыд — это гнев, обращенный на самого себя.

\* \* \*

До недавнего времени наши представления об исследовательском поведении животных были весьма скудными. Считалось само собой разумеющимся, что исследовательская активность сводится к поиску пищи, воды, самки, материала для строительства гнезда. Понадобились годы труда и множество строгих экспериментов, чтобы потребность в новизне как таковой отделить от потребности в пище, продолжении рода, сне и т. п. Вот один из наиболее простых опытов.

В левый рукав лабиринта помещают пищу или воду. Правый пуст, но здесь постоянно изменяются освещение, цвет пола, раскраска стен, здесь есть рычаги и кнопки, нажим на которые никогда не ведет к появлению пищи и воды. Оказалось, что новизна служит не менее привлекательным стимулом, чем пища. Только очень голодное или испытывающее сильную жажду животное начинает явно предпочитать рукав с кормушкой и поилкой рукаву с «новизной».

Другой, более сложный и исключительно демонстративный, эксперимент мне довелось увидеть в университете небольшого американского города Боулинг Грин. Сооружение, построенное экспериментаторами, лучше всего было бы назвать «квартирой крысы». В этой квартире каждая комната предназначена для удовлетворения какой-либо определенной потребности: комната для еды, для питья, для строительства гнезда, для встреч с другими крысами, для игры (с лесенками, беличьими колесами, манежем), даже для любопытства — с искусственно создаваемой новизной. Переходы крысы из одной комнаты в другую фиксируются электронно-вычислительной машиной, благодаря которой ученые каждые сутки получают математический график «интересов и потребностей» данного животного на протяжении двадцати четырех часов.

Но помимо всей этой роскоши, квартира имеет еще одну деталь: маленькую дверь в «неосвоенное пространство», где таится... Неизвестность. На протяжении длительного времени усилия целой группы ученых направлены на то, чтобы, угадывая все мыслимые желания крысы, заставить ее добровольно остаться в квартире и не идти за порог освоенной территории. И все же крысы идут. Идут далеко не все, идут, испытывая явные признаки страха, о котором судят по изменению сердцебиения, электрической активности мозга, по мочеиспусканию и дефекации. Стоит ли удивляться этому страху: ведь впереди — Неизвестное, где могут скрываться враг, ловушка, гибель. А позади —

<sup>17</sup> «Правда», 7 апреля 1971 года, стр. 1.

комфорт, благополучие, пища, самки — тот самый гомеостаз и «равновесие с окружающей средой», которые прославлены теорией замкнутого рефлекторного «кольца».

Нетрудно понять, почему в Неизвестное уходит только часть животных. Ученые рассчитали, что если бы вся популяция состояла из «бескорыстных искателей», то она быстро была бы истреблена. С другой стороны, если бы все животные оставались на освоенной территории, то это вскоре привело бы к истощению пищевых ресурсов, а в сфере высшей нервной деятельности — к «умственной деградации», к обеднению арсенала принципиально новых навыков, неведомых и ненужных обитателям освоенного пространства. Иными словами, естественный отбор закрепил и тех и других животных («искателей» и «консерваторов») в качестве совершенно и в равной мере необходимых представителей одного и того же вида. Называть первых из них «хорошими», а вторых «плохими» так же нелепо, как считать правую ногу хуже левой.

Поскольку агрессивные животные нередко отличаются высокой подвижностью, долгое время считали, что агрессивность хорошо сочетается с исследовательской активностью. Однако более точные эксперименты показали, что это не так. Например, разрушение в мозгу крыс так называемого миндалевидного комплекса ведет к усилению исследовательских реакций и резко ослабляет агрессивность. В другой серии экспериментов мышей помещали в клетку с полом, имевшим 24 отверстия. Оказалось, что за один и тот же отрезок времени агрессивные мыши исследуют в два-три раза меньше отверстий, чем неагрессивные животные. Наконец, в опытах на чистых линиях породистых собак была показана тесная связь между исследовательской активностью и дружелюбным отношением к человеку. Лучшими «исследователями» оказались смелые (низкий индекс страха) и одновременно неагрессивные, дружелюбные животные, будь то мыши, крысы или собаки.

Закономерности исследовательской активности — важный аргумент против теории гомеостаза, согласно которой стремление к равновесию — единственная цель и смысл приспособительного поведения животных. Новизна, сложность, непонятность окружающего мира могут быть самостоятельными стимулами, причем животные способны стремиться от меньшей сложности к большей. Во второй половине 50-х годов американский исследователь Т. Шнейрла предложил так называемую двухфазную теорию мотивации, согласно которой усиление потребности может служить такой же «наградой» для живых существ, как и ослабление чрезмерно сильной потребности. М. Морган в 1969-м и Дж. Мендельсон в 1970 году экспериментально показали, что при наличии пищи и воды крысы способны раздражать электрическим током центры голода и жажды в своем мозгу. В определенных условиях крысы перестают нажимать на педаль, если корм и вода удаляются из клетки. Нужен ли более убедительный аргумент против теории «равновесия», когда мы наблюдаем животное, которое само активно нарушает свой гомеостаз, само делает себя голодным и жаждущим, с тем чтобы испытать удовольствие при последующем удовлетворении потребностей?

Двухфазная теория мотивации в еще большей мере применима к исследовательскому поведению животных. Экспериментально показано, что в начале опыта крысы предпочитают знакомые стимулы, после некоторого привыкания к среде — новые, а при нарастании степени новизны — снова знакомые раздражители. Таким образом, существует некоторый оптимальный уровень новизны, наиболее привлекательный для животных. Нечто похожее мы можем наблюдать у детей, которые склонны отказываться и от совершенно незнакомой и от надоевшей пищи. Вообще, определенная степень «рассогласования» между привычным и получаемым представляет одно из обязательных условий возникновения положительных эмоций. Высокое удовольствие всегда связано с открытием и сюрпризом.

В отличие от животных потребность в новизне, приобретающая у человека черты социально детерминированной потребности познания, может удовлетвориться двумя путями. Во-первых, поиск того нового, что объективно уже существует, но еще неведомо субъекту. Вторым путем удовлетворения «информационного голода» является такая компоновка ранее полученных впечатлений, которая позволяет активно привнести новизну в сочетание давно известных элементов, то есть творчество. Эти два пути тесно связаны друг с другом. Творческое построение гипотез служит важнейшим инструментом познания окружающего мира. С другой стороны, продукты творческой активности



имеют смысл только в той мере, в какой они отражают существенные стороны бытия. Вместе с тем каждый из этих двух способов познания имеет свои особенности, каждый из них по-разному представлен в научном и художественном творчестве.

\* \* \*

Итак, потребности получают свое отражение в сознании и эмоциях человека. Процесс осознания потребностей исключительно сложен. Давно и хорошо известно, что многие потребности не осознаются или осознаются с чрезвычайным трудом. Ускользают от нашего внимания и подлинные причины многих эмоциональных реакций. Это обстоятельство, равно как и нередкое тождество поступков, продиктованных весьма различными побуждениями, делает задачу выявления потребностей тем более трудной для объективного исследования.

Нам важно подчеркнуть, что в отличие от эмоций и мышления потребности не являются формами отражения действительности, но принадлежат самому живому организму и его мозгу, где имеют свое центрально-нервное представительство. Последовательное проведение этой линии рассуждений приводит к новому взгляду на волю. Воля представляет специфическую потребность. И потому, видимо, должна быть исключена из разряда психических явлений типа мышления и эмоций. Другое дело, что воля, подобно остальным потребностям, получает «отражение в голове, осознается». Поскольку волевое усилие возникает как реакция на преграду, эти усилие, поступок, действие могут рассматриваться в качестве отражения преграды.

Потребность в преграде на первый взгляд воспринимается как парадокс. Она и является парадоксом с точки зрения теории «уравновешивания» (гомеостаза). Вместе с тем эта потребность реально существует. Одним из ярчайших примеров, доказывающих ее существование, является спорт. Если бы цель спортивной команды заключалась в выигрыше как таковом, каждый спортсмен и каждая команда должны были бы мечтать о встрече с наиболее слабым противником. В действительности же все обстоит наоборот, потому что только победа, достигнутая на фоне достаточно сомнительного прогноза относительно ее достижения, способна вызвать к жизни тот комплекс положительных эмоций, ради которых человек выходит на спортивное ристалище.

Формирование потребностей ни в коем случае не следует понимать как их приращение извне. Новая потребность возникает путем развития, обогащения или, наоборот, путем деформации и обеднения какой-либо из ранее существовавших потребностей. При этом новая потребность может приобрести черты, качественно отличающие ее от исходной, но само наличие изменяющихся задатков остается необходимым условием развития и усложнения сферы потребностей.

В области высшей нервной деятельности человека первостепенным по своей важности оказывается вопрос о трансформации потребностей общества в личные установки отдельного индивида, в мотивы его поведения. (Проблема потребностей общества, в том числе — потребностей общественного развития, представляет один из важнейших разделов исторического материализма. Это самостоятельная тема, которой мы не в состоянии касаться в настоящей статье.) Представление о том, что потребности общества сразу становятся мотивами индивидуального поведения его членов, которые логически осознают эти потребности, вряд ли соответствует действительности.

Пробелы в точном и объективном знании потребностей человека, их иерархии, происхождения, законов их формирования и развития — серьезный тормоз в решении ряда актуальных практических задач. Продемонстрируем это на примере анализа мотивов правонарушений.

Слишком буквально воспринятый принцип отражения и фетишизация роли «окружающей среды» привел к идее о том, что рост благосостояния и ликвидация социального неравенства чуть ли не автоматически должны привести к исчезновению преступности. Однако жизнь показывает, что это не так.

По свидетельству доктора юридических наук С. С. Остроумова, корысть служит причиной только 8,8 процента умышленных убийств<sup>18</sup>. Кандидат юридических наук Г. Миньковский пишет: «В целом в последние годы две трети несовершеннолетних правонарушителей воспитывались в «нормальных» семьях с двумя родителями... постоян-

<sup>18</sup> «Наука и жизнь», 1968, № 7, стр. 62—65.

ный отрицательный пример родителей (пьянки, скандалы, жестокость, разврат) прослеживается примерно лишь в тридцати процентах случаев преступлений подростков<sup>19</sup>.

По данным опроса, проведенного Н. Павловой в одной из колоний особо строгого режима для несовершеннолетних, из 145 опрошенных материальные условия хорошие у 121, дома не пьют у 100, родители дружны у 95, пытаются контролировать поведение детей у 104, ласково к ним относятся у 95<sup>20</sup>.

Что же в таком случае создает питательную среду для деформации личности в обществе, где нет ни голода, ни безработицы, ни расовых конфликтов, ни проповеди культа насилия и наживы? И здесь авторы приходят к весьма важным для нас выводам.

«Трудные»,— пишет Н. Павлова,— это прежде всего страсть к дешевым удовольствиям, к благодущию, комфорту чувств любой ценой». «В трех четвертях обследованных семей, из которых вышли несовершеннолетние правонарушители, родители безоговорочно удовлетворяли все желания подростков»,— ранее диагностировал Г. Миньковский<sup>21</sup>.

«...может быть,— размышляет Н. Павлова,— в непонимании «непрактичного» смысла человечности и состоит секрет характера «трудных»?.. Водка в этой истории была лишь рупором, усилившим до крика невнятный прежде шепоток. Она подняла завесы и обнажила драму мещанской души, не ведающей поклонения красоте, мудрости, человечности».

Ну, а если не голод, не бедность, не несправие, тогда что же? Гены? Снова темная стихия неискоренимых инстинктов агрессивности? Или «пережитки», победно шествующие сквозь строй сменяющих друг друга поколений?

\* \* \*

Мы должны понять, что личность человека в огромной мере формируется на протяжении первых трех — пяти лет его жизни. По утверждению А. С. Макаренко, ребенок, неправильно воспитывавшийся до пяти лет, требует перевоспитания.

По данным советского исследователя М. Ю. Кистяковской, подтвержденным чешским педиатром М. Дамборской, удовлетворение органических потребностей ребенка первых месяцев жизни: голода, температурного дискомфорта и т. д.— ведет к его успокоению и дремоте, а совсем не к видимым признакам удовольствия. Первые проявления радости (улыбка, специфические движения, голосовые реакции) возникают в связи с удовлетворением высших «психических» нужд, при общении с ребенком, игре с ним, в процессе формирования ясного видения окружающих предметов благодаря фиксации взора и сведению зрительных осей. Более того, ребенок гораздо сильнее привязывается к человеку, изредка играющему с ним, чем к тому, кто деловито, но бесстрастно удовлетворяет все его повседневные нужды: поит, кормит, меняет пеленки.

Английский психиатр Джон Боулби полагает, что отчуждение от матери (точнее, от человека не столько кормящего, сколько ласкового, внимательного, доброго) опасно, по крайней мере, до трех лет. Трех месяцев «лишения любви» достаточно для того, чтобы в психике ребенка произошли изменения, которые уже нельзя полностью устранить. По мнению известного американского психофизиолога Нила Миллера, изоляция в раннем детстве ведет к снижению интеллекта, аномалиям социального поведения, повышенной уязвимости, нервному напряжению, усилению агрессивности. Ретроспективное изучение 102 правонарушителей-рецидивистов в возрасте пятнадцати—восемнадцати лет, проведенное недавно в одной из английских исправительных школ, отчетливо показало, как тревога, возникшая в раннем детстве, предопределила склонность детей отвечать асоциальным образом на последующие события в их жизни.

Но любовь, лишение которой ведет к столь драматическим последствиям, отнюдь не означает баловства и угодничества. Более того, так понятия «любовь» и «забота» способны нанести формирующейся личности ущерб не меньший, а больший по сравнению с холодным отчуждением.

<sup>19</sup> «Комсомольская правда», 22 июня 1969 года, стр. 2.

<sup>20</sup> «Комсомольская правда», 3 января 1971 года, стр. 4.

<sup>21</sup> «Литературная газета», 2 июля 1969 года, стр. 11.

Как актуально звучат сегодня слова, с которыми Парижская коммуна — первая в истории человечества рабочая власть — обратилась к родителям: «Научить ребенка любви и уважению к себе подобным, внушить ему чувство справедливости, внедрить в его сознание, что он должен учиться во имя общественных интересов, — вот те моральные принципы, на которых отныне должно покоиться коммунальное воспитание»<sup>22</sup>.

Важно не забывать, что общественное нравственно до тех пор, пока оно лично бескорыстно. Коммунистический труд — это «...труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу...»<sup>23</sup>. Привычка здесь — это именно снятие «сознательности» как натужного, рассудочно усвоенного долга, но отнюдь не автоматическая бездушность робота.

Воспитание любви, стремления к трудовой деятельности, органической потребности в труде — проблема социально-психологическая, но и физиология высшей нервной деятельности внесла в эту проблему свой вклад. Два ее завоевания имеют принципиальное значение для материалистического понимания внутренней природы «бескорыстия». Во-первых, это вторичность, производность положительных эмоций от лежащих в их основе потребностей, причем потребностей неудовлетворенных, которые необходимы для положительных эмоций не менее, чем для отрицательных, потому что после удовлетворения потребности эмоция сохраняется только за счет аппарата памяти. Во-вторых, это открытие уже на уровне животных класса потребностей «бескорыстных» (в смысле их автономии от голода, жажды, секса и т. д.) типа исследовательского поведения, потребности в новизне, в преодолении препятствий. Таким образом, сегодня мы имеем достоверные естественнонаучные свидетельства тому, что потребность в познании, в творчестве, в труде может быть источником положительных эмоций и до получения конечного результата (продукта) этих форм человеческого активности.

Необходимо подчеркнуть, что многое, тревожащее и отталкивающее нас в асоциальном поведении подростка, связано с привычкой судить по результату, по навыку, по умению, а не по мотивам, эти действия продиктовавшим. Умеет ребенок обслужить себя, приучен убирать игрушки — хорошо, мы довольны. А может быть, он это делает из страха перед наказанием и тайно ненавидит свои обязанности? А может быть, он это делает из угодничества и тайно презирает и себя, и тех, перед кем он вынужден заискивать? Как мало мы задумываемся над мотивами, движущими маленьким человеком. О человеке следует судить не по тому, что он говорит, а по тому, что он делает. Это верно, но недостаточно. Главное в личности сводится к великому «зачем».

Утверждать, что дети рождаются равно пригодными к системе воспитательных воздействий, была бы система хороша, значит совершать двойную ошибку. Во-первых, это объективно ложное утверждение. Во-вторых, оно наносит тяжелейший урон педагогике, тонко дифференцированному подходу к каждому ребенку как неповторимо индивидуальной личности.

Рождающийся человек — далеко не чистая доска. «Человек является непосредственно природным существом. В качестве природного существа он отчасти наделен естественными силами, жизненными силами, является деятельным природным существом; эти силы существуют в нем в виде задатков и способностей...» (Маркс)<sup>24</sup>. Эволюция дала человеку при рождении не одно лишь умение сосать грудь матери, дышать, глотать и плакать. Эволюция снабдила ребенка огромным набором способностей, абсолютно необходимых для восприятия влияний окружающей его природной и социальной среды. В нем генетически заложены способность к имитации действий и звуков, инстинкт любопытства, благодаря которому ясное видение предмета (обусловленное сведением зрительных осей) само по себе вызывает удовольствие более сильное, чем удовлетворение, наступающее после еды. Ребенок не остается равнодушным к признакам страха, огорчения, радости и равнодушия на лицах и в поведении окружающих. Он наделен врожденным «рефлексом свободы» (Павлов), побуждающим отвечать гневом и сопротивлением на ограничение двигательной активно-

<sup>22</sup> «Комсомольская правда», 17 марта 1971 года, стр. 2.

<sup>23</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 315.

<sup>24</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. М.—Л., 1929, т. III, стр. 642.

сти, а позднее на встретившуюся преграду, и многими другими задатками, которые, по-видимому, известны нам далеко не в полном объеме.

Эти способности присущи каждому рождающемуся на свет, но не в одинаковой мере. Склонность к подражанию и к сопротивлению, любопытство и осторожность, степень чувствительности к сигналам состояния других людей варьируются в достаточно широком диапазоне. Вот почему при встрече с незнакомым предметом один ребенок может испугаться, в то время как другой постарается познакомиться с ним поближе. Вот почему один из двух карапузов окажется лидером, а второй будет с готовностью подражать его поступкам. Учет этих индивидуальных особенностей чрезвычайно важен для воспитания.

Сколь бы ни было велико значение врожденных задатков и воздействий, испытанных в процессе индивидуального развития, поступки человека не несут на себе печать однозначной предопределенности. «Страшное бремя свободы выбора» (Достоевский) остается за самим человеком.

\* \* \*

К выводу о наличии объективной свободы выбора у каждого психически здорового субъекта ныне приходит большинство прогрессивно мыслящих психологов и философов (например, Г. Олпорт, А. Грюнбаум и др.). В сущности, свободы выбора лишен только душевнобольной человек. Это было угадано давно и закреплено законодательством, не допускающим наказания психически неполноценного правонарушителя. Нормальный человек не может не видеть, что окружающие его люди по-разному отвечают на весьма сходные обстоятельства. Потенциальная возможность различных поступков демонстрируется общественному человеку буквально с момента его рождения.

Конкретная общественная среда предлагает своим новым членам ту программу, которая вытекает из природы данной социальной системы. Но каждый человек открывает для себя и опыт многих предшествующих поколений, который гораздо шире программы, типичной для конкретного общества.

Этот опыт — история человечества — чрезвычайно многообразен и противоречив. В этом — великое благо человечества, позволяющее ему сохранить свои исторические завоевания в мрачные периоды реакции и массового фанатизма. Если в обстановке временного торжества человеконенавистнических идей остаются люди, верные идеалам правды и гуманизма, революционеры и борцы, то это происходит потому, что социальная память о непреходящих моральных ценностях человечества каждый раз победно прорастает сквозь пепел сожженных книг.

Богатство и разнообразие исторического опыта человечества создает объективные предпосылки для свободы выбора. В сфере человеческого поведения мы встречаемся с формами активности, которые свидетельствуют о том, что социальные влияния представляют лимитирующую детерминацию, то есть ограничивают до некоторой степени свободу выбора, но вовсе не превращают человека в автомат, механически суммирующий все внешние толчки.

Привыкнув судить по конечному результату — состоявшемуся поступку, — мы склонны преувеличивать силу того примера, которому последовал субъект. При этом мы как бы забываем, что субъект имел перед глазами и совершенно иные примеры, активно отвергнутые им в момент принятия решения. В сущности, принцип прямолинейного детерминизма был бы справедлив только в том случае, если бы все окружающие субъекта люди вели себя совершенно одинаково, чего практически не бывает в реальной действительности.

Мы все еще находимся в плену присущего людям стремления объяснять человеческие поступки из мышления и упорно апеллируем к разуму. На практике это сводится к навязчивым усилиям объяснить, растолковать, что именно хорошо и что плохо, что следует делать, а чего делать нельзя. Вместе с тем конкретные социологические исследования показывают, что юридическая необразованность представляет скорее незнание точной степени наказуемости того или иного проступка, чем неведение относительно его предосудительности. «Отключаются», — пишет Н. Павлова, — на темной улице, без свидетелей. Именно на беззащитного реагируют «нервно». И тут уж бьют. Без

выбора — бутылкой, свинчаткой, кастетом. Бьют с выбором — незнакомого с их именами и адресом. Этот не сыщет»<sup>25</sup>.

С какой легкостью мы склонны иногда объяснять раздраженный тон начальствующего лица сентенциями вроде: «Человек ведь, нервы сдают»,— хотя те же самые нервы почему-то не сдают в разговоре с вышестоящим по службе.

Чуть ли не с детства устно и письменно мы внушаем человеку мысль о решающей роли окружения в мотивации его действий и поступков. До седых волос ходит он в «сыновьях» — семьи, школы, социальной среды, времени и т. д. и т. п.,— нередко привыкая к отчуждению своего поведения от себя самого, поскольку оно становится скорее функцией среды, чем выявлением суверенного «я». Это хроническое моральное иждивенчество в один далеко не прекрасный день может обернуться искренним недоумением при столкновении с требованием нести ответственность за совершенный поступок.

Основные моральные принципы присущи обществу не менее органично, чем нормы языка. Они не могут остаться неизвестными для любого рождающегося на свет. Эти принципы имеют непреходящую ценность, потому что являются объективными законами человеческой цивилизации. Вывод о том, что цель, для которой требуются неправомерные средства, не есть правая цель, столь же непреложен и объективен, как зависимость энергии от массы и скорости движущегося тела.

Если мы разделяем тезис Маркса и Энгельса о потребностях как движущих силах поведения, мы оказываемся перед необходимостью существенно изменить свои представления о механизме влияния окружающей среды на личность. Конкретная общественная среда не столько формирует личность в смысле механического привнесения в нее каких-то определенных черт, сколько отбирает те свойства личности, которые представляют наибольшую ценность именно для данной общественной группы.

В определенных случаях интересы группы могут апеллировать и к сравнительно простым, даже сугубо эгоистическим побуждениям, таким, как страх, боязнь наказания, примитивные чувственные удовольствия. Но существует самовоспитание — могучий рычаг совершенствования и обогащения человеческой личности. Самовоспитание — это победа высших социально ценных мотивов поведения над бездумным подражательством, осознанного коллективизма — над стихийной стадностью, разделенной с другими радости — над грошовым удовольствием только для себя. Подобно свободе выбора, самовоспитание есть одно из проявлений универсальной тенденции самодвижения и саморазвития на высочайшем уровне взаимоотношений личности с общественной средой.

Выбор мировоззренческой позиции есть результат не столько рассудочного ознакомления с различными точками зрения, сколько результат самовоспитания. Это особенно заметно, когда речь идет о человеке, принадлежавшем по рождению к господствующему классу, который оказался способен разделить интересы совершенно иной социальной группы и отстаивать их как свои. Отрицая роль самовоспитания, мы никогда не поймем, почему вполне благополучный аристократ идет на Сенатскую площадь, а из раба-вольноотпущенника получается жестокий надсмотрщик, преследующий своих вчерашних товарищей по несчастью.

\* \* \*

Подведем итоги.

Нарастающая тенденция к сближению естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, запросы теории и практики воспитания со всей остротой поставили вопрос, волновавший человеческую мысль на протяжении столетий,— вопрос о соотношении детерминизма и свободы выбора. «Вполне сознавая, что дает человечеству наука,— сказал недавно академик Б. Кадомцев,— ученые вместе с тем отдают себе отчет, что она беспомощна в решении больших этических проблем»<sup>26</sup>. Мы полагаем, что эта беспомощность является следствием неполноты, недостаточной разработки традиционного детерминизма, которым ныне руководствуются физиология высшей нервной деятельности и психология.

<sup>25</sup> «Комсомольская правда», 3 января 1971 года, стр. 4.

<sup>26</sup> «Литературная газета», 6 января 1971 года, стр. 11.

Мы являемся свидетелями того, как проблема потребностей — этих, по выражению Маркса, побудительных сил человеческого поведения — выдвигается на центральное место в системе наук о человеке, будь то учение о высшей нервной деятельности, психология, социология или педагогика. Марксистское понимание роли потребностей в объяснении мотивов человеческого поведения позволяет четко очертить линию соприкосновения психофизиологии и этики — «науки о том, как жить людям друг с другом» (Л. Толстой).

К сожалению, наши реальные знания о многообразии потребностей человека, их происхождении, иерархии, взаимодействии и развитии остаются пока крайне ограниченными и приблизительными. В связи с этим возникает законный вопрос: а не подменяем ли мы одно неизвестное другим? Продуктивно ли переносить центр тяжести проблемы с традиционных для психологии ссылок на чувства, волю, разум, влияние окружающей среды на потребности? Мы полагаем, что есть достаточно оснований положительно ответить на этот вопрос. Выбор направления дальнейших поисков представляет исключительно важный момент в процессе научного познания. Более того, помимо самого направления, мы уже сейчас можем сформулировать некоторые условия успешного продвижения по намеченному пути. Первое из этих условий — отказ от традиционного, жесткого, кибернетизированного детерминизма, превращающего личность в пассивно рефлексирующий автомат.

Вторым условием успеха мы полагаем решительное восстановление в правах принципа историзма. В применении к проблемам, о которых идет речь, этот принцип означает стремление в каждом случае возможно полнее проследить происхождение того или иного присущего человеку психологического качества. Было бы нелепо надеяться на то, что все мотивы, определяющие поступки человека, можно обнаружить в сфере инстинктов высших позвоночных животных. Главным завоеванием этологии (науки о поведении животных в естественной для них среде) и физиологии высшей нервной деятельности животных мы считаем открытие принципиально негомеостатических, можно даже сказать — антигомеостатических потребностей в новизне (исследовательское поведение), в преодолении препятствий («рефлекс свободы»), в перестройке исторически сложившейся иерархии, реакции на сигналы состояния других особей в ущерб собственной безопасности (биологические зачатки «альтруизма»). Принципу «гомеостаза-маятника» нанесен сокрушительный удар уже на уровне сложных форм поведения животных. Это дает нам основания с большей решительностью отвергать попытки объяснять все поведение человека стремлением к гомеостазу.

Совершенно новый вид приобретает и проблема свободы воли, тысячелетиями волновавшая человеческую мысль. Воля перестает быть неким верховным регулятором потребностей, рационализированным вариантом «сверх-я». Воля всегда «привязана» к какой-либо потребности, хотя и не тождественна ей. Если эмоции служат индикаторами потребностей, выявляют и обнажают их (отсюда сложность и противоречивость эмоций при наличии нескольких потребностей), то воля безошибочно указывает нам потребность, главенствующую в данный момент. Это отнюдь не делает волю «этикеткой господствующей потребности», как считает психолог Харриман. Каждый из нас знает, что при сильной потребности никакая воля не нужна. Воля выводит в лидеры поведения не исходно сильнейшую потребность, а ту, которая стала сильнейшей после обработки сознанием, потребность, усиленную механизмами самой воли. Теперь нам ясно, что воля сама по себе не имеет абсолютной социальной ценности: все дело в том, какой исходный мотив приводит в движение механизм волевого поведения и, в свою очередь, усиливается, заряжается от него. Так аккумулятор, запустивший двигатель, в дальнейшем питается им же спровоцированным движением.

По выражению И. П. Павлова, в области физиологии мозга гора неизвестного остается непоставимо большой по сравнению с крупицами уже добытых знаний. Но штурм продолжается, потому что завет древних мыслителей «познай самого себя» никогда еще не звучал с такой настоятельной требовательностью, как в наши дни.



---

---

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

★

## NO PARKING!\*

### СПОР О ДОКУЧАЕВЕ, ИЛИ КАК МЫ ОКАЗАЛИСЬ В МЕКСИКЕ

Однажды утром — это было еще в Хьюстоне — мистер Кримгольд отправился брать машину напрокат. Ступая медленно, представителью, подошел он к девушке за конторкой, которая, как все в отеле «Шератон Линкольн», олицетворяла исключительно фирму «Шератон Линкольн». Сказал он ей так:

— Пусть я буду последний человек, который это у вас спросит: где ваш конкурент Хертц?

Девушка рассмеялась и шариковым карандашиком, который был в ее руке, указала на улицу за стеклянные двери и объяснила, как пройти.

Один из рекламных принципов компании «Хертц» гласит:

«Вы не только нанимаете машину, вы нанимаете компанию. Наши добрые услуги только начинаются с машины».

Но мы знали по своим деньгам, что машиной услуги и закончатся.

Как бензоколонки «Шелл» и «Ессо» всегда рядом на дорогах Америки, давая потребителю возможность выбрать одинаковые услуги за одинаковую цену и не давая возможности конкуренту обскакать себя, так и компании «Хертц» и «Авис» соседствуют на аэродромах и вокзалах. За одним барьером стоят девушки «Ависа» в розовом с белым костюмах и девушки «Хертца» в желтых с черным шапочках. И конечно же, не последнюю роль в том, какую компанию предпочесть, играет привлекательность девушек. Это установлено, это проверено точно.

Но нам не даровано было право выбора. Следуя инструкциям, мистер Кримгольд воспользовался услугами компании «Хертц». А со временем — странно все же устроен человеческий глаз — мне уже все девушки «Хертца» казались чем-то миловидней.

Теперь каждое утро, сразу после завтрака, мы шли к мистеру Хертцу. Разумеется, не к самому мистеру Хертцу, которого не видит ни один из тысяч и миллионов клиентов. Единый во многих лицах, он одновременно везде и нигде. Он первым встречает вас на аэродромах, в офисах и отелях чудными улыбками девушек, желтеньких, как синички, в своей униформе, приветствует солидным наклоном расчесанных мужских голов, чьи шеи стянуты белоснежными воротничками, а воротнички украшены одинаково — желтыми галстуками с черным поперечным графаретом, в миниатюре воспроизводящим знак перехода, «зебру». И он же, мистер Хертц, последним провожает вас на вокзалах и аэродромах.

Взяв машину в любом из прокатных пунктов, вы не обязаны туда же сдать ее. Зачем от прокатного пункта до аэродрома вам ехать на такси? Пусть и эти последние километры приносят доход компании «Хертц». Вы можете бросить машину на аэродроме, передав ключи мойщику. Вам — удобно, мистеру Хертцу — выгодно. Бумажные, бюрократические процедуры сведены до минимума, машина используется максимально.

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

На всех аэродромах, когда подлетаешь, видны с воздуха машины, машины, машины на огромных асфальтовых площадях, словно на заводском дворе. На всех аэродромах парни в высоких резиновых калошах, в резиновых перчатках губками и мыльными порошками моют, из шлангов окатывают закончившие пробег машины, готовя их к новому пробегу. И пенные потоки воды текут по асфальту из-под колес, из-под резиновых калош. А на груди и на спине мойщиков либо — «Avis», либо черными буквами по желтому полю — «Hertz».

Вот так и это утро в Лос-Анджелесе началось с посещения Хертца. Пока мистер Кримгольд оформлял бумаги, служащий выкатил из гаража золотистого «мустанга», на котором мы уже ездили, и оставил его у дверей. Вскоре оттуда вышел улыбающийся мистер Кримгольд с бумагами в руке:

— Я сказал этим девушкам, кто вы. Так знаете, что они мне сказали? «Слава богу, что нет смога. Проводите их хорошо».

Он все же немножко путался в словах, решительностью преодолевая этот недостаток. Он говорил, указывая из автомобиля: «Мы с вами пойдем туда». И это значило, что мы туда поедем.

Обычно переводчики, хорошо знающие язык, затрудняются в переводе тех слов, которые перевода не требуют. «Как это будет по-русски?..» И выясняется, что по-русски будет так же, как по-английски, потому что слово латинское.

И еще подводят слова, звучание которых примерно одинаково.

— Мой сан,— говорил мистер Кримгольд о своем сыне,— заканчивает юнэвэрсити...

А вообще он был смелый человек, если подумать. В шестьдесят девять лет не каждый решится сесть за руль в незнакомом городе, да еще если этот город — многомиллионный Лос-Анджелес. Но жизнь не миловала его, на многое заставляя решаться.

В одной из поездок он рассказывал нам, как учился в университете Беркли, все еще не зная языка. Однажды во время лабораторной работы он спутал слово «рап» — чашка весов со словом «реп», что может означать в равной степени и писателя и загон для скота. И вот так подал профессору. Профессор прочел и расхохотался. А студент стоял молча. Тогда тот начал догадываться. «Вы не понимаете меня?» — спросил он. «Я никого здесь не понимаю...»

Рассказывал об этом мистер Кримгольд, весело смеясь, а глаза вдруг повлажнели. Быть может, от смеха.

Наш взаимный роман с ним был в достаточной мере случаен. Когда заболел мистер Креймер, начались срочные поиски другого переводчика. Денек повозил нас по Вашингтону мистер Баррел, обладавший многими достоинствами. Но один недостаток все же несколько осложнял его деятельность переводчика: мистер Баррел не знал русского языка. В остальном трудно было желать лучшего. И вот перед самым отлетом из Вашингтона нас отвезли к мистеру Кримгольду.

Он принял нас в своем доме и для деловой части беседы повел на второй этаж, где два канцелярских стола символизировали подобие офиса. Здесь, в этом домашнем офисе, состоялась передача бумаг и небольшой инструктаж главой фирмы мистером Маргулиусом мистера Кримгольда. Разговор велся по-английски, а мы сидели и улыбались, поскольку мы были те, кого передавали при бумагах.

Наконец прозвучало завершающее: «О'кей? О'кей!» — и мы спустились в гостиную, где ждала уже миссис Кримгольд, а на столике стояли виски, джин и бутылка «смирновской» — посошок на дорогу. Было в темпе сказано все то, что говорится при знакомствах, встречах и прощаниях, чокнулись, выпили, миссис Кримгольд сняла передничек, села за руль машины и помчала нас на аэродром.

Теперь же за руль регулярно садился мистер Кримгольд, хотя он и признался честно, что вообще-то больше привык сидеть «справа от шофера». Это положение — справа от шофера — нам было хорошо знакомо по многим образцам.

Мы сравнительно легко в это утро выбрались из Лос-Анджелеса. Наверное, потому, что мы старались не спешить. Но всякий раз, когда за стеклом, мелькнув, уносились нечто сверкающее, я с удивлением обнаруживал, что и у меня в душе сидит гончая. Но мистер Кримгольд вовремя говорил:



— Торопятся на собственные похороны...

И гончая в моей душе клала морду на лапы.

Но вновь пронесилась машина, и вновь я слышал древний зов погони. И опять мистер Кримгольд говорил нечто разумное:

— У нас про таких драйверов говорят: ннзко летают...

А что еще, кроме разумных слов, остается в утешение тем, кого все обгоняют?

Наконец и мы выбрались на шоссе. И словно вздохнули разом: и мы, и «мустанг» наш. И понеслись в общей струе ветра.

На этот раз штурманом был я, и потому я сидел справа от мистера Кримгольда с картой на коленях. И все, что произошло в дальнейшем, лежит, видимо, на моей совести. Ну, и немножко в этом виноват Докучаев. Наш великий Докучаев, которого уже нет в живых.

Мы просто заговорили о нем. Мистер Кримгольд по профессии мелиоратор; затоворивши, мы заспорили, заспоривши, повздорили... Нет, не повздорили. Просто начался один из тех знаменитых разговоров, когда каждый из собеседников считает, что самые разумные доводы — его и потому не слушает доводов противника. А «мустанг» все мчал и мчал нас на юг, и «эр кондишен» обвевал ветерком. Часа через два с лишком я все же вспомнил об обязанностях штурмана:

— А мы не окажемся в Мексике? Не знаю, как по карте, но по времени давно пора нам быть в Диснейленде.

Но, кроме нас самих, спросить было некого и свернуть тоже было некуда. Мы продолжали мчаться.

Конечно, про Мексику я сказал шутки ради, смеха для. А мы уже действительно были в Мексике. И вот это было самое смешное.

Наконец справа показался съезд с шоссе, смотровая площадка на откосе, несколько машин и люди, оглядывающие даль. Мы свернули к ним, а все, кто мчался с нами и за нами, понеслись дальше, словно их ветром прогнало мимо.

Человек шесть взрослых и детей стояли у края смотровой площадки над желтой равниной, над синей далью. Примерно столько же машин остывало после пробега на асфальтовом пятачке, пахнущем бензином, покрытом пятнами масла. Мы оставили нашего «мустанга» среди сородичей и подошли к людям.

Я и сейчас вижу, с какой великолепной небрежностью, словно о чем-то совершенно несущественном, спросил мистер Кримгольд, далеко ли отсюда до Диснейленда. Раздались удивленно-радостные восклицания, и все стали показывать в ту сторону, откуда мы приехали. Перевода с английского не требовалось.

Мы снова сели в машину, мотор которой еще не остыл, развернулись и помчались на север в общем потоке. С большим интересом присматривался я к тем, кто справа, спереди, слева от нас. Неотчетливая мысль, видимо, была такова: в солидной компании все же легче переходить границу.

Слева от нас в черном лимузине курил сигару за рулем коричневый толстяк лет пятидесяти, в белой безрукавке и в галстук. На всю огромную машину их было двое: он и его пиджак. Выглядело это вполне солидно.

Справа вишневая сверкающая машина была полна дамских шляпок, улыбок и развевающихся волос. Словно мчался в ней карнавал.

Не знаю, о чем думал в эти минуты мистер Кримгольд, но он, как привязанный, держался колесо в колесо с этими машинами.

В небе стояло палящее солнце, земля по сторонам была желтая, выжженная, и только шоссе на повороте стремительно текло, переливалось сотнями сверкающих машин. Из их потока начала приближаться, расти фигура человека в шляпе цвета хаки. Он высился как волнорез, поток почтительно обтекавших его машин раздвигался. Черные очки, свисток в зубах, голые по локоть загорелые руки уперты растопыренными пальцами в ягодыны, ноги расставлены прочно. Когда оставалось метров пятьдесят, он вдруг повернулся к нам задом, на котором висел кольт.

Мы проехали между ним и стеклянной будкой. Снизу из машины я увидел подстриженный черный ус и пот, текущий из-под дужки очков по загорелой щеке. Когда я оглянулся издали, Мексика была уже позади.

## СЕМЬЯ СПОХЕЛЬ. ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Сколько бы ни создавалось одинаковых домов, населенных одинаковыми вещами, семьи, живущие в них, не похожи друг на друга. И семья миссис и мистера Спoxelь мало напоминала те семьи, которые мы встречали до сих пор. Хотя и тут было двое детей — девочка и мальчик, — как в семье доктора Уэллса. Как, впрочем, и в моей семье. Только между моим сыном и дочерью разница в три с половиной года, а тут несколько меньше: Рену — одиннадцать лет, Джекки — девять.

Пока мы ехали по Лос-Анджелесу, я задавал Рену те самые задачки, которые еще так недавно решал мой сын: о поездах, вышедших с одной станции в разное время и с разной скоростью или с разных станций навстречу друг другу; о бассейне, куда из одной трубы втекает, а из другой вытекает вода, как она втекала и вытекала в отдаленные времена моего детства. Только тогда эта проблема представлялась мне совершенно неразрешимой. Оказавшись вновь в пятом классе, уже, так сказать, заочником, когда там учился мой сын, я обнаружил, что эти задачи решаются довольно просто. С дочерью я решал их уже в четвертом классе, ибо сумма концентратов знаний, втискиваемых в одну детскую голову, непрерывно растет и детство учителей было сном золотым по сравнению с детством их учеников. Стоит ли удивляться, если на любимый аргумент старших: «Мы в ваши годы...» — дети однажды ответят: «А прихотилось ли вам в наши годы...»

Наверное, я еще смогу стать круглым отличником, если мне придется решать эти же задачи с внуками.

Рен довольно легко и азартно справлялся и с поездами, и с бассейнами, а Джекки в это время дула в глиняную вятскую свистульку и слушала ее переливчатый незнакомый свист. Она сидела в глубине машины, поджав коленки к подбородку; уютное создание — девятилетняя девочка.

И все мы вместе, а за рулем была миссис Спoxelь, мчались по вечернему Лос-Анджелесу среди его огней. И можно было разговаривать и издали, примерно за полкилометра, смотреть кадры фильма на огромном вогнутом экране открытого кинотеатра.

Что бы ни делал американец, какие бы он ни принимал решения, им всегда сопутствует одна мысль: «А где я на это время поставлю машину?» Это сделалось темой многочисленных анекдотов, и в одном из них (о том, что самое первое произносят женщины разных наций после недолгой любви) американка говорит: «Милый, хочешь кока-кола, или у тебя double parking?» Дубль-паркинг — машина, оставленная во втором ряду, — это значит, надо срочно бежать, иначе полицейский оштрафует на двадцать пять долларов. Бежать, даже не выпив кока-кола.

Но это не только тема анекдотов, это одна из сложнейших проблем градостроительства. Люди приезжают на машинах в кинотеатр. Где должны стоять машины, пока люди в зале смотрят фильм? И возникли кинотеатры без залов и мест, а только огромный экран и площадка. Зрители смотрят фильм прямо из своих машин. Ей-богу, не исключено, что в дальнейшем будут вот так смотреть из вертолетов, повисших в воздухе.

Во всяком случае, когда мы подлетали к Лос-Анджелесу и самолет разворачивался над городом, заходя на посадку, я некоторое время сверху, из иллюминатора, смотрел цветной фильм, идущий на земле. Потом самолет повалился на другое крыло и в иллюминаторе возникло небо.

Теперь я видел фильм из мчавшейся по городу машины. И было, как принято говорить, нечто марсианское в этом зрелище: огромный экран и в его отраженном голубом свете — машины, блестящие стеклами и эмалью. Машины смотрели фильм.

А в одной из мчавшихся по Лос-Анджелесу машин девятилетняя Джекки слушала свист вятской свистульки. А в Москве был примерно час ночи и дети мои уже спали и, может быть, видели сны. За ночь моя дочка успевает просмотреть массу интересных снов. Даже проснувшись, она иногда досматривает сон: так сильно зажмуривается.

Мы приехали несколько раньше хозяина. И пока нам показывали дом и детские комнаты, подъехал в своей машине мистер Спoxelь. Он инженер в фирме, имеющей

отношение к программе «Аполло», миссис Спoxelь — учительница в школе слепых детей. Она сказала, что сознательно посвятила себя работе со слепыми, потому что эти дети больше других нуждаются в добре.

Я знал, что это верующая семья. К тому же мистер Спoxelь работал в той области, где будущее человечества очень близко соприкасалось с тем, что может лишиться людей и будущего и настоящего. И я попытался направить разговор в интересовавшее меня русло: о науке и нравственности, о том, как он относится к угрозе, которую несут с собой многие научные открытия. Разумеется, не сами открытия, а использование их. На вопрос этот, в наиболее общей форме существующий как: «Угрожает ли наука человечеству?» — одни отвечают тем, что перечисляют блага, которые принесла и приносит наука, ответ других состоит в том, чтобы вовсе этого вопроса не замечать. А есть уже немало ученых, которые, начав с оптимистических прогнозов, закончили тем, что отказались заниматься наукой, увидя возможные последствия своих открытий.

Рассказывают, что Жолио Кюри в одной из своих лекций 30-х годов поставил вопрос так: если бы ученый знал, что в результате его опыта может возникнуть цепная реакция и мир взлетит, решился бы он на такой опыт или нет? И будто бы ответил: все равно решился бы. Так в теоретическом плане был поставлен вопрос и так на него было отвечено. И зал, где были ученые, встретил этот ответ рукоплесканиями. Но всей своей дальнейшей жизнью Жолио Кюри иначе ответил на этот вопрос.

Совсем недавно английские астрономы приняли повторяющиеся через равные промежутки времени сигналы неведомой цивилизации. Полгода они скрывали это свое открытие, пока не убедились, что оно ошибочно: это были не сигналы из космоса, а радиоизлучение.

Они скрывали потому, что знали, как страшно, не обдумав, подать сигнал о себе, понимали, чем грозит людям встреча с более сильной цивилизацией. Уже есть примеры не в иных мирах, а на нашей планете, уже погребено немало цивилизаций.

От ответа мистера Спoxelя, разумеется, ничего не зависело: цепная реакция не возникла бы, мир не исчез и даже не сотрясся бы. Он, инженер, был рядовым участником процесса, рычаги управления которым находились не в его руках. Он имел дом из нескольких комнат, соответствующий достатку людей его круга, две машины. Возможно, это было платой за работу миссис Спoxelь со слепыми детьми и за участие мистера Спoxelя в процессе, способном в отдаленном будущем дать многие блага человечеству, но способном точно так же лишиться людей будущего. И хотя рычаги управления были не в его руках, это не избавляло его от вопросов: ведь у него двое детей.

Я спросил его о том, о чем, в сущности, каждый рано или поздно спрашивает себя, если способен спрашивать, а не закрывать глаза: спокойна ли твоя совесть, когда ты совершаешь дела, за которые даются тебе блага? И мистер Спoxelь сказал: «Спокойна». Не этими словами, не буквально, сказал несколько иначе.

Мы сидели в креслах друг с другом рядом, отхлебывали виски из толстых стаканов, и мистер Спoxelь, улыбаясь, говорил о перспективах, которые наука открывает перед человечеством, о том, что современная жизнь немислима без кибернетических машин; именно в этой области он был занят непосредственно.

Все то, что он говорил мне, было несомненно. А меня интересовало, что он себе говорит.

У него чернородое лицо, черные, беспокойно блестящие глаза. Взгляд их пристален. И правый глаз начинает чуть-чуть подергиваться в моменты, когда напряжена мысль. Он и сын были сейчас рядом, и я увидел то, чего не видел раньше: у мальчика тоже нервное лицо.

Рен стоял и ждал, чтобы отец обратил на него внимание.

— Что ты хочешь? — спросил наконец мистер Спoxelь.

Рен хотел предложить мне задачу. Одну из тех, которые задавал ему отец. Отец разрешил, и мальчик продиктовал условие: «Сколько килограммов земли можно вынуть из ямы, размеры которой пять на четыре фута, а глубина — десять футов?»

Я достал из кармана записную книжку, достал ручку и начал чертить эту самую яму вышеуказанных размеров. Лицо мальчика сияло восторгом: я сделал первый шаг в ловушку. Ибо нельзя вынуть землю оттуда, откуда она уже вынута. Чтобы захлопнулась ловушка, мне осталось сделать еще один шаг, и я его сделал:

— Постої, а сколько по условию весит кубический фут земли?

Мальчик радостно зааплодировал: я попался. И мне было приятно: я доставил ему удовольствие. Тогда он задал мне вторую задачу, уже с химическим уклоном: изобрели жидкость, которая способна растворять все, налили эту жидкость в бутылку, закупили, закопали бутылку и т. д.

Поскольку Рен, я, земной шар целы, не растворены еще, я вынужден был сказать, что жидкость эта не изобретена. Я лишил его удовольствия исключительно в целях престижа: иначе он просто не поверил бы, что мы из той страны, гражданин которой первым побывал в космосе.

Мелким почерком у него была записана на листе бумаги тридцать одна задача, и он хотел задать мне их все. Но миссис Спoxelь позвала к столу.

Пять взрослых и двое детей сели за большой протяженный стол. По концам его друг против друга сели хозяева. Рядом с миссис Спoxelь на доске был нарезан хлеб, она раздала всем по куску. Рядом с хозяином в кастрюле на деревянной доске стояло жаркое. Он, глава семьи, должен был положить его каждому в тарелку.

Было что-то изначальное в этой раздаче простой еды за столом, где собралась семья и гости. Но прежде чем исполнить свой долг, мистер Спoxelь сказал:

— Мы очень религиозные люди. И приступая к еде, мы привыкли прежде произнести молитву. Если наш обычай вам неприятен, скажите, мы не обидимся.

Мы сказали, что мы неверующие, но мы уважаем их веру. Тогда он попросил всех за столом взяться за руки. И я взял руку мальчика, а левую мою руку держал мистер Спoxelь.

Я не понимал слов, которые хозяин дома обращал к своему богу. Я только раз взглянул на миссис Спoxelь. Лицо ее, казавшееся мне до этих пор невыразительным, было одухотворено сильной страстью, глаза зажмурены, веки вздрагивали. Она повторяла молитву про себя. Я опустил глаза. В руке моей была рука мальчика. Я чувствовал, что я волнуясь.

Вот что значили слова этой молитвы: «О, всемогущий Господь наш! Благодарим Тебя за то, что на столе нашем есть пища, что Ты дал нам возможность провести вечер в кругу наших гостей, благодарим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас своей милостью и даешь нам хлеб насущный. Аминь».

Я не берусь утверждать, но мне казалось, вот теперь я слышу ответ на свой вопрос. Слышу то, что этот человек говорит самому себе, и я слушал волнуясь, держа в руке руку его сына. Главным были даже не слова, а что он вкладывал в них. Он благодарил бога за кров, за хлеб, вверял его провидению и себя, и детей, и последствия своих дел, и свою совесть. Себе же оставлял право делать земное дело, когда рычаги управления находятся не в его руках. Быть может, это и не так, но я так понял.

Так жили люди не первую тысячу лет, вручив всемогущему свою совесть. И на вопросы, которые она задавала, ответ был смиренный:

— Верую, ибо неразумно!..

Провожать нас хозяева собрались вдвоем: детям пора было спать. Но у дверей произошел короткий взволнованный разговор, в котором явно обороняющейся стороной были родители. Растроганная Фрида шепотом перевела, что дети просят взять их в машину, и миссис Спoxelь сказала мужу:

— Может быть, доставим им это удовольствие?

А Джекки уже помчалась в свою комнату.

Когда мы сели в машину, в длинный лимузин, прибежал Рен с периной, Джекки с подушками и книжкой сказок. Последней бежала собака.

Они постелили перину в том отделении, где у обычных машин расположен багажник, взобрались на нее, за ними впрыгнула собака, повизгивавшая от радости, что ее тоже берут с собой. Мать захлопнула дверцу, села в машину, и мы поехали: двое детей, пять взрослых и собака.

Был одиннадцатый час, город жил уже вечерней жизнью среди вспыхивающих протуберанцев огней. При их свете, на ходу врывавшемся в машину, при свете маленького плафона девятилестня Джекки, зарывшись в перину, читала на сон грядущий книжку сказок — большие яркие картинки на гляцевых страницах.

Есть и у моей дочери любимая книжка сказок. Не с такими яркими картинками и не на такой глянцевой бумаге. Заболевая, она берет ее с собой в постель: вместе болеть. Она читала ее в семь, в восемь лет, читает и сейчас после всех прочитанных книг.

Мы говорили тихо, но миссис Спохель ровным голосом учительницы сказала, что тихо говорить не надо, дети все равно заснут. И действительно, когда я вскоре оглянулся, Джекки спала рядом со своей книжкой, а Рен лежал на спине, думая о чем-то, и свет огней, мимо которых мы проезжали, отражался в его глазах.

Когда будут счастливы люди? Наверное, все же тогда, когда у всех детей во всем мире будет детство. Счастье одних, гибель других — сегодня все еще разные концы одной палки. А ведь дом человека — весь мир. И нет большей заботы, чем забота о мире, в который всякий раз по твоей воле вступает рожденный тобой человек. Твое дитя.

На его ли плечи сложим, что дано нести нам?

### ЛАС ВЕГАС

Лас Вегас начинается задолго до Лас Вегаса. Его аванпосты — реклама — встречают вас на всех дорогах. Они призывают посетить, не упустить, побывать.

На розовых щитах различных размеров, установленных в Лос-Анджелесе по пути на аэродром, возлежит розовая женщина, длинноногая и обнаженная: «Фламинго из Лас Вегаса». Она смотрит на проезжающих, опершись на локоток. Наряд ее — перья фламинго. Несколько перышек на груди, несколько перышек на бедрах, а бедра таковы, что они одни способны привести путника в Лас Вегас. Даже если он отправлялся в Мекку.

В углу щита значится весьма умеренное: \$ 33. Что стоит тридцать три доллара, не вполне ясно. Все же, надо думать, билет на самолет.

В Сан-Франциско реклама больше полагается на воображение, чем на изображение. Она призывает: «Лас Вегас. Наслаждайтесь ночной жизнью в пустыне».

И публика на аэродроме — жаждущая наслаждений. На дамах брюки расклешены по самой крайней моде. Тонконогие курортные мужчины прохаживаются среди них, подрагивая коленками. В руках — последнего образца теннисные ракетки, в глазах — предвкушение.

С одним из мужчин — в брюках цвета сливок, в тоненькую коричневую клетку-продержку — произошел у меня разговор на лету:

— Рашен? О-о!.. У меня в Сан-Франциско есть девушка рашен.

Он сложил большой и указательный пальцы в колючку: жест, который означает у американцев самую превосходную степень, абсолютное попадание в яблочко, означает все то, о чем только можно мечтать, и так далее и тому подобное, насколько хватает воображения и превосходных степеней. Вот какая это девушка!

— Так почему ж вы едете без нее?

Оказалось, это совершенно *impossibly* — невозможно. В Лас Вегасе у него другая девушка.

Он сложил большой и указательный пальцы жестом, означавшим все, сказанное выше. И наверное, еще многое. Вот какая у него девушка в Лас Вегасе. И на лице его была вполне кинегеничная *smile* — улыбка, и в жилистой руке были теннисные ракетки. А мимо везли, везли чемоданы. Модные, раскладывающиеся, огромные, в которых все что нужно для ночной жизни в пустыне.

Самолеты взлетали каждые пятьдесят секунд, и мы взлетели прямо в инверсионный след, в нарастающий дым чих-то моторов. Разгон и взлет были круто стремительны, и дома, земля, зелень не исчезли позади, а провалились вниз.

Мы еще набирали высоту, когда под нами, ярусом ниже, курсом, перпендикулярным к нам, прошел взлетевший следом самолет. А еще ниже, на земле, двигалась очередь выстроившихся в хвост друг другу машин, и от нее уже начал разгоняться маленький самолетик. Он мчался по бетонной полосе глубоко вниз и вдруг отстал, отделился от своей тени. И они полетели врозь, удаляясь друг от друга.

А наша тень два раза скакнула под нами по облакам и исчезла, растаяла в лучах солнца, которое здесь было таким слепящим, словно мы приблизились к нему.

Но тень незримо сопровождала нас и возникла вновь откуда-то сбоку, когда мы стали снижаться. Побежала, перескакивая через дома, овраги, дороги. Она становилась все крупней, крупней, ближе, стремилась под крыло, и наконец мы стукнулись в нее колесами, соединились и побежали вместе по бетонной полосе. И стали вместе.

- Гуд лак!
- Гуд бай, леди.
- Бай, бай, сэ.
- Бай, бай...

А на земле подхватывали в машины пассажиров. Пока они еще полны сил, предвкушения и денег. Пока ничего не растрчено.

И вот мы мчались по пустыне, по широкому асфальтовому шоссе, в темпе, в темпе, в ритме джаза, звучавшего в машине. И на переднем бампере у нас, прикрывшись собственными коленками и золотым дождем крашенных волос, сидела загорелая красавица. И на заднем бампере прилегла загорелая красавица в узенькой полоске на бедрах, символизировавшей, что необходимые условности соблюдены, все пристойно. И на бамперах многих такси присели, прилегли пляжные красавицы, вырезанные из журналов. В стремительном общем хороводе они мчались в Лас Вегас, в Лас Вегас.

Пальмы его возникли из пустыни, как перья на головах высунувшихся из-за гребня дикарей. И понеслись навстречу. Пальмы, башни, паласы распластанного по земле города удовольствий. Шоссе втекало в его улицы со скоростью мчавшейся машины. И запрыгали в глаза названия: «Лидо», «Казино де Пари», «Аладин», «Монако», «Розы в пустыне», «Цезарь палас»...

Наш отель — «Стардуст». Мы развернулись к подъезду, а оттуда уже выскакивали, резво кидались к вещам ливрейные ребята, едва не на ходу выхватывали чемоданы из багажника. Это снимался первый слой с того, что привезено, что будет истрачено, что целиком останется здесь. Откуда им было знать, что нам и тратить-то нечего. Пока суд да дело, они выхватывали причитающуюся им долю.

А в вестибюле безмолвно ждали своей доли автоматы. И дальше по всему нижнему залу на красном ковре под красным потолком — между этими двумя сходящимися в глубине красными плоскостями — стояли улицы, переулки автоматов для игры. Монеты были в них заложены, ток включен, они светились изнутри. Но игра пока что шла вяло: был ранний день.

А ближе всех ко входу стоял автомат, содержащий главный приз. И назывался он так же, как та немецкая пушка, что в первую мировую войну обстреливала Париж: Большая Берта.

Большая Берта была размерами с хороший холодильник. И нужно было только поднести бумажный доллар к светящейся щели, потянуть на себя рычаг... И вы могли выиграть сто тысяч долларов. За один доллар — сто тысяч. И автомат этот стоял у самого входа. Еще даже не взяв ключ от номера, с порога прямо вы могли стать чуть ли не миллионером.

И портье, выдававший ключ, мог стать миллионером, и шофер такси, и парни в ливреях, спешившие поднести наши чемоданы, — все могли стать миллионерами. Быть может, они не желали ими стать?

Накануне отъезда в Лас Вегас была у меня как раз короткая беседа с миллионером. В Сан-Франциско давался прием на пароме, возможно, даже на том самом пароме, на котором тридцать с лишним лет назад плыли Илья Ильф, Евгений Петров и мистер Адамс. Тогда еще только строили висячий мост через залив, чудо техники; тогда еще шла борьба между двумя конкурентами: владельцами парома и хозяевами моста Сан-Матео. Теперь все это в прошлом. Паром давно уже вышел в тираж. Кто-то пытался устроить на нем плавучий ресторан. И прогорел. Еще кто-то пытался устроить еще что-то. И тоже прогорел. Так он попал в надежные руки мистера Ландера, сделавшись отныне его плавучей конторой.

Вот на этом пароме-пароходе давался прием человек на сто. И самым незаметным среди гостей был хозяин, в будничном пиджаке, в синем рабочем воротничке под галстуком. Однако, при полной свободе обращения, все хорошо знали who is who — кто есть кто.

И вот я спросил мистера Ландера, нет ли у него мысли пригласить меня компаньоном. Смейся, он погрозил мне пальцем снизу вверх, поскольку был небольшого роста. И в назидание, предостерегая от непоправимой ошибки, от которой себя он не предостерег, сказал такую формулу: «Миллионер — это тот человек, который должен банку миллион».

Быть может, это и отпугивало всех? А ведь удача любит смелых. Один мой приятель, человек положительный, не игрок, однажды на глазах у всех выиграл шестнадцать тысяч франков. Было это, правда, не в Лас Вегасе, в Монако. И тоже ранним днем, когда крупная игра еще не началась, а в пустоватое казино водили туристов. Он поставил и выиграл.

Слегка оглушенный, он подошел к нам, оглянулся, сказал тихо:

— Я только что выиграл шестнадцать тысяч франков! Новых!

Но нашим гидом от французской компании была дама не первой молодости, родом из Петербурга. Она много поиграла на своем веку, не раз выигрывала. От всех ее выигрышей оставался у нее к тому времени поздно рожденный сын. шалопай малый, которому она звонила из каждого города, умоляя об одном только: учиться. И всякий раз возвращалась от телефона с мокрыми глазами.

Она сказала многоопытно:

— Вы ставили, конечно, мысленно?

— Да, но я выиграл.. Двадцать первое — это день моего рождения. Я поставил на двадцать один и выиграл...

— Теперь пойдите и поставьте пять франков. В рулетку самые крупные выигрыши, когда мы ставим мысленно. Пойдите, а то вы не избавитесь от иллюзий.

И пока он относил эти свои пять франков — недорогую, в сущности, плату за избавление от иллюзий, — она рассказала, что иногда бывает все же такая полоса. Как-то приехала она в Ниццу (была она тогда моложе) и месяц жила в хорошем отеле, не имея ни гроша: ее содержала рулетка. Все, что могла она желать, она имела: каждый день была у лучшего парикмахера, каждый день играла в теннис с лучшим тренером. И содержала любовника. Все это оплачивала рулетка. Вот такая была полоса в ее жизни. Один месяц.

Быть в Лас Вегасе и ничего не проиграть — это все равно что смотреть спектакль, не уплатив за билет. Я подошел к Большой Берте и той самой стороной, как было указано, протянул полагающийся ей доллар с портретом Джорджа Вашингтона. И двинул на себя рычаг, похожий на булаву. Большая Берта вдохнула доллар и ничего не выдохнула. Так я второй раз за эту неделю не стал миллионером.

В этот день *saturday afternoon*, то есть в субботу в двенадцать часов пополудни должен был состояться матч наших и американских боксеров-любителей: *The First International boxing championship United States of America vs Union of Soviet Socialist Republics*. И местом встречи был избран Лас Вегас, штат Невада. Вот оттого мы тоже оказались в Лас Вегасе, где до тех пор почти никто из советских людей не бывал. Не берусь судить почему. Потому ли, что в этом городе официально разрешены азартные игры, или оттого, что в пустыне Невада проводятся подземные атомные испытания, — не знаю. Но факт тот, что из граждан нашей страны мы стали чуть ли не первооткрывателями этой земли обетованной.

А узнали мы о матче совершенно случайно. В самолете кто-то из нас раскрыл «Комсомольскую правду», и вот, летя над Атлантикой на высоте десяти тысяч метров, мы прочли, что 25 октября состоится первый в истории наших двух стран матч любительских боксерских команд. И сразу же решили попытаться попасть на него. А в это время, как потом выяснилось, в командном отсеке корабля решалось, не совершить ли посадку в Исландии, поскольку дул сильный встречный ветер, скорость упала и могло не хватить горючего.

Потом в Вашингтоне, когда утверждалась программа, мы заикнулись о нашем намерении. Мистер Джером Маргулиус, представлявший фирму, которая организовывала поездку по стране, страшно развеселился: «Зачем вам в Лас Вегас? Я боюсь, ваших денег там не хватит». И все американцы, кому в дальнейшем мы говорили, что едем

в Лас Вегас, улыбались или начинали хохотать, будто им анекдот рассказали. И советовали не проиграть всех денег: веселье Лас Вегаса действовало уже на расстоянии.

Так вот, мы сказали, что хотим туда попасть. Мистер Маргулиус спросил: «Зачем?» Мы объяснили.

Ни горе, ни болезнь, наверное, не способны вызвать у людей такого мгновенного понимания, такого сочувствия, какое в XX веке вызывает спорт. Мистер Маргулиус сказал: «О'кей!» — и его тут же соединили с Лас Вегасом.

Расхаживая вдоль стола на спиральном поводке телефонного шнура, он разговаривал в том жизнерадостном стиле, который принят в Америке, поскольку и на этом конце провода все вери гуд, и на том конце провода — вери гуд, и у всех все вери гуд, обязательно и непременно все вери гуд: хорошо!

Жизнерадостный стиль этот, столько раз описывавшийся, столько раз осмеянный, думается, содержит все же некое рациональное зерно. Он тонизирует. Он заставляет держаться. Особенно, если темп жизни требует этого.

Закончив разговор неизменным «О'кей! Гуд бай!» — мистер Джером Маргулиус положил телефонную трубку.

— Вы едете в Лас Вегас! Номера в отеле будут заказаны, билеты на матч будут ждать вас.

Поездка наша была частью межгосударственного соглашения о культурном обмене между нашими странами. И хотя принимающей стороной был госдепартамент, практически все делала частная фирма, получившая это право как бы на откуп. Почему? Мистер Маргулиус объяснил это так:

— Если бы это делал госдепартамент, многое пришлось бы согласовывать. И там, где нет проблем, возникли бы неразрешимые проблемы. Мы это делаем оперативней.

И Лас Вегас был включен в программу поездки.

К двенадцати часам, когда в основном зале шла игра, circus maximus Цезарь паласа сдержанно гудел. И белые ложи его и места для прессы — все было заполнено. Только освещенный квадрат ринга — пуст.

И вот прошли через зал наши ребята в синей своей тренировочной форме. Они шли защищать спортивную честь родины, а стены здесь не помогали им.

Я не такой уж страстный болельщик, но когда они, сосредоточенные, шли через зал, где «ни слова русского, ни русского лица», мы подошли, чтоб быть рядом:

— Ребята, мы здесь, мы болеем за вас!

Пусть все же слышат, пусть знают.

Был совершен необходимый ритуал приветствий, тем более необходимый, что в ложе для почетных гостей сидели посол Советского Союза Анатолий Иванович Добрынин с женой и советник посольства Валентин Михайлович Каменев. Не первый год живя в Америке, они впервые были в Лас Вегасе, и дорогу сюда им тоже проложила наша команда боксеров.

Одним из телекомментаторов на этом матче был Кассиус Клей. Впереди — его матч с Фрезером, далеко впереди. Сейчас он выступал в роли комментатора. Увидевшись с нашими ребятами, он сразу же задал свой первый, главный вопрос:

— Меня знают в России?

Ребята сказали, что знают, и Кассиус Клей, подпрыгнув, закричал всем, кто был поблизости:

— Меня знают в России!

И пообещал Васюшкину, нашему тяжеловесу, утром прийти на его тренировку. Васюшкин ждал, волновался, выходил даже встречать, но Кассиус Клей забыл о нем. Кто бросит в него камень? Да камни и не пробивают броневой завесы славы. Отскакивая от нее, они поражают тех, кто осмелился бросать.

Самым драматичным для нас, пожалуй, был первый бой, первое столкновение команд. Мы проиграли его.

Маленький смуглый Кукумов мужественно выстаивал под ударами, пытался контратаковать. Кровь текла из его плоских широких ноздрей, она блестела на черном плече американского боксера, блестела на его перчатках, и когда Кукумов пропускал удар, на теле оставалась свежая кровавая печать.

Кричали вокруг нас, кричали позади нас, и мы тоже кричали: «Кукумов! Кукумов!»



Не жизнь и смерть человека, не судьба родины решалась, а так схватывало сердце, что вдруг нечем становилось дышать.

Потом два боя подряд выиграли мы. Можно было спокойно оглядеться вокруг.

Позади сидел грузный человек, по виду бывший боксер. У него сильно загорелое, мужественное, малоподвижное лицо. Он что-то сказал мне, я попросил Фриду перевести, но Фрида ничего не слышала: она то закрывала глаза ладонью, то опять не могла оторваться от ринга. Мы улыбнулись друг другу и начали разговор жестами.

Всякий раз после удара гонга он безапелляционно указывал пальцем в тот угол, где сидел боксер, за которым остался раунд. Он судил беспристрастно, как профессионал.

Шел бой Валерия Соколова и Рея Лани, бой, вызвавший сильное волнение в зале. Только трое полицейских у выхода сохраняли каменное спокойствие. В обтягивающих, спортивного покроя куртках, в зашнурованных на икрах сапогах, они стояли, заложив руки за спину. У каждого на поясе кольт и наручники, рост каждого не меньше полуженных ста восьмидесяти шести, сложение боксера-тяжеловеса.

А впереди них кричал, беснуясь, человек с полотенцем в руке. Он выводил боксеров к рингу, напутственно хлопал по спине и, оставаясь внизу, помогал им криками.

С раздувшейся шеей, испуганным лицом, он орал неистово:

— Панч (удар)! Панч! Сбей ему дыхание! Панч! Перед тобой дурак! Бей его!..

Юный, легкий, подвижный Лани, сын профессионального боксера, боксер с несомненным будущим, вызывал особые симпатии зала. Но когда кончился раунд, человек, сидевший позади меня, указал пальцем в угол, где отдыхал Соколов. И сейчас же тот, с полотенцем в руке, крикнул ему:

— Вы сочувствуете русским!

Вот эту фразу Фрида услышала и мгновенно включилась.

— Я сочувствую спорту.

Вокруг уже слушали их разговор. И трое полицейских слушали.

— Вы сочувствуете русским!

Глаза глядели с белой яростью. Пожилой боксер спокойно глянул в них.

— Вы занимаете вонючую позицию,— сказал он.— От нее воняет.

И повернулся спиной.

А на ринге, пока боксеры отдыхали, совершала свой круг почета герл. Породисто гарцуя на золотистых каблучках, она несла над собой транспарантик «3 round», но продемонстрировала главным образом себя.

Герлс было две. С ударом гонга, пронырнув под канатами, то одна, то другая воцарялась на ринге, чтобы заполнить паузу. Белая, отделанная золотом римская туника, подрезанная чуть выше всего того, что следует прикрывать, удерживалась пряжкой на голом плече. Голову венчала коническая прическа: у одной — черная, у другой — золотистая. Все было в лучшем римском стиле — ведь это Цезарь палас! — и даже, извиняюсь, над туалетами вместо обычных «теп», «women» светилось более подходящее: «Для Цезарей», «Для Клеопатр».

Покачивая бедрами, в коротенькой своей тунике, ослепительно улыбаясь, герл храбро гарцевала под транспарантиком на свету прожекторов. И это тоже было состязание. В нем не оспаривался спортивный престиж родины, но были тут свои ставки, свои возможные призы.

Другие герлс в таких же золотистых туниках, но не столь ослепительные, разносили сейчас на подносиках напитки в игорном зале: не каждой выпадает блистать там, где по пригласительным билетам собрались люди, чей вес отражен цифрами со многими нулями. Но те, кому выпало... Они попеременно выпархивали из-под канатов в свет лучей, под направленные на них взгляды, чтобы вершить свой минутный балет, пока боксеры отдыхают, исполнить свой танец надежды. Они так молоды казались в сильном свете, но вблизи было видно, что одна из них, черненькая, совсем уже не молода. И этого не могли скрыть ни тон, ни грим.

К перерыву счет матча был уже 4:2 в нашу пользу. Журналисты, не тратя зря времени, уточняли у нас звучание русских фамилий. Мельникофф, Соколофф, Фролофф — это еще куда ни шло. Но вот Бабарыка... Для него в английском определенно не хватало звуков.

— Владимир Ба-ба-ры-ка,— возможно понятней артикулировал я.

— Ба-бри-ка.

— Бабарыка.

— Иес, Бабрика!

Так и осталось: «Babrikа».

Мы разговорились с соседом, который только что был обвинен в сочувствии к русским. Разговор шел при помощи Фриды, и ей на каждую нашу фразу приходилось говорить две: за одного спрашивать, за другого отвечать.

— А лимоны в России есть?— спрашивал американец уже где-то в середине разговора.

— Лимоны есть. На Кавказе.

— А персики есть?

— Есть персики. Скажем, в Армении. Вот такие персики!

— А виноград у вас есть?

Вокруг сочувственно улыбались, слушая этот разговор. И человек с полотенцем слушал, косясь; он не ушел в перерыве. И полицейские стояли у выхода, в своих зашнурованных сапогах и белых шлемах, словно только что слезли с мотоциклов.

— Виноград есть. Узбекистанский виноград, молдавский виноград, на Кавказе виноград.

— А табак есть?

— И табак есть.

Это начинало напоминать разговор из чеховской «Свадьбы»: «А тигры в Греции есть. Есть тигры. В Греции все есть...» Но тут он спросил:

— А бананы в России есть?

— Вот бананов, кажется, нету. Зато у нас есть клюква.

— What is клюква?

— Клюква? Ну как объяснить? Маленькая такая красная ягода. На болоте растет.

И вдруг он понял, про что речь: клюква! Cranberries! Так клюква в Америке есть. Есть даже Клюквенные острова. На Севере.

Ну, ничем друг друга не удивишь.

Он улыбается, хлопает меня по плечу:

— О'кей!

Глаза у него умные, с желтоватыми белками, взгляд их тверд. И рука тяжелая.

Вокруг тоже улыбаются.

А по рингу с микрофоном в руке рассказывает сейчас конферансье не конферансье, но что-то вроде. Развлекает публику. До остроумия он не опускается, его стиль — развязность:

— По правде говоря, я не знаю, что буду вам сейчас говорить. На ринге я не одерживал побед. Я никогда не был боксером. Я был любовником. Я хочу знать, с кем я сегодня буду возвращаться домой.

Он ходит по рингу, перекидывая волочащийся по доскам шнур микрофона, оглядывает публику, дам. Публике нравится, что он с нею груб, слышен одобрительный смех.

В одной из лож вскакивает старик с сигарой:

— Я был любовником! У меня было пять побед!

Он показывает всем растопыренную пятерню:

— Five!

— Как зовут герлс?

Конферансье через канаты протягивает микрофон вниз, и герлс охотно, бойко называют свои имена:

— Хейзл! Марджи!

Словно теперь только разглядев их, конферансье похаживает у канатов, как бы соображая на ходу: а не с одной ли из них возвратиться ему сегодня домой? В зале одобрительно хохочут.

Во второй половине матча американской команде удалось сократить разрыв, но счет все равно остался в нашу пользу — 6:5. Пожалуй, он даже мог быть больше на

одно очко. Американский тяжеловес Джим Элдер, перед тем как выйти на ринг, долго боксировал рядом с полицейскими. Огромный, белый, яростный, он производил впечатление. И хотя в таких случаях говорят: «По воздуху мы все умеем, ты на ринге покажи»,— мне было немного страшновато за нашего Васюшкина.

У нас бывали в разные годы выдающиеся боксеры в других весовых категориях: Дан Поздняк, Грейнер, Енгибарян, Геннадий Шатков, ни с кем не сравнимый Валерий Попенченко. Но в тяжелом весе после Королева и Шоцикаса нам не очень везло.

Для Джима Элдера это был очень важный поединок: уже объявили, что он уходит в профессиональный бокс. А уходить надо победителем. И он победителем стал.

К чести американского спортсмена, он сам пришел за кулисы и сказал Васюшкину: «Победил ты!»

Вечером на месте ринга стояли сдвинутые столы. И в ложах — накрытые столы: хозяин отеля устраивал прием.

И вот сидели рядом недавние противники. На ринге наши ребята показали себя мужественными спортсменами. Но и за столом, в вечерних костюмах, они производили хорошее впечатление. Держались достойно, скромно. На них приятно было смотреть.

Напротив меня сидел Джесси Вальдес, смуглый парнишка, похожий на мексиканца. Было известно, что с год назад Кассиус Клей сказал ему: «Я знаю тебя, парень! Ты сильный». «Я не сильный, я смелый,— сказал Джесси Вальдес.— Но я буду сильным». Он проиграл бой Валерию Трегубову. Но и побежденный, он держался победителем.

С ним рядом — его девушка. Когда подали огромные бифштексы, она поманила к себе официанта, что-то сказала ему. Официант принес бумажный пакет. Ничуть не смущаясь, очень естественно она положила свой бифштекс на кусок хлеба, прикрыла другим куском и спрятала в пакет. А мне, видевшему это, весело улыбнулась. И я улыбнулся ей: этот бифштекс сегодня им обоим пригодится, когда они будут голодны и молоды.

Мы входили в Цезарь палас днем. На улице была жара, духота, крахмальные воротнички липли к шее, белый свет солнца резал глаза. А вышли — вечер. День минул.

Вот только теперь город оживал: начиналась ночная жизнь в пустыне. Все здания светились изнутри, и туда, как ночные бабочки на свет, стремился сквозь стеклянные машущие, крутящиеся двери поток вечерних туалетов, голых плеч, надушенных волос. Многометровые электрические дивы над входами делали смелые движения, вспыхивали, гасли, вновь зажигались, суля небывалые зрелища, приглашая на *toples*.

Стояли пальмы в странном фантастическом свете скрытых прожекторов, по улицам проносились машины, с визгом тормозили у освещенных подъездов, из них выскакивали, в них садились, снова мчались куда-то, чтоб опять с визгом тормозить. Все магазины были открыты, повсюду все приглашало, светилось, превращая ночь в день. И огромная, не дававшая света, плоская оранжевая луна, повисшая над городом, казалась декорацией.

Среди многих запахов один был особенно силен: запах денег. Им светились глаза людей, им светились рекламы, им дышали, на него слетались отовсюду, он давал ночное сияние этому городу в пустыне.

В «Стардусте» в огромном красном зале на всех автоматах шла игра. И на освещенном зеленом сукне карточных столов шла игра, и на расчерченном сукне рулеток делались ставки. Крупье бдительно следили за игроками, хозяин следил за крупье. Не сам, разумеется: в век электроники за него работало незримое телевизионное око, смонтированное в потолке.

Состояния здесь не исчезают и не творятся; они только меняют хозяев. Все знают о человеке, который за ночь выиграл 450000 долларов: такая шла ему полоса. Все знают о человеке, который оставил здесь 1500000 долларов. Но это не называется «проиграл». Есть тому гораздо более изящное название: он не проиграл, он «выиграл для отеля».

Вдруг в зале раздается звонок. В одном из автоматов сыплются в металлический лоток десятицентовые монеты — «дайны». И все то время, пока они сыплются, авто-

мат, опорожняясь, звонит. Он звонит о выпавшей удаче, о том, что и вы, кто «выигрывает для отеля», можете вот так же крупно выиграть для себя.

Монет высыпалось целое пластмассовое ведро. Они повсюду стоят у автоматов — пустые пластмассовые ведерки: на случай выигрыша. И бумажные стаканы, из каких пьют воду, сок со льдом, тоже используются для монет. Но чаще выигрыш даже не вынимают из лотка, потому что игра продолжается. Вначале не вынимают, потом и вынимать уже нечего.

Играют на одном, на двух, на нескольких автоматах сразу: бросают монету и двигают на себя рычаг, бросают и двигают. И много среди игроков старух. Они сидят на высоких стульях, держат в сухих руках мешочки с монетами, стаканы с монетами. Дым сигарет подымается над автоматами в электрический свет к красному потолку. Герлс разносят прохладительные и горячительные напитки. Из разных концов зала, с разных эстрад слышна музыка.

Перед световым табло, как в миниатюрном кинотеатре, сидит в креслах публика. Вспыхивают цифры, каждый что-то помечает на бумажке. Тут тоже идет безмолвная игра, на этой своеобразной бирже.

В полутемном кафе на эстраде поет в микрофон певица. Свободная официантка стоит у входа, пританцовывает ножкой в сетчатом чулке.

«Улыбайтесь, жизнь прекрасна...» — поет в микрофон певица.

Мимо барьера кафе, мимо игровых автоматов, над которыми подымается дым сигарет, хромой мужчина ведет пьяную женщину.

Официантка, молодо наклонясь, выслушивает заказ пожилой леди. Сэр тоже не молод, но сэр не обязательно должен быть молодым.

С величайшим вниманием, с полнейшим пониманием официантка выслушивает желания леди. Все внимание ей, только ей. Но и не глядя, прикрыв глаза пятидолларовыми ресницами-опахалами, она видит, как сэр из-за карты напитков скопился на ее ноги.

Запах денег витает в воздухе сильнее всех запахов. И состояния здесь не творятся и не исчезают, они только меняют хозяев. Переходят из рук в руки: целиком, частями, малыми долями. Никто не должен свою долю упустить. А все, что имеет спрос, предлагается. И у каждого здесь своя ставка.

Молодо, гибко склонясь, официантка выслушивает пожилую леди. Слушает как исповедь. Но стройная ножка в сетчатом чулке, на которую скопился взгляд сэра, чуть пританцовывает в такт музыке. Той ли, что на эстраде, той ли, что в душе.

«Если вы будете улыбаться всегда, все печали улетят от вас...» — обещает певица.

Раздается взрыв аплодисментов — не певице, это кто-то выиграл в рулетку.

В Монте-Карло есть зал, где делают ставки по сто пятьдесят тысяч франков. Специальный зал. Старик крупье, чья жизнь прошла там, рассказывал в этом зале, посещаемом главным образом туристами, что после первой мировой войны игра в казино помельчала, нет прежнего размаха. С одной стороны, потому что люди стали меркантильней, с другой же — оттого, что русские больше не играют. А бывало, крупно играли русские в Монте-Карло. С таким размахом, что несколько из них, кто проиграл здесь больше миллиона рублей, казино установило пенсию, когда Октябрьская революция лишила их возможности играть впредь.

В Лас Вегасе игра основана на иных принципах. В автоматы кидают пять, десять, двадцать пять центов. И только на Большой Берте ставка — доллар.

Но тем не менее отель Цезарь палас, построенный за двадцать пять миллионов долларов, окупил себя уже через два года, в основном за счет автоматов для игры. Новый хозяин, который устраивал сегодня прием, купил его уже за шестьдесят пять миллионов долларов. И, надо думать, не для того, чтоб разориться.

В третьем часу ночи игра в полном разгаре. Страсти накалены. На всех эстрадах, в варьете пляшут и поют. В сигаретном, сигарном дыму из полутьмы в свет, из света в полутьму спешат герлс с подносиками. Крики крупье, стук фишек, звон монет, звонки автоматов, голоса играющих, пьющих, поющих... Распахнуты по-прежнему двери мага-

зинов, можно среди ночи купить все: от сувениров и пляжных костюмов до мехов и драгоценностей. Эти сувениры не купишь нигде кроме, только в Лас Вегасе. Но на многих из них, этих фирменных сувенирах, все то же едва заметное клеймо: «Made in Jарап».

Во дворе отеля «Стардуст» — двери наших номеров открываются прямо во двор: Невада, жарко-голубая, подсвеченная изнутри вода в бассейнах. И черные пальмы. И черное небо. И высоко в нем — серебряная луна. Над городом, над всеми казино делари, цезарь-паласами, над играющими, пляшущими, любящими в номерах, над отлюбившими.

В пять часов утра нам уезжать на аэродром. В зале под красным потолком, несколько опустевшем, все еще идет игра. У крупные белые после ночи лица, рубашки несвежие, пропотевшие. И все вокруг несвежее, повсюду запах окурков, пепел на ковре. Уже погашен свет на эстрадах, и в наставшей наконец тишине у игроков лица людей, внезапно оглохших. Но они все не могут уйти, сидят на высоких стульях, дергают, дергают за рычаги свою судьбу, пытаются доить.

У такси между мистером Кримгольдом и носильщиками, которые на самоходной тележке подкатили наш багаж, происходит короткое столкновение.

Обычно процедура погрузки и выгрузки вещей не лишена некоторой торжественности. Мистер Кримгольд не только пальто свое клал на тележку, но и зонтик и свежую газету. И все это везлось впереди него, а он шел налегке. Он даже дал теоретическое обоснование такому разделению труда: «Я реферирую, он возит».

И вот впервые произошло столкновение. Парни в ливреях с ухватками гангстеров что-то угрожающе требовали от него, потом вскочили на тележку, явно намереваясь уехать вместе с вещами. И тут мистер Кримгольд проявил сноровку: он сделал движение к полицейскому. Соскочив с тележки, парни начали носить вещи в раскрытый багажник, около которого в продолжение всей этой короткой стычки безучастно стоял шофер.

Оказалось, они потребовали в последний момент раз в пять больше того, что полагалось им. И угрожали увезти вещи обратно. Это был Лас Вегас. Тут каждый вырывает свою долю. Только способы были разные. За хозяина отеля это делали автоматы и крупье, и этот способ охранялся полицией. Ребята в ливреях примитивно действовали нахрапом, а это пресекалось.

Мы ехали на аэродром по пустому городу. На фоне оранжевой полосы восхода блестели непогашенные фонари. Еще плескались фонтаны — голубые, зеленые, розовые. И мигали, мигали поблекшие в свете утра витрины, маня, призывая тех, кто уже не способен был желать, кого ждало тяжкое похмелье.

На аэродроме у автоматов, которые первыми встречают прибывающих в Лас Вегас, последними провожают, несколько человек бросали в прорези оставшуюся мелочь, все еще надеясь.

А на синтетическом ковре, которым был затянута пол, спали у стен между кресел те, кто ночью, проигравшись, был вынужден бежать из отелей, чтоб не плагиать. Они досыпали здесь, на полу.

Мы подошли к стойке выпить кофе. Тут сидели несколько человек с отрешенными лицами. Уставясь невидящим взглядом, они все еще играли. Уже мысленно. И вот теперь они делали свои самые верные ставки. А это значило, что они еще вернуться.

Когда по длинному, устланному ковром переходу мы шли в самолет, я увидел вдруг индейцев. Не в кино, не на иллюстрациях к Майн-Риду: живых. Они шли толпой в своих ярких одеждах. Их ничего не выражавшие, словно вырубленные из темного дерева лица были расписаны красками. И смуглые плечи расписаны. А головы украшали перья.

Пока тяжелым похмельным сном спал Лас Вегас, пока все выметалось и чистилось, уже стелили свежую скатерть. И на нее везлось машинами, летело самолетами все то, что потребно для наслаждения ночной жизнью в пустыне.

Ранним утренним рейсом реактивного самолета индейцы прибыли сюда вместе со своим реквизитом, чтобы вечером выступить в одном из варьете. Среди торопящихся, спящих, обгоняющих друг друга людей они шли, медлительные и гордые, как вожди. С орлиными перьями на голове, с бубенчиками на ногах.

### МОЛОДЫЕ АМЕРИКАНЦЫ

Вот уж кого действительно встречали по одежке! По их протертым джинсам, по слишком вольным манерам, по отросшим до плеч волосам. Людей взрослых, положительных, имеющих детей, все это брезгливо ужасало, как угроза эпидемии. Дети, имеющие положительных родителей, сами начинали гоняться за джинсами, облачаться в них.

Полтора года назад, когда Наполеон высадился на берег Франции и, безоружный, начал свой путь на Париж, сообщения газет, редакции которых за это время не менялись, претерпели поразительные изменения. Помните: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан», «Людоед идет к Грассу», «Узурпатор вошел в Гренобль», «Бонапарт занял Лион», «Наполеон приближается к Фонтенебло», «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже».

Ну, не так, конечно, не в таких громких выражениях, но все же тон статей и сами оценки бунтующей молодежи заметно изменились.

В Вашингтоне я как-то заговорил о хиппи с человеком, который всего лишь на неделю раньше меня прилетел сюда из Москвы.

— И охота вам заниматься сумасшедшими? — сказал он.

— Ну все-таки их, как говорят, пятьсот тысяч. Или даже больше миллиона. Когда столько молодых людей одновременно сходит с ума, это ведь тоже что-то говорит об обществе.

Он не ответил. Но молчание его было безапелляционным, приговор оставался в силе.

— А все же почему вы думаете, что так-таки уж все они сумасшедшие?

— Да вы взгляните на них. На один их видик...

Вид у них действительно не из приятных. Что уж лукавить, не хотел бы я, чтоб мой сын ходил по улицам в таком диком образе.

А вид многое значит, мы это понимаем хорошо. Американский журнал «Тру» сделал несколько фотографий одного и того же молодого человека, но с различной прической: постриженного коротко, как мы бы сказали, «под бокс»; с умеренной шевелюрой; в бороде средней величины; с волосами до плеч, как хиппи, с пышными усами и бородой. Потом все эти фотографии показали специалистам различных фирм, ведающих кадрами. Вот по порядку отзывы специалистов:

«Честный, спокойный труженик» (это о коротко постриженном).

«Блестящий, полный идей работник, который, к сожалению, все время кочует с места на место».

«Смутяня, слишком высоко витающий в облаках».

«Полный неудачник, которого вряд ли кто отважится принять на работу».

Все это об одном и том же человеке, у которого менялась только величина волосяного покрова.

Пятьсот тысяч хиппи, порвавших связи с обществом, отрицающих любой род полезной деятельности,— это молодые американцы.

Семь миллионов сто тысяч студентов различных колледжей — это молодежь Америки, одна четвертая часть ее.

Лейтенант Колли, убийца, которыми он командовал, которые с ним вместе и без него зверски истребляли вьетнамских детей, женщин,— это молодежь Америки. Вот диалог прокурора с одним из «свидетелей» на этом процессе:

«— Где были грудные дети, когда вы начали в них стрелять?»

— На руках у матерей.

— Вы что, боялись, что младенцы атакуют вас?

— Да.

— Боялись грудных детей?

— Но под их пеленками могли быть спрятаны гранаты, сэр...»

Отец двух маленьких детей, который на виду Вашингтона, вблизи Капитолия, облил себя бензином и сжег, протестуя против войны во Вьетнаме,— это молодежь Америки. Дора Тельтенбойм, американская поэтесса, писала о нем, смертью поправшем смерть:

Это горит  
Созесь страны,  
Горит, горит, горит  
Заживо.

Аллисон Крайс девятнадцати лет, Сэнди Ли Скинер двадцати лет, Уильям Шнейдер двадцати лет, Джеффи Миллер двадцати лет — четверо студентов Кентского университета, протестовавшие против вторжения армии их страны в Камбоджу, застреленные национальными гвардейцами,— это молодежь Америки.

Национальные гвардейцы, стрелявшие в них,— это молодежь Америки.

Голые девичьи из банды «сатаны Мэнсона», зарезавшие беременную актрису Шарон Тейт и ее гостей (оказалось, они даже не знали, кого резали: это было несущественно для них),— это молодежь Америки.

Ван Клиберн, Джейн Фонда, призывники, сжигающие свои повестки,— это молодежь Америки.

Кто из них идет «не в ногу»? Кто — рота? Кто — поручик?

Конечно, в капле отражается целый мир. Это хорошо сказано, это зримый образ. Но все же капля — это капля, а целый мир — это целый мир.

Я был в Америке месяц. Это много и мало.

Много потому, что уже через неделю все становится ясно. Но проходит еще неделя, еще, еще, уже есть какие-то факты для сопоставлений, и счастливая ясность улетучивается.

Мало потому, что... Впрочем, нужно ли объяснять? Есть известная индийская басня о том, как однажды странник со слоном забрел в деревню: вот такие в Индии страсти. В нашей местности был бы он с ученой собачкой, с попугаем или, в лучшем случае, с медведем на цепи. А в Индии — со слоном. Поставил он на ночь своего слона в сарай, а несколько любопытных захотели узнать, что же это такое — слон? Они ошупали его в темноте. Один потрогал хобот и сказал: «Оно напоминает большую трубу». «Это дерево»,— сказал объявший ногу. «Нет, оно похоже на гигантский лист»,— утверждал тот, кто держал в это время ухо. Четвертый уперся ладонями в бок: «Это стена!» А крестьянин, которому хвост достался в руки, доказывал со всей очевидностью: «Это скорее канат...»

Быть может, я подобен одному из них. Но рассказывать я буду только о том, что самому в какой-то степени удалось определить «на ощупь».

Пестрое, необычное видишь раньше всего. Слышней всех те, кто громче о себе кричит. Вот так первыми видны хиппи.

В Вашингтоне мы жили в отеле «Дюпон плаза», а рядом в круглом сквере «Дюпон сэкрл» собирались хиппи. Шли мы утром, днем, вечером — они там.

В ранний час, когда чиновный, респектабельный Вашингтон идет и едет в свои департаменты, они уже сидят на скамейках сквера. Или еще сидят — с ночи. Они не реагируют, когда проходишь мимо, когда садишься рядом, как будто ты из другого мира, из антимира. В состоянии самоуглубления смотрят отсутствующим взглядом в никуда. Иногда самоуглубиться помогают наркотики. И словно нет никого вокруг, а летит среди неведомых миров наша земля, неся на себе единственную эту скамейку.

Углом на сквер выходит маленькое дешевое кафе, насквозь стеклянное. Мы заходим туда обедать и ужинать. И уже познакомились с двумя официантами.

Одного зовут Джон. Молодой, высокий, красивый парень. Светлые волосы, темные брови, голубые глаза, красная жилетка, полагающаяся здесь официантам. Держится скромно: «Йес, сэ... Но, сэ...» И головой покачает: «Но...» Счет выписывает левой рукой, а кисть у нее большая. Он еще не развился, не раздался вширь, ему только семнадцать лет, но это уже мужская рука. И при всем при том он очень смущается: прямо грустнеет на глазах, хмурится, стараясь не покраснеть. Счастлива будет та, которая сумеет такого парня взять в руки.

Другой поменьше ростом. Черные волосы зачесаны назад, подрезаны по мочки ушей. Лицо знакомое, в первый момент показалось даже, что я видел его где-то. И карандаш отточенный за ухом. Я бы не удивился, если бы он вдруг заговорил по-русски.

А он действительно понимал наш язык и потому так доброжелательно прислуши-

вался издали. Он серб. Из Белграда. Приехал в Америку на заработки и вот уже два года живет здесь, в Вашингтоне. Конечно, разговорились. О нашей стране, о Белграде — Београде, — об Америке.

На улице на чугунной тумбе сидит длинноволосый хиппи, коленями обняв длинноволосую девицу, стоящую перед ним. Они трутся щекой о щеку, освещенные электричеством из окон кафе.

Тротуар узкий, мимо идут прохожие. Хиппи целуются на виду у всех. А может быть, именно потому, что их все видят?

Я спрашиваю Джона, кончил ли он хайскул.

— Но, сэр.

Их пятеро в семье. Отец умер. И вот он, старший, бросил школу и пошел работать: надо кормить братьев и сестер. Очень устает здесь, так что не до учебы.

Когда надо кормить младших братьев, когда есть в душе это сознание, эта обязанность, не будешь вот так сидеть на тумбе, обхватив ногами девицу на виду всей улицы.

Вечером сквер полон хиппи. Мини, макси, оленьи замшевые куртки с бахромой, мокасины, босые ноги, платья, словно из театрального реквизита. Входят в сквер, как в свой дом. Впечатление, что все знакомы. Разговоры, дымят зажженные сигареты, колышутся по плечам длиннейшие волосы.

У другого входа в сквер выстроился в две шеренги хор, человек двадцать. Поют что-то благопристойное, что должно обратить заблудших хиппи то ли в истинную веру, то ли наставить на правильный путь. Хор поет настойчиво, срететированно. Хиппи совершенно не реагируют. Сидят на каменном подножии памятника, на скамейках. Некто сутулый в черной крылатке, в черной шляпе — из-под полей блестят стекла больших очков — ходит беспокойно среди них. Позер? Пророк?

Парень с амулетом на расстегнутой груди, в бархатных штанах на женственных бедрах пересел от девицы, которую обнимал, к другой, повалил ее себе на колени. Впрочем, довольно спокойно, как прожившие жизнь, надоевшие друг другу супруги.

Хор поет. Наставляя? Обращая? Вернее всего, пытаюсь обратить на себя внимание.

В стеклянном кафе уже погашен свет: поздно. Кто-то убирает там. За всеми, кто целый день ел, курил, пил. Ведь даже те, кто ушел из общества, заходят в это кафе поесть.

В сквере над множеством волосатых голов подымается дым сигарет. Мне почему-то приходит шальная мысль: а лысый может быть хиппи? Впрочем, ведь продаются парики. Как правило, их везут из Южной Кореи, эти парики — волосы корейнок.

Вокруг сквера, то останавливаясь, то вновь срываясь с места, все еще мчатся машины в этот поздний час. На миг начинает казаться, что площадка «Дюпон сэркл» — твердая земля, а вокруг нее, сорвавшись, несется, кружится карусель. И на этой твердой площадке сбились хиппи. Кто в чем. Как беженцы. Или как зайцы на острове в половодье.

Трудно поверить, что вот такие девицы, когда войска преградили путь демонстрации молодежи, пошли на них, втыкали ромашки в дула винтовок, обнимали солдат.

Они провозглашают всеобщую любовь, всеобщий мир, всеобщее братство. Вне рас, религий, убеждений. И осуществляют свои принципы самым простейшим способом: от этой всеобщей любви уже родились на свет дети. И черные, и белые, и смуглые — словом, только что не в крапинку и не в полосочку. Уже живут эти дети, подчас не зная ни матерей своих, ни отцов, ибо менее всего хиппи способны к роли родителей.

В Лос-Анджелесе известный нейрохирург Милтон Хейфиц и его жена Бетти повезли меня ночью в некое подобие клуба хиппи.

Миссис и мистеру Хейфиц уже за шестьдесят, они уважаемые в своем кругу люди. Они вырастили четверых детей, которыми могут гордиться. Один их сын, взявший теперь первую премию на конкурсе скрипачей в Америке и приз что-то в пятнадцать или в двадцать пять тысяч долларов, в свое время, будучи студентом, начал делать долги. Он несколько раз писал родителям, чтобы они выслали ему деньги. Отец высылал. Но когда сын вернулся домой, спросил его:

— Скажи, сколько ты тратишь?

— Ну, я не знаю, — сказал сын: ему его траты не представлялись большими.



Тогда отец сел с ним рядом и на бумаге подсчитал все его расходы. Они оказались внушительными.

И сын сказал:

— Я не думал, что столько трачу. Но больше этого не будет.

И он сдержал слово. Смог сдержаться потому, надо думать, что разговор этот, воспитание это начато было с пеленок.

Я спросил Хейфица, бил ли он когда-нибудь своих детей.

— Да! Однажды я ударил младшего сына так, что он упал вот сюда, на ковер. Но потом, когда он перестал плакать, я лег к нему в кровать, поцеловал его, и мы долго с ним говорили. И он понял, почему я ударил его.

Теперь этот сын учится в колледже в Нью-Йорке. Однажды среди ночи он позвонил отцу: ему нужно было немедленно узнать мнение отца по поводу взаимоотношений личности и среды. Он не мог ждать до утра с этим своим чисто философским вопросом.

— Я понял,— сказал Хейфиц,— что парень влюбился.

Целый час они проговорили в эту ночь по телефону: все о среде и личности, а кто же она, «личность», отец не знал.

Еще в Москве я немного слышал о работах Хейфица. В своей книге он исследует природу таланта — таланта математика, художника — с точки зрения процессов, происходящих в мозгу человека. Что же такое в этом смысле талант, который у одних есть, у других — нет? Что есть? Чего нет?

С энергией человека, приехавшего на краткий срок, я пытался в машине расспросить мистера Хейфица о его книге — идея сама по себе довольно безумная. Но все же немного поговорить удалось. И в частности, об эмоциях. Хейфиц убежден, что положительные эмоции у людей в основе своей связаны с сохранением вида, отрицательные — с сохранением индивида. И высшую радость людям, так сказать, пик радости, дает то, что направлено на сохранение вида. Даже когда ради этого жертвуют собой.

Если бы этим гарантировалось будущее человечества, трудно представить себе более оптимистический прогноз.

Вот миссис и мистер Хейфиц повезли меня ночью к хиппи.

В огромном, как сарай, здании сидело множество народу, главным образом молодежь. Потолка не было: стропила и крыша — ведь это Калифорния. И туда, к стропилам, из всех рядов подымался дым сигарет.

У меня кончились сигареты. Позади нас курила молодая женщина. Бетти обернулась, попросила у нее для меня сигарету. Та протянула пачку:

— Возьмите половину.

Одета она была в джинсы и короткую, как жилетка, замшевую куртку с бахромой. Прямо на голом теле. Она курила и подпевала с дымом изо рта. И многие притопывали, отбивали такт.

Свет был только на эстраде. А там — смесь племен и народов. Негр в желтой клетчатой шляпе мощно бил по клавишам рояля, белый и индеец аккомпанировали на гитарах, а у микрофона сидел (не стоял, а сидел) пожилой негр.

Я не знаю, как определить это хриплое пение, этот голос, вначале показавшийся мне сорванным. Но в нем была заражавшая страсть. И множество странно одетых, полуодетых, жаждавших потрясения молодых людей било в ладоши, притопывало, подпевало ему.

— Пой еще! — кричали они, когда он кончал песню.

А он, сидя, смотрел на них сверху: счастливый властелин на подвластные души. Был второй час ночи.

— Я могу петь всю ночь! — крикнул он и снова запел.

Билеты в зал были платные. И ему, и тем, кто аккомпанировал, полагалась плата. И все же так поют не за деньги. Так поют, когда не жаль себя: ни сердца своего, ни голоса. Испытать восторг, а там — будь что будет.

Казалось бы, миссис и мистер Хейфиц достигли в жизни, чего могли желать: четверо детей, приносящих радость, любимая работа, положение. Бетти однажды в жизни пережила изгнание: в 30-х годах бежала из фашистской Германии. Словом, можно бы не потрясенный искать — успокоения.

Но когда мы вышли, миссис и мистер Хейфиц говорили о том, что сегодня молодежь — надежда Америки.

Везли они меня сюда, как я думаю, показать нечто экзотическое. Удивить, доставить удовольствие. Но и для них, в общем-то, благополучных людей, это была экзотика.

И тем не менее они были сейчас взволнованы и говорили о молодежи искренне. Тут собралась не лучшая часть ее, но все же часть. А целого без части не бывает.

Неделей позже разговаривал я со стюардессой. Мы летели из Лас Вегаса в ясный солнечный день над горами Невады, над водохранилищами в горах, где накапливают снеговую воду. Звали стюардессу Ольгой. Она узнала, кто мы, откуда, и возник разговор, который переводил мистер Кримгольд.

«Рашен», особенно «совет рашен», в Америке бывает не так-то много. Как, впрочем, и у нас американцев. Вдали от главных городов многие американцы за всю жизнь ни разу не видели советского человека. Тут, может быть, нелишним будет привести один разговор из книги Джона Стейнбека «Путешествие с Чарли в поисках Америки». Происходил этот разговор в штате Миннесота с владельцем маленькой лавочки, куда Стейнбек заехал «за коробкой собачьих галет и банкой трубочного табака».

«Я спросил:

— А тут у вас кто-нибудь когда-нибудь знал русских?

Теперь он окончательно растаял и засмеялся.

— Да нет, конечно. Поэтому они так и приносятся на все случаи жизни. Ругайте русских сколько влезет, никто вас за это не осудит.

— Не потому ли, что мы с ними не делаем никакого бизнеса?

Он взял с прилавка нож для сыра, осторожно провел по лезвию большим пальцем и положил его на место.

— Может, вы и правы. Черт возьми! Может, в самом деле так? Потому что мы не делаем с ними бизнеса!

— Значит, вы думаете, что мы пользуемся русскими по мере надобности, когда нет других отдушин?

— Я, сэр, ничего такого не думал, но теперь буду, конечно, думать. А помните, было время, когда все валили на мистера Рузвельта? Мой сосед Энди Ларсен просто на стену лез — такой-сякой Рузвельт! — когда у него куры заболели крупом. Да, сэр! — Он оживлялся все больше и больше. — Этим русским нелегко приходится. Поссорился человек с женой и опять же клянет русских.

— Может быть, русские всем нужны? Даже в самой России. Только там их называют американцами!

Он отрезал ломоть сыра от целого круга и протянул его мне на лезвии ножа.

— Вот теперь будет над чем подумать. Хитро вы мне подсунили эти мысли.

— А по-моему, вы сами меня на них навели».

Мне, в общем-то, почти не приходилось вот так беседовать с американцами вдали от больших городов: мы все перелетали с места на место.

Но вот однажды в Бостоне, в районе Гарварда, зашли мы днем в немецкую пивную выпить по кружке пива. Услышав незнакомую речь, официантка — это бывало не раз — стала спрашивать, кто мы. И опять мы сказали:

— Отгадайте.

Она не отгадала: не ожидала, надо полагать. Мы назвались. И вдруг девушка, по виду студентка, сидевшая слева от меня, что-то сказала быстро. Я не понял. Тогда, покраснев, она выговорила по складам:

— Я лью-бью вас...

Я не думаю, что столь же сентиментально были настроены к нам официальные лица. В меру своих обязанностей они были предупредительны, деловиты и вежливы. Но официальные лица в этом смысле подобны градуснику: по их настроению можно определить только, какая нынче погода на дворе. А погода последнее время все с преобладанием облачности.

Но на улицах в разговорах мы за месяц пребывания в Америке только два раза встретили открытое недоброжелательство. И то в одном случае это был советолог мп-

стер Урбан: его ненависть, в общем-то, профессиональна, он кормится ею. А вот в другой раз это был шофер такси в Нью-Йорке.

Во всех остальных случаях я видел интерес и симпатии к нашему народу, понимание, что сегодня от обеих наших стран зависит, в конечном счете, жизнь человечества.

Так вот, разговорился я с Ольгой, пока летели над горами Невады. Ее бабушка по отцу — русская, мать — смесь шотландки и ирландки. В их семье, как и в семье Джона, пятеро детей, и Ольга тоже — старшая. А одна ее сестренка стала хиппи. Я спросил, как мать отнеслась к этому.

— О-о, мама очень была огорчена. Она плакала. Но, вы знаете, сестренка счастлива, она стала лучше и добрей. Среди хиппи есть хорошие и плохие люди. Они хотят вернуться назад от этой жизни, к пионерам, к чистоте их отношений. Но, я думаю, они не решают проблемы, а уходят от нее.

Я спросил ее, как же хиппи добывают хлеб насущный: ведь им тоже есть-пить надо.

— Настоящие хиппи, я думаю, работают. Потому что они не признают правительство и не принимают помощи от него. Они хорошие люди. Но для других это мода. И вот они хуже. Плохо, что многие хиппи употребляют наркотики.

— А ваша сестра?

— Нет. Она не употребляет.

Тогда я спросил Ольгу, как она относится к свободной любви.

— О, это плохо. Тут нет ничего хорошего. Хиппи ушли из общества и не приняты обществом. Потому что они близки друг другу. Не важно, кто. Они близки потому, что они — хиппи.

— А как же дети?

— Вот кто страдает — это дети, — сказала она очень искренне.

И еще я спросил Ольгу, что бы она хотела для себя в жизни, если бы это зависело только от нее.

— Я делала бы то же, что и сейчас, — сказала она. — Мне нравится моя работа. Но если бы у меня было очень много денег, я бы путешествовала. Я знаю французский, испанский, мне хочется самой узнать, как живут люди.

В продолжение разговора она и другая стюардесса, Джери, все время работали, легко и четко. Прощаясь, она пожелала в микрофон всем пассажирам всего самого наилучшего.

— Не забудьте Джери и меня. Мы будем рады вновь приветствовать вас на борту.

Те хиппи, с кем удавалось мне поговорить, не очень знали и не очень думали о том, как на деле осуществить их призыв ко всеобщему братству. Они заняты не утверждением, а отрицанием.

Они отрицают это общество, где есть самые совершенные автомобили, все мыслимые удобства, но нет ни равенства, ни человечности. Создавать еще автомобили, еще богатства, еще и еще раз то, что не является для них смыслом жизни? Этого они не хотят. Они не могут изменить, но и не хотят участвовать. И они стали бродягами в грохочущей пустыне больших городов.

Никто не считал и вряд ли возможно сосчитать, сколько среди хиппи тех, для кого отрицание морали, всех установлений общества стало потребностью. И сколько тех, кого привлекла к ним так называемая свободная любовь, свобода от обязательств друг перед другом, перед кем-либо, перед самим собой. От тех обязательств, которые, по выражению Толстого, единственно и делают нас людьми.

И не большинством ли уже стали те, для кого все это — мода?

Целая промышленность работает на хиппи. Есть специальные магазины, где продается их странное одеяние, весь, так сказать, необходимый реквизит. И уже создались богатства на их отрицании богатств.

Перед отъездом из Атланты минут на двадцать — тридцать завезли нас в Технологический колледж. Это была первая встреча со студентами. Пока перегружались вещи из машины в машину, должна была состояться короткая беседа.

Нас провели в здание, над входом в которое и по стенам внутри были развешаны подобия то ли гербов, то ли ритуальных знаков некоего ордена.

Среди американских студентов распространены так называемые братства, имеющие свои правила, уставы, символы и тому подобное. В университете Беркли в Сан-Франциско одно из студенческих братств в складчину три года вносило плату за сенбернара: он числился студентом. Три года за него успешно сдавали экзамены, чтобы впервые в истории Америки собака стала бакалавром. На четвертый год это обнаружили, и сенбернар так и остался бегать по двору с незаконченным высшим образованием.

Предводительствуемые студентом Зиммерманом, прошли мы вдоль развешанных по стенам знаков в помещение, где уже ждали нас человек двадцать. И с ними была дама лет пятидесяти. Она представилась кокетливо:

— Я их мама.

«Мать» двадцати взрослых сыновей — как было не поздравить ее? Словом, беседа начиналась, как раут.

Ребята сидели полукругом. У одного нога — в гипсе. Он сломал ее, занимаясь благородным мужским делом — спортом. И теперь держал вытянутой вперед, гипсовой пяткой поставив на перекладину костыля.

И все они были молодые, рослые. Детство этих ребят пало не на войну, жизнь свою они начинали не в землянках, куда в XX веке война загоняла людей, словно возвращая в век пещерный. Они с рождения хорошо ели, и отцы и матери их ели хорошо, и потому все они такие рослые, здоровые.

Конечно, не все в человеке измеряется объемом легких и весом. Но столько раз войны, голод прокатывались по нашей стране, столько поколений опустошено у нас, что нельзя не радоваться, когда сегодня объем груди и вес шестнадцатилетнего подростка в Средней России такие же, как у двадцатилетнего мужчины сто лет назад.

С первых же слов один из студентов сказал с веселым вызовом:

— Мы те, кто будет в дальнейшем управлять капитализмом. Мы пришли сюда этому учиться. Это главное, чему нас учат здесь.

Наверху транслировался то ли футбол, то ли регби, и было впечатление, что мы сидим под трибунами стадиона. Несколько опоздавших вошли и сели, запыхавшиеся и возбужденные, словно с поля.

Это были не хиппи. В смысле стрижки и всего прочего дело обстояло благополучно. Спортивного склада, не скажу «отобранные» — отборные ребята. Они знали чего хотят и учились здесь, как наилучшим образом, наиболее эффективно делать свое дело. Не разрушать, а укреплять.

Почему-то среди них не было ни одной девушки. И негров не было. И не было цветных. А ранее в военно-морской академии в Анаполисе цветных я увидел, когда мы уже уходили: это были не курсанты, а солдаты обслуживания при кухне.

Полчаса мы спрашивали студентов Технологического колледжа, они спрашивали нас. Полчаса — это полчаса. Их достаточно как раз для того, чтобы начать разговор.

Один за другим они говорили, что они из семей так называемого среднего класса. Быть может, это и так. В человеческом обществе, как в чайнике с водой, стоящем на огне, нижние слои должны подниматься вверх, остывшие — опускаться вниз. Иначе не произойдет необходимого подогрева, не будет поддерживаться температура, при которой рождается энергия. Но чаще всего каждый слой поднимается не выше своего потолка. И упирается в установленные классовые, расовые, иерархические перекрытия.

Поговорив отведенные полчаса, пошутив, чуть-чуть попкировавшись, мы простились. Повез нас на аэродром в своей машине Зиммерман. Ему двадцать пять лет, он лейтенант запаса, теперь студент.

У него узкое, суховатое, волевое лицо, светлые глаза, светлые редкие волосы. Двумя пальцами — мизинцем и безымянным — придерживая руль, он с шиком вел машину на аэродром.

Это его пятая машина. Он переменял в ней обивку, покрасил заново снаружи, перебрал мотор, ходовую часть — все своими руками. Если продать ее сейчас, она ничего

не стоит, но ходит отлично. А на свою первую машину он начал зарабатывать в тринадцать лет: рассыльным в магазинах.

Хотя в Атланте много сотен тысяч жителей, оказалось, он знает миссис Онофрио, ту самую даму-волонтера, которая возила нас на завод «Дженерал моторс». Хорошо знает ее дочь.

— Вы не ухаживаете за ней?

— Но. Она очень богатый человек.

А он из среднего класса. И деньги на учебу в колледже отец одолжил ему.

Это как-то странно на наш слух, непривычно по нашим понятиям: одолжить сыну деньги на учебу. Не помогал, если не было возможности, посылал какую-нибудь десятку из последних сил, от других детей отрывая, содержал целиком все время учебы шалопаю сына, который не изнурял себя занятиями, чтоб, как другие, стипендию получать,— все это кажется понятней, чем такие отношения, когда отец на несколько лет одалживает деньги сыну.

Но понимать или не понимать можно тогда, когда известна точка отсчета. В каждом деле обязательно надо ясно представить себе, от чего ведется отсчет. И к какой цели. Иначе происходит разговор двух глухих. И каждый из этих глухих будет объяснять, что он хочет для своих детей только хорошего, чтоб им было хорошо, и все делает для этого.

Но при этом одно и то же слово «хорошо» означает совершенно различные вещи.

Однажды в Боткинской больнице я разговорился с западногерманским журналистом. Мы лежали на одном этаже, он поправлялся после инфаркта, и я зашел к нему в бокс поговорить. А переводил студент из ГДР, который три года уже учился у нас и в тот момент тоже лежал в одной из палат.

Вначале говорили о войне, где мы были по разные стороны фронта, и тем не менее, как выяснилось, многие вещи оцениваем примерно одинаково. Но вот заговорили о воспитании детей. Собеседник мой с гордостью сказал, что у него с девяти лет был свой текущий счет — сберкнижка, по-нашему. Отца они потеряли рано и выжили потому только, что у матери и у каждого из детей был свой отдельный счет в банке, на который они несли каждый пфенниг.

Я начал было говорить о том, что это как-то не по-семейному, нехорошо вроде.

— Почему? — изумился он.

И странная вещь обнаружилась, когда я попытался объяснять: переводчик тоже не понимал, что я говорю, и стал затрудняться в переводе.

Пришлось мне собрать весь тот небогатый запас немецких слов, который у меня еще сохранился. Составляя их как попало, особенно налегая на слово «херц» — сердце,—я с грехом пополам объяснил, что сердечные отношения в семье, при которых деньги врозь, как-то мне непонятны. Я согласен, что труд, его количество и качество измеряют в деньгах. Но не сыновнюю привязанность и не материнскую любовь. И вообще это не то главное, чем держится семья. И так далее и тому подобное, пока хватило словесного запаса, а хватило его мне ненадолго.

— Ах зо! — Мой собеседник понял наконец и рассмеялся веселым смехом выздоравливающего человека.

Молоденькая рыжеватая медсестра как раз только что протерла его от пролежней одеколоном, и вот, высоко лежа на подушках, в свежей рубашке, он охотно начал объяснять мне, в чем моя коренная и главная ошибка: именно когда у каждого в семье свой текущий счет, когда каждый в семье хорошо знает, где чье, тогда только и возможны настоящие сердечные отношения, основанные на честности. Стало ясно, что мы не пойдем друг друга даже при совершенном переводе. От различных точек велся отсчет, и путь лежал к различным целям.

В Америке совсем не редкий случай, когда родители одалживают детям деньги на учебу. И не потому только, что обучение в колледжах стоит дорого, так что не каждая семья способна содержать дочь или сына студентов.

У меня нет цифр по Технологическому колледжу, но вот в частном, старейшем в стране Гарвардском колледже, само имя которого служит в дальнейшем наилучшей аттестацией при поступлении на работу, девять месяцев учебы в году стоят 3800 долларов. Десять лет назад сумма эта была вдвое меньше, еще через десять лет, как счи-

тают, она возрастет еще вдвое. Стипендию в этом университете получает только треть студентов, 25 процентов имеют работу. Здесь учатся пятнадцать тысяч студентов и на каждое место при поступлении шесть кандидатов, то есть конкурс здесь вдвое больше, чем в среднем по стране.

И все же не одной величиной платы за обучение объясняется тот факт, что только малая часть родителей в Америке оплачивает детям учебу в высших учебных заведениях. Мне хотелось понять причину этого: я тоже отец. И всякий раз, когда представлялась возможность, я старался направить разговор в это русло: о принципах воспитания детей.

Американцы любят деньги и не скрывают этого. Но они любят своих детей. И в нормальных семьях, которых все-таки большинство, дети на первом месте. Так почему же они столь тверды, столь суровы к ним, когда их дети становятся студентами, вступают в тот период жизни, когда человек особенно напряженно работает, когда ему нужна помощь? Но тут придется вначале обратиться к несколько иной области.

Меня очень удивляло, почему у американских машин моторы такой непомерной мощности: триста, триста пятьдесят лошадиных сил. Ведь скорость, с которой они мчатся, не требует такой мощности. В городах езда давно уже превратилась в серьезное испытание для нервов. Например, в Нью-Йорке улицы забиты настолько, что средняя скорость движения не достигает 14 километров в час. А шестьдесят лет назад по тем же улицам на извозчиках ездили в среднем со скоростью 18,5 километра в час.

Я как-то спросил нашего специалиста, давно живущего в Америке, для чего все же такая мощность моторов.

— А вот сейчас вы сами увидите.

Мы как раз должны были выехать с ним на автостраду с бокового шоссе. Сплошной поток автомобилей мчался перед нами. Мы ждали. Но вот возник, стал приближаться небольшой просвет. И тут наша машина, с места взяв едва ли не с той же скоростью, с какой мчались все, внесла нас в этот поток. И мы понеслись вместе со всеми.

— Вот для этого и нужен запас мощности,— сказал он.— Иначе вы обречены стоять, а все будут мчаться мимо.

И американцы с ранних лет стараются заложить в своих детях запас мощности, воспитать жизнеспособность. Чтобы каждый из них не остался на обочине, а смог вступить, ворваться в эту гонку, темп которой все возрастает. Поскольку основа общества — деньги, то и жизнеспособность измеряется в первую очередь умением зарабатывать, «делать» деньги.

— И вот сейчас, на четвертом курсе, я уже вернул отцу весь долг,— сказал Зиммерман. Он сказал это с чувством собственного достоинства, как человек, который выдержал испытание.

Я спросил его:

— А как вы сына своего будете воспитывать?

Он ответил не сразу, подумал прежде, и некоторое время мы ехали молча.

— Пожалуй, так же,— сказал он.— Как отец воспитал меня.

На аэродроме он настойчиво говорил о приближающемся Дне мораториума, в котором он собирался участвовать, о войне во Вьетнаме.

— Мое поколение устало от войн,— говорил он.— Я по характеру человек агрессивный. Либо воевать до победы, либо выводить войска из Вьетнама. Но не лавировать.

А победы уже не могло быть.

Победы не только не могло быть, но, в известном смысле, Америка потерпела поражение во Вьетнаме.

Когда страна, когда нация борется за правое дело, то, даже понеся тяжчайшие потери, находясь на грани уничтожения, она способна воспрянуть вновь, вступить в период духовного расцвета.

Но и военные победы становятся поражением, если они достигнуты ценою искажения морального облика народа, ценой отказа от собственных принципов.

Америка не вела войны, которая потребовала бы напряжения всей ее экономики, которая истощила бы нацию. Ни пули, ни снаряды не долетали до ее городов, на

полях ее не лежали убитые. Но она вела несправедливую войну, осуществляла геноцид против целого народа. И вот: «Мое поколение устало от войн...» Так говорят побежденные.

Наверное, не было в истории человечества злодеяний, которые не оправдывались бы конечными добрыми целями. И война во Вьетнаме тоже ведется «в интересах народа» и тоже за «свободу». И в «интересах народа» уничтожают народ. Новый пророческий смысл обретают сегодня слова покойного американского президента Джефферсона: «Когда я вспоминаю, что бог справедлив, я содрогаюсь от страха за мою родину».

Тем тысячам, сотням тысяч, быть может, уже миллионам вьетнамцев, кто погиб, истреблен, исчез с лица земли, тем, в чьем сердце они еще живут и болят, никак не легче оттого, что к согражданам убийц приходит постепенно сознание вины. Сначала оно пришло к французам. После многих лет войны, после страшных злодеяний. После поражения. Поражение вообще действует отрезвляюще и не только глупцов наводит на умные мысли.

Теперь это сознание постигло Америку.

Язык цивилизованного общества так хорошо усовершенствован, так изощрен и гибок, что все неудобное минуетса само собой и выглядит пристойно.

Вот так пристойно в солидных газетах обсуждаются шансы американского президента быть избранным на новый срок. «Если последние шаги Президента приведут к скорейшему окончанию войны во Вьетнаме...»

А, в сущности, ведь речь идет о том, сумеют ли столько-то тысяч вьетнамцев, обученных американскими специалистами, вооруженных американским оружием, поддержанных мощью американской авиации, сумеют ли они быстро убить тысячи других вьетнамцев и тем самым добиться победы, что явится одновременно победой политики президента. Но сделать это настолько быстро, чтоб эхо этой бойни не отозвалось в мире, не докатилось до Америки. При таких условиях шансы президента на выборах будут наилучшими.

Если же эти обученные для такой цели вьетнамцы побегут с поля боя или будут перебиты другими вьетнамцами, которых, по расчету, сами они должны были убить, президент может не получить желанных шансов на выборах.

Как сказано в американской Декларации независимости: «Мы считаем само собой разумеющимся, что все люди созданы равными, что Создатель наделил их неотъемлемыми правами, и среди них — правом на жизнь, свободу, стремление к счастью».

И вот граждане великой державы плывут за океан и там убивают людей иной страны, малый народ, который три десятилетия подряд, из поколения в поколение с оружием в руках отстаивает право на жизнь, на стремление своих детей к счастью.

По какому человеческому или божескому установлению шансы американского президента, христианина, быть избранным находятся в прямой зависимости от количества убитых вьетнамцев, от количества пролитой вьетнамской крови?

Впрочем, это, наверное, детские вопросы. Но когда отцы нации, когда отцы молчат, вопросы задают дети.

Более миллиона американских юношей и девушек, вышедших в День мораториума на улицы городов требовать прекращения войны во Вьетнаме, — это была совесть Америки. Голос ее совести. Счастье Америки, что голос этот раздался.

Дети показали в этот день отцам, что они не разучились видеть разницу между добром и злом, что сознание вины жжет их и они не хотят быть соучастниками преступления. Они доказали, что души их живы, у них есть мужество бороться. И многие отцы пошли вместе с сыновьями в этот день.

А для американцев с черным цветом кожи этот день был одновременно и днем борьбы за свои права. В Атланте мы купили журнал «Революционеры юф мувмент». Весь номер был посвящен Вьетнаму, он призывал к солидарности с Вьетнамом. Но там писалось одновременно: «... не важно, сколько лидеров убито и посажено в тюрьмы, не важно, сколько украдено денег, не важно, как сильно угнетение всех черных и коричневых, правители Соединенных Штатов не могут одержать над нами победу большую, чем они одерживают во Вьетнаме».

В одном из стихотворений, напечатанных в номере — «Как говорить», — есть строки:

Правда проверяется действиями,  
И храбрость заключена в действии,  
А не в отчаянных словах,  
Что кричат по телефонам, которые прослушиваются.  
...Не бойтесь действовать,  
Действовать с энергией оккупированного народа,  
С энергией понимания,  
Что вам предстоит еще один день  
За пределами концентрационных лагерей.

Во всю последнюю страницу этого журнала, издаваемого по адресу 2744 №, Линкольн авеню, Чикаго, Иллинойс 60614,— оттиск поднятой вверх руки красного цвета, в кулаке которой сжат красный автомат. Рабочий-негр с гаечным ключом и шахтер-белый с кайлом стоят под этим поднятым вверх автоматом. И надпись во всю страницу: «Соединенные Штаты, убирайтесь из Вьетнама немедленно!»

Не будем недооценивать мужества молодых американцев, постараемся понять их. Четверо студентов Кентского университета, застреленных национальными гвардейцами, отдали свои жизни за народ далекой страны, на которую всей мощью своей обрушилась их родина. Допустим даже, они не верили, что в них будут стрелять. Но и это не умаляет их мужества.

Ведь дело происходит во время войны. Воюет их страна. Истрачены уже десятки миллиардов долларов на эту войну, но число убитых и раненых во Вьетнаме американцев превысило триста пятьдесят тысяч человек. В такие моменты слова «патриотизм», «враг», «родина» обретают магический смысл и власть над душами людей. Разрушить в себе эту магию, не побояться видеть вещи в истинном свете, когда сознание большинства помрачено,— для этого нужна сила духа. И мужество. Не меньшее, чем солдату на поле боя.

Порою легче идти туда, куда идут все, делать то, что делают все, даже погибнуть на поле боя, если это почитается мужеством и твоим долгом, чем пойти против сложившихся мнений, не побояться обвинения в трусости, предательстве, измене родине. У мудрецов и то порой не хватало этой смелости, и жизнь считалась недорогой платой за то, чтобы не показаться трусом.

Конечно, климат страны может способствовать или препятствовать этому. Но климат возникает не сам по себе, его создают люди.

Даже если тебе грозит не расстрел, не долголетнее тюремное заключение, а год или несколько лет тюрьмы, нужно большое мужество, чтобы не заглушить в себе голос совести, чтобы отказаться участвовать в несправедливой войне, когда ты призван к этому, когда на тебе военная форма и вся мощь государства, весь бюрократический аппарат армии, и суд, и закон, и, может быть, твоя семья — против тебя. Когда другие, подчиняясь приказу, стреляют во «все, что способно двигаться».

Журнал «Лук» сообщал о рядовом Кеннете Столте и рядовом 1-го класса Даниеле Амике, которых военно-полевой суд приговорил к четырем годам каторжных работ каждого за проповедь «нелояльности и недовольства в войсках и среди гражданского населения». Эти двое молодых солдат написали листовку, размножили ее в 150 экземплярах и роздали другим солдатам. В листовке, в частности, говорилось:

«Нам надоела ложь о войне, надоели фальшивые идеалы, пустые слова. Даже среди животных нет таких выродков, которые возвели бы междоусобную грызню в законенную систему. Человеку давно пора выйти из тьмы средневековья».

Капитан Говард Леви, военный врач. В его обязанности входило обучать санитаров, отправляемых во Вьетнам. Он ни в кого не стрелял, никого не убивал. И люди, которых он обучал их делу, тоже должны были не убивать, а облегчать страдания.

Смерть на поле боя не грозила капитану Леви, доля его участия в позорной войне была так мала, что при желании он мог бы ее и не заметить вовсе. Но он не стал подавлять в себе голос совести. Он отказался обучать санитаров, отправляемых во Вьетнам. По приговору военно-полевого суда он в наручниках был отправлен в тюрьму в Форт-Ливенурте отбывать трехлетний срок заключения.



Некогда, призывая к гражданскому неповиновению, Генри Дэвид Торо писал: «По-моему, сначала нужно быть людьми, а потом уж подданными».

Но именно это и требовало всегда самого большого мужества: быть людьми.

Среди миллиона юношей и девушек, в День мораториума вышедших на улицы городов Америки, не было ни тех двух солдат, ни капитана Леви. Ни многих других, кто, как они, сидел в тюрьмах или покинул Америку. Но каждый из них сделал что мог, чтобы настал этот день.

Миллион — это седьмая часть студентов. Двухсотая часть всего американского народа. Счастье Америки, что хотя бы у одного из двухсот ее сыновей и дочерей хватило мужества участвовать в деле более почетном, чем победа. Минет время, и этим днем Америка будет гордиться больше, чем всеми своими техническими достижениями, вместе взятыми.

### ЧЕРЕЗ ОКЕАН В ТАПОЧКАХ

1 мая 1862 года в Лондоне в день открытия Всемирной выставки вышел невиданного размера листок под названием «Таймс» 1 мая 1962 года». В нем в шутку и всерьез предрекалось, что будет на земле через столетие. Авторы писали, что в 1962 году люди будут совершать увеселительные прогулки в электрических летательных машинах на Луну, грузы и почта из Европы в Китай будут доставляться в снарядах по воздуху. В России, в Сибири, будет выращиваться хлопок свободным трудом. Человечество будет любоваться движущимися фотографиями, женщины — изменять черты лица в салонах красоты, а американки будут ходить в отвратительном костюме — в панталонах. Человечество сделает страшное открытие — способ горения воды, — которое будет угрожать жизни на планете.

Почти все это сбылось, чем лишний раз доказано, что в каждой шутке — доля правды. И действительно, ходят американки в отвратительном костюме — панталонах. Правда, они в нем не столь отвратительны, как того опасались сто лет назад. Я бы даже сказал, совсем не отвратительны. Иначе зачем бы женщинам всего света (подражание — самая искренняя форма лестии!) перенимать этот костюм? Дошло даже до того, что в Лондоне англичанки носят панталоны.

И все-таки всех извивов цивилизованного общества авторы предусмотреть не могли, что не будет поставлено им в вину. Они, например, не предполагали, что в наши дни предметом восхищения и даже экзотикой станет не перелетать, а переплывать океан на плоту, на лодке — на всем, что для этой цели никак не приспособлено.

Мы же избрали самый прозаический способ: наш самолет «ИЛ-62». К слову будь сказано, это и единственный пока что способ перескочить с континента на континент не за иностранную валюту, а за наши деньги.

Насколько все тут прозаично, судите сами: едва только гаснет световое табло на русском и английском языках, воспрещающее курить и вставать с места, как вам приносят тапочки. Бумажные тапочки, на которых сверху крупно написано «Аэрофлот», а снизу, на картонных подошвах, стоит едва заметный штамп: «Made in Japan».

Помимо психологической устойчивости в полете — все-таки под вами десять километров воздуха и Атлантический океан, — они пробуждают в вас одну из самых сильных страстей XX века: страсть к сувенирам. Они же и удовлетворяют ее собой. Иначе могло случиться, что самолет в воздухе был бы по винтикам, по заклепкам растащен на память. Ведь известно, что в Греции для сохранения исторических развалин привозят по ночам битый камень целыми грузовиками. И все это растаскивают туристы.

Едва вы освоились в бумажных тапочках, как вас начинают кормить. Вы сидите с крахмальной салфеткой на коленях, а перед вами на откидном столике на пластмассовом подносе — обед. Поплескивается не проливаясь боржом в пластмассовой чашке, от стенок ее изнутри отрываются пузырьки газа и лопаются на поверхности. Вы берете куриную ножку за кость, обернув ее бумажной салфеткой, чтоб и пальцев не испачкать, и обглядываете, склоня голову.

При этом вы несетесь над землей со скоростью пушечной пули.

Среди ночи, когда свет в салоне был погашен и пассажиры спали, укрывшись пледами, я зашел к стюардессам. Задержав портьеры на обоих входах, они сидели у себя на

кухоньке и вязали. Одна вязала кофточку, другая — шапочку, а шерсть прошлым рейсом купили в Африке.

И все было так по-домашнему, словно сидели они спинами к истопленной дровами кафельной печи и вязали, разговаривая тихими голосами.

Одна из них не летала два с лишним года: родила сына, выкормила, поставила на ноги. И вот только недавно стала опять летать.

— Нет, не нравится мне фасон,— сказала она, разглядывая шапочку на отдалении.— Видно, придется перевязывать.

Поскольку и меня, мужчину, спросили об этом, я сказал, что вообще-то даже очень хорошо, но если перевязать, так, наверное, будет еще красивей.

Тут, отдернув и задернув за собой портьеру, вошел один из летчиков. Мы выпили с ним по чашке кофе среди ночи, сами поухаживав за собой, чтоб девушек не отрываться от дела. И пошли в кабину пилотов.

Здесь по полу, по ногам подувал холодок: все-таки пятьдесят градусов ниже нуля за бортом. Где-то под нами в бездонной глубине была северная Атлантика, ледяные айсберги. Быть может, среди айсбергов проплывали стада китов под нами. За одно кормление китенок получает около ста килограммов молока, густого и жирного, как сметана. Такое количество материнской любви способно согреть даже в холодных водах.

Одни лишь приборы знали, куда мы летим. В мире было черным-черно, и красноватый отсвет приборов освещал лица пилотов.

Не приближаясь и не удаляясь, висел в черноте внизу блестящий серп месяца. Если соединить прямой линией его рога, продлить ее вниз, получалась буква «р»: месяц нарождался. И когда летели мы в Америку, он тоже нарождался. Значит, минул ровно месяц.

И вот в локаторе возникло очертание берегов. Это было балтийское побережье.

Мы летели навстречу дню, быстро светало. В салоне пассажиры уже завтракали.

И настал момент, когда все прильнули к иллюминаторам. Был зимний день. Все было бело внизу. Мы снижались.

Здесь два моих брата, под этими снегами, в этой земле. Два из двадцати миллионов, павших за родину.

Здесь родились и живут мои дети. Как могли бы жить сегодня дети моих братьев, дети всех, кто недожил, недолюбил.

Колеса шасси толкнулись о бетон, и взлетная полоса побежала навстречу.

Мы — дома.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЖДАНОВ

★

## ЗАМЕТКИ О НЕКРАСОВЕ

### 1. Истоки вдохновения

**П**рямая нить тянется от Пушкина через Лермонтова — к Некрасову. Впитав традиции славных предшественников, он с огромной силой выразил новую эпоху русской жизни — время активной борьбы общества за освобождение от пут феодализма и крепостничества, время расцвета великой русской литературы.

Многие писатели-гуманисты XIX века служили своим пером народу, протестовали против античеловечности дворянско-буржуазного общества. Но Некрасову среди них принадлежит особое место. Он не только сочувствовал народу — он отождествил себя с народом, с крестьянской Россией, заговорил от ее имени и ее языком. Он с гордостью заявил однажды, что никогда не хвалил в своих стихах представителей высших классов, а все доброе всегда связывал с народом.

В одной из черновых тетрадей середины 50-х годов Некрасов записал такие слова Григоровича: «Ведь если по правде сказать, то я по доброте души только пишу о них (о мужиках) с хорошей стороны, а в сущности все они свиньи, ужасные свиньи». Сам Некрасов никогда не мог бы сказать так о мужике. Он видел его темноту и забитость, он знал, что три столетия висела над русской деревней непроглядная ночь крепостного права, и с болью говорил об этом в своих стихах — клеймил угодничество «холопа примерного, Якова верного», осуждал терпение и пассивность; обращаясь к забитому бурлаку, спрашивал:

Чем хуже был бы твой удел,  
Когда б ты менее терпел?

И в то же время поэт никогда не сомневался в том, что в народе таятся великие силы, источник всего прекрасного, здоро-

вого, залог будущего освобождения. Эта вера и помогла ему создать образы сильных и честных людей деревни, воспеть «народ-герой», защищавший твердыни Севастополя в сражениях Крымской войны, запечатлеть черты русской женщины, «тип величавой славянки» — от простой деревенской красавицы до самоотверженных жен декабристов.

Некрасов как никто знал и любил русскую деревню, всеми помыслами был связан с крестьянством. Не говоря уже о прямых декларациях («Я лиру посвятил народу своему»), в сущности, вся его поэзия — это один нескончаемый гимн в честь русского народа.

Огромен путь, пройденный Некрасовым от социальной лирики 40-х годов до могучей крестьянской симфонии — поэмы «Кому на Руси жить хорошо», над которой он работал до конца жизни. Чего только не написал он за это время, к каким только жанрам не обращался! Он писал водевили и романы, критические статьи и стихотворные фельетоны, элегии и песни, проникновенную любовную лирику и злую сатиру, эпические поэмы и стихи для детей... И даже в самых традиционных жанрах под его пером обнаруживались новые их возможности — поэт подошел к ним с позиций своего понимания задач литературы, обогатил их своим реалистическим методом. Вряд ли можно назвать другого писателя, который был бы так последователен в применении этого метода, основанного на трезвом знании жизни народа, его поэзии и его языка.

Вот почему так своеобразна муза Некрасова в ряду других великих муз. Даже в интимной его лирике выразилась душа современника, «нового человека» 60-х годов, — недаром его лирические стихи высоко ценил такой читатель, как Чернышев-

ский; его крестьянские поэмы написаны не только о народе, но и для народа; темы его стихов, обращенных к русским детям, взяты только из деревенской жизни («Дядюшка Яков», «Пчелы», «Генерал Топтыгин», «Дедушка Мазай и зайцы», «Соловьи» и др.); его стихи и песни, народные по своему духу и языку, оторвавшись от журнальных страниц, стали любимыми народными песнями еще при жизни своего создателя (таковы «Коробушка», «Тройка», «Меж высоких хлебов затерялося...» и др.); наконец, некрасовские сатирические поэмы и очерки с небывалой до того силой и резкостью срывали маски с угнетателей разного рода — крепостников, салонных болтунов-либералов, чиновных бюрократов, продажных журналистов, преуспевающих буржуазных дельцов.

В этом была одна из заслуг поэта, отмеченная В. И. Лениным: поставив Некрасова как сатирика рядом с Салтыковым-Щедриным, Ленин напомнил, что оба они учили русское общество «различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов».

Литературные противники едва ли не всю жизнь преследовали Некрасова подозрениями в неискренности, в желании подделаться под настроения передовой молодежи. Сотрудник «Современника» П. М. Ковалевский, отдавая в своих мемуарах должное Некрасову как «первому поэту своего времени», в то же время упрекал его в притворстве: «Притворялся Некрасов не в жизни... притворялся он гораздо хуже: в искусстве, в деле, на которое природа благословила его особым даром. Он родовое свое достоинство сдал в пожизненную аренду под чужие учения... Он сдерживал вдохновение, когда оно рвалось не в ту сторону, и завидовал тем, кто не был обязан его сдерживать».

Это характерный пример непонимания Некрасова некоторыми его современниками. Настолько непривычна была его поэзия, настолько она резала слух литературным староверам даже более крупного масштаба, чем Ковалевский, что они не могли найти этому разумных объяснений. Их шокировала некрасовская «простонародность», любовь к мужику, демократический пафос его поэзии, новизна и необычность поэтических форм, жанров и языка, свободно вобравших в себя красоту, образ-

ность и лексику устно-поэтического народного творчества.

Некрасову не было нужды сдерживать свое вдохновение. И вряд ли оно когда-нибудь рвалось «не в ту сторону», потому что все, что он писал, не было подделкой под народность, а было сознательным и принципиальным следованием определенному направлению.

В своих литературно-критических статьях Некрасов высказывал взгляды, которые и явились прочной основой его поэтического творчества. Здесь полная слитность. Он был озабочен созданием великой народной литературы, и этой цели была подчинена вся его деятельность — и как писателя и как редактора «Современника» — лучшего русского журнала, вокруг которого он сумел собрать весь цвет отечественной словесности.

Упорно и последовательно проводил Некрасов «взгляд на литературу как на самый могущественный проводник в общество идей образованности, просвещения, благородных чувств и понятий...». В ежемесячных «Заметках о журналах», которые он вел в «Современнике» в 1855—1856 годах (до того, как критику и публицистику в журнале взял в свои руки Добролюбов), Некрасов стремился определить общественное назначение литературы, звал к бескорыстному служению ей, старался освободить ее от всего наносного, ложного, чуждого народу. Он утверждал, что деятельность писателя, если она отмечена стремлением к добру и правде, любовью к отечеству, к его славе и просвещению, не будет забыта. И тут же предавал позору тех, кто обращает благородное дело литератора — мысль и слово — «в орудие личных своих интересов и страстей», тех, «кто приносит истину в жертву корысти и самолюбия!».

Литература, говорил он, «должна ни на шаг не отступать от своей цели — возвысить общество до своего идеала, — идеала добра, света и истины! Иначе она потеряет все свое благотворное влияние и придет к самым безотрадным результатам...».

Настоящий поэт силен «простотой и правдой, неразлучными спутниками поэзии».

«Без чистой любви к истине нет художества».

Эти представления об искусстве формировали некрасовскую реалистическую эстетику. Они же с гораздо большей силой выражены в его стихах — в поэтической дек-

ларации «Поэт и гражданин» и во многих других. В сущности, вся поэзия Некрасова — воплощение этих принципов и убеждений.

Сам Некрасов в письме к Л. Толстому от 31 марта 1857 года сделал важное признание по этому поводу. В ответ на слова Толстого, неодобрительно отозвавшегося о некрасовских стихах, отмеченных «желчью» и «злойбой», Некрасов писал: «Каковы бы ни были мои стихи, я утверждаю, что никогда не брался за перо с мыслью, что бы такое написать или как бы что написать: позлее, полиберальнее? — мысль, побуждение, свободно возникшее, неотвязно преследуя, наконец, заставляло меня писать. В этом отношении я, может быть, более верен свободному творчеству, чем многие другие... Все это говорю к тому, что изменить характера своего писания я не могу...»

Некрасовская «муза мести и печали» прошла большой и трудный путь развития. Но она всегда служила свободно избранной «тенденции», всегда служила народу.

## 2. Его муза

В стихотворении Некрасова «Блажен злобивый поэт» нарисован образ поэта-обличителя, вооруженного «карающей лирой». Этот образ посвящен памяти Гоголя, в нем сохранены некоторые черты, присущие великому писателю. Однако значение образа неизмеримо шире; в стихотворении запечатлена типическая участь борца за правду и справедливость, смело идущего наперекор «толпе», которая встречает его «дикими криками озлобленной». Он не только обличитель зла, но и проповедник высоких идеалов («он проповедует любовь...»), почти пророк — образ традиционный для русской литературы. Он сродни лермонтовскому пророку, созданному десятилетием раньше, — он тоже проходил свой «тернистый путь» и та же толпа в него бросала «бешено камень».

В условиях все более обнажавшегося конфликта между двумя лагерями — реакции и демократии — в русском общественном движении стихотворение «Блажен злобивый поэт» явилось важным документом борьбы за реалистическую и сатирическую поэзию, за право искусства обличать пороки и язвы общества, то есть в конечном счете — за расцвет гоголевской школы.

Некрасов впервые на языке поэзии с такой силой определил пафос новой школы;

он резко противопоставил два литературных направления и нанес чувствительный удар защитникам «чистой» эстетики. В борьбе за правильное понимание Гоголя он шел вслед за Белинским.

На языке прозы он также не раз выражал свое преклонение перед автором «Мертвых душ» — и в письмах и в критических статьях. В его сознании образ Гоголя неизменно сливался с представлением о «тернистом пути» поэта-сатирика. Через три года после смерти Гоголя, посылая в 1855 году Тургеневу в Спасское второй том «Мертвых душ», Некрасов указал главную заслугу Гоголя: он «писал не то, что могло бы более нравиться, и даже не то, что было легче для его таланта, а добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества. И погиб в этой борьбе...». Это и есть «тернистый путь» — на языке прозы.

Вскоре Некрасов снова пишет о Гоголе. В «Заметках о журналах» (за октябрь 1855 года) он вступил в полемику с А. Ф. Писемским, который опубликовал в «Отечественных записках» статью о втором томе «Мертвых душ». Писемский, по мнению критика, сузил значение Гоголя, ибо почти вовсе отказал ему в лиризме. В этом споре Некрасов обнаружил тонкое понимание природы гоголевского творчества, соотношение в нем сатирического и лирического, утверждающего начала.

«Ах, г. Писемский! — восклицал Некрасов. — Да в самом Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче, в мокрых галках, сидящих на заборе, есть поэзия, лиризм. Это-то и есть настоящая, великая сила Гоголя. Все неотразимое влияние его творений заключается в лиризме, имеющем такой простой, родственно-слитый с самыми обыкновенными явлениями жизни — с прозой — характер, и притом такой русский характер!»

Некрасов заявил о своей принадлежности к тем, кто верит в «лиризм» Гоголя, и доказывал, что без этого лиризма Гоголь не был бы и великим сатириком-обличителем. В этом важнейшем вопросе Некрасов сумел опереться на авторитет Белинского. Он воспользовался тем, что Писемский упомянул «горячего, с тонким чутьем критика» (имя Белинского было еще запрещено в печати), который открыл в Гоголе «социально-сатирическое значение», и ответил на это: «Критик, о котором говорит г. Писемский, выше всего ценил в Гоголе — Гоголя-поэта, Гоголя-художника, ибо хорошо понимал, что без этого Гоголь не имел бы и того значе-

ния, которое г. Писемский называет социально-сатирическим».

Если перевести эти суждения на современный язык, то пришлось бы сказать, что Некрасов боролся против упрощенного, вульгарного понимания наследия Гоголя. «...Думаем,— писал Некрасов,— что в России найдется много людей, думающих одинаково с нами».

Образ поэта-сатирика, навеянный памятью Гоголя, близок самому Некрасову, в нем выражено его сокровенное понимание своего творчества, миссии поэта вообще. От этого образа тянутся нити к постоянным размышлениям Некрасова о собственной «музе», то есть о сущности своего писательского труда. Недаром в том же 1852 году он создал одну из главных своих поэтических деклараций — стихотворение «Муза», в котором стремился определить ее особые, неповторимые черты.

Многие поэты (и не только романтики) вели традиционные беседы с музой. Но вряд ли найдется еще поэт, в стихах которого обращение к музе носило бы столь постоянный характер, как у Некрасова.

Впервые он обратился к этой теме в конце 40-х годов. Уже тогда он ощутил потребность запечатлеть в слове черты «музы», то есть образно осознать сущность своей поэзии, и ему представилась не богиня с лирой в руках и не парящая фея — перед ним возник образ подлинно трагический при всей своей высокой жизненной простоте и реальности:

Вчерашний день, часу в шестом,  
Зашел я на Сенную;  
Там били женщину кнутом,  
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,  
Лишь бич свистал играя...  
И Музе я сказал: «Гляди!  
Сестра твоя родная!»

Всего восемь строк. Но вряд ли можно было бы точнее передать существо некрасовской поэзии, причем не только раннего периода. Эти строки не были напечатаны при жизни Некрасова. По его словам, он набросал их в 1848 году для себя, не предназначая для печати. Он понимал, что напечатать их невозможно, тем более в те времена, когда цензура отличалась особой свирепостью. Но спустя четверть века, обнаружив полустершийся карандашный набросок в старых бумагах, Некрасов с трудом

его разобрал, а затем записал для одной дамы, прибавив: «Извините, если эти стихи не совсем идут к вашему изящному альбому».

Так, по иронии судьбы, постоянно немилостивой к поэту, хозяйка альбома сделалась первой, чуть ли не единственной обладательницей одной из жемчужин его гражданской лирики. Читатели узнали эти стихи гораздо позднее.

Но знаменательно другое. Прошло тридцать лет, много утекло воды и много было всего написано за эти годы. Умиравший Некрасов диктовал свои последние стихи. Самым последним из того, что продиктовал он за несколько дней до смерти, было стихотворение, как бы подводившее черту всему написанному и опять обращенное к музе, — «О Муза! я у двери гроба!». Вот его заключительные строки:

Не русский — взглянет без любви  
На эту бледную, в крови,  
Кнутом иссеченную Музу...

Почти с уверенностью можно сказать, что в это время он не вспоминал давние стихи «Вчерашний день...». Но так прочно жило в сознании поэта его представление о своей многострадальной музе, что перед ним снова возник тот же образ.

Один из современников не без иронии заметил, что такие понятия, «как муза», «лира», свойственные эстетике старомодного романтизма, вовсе не идут к земной, современной и угловато-плебейской поэзии Некрасова. Однако у него было свое отношение к этим понятиям. С «музой» он обращался по-земному, иногда шутливо («Муза моя поджала хвост...» — из письма), иногда добродушно («Что же скажешь ты, Муза моя?»), порой с легкой укоризной («Муза! ты отступаешь от плана!»), порой патетически («Муза! с надеждой приветствуй свободу!»). Собираясь писать о театре, он без церемоний приглашает ее с собой:

Муза! Нынче спектакль бенефисный,  
Нам в театре пора побывать.

В предчувствии смерти, подводя итоги угасающей жизни, он просит: «Угомонись, моя муза задорная» — и именно ей признается в своей «необъятно безмерной» любви к народу.

Конечно, в постоянном обращении поэта к музе была известная дань литературной традиции, но в то же время это еще один признак того, как жадно искал Некрасов

новые возможности общения с аудиторией: муза становилась для него посредницей в разговоре с читателем, и он сам подтвердил это в последнем своем стихотворении, обращенном к музе:

Меж мной и честными сердцами  
Порваться долго ты не дашь  
Живому, кровному союзу!

Образ музы то сливался в поэтическом сознании Некрасова с образом родины, то заключал в себе самоопределение («муза мести и печали»), то в нем угадывались черты любимой женщины, иногда матери, чаще же всего она являлась в «терновом венце», «иссеченная кнутом» или в качестве «печальной спутницы печальных бедняков». Характерно также, что для поэта она неизменно была муза-труженица, он легко мог сравнить ее с человеком, выполняющим самую тяжелую работу:

Уже опять с своим пером,  
Как землеоп с своей лопатой,  
Перед мучительным трудом,—  
Он снова музу призывает.

Самое многообразие этих трансформаций указывает на то, что поэт дорожил возможностью в наиболее прямой форме открывать душу, обнажать движущие начала своего творчества или просто говорить о нем вслух с небывалой до тех пор откровенностью.

Но вернемся к стихотворению «Муза». Оно позволяет судить о том, как понимал поэт сущность своего творчества. Правда, в этой поэтической декларации есть некоторая неясность или непоследовательность, разумеется сознательная,— она ощутима в облике «музы», которую и сам поэт называет «непонятой девой», рядом с мотивом борьбы здесь возникает и мотив примирения, вслед за призывом к «мщению» идет призыв «прощать врагам». Конечно, это отражение исканий, попытка представить разные грани поэтического творчества. Главной же остается демократическая, воинствующая направленность стихотворения.

Поэт говорит: муза никогда не пела ему сладкогласных песен, не учила «волшебной гармонии». Он помнит пушкинскую музу — качая колыбель поэта, она «меж пелен оставила свирель»; но не такова его, некрасовская, муза: она «в пеленках у меня свирели не забыла». Характерно это превращение поэтических и чуть торжественных «пелен» в обыкновенные «пеленки». Он явно и

во всем отталкивается от светлой, гармоничной, романтической музы молодого Пушкина; вот какой образ рисуется ему взамен:

В убогой хижине, пред дымною лучиной,  
Согбенная трудом, убитая кручиной,  
Она певала мне — и полон был тоской  
И вечной жалобой напев ее простой.

В ее «скорбном стане» слышатся «проклятья, жалобы, бессильные угрозы», этой музе уже не до пленительных напевов:

Предавшись дикому и мрачному веселью,  
Играла бешено моею колыбелью,  
Кричала: «мщение!» — и буйным языком  
На головы врагов звала господень гром!

Если сопоставить эти слова со словами о людских страданиях и проклятиях, о слезах и горе, если перечитать предпоследние строки стихотворения «Муза», где стоят четыре прописные буквы,—

Чрез бездны темные Насилия и Зла,  
Труда и Голода она меня вела...! —

станет видно, как много сказано в этих стихах о себе, о своей поэзии, прежней и будущей. Поэт стремился резко и с разных сторон обрисовать черты своего призвания. Может быть, эта резкость и помешала некоторым современникам-друзьям понять его стихи-декларации (Тургенев отозвался о них сдержанно, начисто отверг последнюю строфу, но похвалил первую: напоминает «пушкинскую фактуру»). Что же касается недругов...

Поэт Аполлон Майков в эти годы еще не относился к числу прямых недругов. Он поддерживал отношения с Некрасовым, печатался в «Современнике», не отказывался от приглашений на редакционные «обеды». Еще не так давно он был отчасти близок к петрашевцам, а некоторые его поэмы 40-х годов хранят следы влияния натуральной школы. И тем не менее он давно уже вынашивал идею «чистого» искусства, отрешенного от житейских волнений.

Когда некрасовская «Муза» появилась в 1854 году в «Современнике», именно Майков, прочитав ее с «невольным сердца содроганьем», тут же написал стихотворный ответ автору. Чем же был недоволен Майков? Он убеждал Некрасова отказаться от

1 В более ранних вариантах вместо «насилия» стояло «отчаяние», вместо «голода» «терпение» — наглядный пример того, как, работая над текстом, автор усиливал его политическое звучание.

мятежных настроений, обратить «усталый взор к природе», рисовал успокоительные картины мирной сельской жизни; пользуясь некрасовской формулой, он упрекал поэта в том, что, «полюбивши ненавидеть», тот будто бы «везде искал одних врагов». Майков восклицал:

Нет, ты дитя большое века!  
Пловец без цели, без звезды!  
И жаль мне, жаль мне человека  
В поэте злобы и вражды!

За этими заботами о погибающем пловце стояло стремление обезоружить противника, лишитъ его силы, а музу буйную превратить в кроткую и послушную.

Знал или не знал Некрасов декларацию Майкова, опровергавшую его «Музу», неизвестно, в печати она не появилась. Однако известно, что сам он ценил Майкова как талантливого поэта и не раз с похвалой отзывался о его лирике. Но вот с началом Крымской войны Майков стал писать урапатриотические стихи, а затем, забыв о своей приверженности к «чистому» искусству, воспел Николая I (стихотворение «Колыска»), то есть сделался вполне тенденциозным поэтом. Это «новое направление» музыки Майкова вызвало град насмешек, эпиграмм, пародий в адрес «петербургского Аполлона».

Некрасов сумел в печати осторожно намекнуть на то, что поэт вступил на скользкий путь, несовместимый с подлинным служением искусству. В «Заметках о журналах» за март 1856 года он писал: «Мы всегда любили поэтический талант г. Майкова, всегда ценили его и верили в него, верили даже тогда, когда талант этот несколько удалился от истинных условий творчества, не допускающих ничего преднамеренного, заданного...» И еще: «...Одно время поэт начинал внушать опасение, чтоб талант его, принявший направление ему несвойственное, не остановился в своем развитии...»

Эти деликатные определения — «несколько удалился», «начинал внушать опасение» — нельзя не считать данью цензуре, которой не следовало знать, что речь идет о предметах очень опасных — о критике верноподданнических настроений в стихах Майкова. Во всяком случае, в коллективном «Послании к Лонгинову» (конец июля 1854 года), сочиненном Некрасовым вместе с Дружининым и Тургеневым и явно не предназначенном для цензуры, определения были куда менее деликатны — там прямо

говорилось: «А Майков Аполлон, поэт егнилой улыбкой, вконец оподлился — конечно, не ошибкой...»

Эти неприятные слова каким-то образом дошли до Майкова, о чем стало известно от него самого: в одном альбоме оскорбленный поэт записал (в декабре 1854 года) ответные стихи, в которых были такие строки:

Они не судьи дел моих.  
Пусть нас грядущее рассудит;  
И жду его спокойно я...

Грядущее, как известно, решило вопрос не в пользу автора этих строк. В столкновении двух «муз» нашла выражение начинавшаяся борьба двух мировоззрений, двух направлений в общественном и умственном движении.

### 3. От прозы к стихам

Некрасов обычно охотился в лесах трех смежных губерний — Ярославской, Костромской, Владимирской. Но из писем его можно узнать много подробностей еще и об охоте в Новгородской губернии, где он также любил похаживать с ружьем, приезжая сюда ненадолго из Петербурга.

Осенью 1852 года он часто охотился по линии только что построенной Николаевской железной дороги — первой в России. «...Эта дорога как будто нарочно пролегает чрез такие места, которые нужны только охотникам и более никому: благословенные моховички с жидким ельником, подгнивающим при самом рождении, идут на целые сотни верст — и тут-то раздолье белым куропаткам!»

Так писал он Тургеневу, тоже страстному ружейному охотнику и знатоку природы, отбывавшему в это время ссылку в Спасском. Некрасов знал, чем лучше всего развлечь своего друга, и потому посылал ему обстоятельные отчеты о своих скитаниях по лесам и болотам.

В некрасовских письмах в Спасское появляются своего рода «Записки охотника». Он делает лаконичные зарисовки природы: сообщает о своих трофеях, записывает «новое словечко», услышанное в Новгородской губернии, которое ему очень понравилось: пámорха. «Знаешь ли ты, что это такое? Это мелкий-мелкий, нерешительный дождь, сеющий как сквозь сито и бывающий летом. Он зовется п á м о р х о й в отличие от и з м о р о з и, идущей в пору более холодную.»

Он рассказывает об унылой и бедной нов-



городской стороне, невероятно дикой, куда еще не проникло изобретение пороха, где неласково встречаются людей с ружьем и охотятся на уток особым образом: «Мужик идет по болоту и, завидев молодую утку, старается упасть на нее брюхом, что иногда и удается ему. Не думай, что я шучу. Я это сам видел».

И сколько таких наблюдений выпадает на долю охотника! Чего стоит одна только встреча с бабой, собиравшей в лесу гнилые масляники; усталые и голодные охотники, потерявшие дорогу, спросили, как пройти в ближайшую деревню Борки. И получили вот какой ответ:

Скинь портки.  
Так и дойдешь в Борки.

И больше ничего нельзя было добиться от этой бабы, глядевшей на господ с ружьями, как заметил Некрасов, «с невероятным озлоблением».

Так он описывал в письме к Тургеневу свои охотничьи встречи и впечатления. И тут же не забывал напомнить, что пришло время прислать для «Современника» статью о книге С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника» (Тургенев прислал, и статья вскоре была напечатана).

Спустя год, в 1853 году, Некрасов опять пишет «охотничье» письмо, и опять в Спасское, автору «Записок охотника»: «Живу я с конца апреля в маленьком именьешке моего отца, которое он передал мне, близ города Муром; деревенской жизнью не тягочусь...» Охота в окрестностях сельца Алешунино оказалась очень недурна. Но дело не только в охоте. Пожив в заброшенной владимирской деревне, набравшись новых впечатлений в общении с крестьянством и с природой, Некрасов вскоре задумал роман на живую современную тему. В сохранившихся главах этого незаконченного романа (он озаглавлен «Тонкий человек») легко заметить сочетание двух линий, двух жизненных пластов — городского, столичного, и поместного, деревенского. С первым в романе связаны образы двух дворян-интеллигентов, задумавших совершить путешествие во Владимирскую губернию; со вторым — картины природы, охоты, крестьянского труда, образы крепостных.

«Тонкий человек» — одно из тех произведений, которые показывают, что Некрасов был одаренным прозаиком, хотя его возможности в этой области не развернулись.

Он сам относил этот незавершенный роман к лучшим своим сочинениям в прозе (наряду с «Петербургскими углами»), считая его достойным «возобновления» когда-нибудь — для будущих читателей. Современная проблематика и образ одного из главных героев романа, Тростникова, связывают «Тонкого человека» с другими прозаическими вещами Некрасова как часть широко задуманного повествования.

Тростников, как бы представляющий в романе автора, едет вместе со своим приятелем Грачовым, богатым петербургским баринном, в его «забытую деревню» на берегу Оки, недалеко от Муром. Несомненно, в описании этой поездки, весеннего разлива рек, не раз преграждавшего путь двум друзьям, в изображении усадьбы Грачова, затопленных деревень и тамошних крестьян, никогда не видевших своего барина, отразились впечатления Некрасова от его пребывания в «именьишке» Алешунино ранней весной и летом 1853 года. Это подтверждают и подлинные географические названия, сохраненные в тексте, и описания природы Владимирской губернии, и реальные биографические штрихи.

Но не так уж важны источники повествования и вопрос о том, какое конкретное лицо имел в виду автор, рисуя образ Грачова. Гораздо важнее, что Некрасов создал яркий сатирически окрашенный образ либерально-дворянского интеллигента с его жалобами на скуку и разочарование, с его мнимым отвращением к той жизни, которую он ведет, с его громкими словами о необходимости переменить эту жизнь, отказавшись от легкомысленных друзей, женщин, вина, карт, и уехать навсегда в деревню, чего он никогда не сделает. Писатель рассказал о тщеславии героя, которое привело его в «кружок умников», где гордость его «часто получала неизбежные щелчки», ибо, ничего как следует не зная, он был «знатоком» решительно во всем: «в женщинах, в музыке, в лошадях, в литературе, в астрономии, в политике».

В романе указана и та едва ли не главная черта, в которой люди этого типа находят самооправдание: «Я человек необыкновенно тонкий, — думает наш друг Грачов...»

Но полнее всего образ мыслей и характер «тонкого человека» раскрываются в его отношении к народу, к мужику, о котором у него свои понятия. В одной из сцен романа Тростников выражает беспокойство,

как бы не простудился тот молодой ямщик, который, стараясь помочь путникам, задержанным половодьем, решается верхом на лошади пуститься вплавь по затопленному лесу. В ответ на это Грачов заявляет: «Вот еще! Да разве они когда простужаются? О чем вздумал беспокоиться! Право, ты шутник».

«Пусть не подумает читатель,— продолжает автор,— что герой наш имел злое сердце; нет, он был добр, и не было щедрее его человека, когда дело шло о том, чтоб вознаградить труд мужика... Но только он держался такого мнения, что мужик одарен железным здоровьем, что он не должен знать ни усталости, ни болезней и что нет такого труда, который непозволительно было бы взвалить на плечи русского мужика...»

В соответствии с этим находятся и другие суждения Грачова — об отсутствии чувства природы у крестьянина, о его равнодушии к жизненному благополучию, о том, что жителям затопленной деревни, среди которых есть и дети и больные, даже полезно жить почти под открытым небом, в жалких шалашах, потому что в это время они дышат воздухом, а вода очищает и промывает их жилища.

Словом, писатель нашел возможность с разных сторон представить читателю либерального помещика Грачова. В сущности, его следует рассматривать как одну из ранних разновидностей того социального типа, разоблачение которого в дальнейшем станет предметом некрасовской сатиры.

Либеральное дворянство в разное время имело разную политическую окраску, и можно сказать, что Некрасов внимательно следит за эволюцией этого явления, отражавшей этапы развития общества. Фигура Грачова занимает свое место где-то посередине между помещиком Данковым, бегло обрисованным в «Трех странах света», и Агариным из поэмы «Саша», создававшейся в те же годы, как и «Тонкий человек». Однако Грачов как социальный тип еще не обладает законченной и определенной политической физиономией.

В сохранившихся главах некрасовского романа Грачову несвойственны такие исконные черты либерализма, как фальшивое народолобие, красивые фразы о «меньшем брате» и неопределенное стремление к «добру». Наоборот, Грачов не скрывает своего пренебрежительного отношения к мужикам, считает их дикарями и убежден

в неизменности этого дикарства. Громкие слова, которые произносит этот «тонкий человек», относятся не к мужикам, а по большей части к собственной особе.

И тем не менее Некрасов старается подчеркнуть, что его Грачов все же есть разновидность российского либерала, а может быть, и «лишнего человека». В романе есть примечательное место, где упомянуты «петербургские приятели» двух путешественников. Их зовут Ильмёнев, Горновский, Лодкин. Нетрудно догадаться, что подразумеваются Тургенев, Грановский, Боткин. На их авторитет ссылается Грачов в спорах с Тростниковым о крестьянах, но тот отзывается о столичных приятелях с явной иронией.

Автор же добавляет от себя: «...их приятели были точно люди или, вернее сказать, говоруны умные, блистательно образованные и начитанные, и Тростников сам уважал их мнение не менее Грачова, однако ж он остался при своих мыслях о предмете спора...» Эти слова характерны для выработавшегося с ранних лет отношения Некрасова к либералам, особенно к тем, кто был связан с ним многолетней работой в «Современнике»: среди них были люди, мнение которых он уважал, постоянно им интересовался, хотя оставался при своих мыслях.

Ценное свидетельство об этом оставил П. В. Анненков: по его словам, Некрасов «обладал такой широтой разума, что понимал истинные основы чужих мыслей и мнений, хотя бы и не разделял их» (из письма к А. А. Буткевич, 1879).

Так определяется в романе общественная позиция автора. Характерно, что Тростников, говорящий от его имени, во всем противоположен Грачову, особенно же в отношении к крестьянству. Он любит мужество и силой ямщиков, верит в возвышенные чувства простого крестьянина, хотя не может не замечать его темноты и неразвитости. Он с негодованием слушает рассуждения Грачова на эти темы. Картины крестьянского труда сливаются в сознании автора — Тростникова с картинами природы, ее весеннего цветения: «Молодо-зелено, куда ни кинь глазами... Нужно стеречь и ловить эти немногие дни, когда все в природе облечено этим младенчески чистым, прозрачным смеющимся цветом...» И сразу приходят на память знаменитые строки: «Идет-гудет зеленый шум...»

Как раз на этих страницах некрасовской

прозы, в рассказе о половодье, проявляются те беспомощные зайцы, застрявшие на окруженных водой островках, каких наблюдал, конечно, сам Некрасов во время весеннего путешествия на лодке. А спустя много лет он расскажет о них в стихах, посвященных русским детям («Дедушка Мазай и зайцы»).

Все это написано с любовью к природе, с поэтическим воодушевлением и, местами, в ясно ощутимой стилистической манере — она видна в рассуждениях о пестроте весеннего поля, еще не тронутого сохой земледельца, в замечаниях о меткости народного слова-прозвища, в развернутых сравнениях.

Если в предыдущем прозаическом сочинении Некрасова — романе «Три страны света» — мы встречали еще декларативные признания в любви к мужику, то в «Тонком человеке» даны подробные зарисовки сельской жизни, с симпатией обрисованы люди крепостной деревни, опозтизирован их труд, показаны их быт и отношения к помещикам, впрочем, пока еще довольно идиллические. Здесь впервые в некрасовской прозе обрисованы нищета и горе деревни; с другой стороны, автор не забыл рассказать о душевном здоровье русского крестьянина, передать его юмор, его мудро-ироническое отношение к жизненным невзгодам. Он умело воспроизвел народную речь.

Но роман писался в годы «мрачного семилетия», при жизни Николая I, когда еще слишком строга была цензура, поэтому мотивы протеста против крепостничества звучат в нем приглушенно. Первые четыре главы «Тонкого человека» Некрасов напечатал в январском номере «Современника» за 1855 год (последнюю из этих глав составляет драматическая сцена «За стеной», которая справедливо считается лучшим произведением Некрасова в этом жанре). Остальные главы незавершенного романа были разысканы и опубликованы К. И. Чуковским только в 1928 году.

Почему же Некрасов оставил роман, значительная часть которого была уже написана? Считается, что одной из причин была болезнь автора, усиление которой относится примерно ко времени поездки в Алешунино. Но ведь болезнь не помешала его работе над «Сашей» и другими произведениями!

Гораздо важнее, что в середине 50-х годов Некрасова снова и неудержимо потянуло к стихам — форме, более ему свойст-

венной, в которой ему легче, естественнее было выражать свои мысли и чувства. Стихи облегчали возможность эмоционального восприятия явлений, использования подтекста, намеков, параллелей. Не говоря уже о том, что какое-нибудь «опасное» стихотворение можно было озаглавить «Из Ларры» и выдать за перевод с испанского.

Кстати, Некрасову принадлежат важные замечания о различии стихов и прозы. В одной из рецензий 1853 года<sup>2</sup> он судил об этом так: «Различие между стихами и прозой не есть только внешнее: оно обуславливается самым содержанием литературного произведения»; дело прозы — анализ действительности, способность передать оттенки мысли, все изгибы психологического развития характеров, а поэт «одним образом, одним словом, иногда одним счастливым звуком достигает той же цели, как бы улавливает жизнь в самых ее внутренних движениях; без этого... дара напрасно станет писатель пригонять рифму к рифме и строчку к строчке...».

Тяга к стихам заметно усилилась к концу «мрачного семилетия». Если в августе 1853 года Грановский, встретивший больного Некрасова в Москве, свидетельствовал, что он пишет мало стихов («Не до стихов мне, говорит он»), то всего через несколько месяцев, в ноябрьском письме к Тургеневу, Некрасов говорит уже совсем другое. По-прежнему жалуясь на болезнь горла и крайнюю раздражительность нервов, он сообщает своему другу: «...и вдобавок — стихи одолели — т. е. чуть ничего не болит и на душе спокойно, приходит Муза и выворачивает все вверх дном...»

Не прошло и года после этого признания, как, бродя с ружьем вместе с Тургеневым в лесах вокруг Спасского, он прочел ему новые стихи. Мы узнаем об этом из очередного письма к Ивану Сергеевичу: «Помнишь, на охоте как-то прошел я тебе начало рассказа в стихах — оно тебе понравилось; весной нынче в Ярославле я этот рассказ написал...»

Прошептал — потому что почти не было голоса, из-за болезни; рассказ в стихах — поэма «Саша»; весна 1855 года в Ярославле — время поэтического взлета, когда было уже явно не до «плоской прозы»: «Весной

<sup>2</sup> Рецензия на «Повесть в стихах» Н. Д. Хвоцинской включена в «Полное собрание сочинений и писем» Некрасова с оговоркой, однако принадлежность ее Некрасову кажется нам несомненной.

нынче я столько писал стихов, как никогда, и, признаюсь, в первый раз в жизни сказал спасибо судьбе за эту способность: она меня выручила в самое горькое и трудное время» (из письма Тургеневу от 30 июня 1855 года).

Почему это время было таким трудным?

Несчастья в самом деле преследовали Некрасова. В апреле заболел и умер его маленький сын Иван, и эта смерть потрясла и Авдотью Яковлевну Панаеву («Потеря моего сына меня слегка свихнула с ума», — писала она) и его, о чем с большой силой рассказано в стихотворении «Поражена потерей невозвратной». Кроме того, болезнь самого Николая Алексеевича прогрессировала настолько, что он уже терял надежду на выздоровление. «Я болен — и безнадежно», — писал он Л. Н. Толстому в январе того же 1855 года, а 30 июня жаловался Тургеневу на «медленное умирание». И вот в такое время он не только не перестал писать, но писал как никогда много стихов, и это даже «выручило» его, помогло преодолеть горести.

Была и объективная причина для усиленного писания стихов: после смерти Николая I их стало относительно легче печатать. У «Современника» появился новый цензор — В. Н. Бекетов, обнаруживший некоторые «либеральные» тенденции. Один из сотрудников редакции (Е. Колбасин) в своих воспоминаниях уверял даже, что новый цензор сам уговаривал Некрасова «вернуться к своей замолкнувшей музе» и что эти просьбы будто бы оказали влияние на ее «производительность».

Разумеется, Некрасов вряд ли нуждался в таких уговорах, но стихи его гораздо чаще стали появляться в журнале. И не потому, конечно, что их поощрял Бекетов, а потому, что шел к концу период «мрачного семилетия». Приближались большие перемены в русской жизни, повеяло свежим ветром. Именно это и сделало возможным новый расцвет поэтического творчества Некрасова.

Среди стихов этого времени главное место занимает поэма «Саша», оттеснившая работу над прозой и в то же время связанная с этой прозой многими нитями. И образ главного героя, и некоторые сюжетные мотивы сближают «Сашу» с «Тонким человеком», подтверждая, что оба произведения, писавшиеся в одно время, питались во многом одинаковыми жизненными впечатлениями.

Разоблачив барство и никчемность Грачовых, Некрасов, видимо, ощутил потребность создать более определенный или, может быть, более характерный для времени тип «современного героя». Так возник Агарин. Противопоставить ему он считал нужным уже не дворянина с демократическими убеждениями (образ Тростникова), характер, сложившийся еще в предыдущем десятилетии и во многом близкий самому Некрасову, а иной общественный тип, только народившийся, но уже подмеченный зорким взглядом художника. Новое поколение людей, едва разбуженное временем, уже заявило о своей жажде реальной деятельности и о решимости согласовать слово с делом.

Так была задумана Саша — один из светлых женских образов русской литературы. Характерно, что поэт сделал носителем положительных идеалов именно девушку. Так уж повелось, что русские писатели в XIX веке обычно женскими устами произносили свой суд над нерешительными или не находящими себе занятия мужчинами (в этом была своя закономерность, отразившая исторический факт, невозможный прежде, — появление женщины в общественном движении).

Сравнение незаконченного романа и поэмы подтверждает, что рассказать о сложной и нежной Сашинной душе, об ее исканиях и тревогах, об ее близости к природе, к родным полям и лугам Некрасову было легче в стихах, в жанре поэмы. Это позволяло ему широко ввести лирическое начало, хотя материал прозы еще тяготел над ним, и это легко заметить, сравнив два сочинения.

Природа как фон действия играет большую роль и в «Тонком человеке» и в «Саше». Видно, что одно время года, одни и те же пейзажи стояли перед взором художника. Весенний разлив, занявший столько места в незаконченном романе, появился и в поэме. Так же как и картины крестьянского труда, и мысли об отношении крестьянина к земле:

Чуждые волны кругом разливая,  
Будет и дерзок и полон до края  
Жалкий овраг...

В романе читаем: «Выехав из оврага... они круто поднялись на высокий бугор, и глазам их открылась вся низменная... местность. Это были почти сплошь поемные луга... уже зеленевшие теперь первыми побегами молодой травы»; в поэме:

...Но уже зреет на ниве поемной  
 Что оросил он волною заемной.  
 Пишная жатва...

Интересно сравнить и картины крестьянского труда, запечатленные как в прозе, так и в стихах, и мысли об отношении крестьянина к земле, иногда совпадающие почти дословно. В романе: «Крестьянин видит перед собой поля... облитые его потом и кровью... видит и бессознательно любит их...» (слова Тростникова в передаче Грачова). И еще: «Равно любит мужичок каждую свою полосу... Вот уже начал он трудное свое дело... Поля усеяны работающими крестьянами — одни пашут, другие уже начали сеять яровое». В поэме:

Вот по распаханной, черной поляне,  
 Землю взрывая, бредут поселяне —

Саша в них видит довольных судьбой  
 Мирных хранителей жизни простой:

Знает она, что недаром с любовью  
 Землю полют они потом и кровью...

Весело видеть семью поселян,  
 В землю бросающих горсти семян...

Разумеется, дело не в отдельных совпадениях, а в единстве жизненного материала и мысли. Эти сопоставления позволяют лишний раз ощутить, как важен был для поэта переход к стихам; в них ему легко удавалось то, чего он не мог добиться в прозе (лиризм, широкое обобщения).

Вот пример. В некрасовском романе крестьяне сеют яровое, бросают зерна в землю — перед нами картина полевых работ, и только. Но та же тема сева в финале поэмы приобретает значение художественной аллегории. Мы не знаем, как сложится судьба Саши (ведь действительность давала еще мало материала для ее изображения), но заключительные строки указывают на будущую «пишную жатву» на «ниве поемной»:

В добрую почву упало зерно —  
 Пишным плодом отродится оно!

Конечно, не о земле, не о зерне, а о славной судьбе Саши говорят эти светлые строки, о будущем ее развитии, а может быть, и о будущей деятельности.

Нынешние же занятия Саши пока еще более чем скромны:

Бедные все ей приятели-друзи:  
 Кормит, ласкает и лечит недуги.

Да и чем еще могла бы она заняться в деревне в свои восемнадцать—девятнадцать лет, одна, живя с не понимающими ее родителями (кстати, здесь уже намечен ранний конфликт между «отцами» и «детьми»). Нет необходимости, хотя это иногда делают, преждевременно причислять Сашу чуть ли не к «деятелям освободительного движения» или к числу женщин, «идущих в революцию»<sup>3</sup>. Это уводит нас от реального образа, созданного поэтом. Сила Саши ведь не в том, что она пишет письма под диктовку мужичков или лечит травами окрестных баб. Для этого довольно иметь доброе сердце. Татьяна Ларина тоже «бедным помогала» — не называть же это общественной деятельностью!

Новизна образа Саши и значение этого образа для литературы — в пробуждении ее сознания, в скрытых возможностях ее натуры. Саша привлекает своей открытой чистотой, жаждой знания, любовью к труду, к природе, нравственной цельностью. Она постоянно «думает думу», «книжки читает, украдкой плачет». Можно заключить, что это цельный и сильный характер, что Саша готовит себя к какой-то еще ей самой неясной деятельности на благо народа. Из таких, как Саша, формировались ряды «новых людей» — женщины — шестидесятницы и семидесятницы. Одни из них походили на Елену, ставшую героиней романа Тургенева «Накануне», другие больше напоминали Веру Павловну (в романе «Что делать?» Чернышевского). Но все они горели одним бескорыстным желанием — отдать свои силы народу. Такое будущее ждало, вероятно, и Сашу — этот ранний прообраз «новых людей», увиденных поэтом в исторической перспективе.

В поэме «Саша», как ни в одном из предыдущих произведений Некрасова, мощно звучит лирическая тема, торжествует светлое начало, связанное с образом главной героини. Этому способствует мажорный финал, где самое потрясение, испытанное Сашей (разочарование в Агарине), толкуется как благотворное и необходимое:

<sup>3</sup> Например, в ценном исследовании А. Гаркави, посвященном «Саше», говорится, что Некрасов в своей поэме «предоставил женщине роль общественного деятеля». Непонятным преувеличением является также мнение автора, будто в поэме даны «широчайшие картины русской жизни» (см. Некрасовский сборник, 2, М.—Л., 1956).

...благодатна  
 Всякая буря душе молодой —  
 Зреет и крепнет душа под грозой.

Но еще больше этому способствует первая вводная глава поэмы, в которой преобладают лирические мотивы, тесно сплетенные с обращением к природе. Эти мотивы были с удовлетворением встречены в тех литературных кругах, где не одобряли критический пафос некрасовской поэзии; не обратив внимания на общую политическую тенденцию поэмы, несколько приглушенную в угоду цензуре, ее на основании первой главы восприняли как разрыв Некрасова с его обличительной гражданской музой.

В то время как критики-демократы безосновочно оценили замысел «Саши» и сущность ее героя (Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» отнес Агарина к числу «лишних людей», отмеченных печатью обломовщины; Чернышевский увидел в этом образе обличение дворянского либерала), другие литераторы: Боткин, Аксаковы, Л. Толстой, Ап. Григорьев — решили, что Некрасов заявил здесь о своем примирении с действительностью.

Ап. Григорьев в большой статье о Некрасове хорошо написал о картинах природы в поэме «Саша»: «Тут все пахнет и черноземом, и скошенным сеном... тут все живет, от березы до муравья или зайца, и самый склад речи веет народным духом». Он решил, что «сердце поэта перестало питаться злобою», но ни словом не обмолвился о тех главах поэмы, где если не со «злобой», то с достаточной прямоотой и суровостью сказано о «современном герое»: это он рыщет по свету в поисках «исполинского дела», хотя «ленив и на дело не годен», это он лишен твердости в поступках, самостоятельности в мыслях и с легкостью меняет свои убеждения:

Что ему книга последняя скажет,  
 То на душе его сверху и ляжет...

Можно ли принять это за отказ от гражданственности, «отрицания»? Впрочем, Ап. Григорьев оговорил, что он хвалит лишь начало поэмы, «полное высокой поэзии». А Толстой в письме из Ясной Поляны летом 1856 года прямо заявил, что он не одобряет всеобщего увлечения «отрицательным» направлением Некрасова, но зато ценит его последние стихи, то есть, по всей вероятности, «Сашу»: «...человек желчный, злой, не в нормальном положении... Поэтому ваши

последние стихи,— писал Лев Николаевич,— мне нравятся, в них грусть, то есть любовь, а не злоба, то есть ненависть. А злобы в путном человеке никогда нет, и в вас меньше, чем в ком другом. Напустить на себя можно, можно притвориться картавым, и взять даже эту привычку. Когда это нравится так. А злоба ужасно у нас нравится».

Некрасов решительно не принял предложение, будто желчь и злость в его стихах напускные, нечто вроде угождения модному поветрию. Он подробно разъяснил это в ответном письме Толстому, пытаясь развеять благодушное «яснополянское» настроение двадцативосьмилетнего писателя, к тому же находившегося в это время под влиянием Дружинина, его мыслей о том, что в литературе должны выражаться только добрые и радостные чувства.

«Вам теперь хорошо в деревне,— писал Некрасов,— и Вы не понимаете, зачем злиться; Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости,— у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, т. е. больше будем любить — любить не себя, а свою родину».

В этих словах, исполненных высокого патриотизма, заключено утверждение своей поэзии, дан ключ к ее пониманию. Примечательно, что Некрасов отклонил похвалы за «незлобивость», не согласился с рассуждениями о необходимости «любви» и вреде «ненависти» и постарался убедить Толстого в своей правоте.

Он слишком высоко ценил автора «Севастопольских рассказов» и потому через месяц снова писал ему о своем понимании задач литературы и роли писателя в России. Эта роль не может сводиться к проповеди одной только «всеобщей любви», как казалось тогда Толстому. Некрасов горячо внушал ему свои взгляды, потому что прозорливо угадывал в нем «великую надежду русской литературы». Для литературы, писал он Толстому, «Вы уже много сделали и... еще более сделаете, когда поймете, что в нашем отечестве роль писателя — есть прежде всего роль учителя и, по возможности, заступника за безгласных и приниженных».

Можно думать, что эти слова не прошли бесследно для молодого писателя, который

в то время только еще вырабатывал свою философскую и эстетическую систему.

В письме к Толстому Некрасов высказал свои выношенные и выстраданные убеждения. Он сам ощущал себя заступником «за безгласных и приниженных», в этом видел призвание литератора. Он помнил уроки Белинского, образ которого всегда стоял перед его глазами, и еще за год до письма Толстому напечатал в «Современнике» стихотворение «Русскому писателю», где выразил те же мысли.

В разных произведениях этих лет Некрасов настойчиво возвращался к теме, которую считал особенно важной,— о роли литературы в воспитании общества, в пробуждении народного сознания, в обсуждении общественных вопросов. Он убежденно доказывал, что «нет науки для науки, нет искусства для искусства,— все они существуют для общества, для облагорожения, для возвышения человека...». Потому-то, осуществляя на практике свое представление о гражданской миссии писателя, он сумел коснуться в своих стихах (во многом под-

готовленных опытами в прозе) едва ли не всех сторон тогдашней жизни, бестрепетной рукой вскрывал ее язвы. Вряд ли можно назвать другого русского писателя середины века, который делал бы это с такой широтой взгляда и художественной смелостью.

Некрасову принадлежат знаменитые, ставшие ныне лозунгом слова:

Поэтом можешь ты не быть,  
Но гражданином быть обязан.

Сам он явился и поэтом и гражданином в наиболее глубоком смысле этих понятий. Он хорошо знал, что гражданственность есть неотъемлемое свойство и признак настоящего искусства, поэзии, но та же гражданственность вырождается в рифмованную публицистику и сухую риторику, если она не совмещается с талантом, силой убеждения, страстью и подлинной связью с жизнью. Некрасов являет для нас высокий пример такого совмещения. Вся его деятельность, его поэзия вошли в летопись русской культуры и общественной мысли как великий гражданский подвиг русского поэта.



Е. ПОЛЯКОВА

★

## ДЕЛАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

*«ЖЗЛ» — книги о замечательных людях*

**В** районных библиотеках 30-х годов читателей всегда было много, книг же — маловато. Очередь людей разных возрастов двигалась к тяжелому барьеру, отходящему библиотекару от читателей (системы самообслуживания еще не было). Если читатель отбирал из стопки, лежащей на барьере, два романа — скажем, «Цемент» и «Соть», — библиотекаря твердо произносила фразу: «Одну — художественную, одну — научную».

Это означало, что читатель может взять только один роман и дополнительно книгу, обозначенную как «научная», будь то «Путешествие на корабле «Бигль», учебник политекономии или очередной выпуск недавно основанной серии «Жизнь замечательных людей».

Чаще всего юный или пожилой читатель уносил домой вместе с «Педагогической поэмой» или рассказами Чехова небольшую книжку с девизом «ЖЗЛ».

Книги этой серии читали в трамвае, в столовой, дожидаясь порции щей (системы самообслуживания еще не было), вечером в постели, прикрыв лампу газетой, чтобы свет не мешал соседям по общежитию. Без этих книг о Свифте и Щепкине, о Пугачеве и Халтурине, об Уатте и Ползунове немислимы избы-читальни и тяжелые сумки книгонош 30-х годов, как без новых книг с тем же девизом «ЖЗЛ» и факелом на обложке немислимы открытые стеллажи библиотек 60—70-х годов и домашние библиотеки, размещенные во встроенных шкафах.

Тридцатилетие серии было отмечено в 1963 году выпуском обстоятельного каталога; на его переплете — изображение серийных обложек, портреты Робеспьера, Маркса, Ломоносова, Тургенева... Портреты

не помещаются на переплете: Пирогов, Радищев, Гоголь, Боливар, Достоевский, Барбюс, Кромвель, Пестель, генералиссимус Суворов, император Петр Первый, революционеры — Бауман, Киров, Орджоникидзе, путешественники — Пржевальский, Ливингстон, — всего в каталоге около четырехсот книг, последующие восемь лет прибавили к ним еще сотню. Каждому выпуску предшествует аннотация: «Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Основана в 1933 году М. Горьким».

Задумывая серию еще в предреволюционные годы, Горький определял ее как «биографии великих умов человечества» и одушевлял высоким замыслом: «Восстановить в сердцах... веру в человечество, уважение к нему».

Этот завет осуществляют пятьсот книг «ЖЗЛ». Они исполнены веры в человека, в поступательное движение мира к социализму, к объединению в грядущем коммунистическом обществе.

Огромное большинство этих книг не залеживается ни в магазинах, ни в библиотеках. Они нужны были читателям всех возрастов в 30-х годах, они нужны сегодня, в 70-е годы, строителям сибирских ГЭС и школьникам, запоем читающим биографии Циолковского и Сент-Экзюпери. Не просто нужны — необходимы не меньше, нежели учебники сопromата и древней истории. Стремись найти себя, утвердить себя в жизни, юноши и девушки непременно ищут в прошлом и настоящем образцы человеческих жизней, примеряют эти биографии к себе, к своим интересам и мечтам. Корни жизни своего народа и всего человечества познаются в этом обращении к примерам людей, осуществивших себя. Человеку, вступающему в жизнь, не-



обходимы не только факты истории; ему необходимы не только всеобщие идеалы, но личные образцы, как бы собственные модели, которые он избирает в прошлом, иногда еще бессознательно.

Тысячи людей с интересом читают жизнь гениального математика Эвариста Галуа или Игоря Курчатова — для тысяча первого или десятилетия она будет его личным идеалом, так как совпадет с его душевной настроенностью и с его устремлениями; всем интересна биография Шлимана, а для кого-то эта биография будет не только увлекательным чтением, но и руководством в собственной жизни. Вне «персоналий истории» невозможно вообще воспитание человека.

Естественно, что с повышением уровня образования все растет интерес к биографическому жанру — именно растет, а не возникает. Этот жанр был нужен во все времена и всем народам, но создавался всегда в зависимости от уровня развития и потребностей общества. «Социальный заказ» на книги-биографии осуществлялся еще древними египтянами на папирусных свитках, традиции жанра тянутся от Светония и Плутарха, от житий, от старательных жизнеописаний Вазари, от книг просветителей XVIII века. Осмысление биографий определяется достаточно многообразным комплексом состояния общества, его литературы, его науки и непременно отображает это состояние.

Впрочем, эволюция биографического жанра обстоятельно прослежена историками, которые сами постоянно обращаются к нему; на последнем Всемирном конгрессе историков проблематике исторической биографии было посвящено несколько докладов. Канадский ученый А. Вильсон констатировал: «С давних времен история и биография выступают как союзники... Жизнь отдельных личностей помогала глубже и полнее уяснить смысл и ход исторических событий, делала хронологию более конкретной. Позднее, когда возникли новые политические условия и возросло классовое самосознание, когда выросла общая грамотность, интерес к биографиям необычайно повысился».

Об этом «необычайном повышении» интереса к старому жанру свидетельствует количество биографических книг, рост их тиражей во всем мире.

Об этом свидетельствует огромная популярность многочисленных книг «ЖЗЛ», а также и многочисленность «дочерних» ответ-

влений этой первоначальной серии, многочисленность рецензий и статей, посвященных проблематике жанра, — назовем хотя бы статьи А. Акимовой («Вопросы литературы»), С. Рассадина («Юность»), А. Гладкова (альманах «Прометей»); авторы их, прослеживая эволюцию биографического жанра, рассуждают и полемизируют о принципах создания литературной биографии.

Итак, причина истинной массовости, невиданного долголетия нашей «ЖЗЛ» прежде всего в том, что ее выпуски посвящены людям, дающим примеры цельности и последовательности в осуществлении своего призвания, веры в высокое призвание всего человечества.

В сущности, весь цикл «ЖЗЛ» является огромным портретом осуществленного идеала человечества, его Положительного Героя, реально существовавшего и потому совершенно неопровержимого. Героя-революционера, предсказывающего, прокладывающего пути будущему обществу. Солдата, беззаветно обороняющего родину от вражеского нашествия. Врача, исцеляющего больных, исследователя, открывающего законы мироздания, художника. Герои человечества, запечатленные в благодарной памяти потомков. Запечатленные в горьковских «Портретах», которые неоднократно переиздавала «ЖЗЛ»: Ленин, Лев Толстой, Красин... В книгах о героях Монголии и Индии, о художниках Франции, о великих гуманистах немецкого Возрождения, о русских актерах...

Само количество книг, выпущенных в «ЖЗЛ», становится неким качественным элементом: все полнее раскрывается история человечества. Вслед за книгой о Марксе и Энгельсе (автор — Г. Серебрякова) выходит книга о Гегеле (принадлежащая перу А. Гулыги), с жизнью Льва Толстого, Достоевского (они описаны В. Шкловским, Л. Гроссманом) соседствует жизнь Гаршина (В. Порудоминский), русских литераторов-публицистов 60-х годов (Ф. Кузнецов); рядом с биографией великого Шекспира (А. Аникст) стоит рассказ о жизни «самого большого из неизвестных драматургов мира», талантливого румынского писателя Караджале (И. Константиновский). Пятьсот книг отражают многообразие человеческих судеб, многообразие поисков призвания и самого призвания, без которого нет «замечательных людей» ни в каменном, ни в атомном веке.

Круг «биографий великих умов человечества» очень широк — он охватывает все этапы истории, все области человеческой жизни. Не только искусство и литературу, которые всегда были привлекательны для читателей. Биографии ученых составляют сегодня заметную ветвь серии, и биографии эти часто принадлежат к ее несомненным удачам, хотя о деятельности ученого писать исключительно сложно.

Важнейший герой «ЖЗЛ» — человек, чья деятельность непосредственно направлена на преобразование мира, — революционер, создатель Советского государства.

Здесь необходимы лидеры и герои революций прошлого — Кромвель, Робеспьер, Дантон, необходимы Герцен и Бакунин, Петрашевский и Желябов. Но не менее, может быть еще более, необходимы те, которые не только разрушали старый мир, но и построили новый. Первые советские наркомы и комдивы, первые наши дипломаты и ракетчики. Раскрыть пафос дел, увлечь читателя — задача «ЖЗЛ», которую сама редакция осознает как первостепенную. Об этом свидетельствуют привлекающие огромным новым материалом, добросовестным его изложением книги Т. Гладкова и М. Смирнова о Менжинском, В. Архангельского о Ногине, И. Дубинского-Мухадзе об Орджоникидзе, С. Синельникова о Кирове, А. Толмачева о Калининe. Книги, в которых так ясны общие, типические черты людей. При всей непохожести биографии их объединяются точным, обычно ранним выбором цели и непреходящей устремленностью к ней — устремленностью, преодолевающей наитруднейшие препятствия.

Ко всем этим людям применимы слова, сказанные Горьким о Красине: «На мой взгляд, для большинства людей дело — ярмо. И даже для многих, зараженных жаждою к наживе, дело все-таки — хомут, а они — волю и рабы. Но есть художники нашего, земного дела, для них работа — наслаждение. Леонид Красин был из тех редких людей, которые глубоко чувствуют поэзию труда, для них вся жизнь — искусство».

Революционеры- ленинцы, революционеры- коммунисты в большей своей части принадлежали к числу «художников земного дела», реального дела, которое приходилось на их долю, — от организации подпольных типографий и руководства рабочими кружками до прозаической, обычной работы токаря, тех-

ника, инженера. Петровский и Калинин были рабочими высокой квалификации, мастеровыми в лучшем смысле слова. Киров — сирота, воспитанник Уржумского приюта, окончивший городское училище и не менее блестяще Казанское техническое училище, — имел полную возможность «выйти в люди» в обывательском понимании. Занятия Красина в Петербургском политехническом институте были прерваны участием в «беспорядках», тюрьмами, эмиграцией. Партийную работу в эмиграции приходилось совмещать со службой; недоучившийся студент стал крупнейшим инженером Европы, которого фирмы старались переманить друг у друга.

Движение к социализму и коммунизму предполагает превращение огромного большинства людей в «художников земного дела», а само понимание дела как призвания должно объять большинство профессий. Поэтому все расширяется круг «замечательных людей». Вспомним, что на рубеже XX века в России выходило одноименное издание Павленкова; в той, первоначальной, истово-просветительской, «ЖЗЛ» были и Спиноза, и Ломоносов, и Лессинг — десятки биографий. Но, не говоря уж о революционерах, ни один мастер простого дела, рядовой профессии не имел никаких шансов остановить на себе внимание, выйти в «замечательные люди».

Иван Владимирович Мичурин не только получил после революции средства и условия для работы, о которых не мог мечтать; мастеру кропотливого садового труда ставят памятники и посвящают книги, в том числе биографию истинного «художника земного дела» в «ЖЗЛ».

Биография трактористки Прасковьи Ангиной в этой серии написана неудачно, и крайняя необходимость подобных книг не оправдывает ни редакцию, пропустившую явный литературный брак, ни тем более автора, А. Славутского. Несоответствие важнейшей темы беспомощному исполнению здесь разительно. Но самое обращение «ЖЗЛ» к биографиям такого рода принципиально важно. Не просто возможны — на сущно необходимы книги о людях, достигших совершенства в обычной профессии, наглядно воплотивших неотрывность вечных и высоких понятий морали, этики и самой жизненной цели от повседневной трудовой деятельности человека.

«На одном из первых мест в идеологической работе, которую проводит партия, сто-

ит воспитание в советских людях нового, коммунистического отношения к труду», — говорил Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии. Отобразить жизнь людей, реально воплотивших это коммунистическое отношение к труду, — задача, которую не ставили и не ставят никакие серии биографий, выходящие в старой России, выходящие в Старом и Новом Свете. Тем более важен здесь первый опыт «ЖЗЛ».

«ЖЗЛ», рассказывая о замечательных людях прошлого, объясняет их людям наших дней.

Мы вправе говорить об отверженности гения собственническим обществом: нищета сопровождает Ван-Гога, в общей могиле хоронят Моцарта, тянет лямку журналиста-поденщика Белинский. Жизнь политических борцов, противников существующего строя, всегда — мартиролог, завершаемый казнью или ссылкой.

В то же время ведь и вознаграждались книги и открытия. Величественна старость Гёте; «сэром» величают Бессемера — изобретателя проката стали, и Флемминга, открывшего пенициллин; из лондонской нищеты поднимается к славе Диккенс; глухой старик Эдисон умиленно продает газеты в специальном юбилейном поезде — копии того поезда, в котором кондуктор когда-то ударил по уху мальчишку-газетчика Эдисона.

Но как редка эта маститая юбилейность, классическая завершенность биографий героев «ЖЗЛ»! Редка расчетливая практичность — чаще всего «замечательные люди» разоряются, закладывают имения, живут случайными продажами картин, меценатскими субсидиями на лаборатории.

Большей частью в биографиях не приходится усиливать, акцентировать драматические моменты: они исполнены драматизма самой жизни, от костров Джордано Бруно и Орлеанской девы, от каторжных нор Забайкалья до унизительного безденежья мартрских художников и петербургских литераторов, до цензурных запретов, на десятилетия откладывающих постановку «Горя от ума». А те, кому с рождения была уготована спокойная жизнь, — как часто уходили они от этого благополучия: декабристы, Перовская, Блок...

Впрочем, биографии убеждают в том, что самые благоприятные условия, самое лучшее воспитание может лишь помочь человеку

сформироваться, но не сформировать его. Убеждают, вернее, наглядно доказывают, что нет на земле избранных, высших народов: эволюция человечества немыслима без филиппинского врача, писателя, ученого, революционера Хосе Рисаля, без монгольского полководца Сухэ-Батора, без деятелей Латинской Америки, в чьих жилах смешивалась испанская и индейская кровь. И какое состояние было привилегировано на поставку выдающихся личностей? Как ни замыкай границы дворянством или «средним классом» — они не замыкаются. Идет из Архангельска в Москву Ломоносов, за ним тянется земляк — помор Федот Шубин, угольком, мелом, за неимением красок, разрисовывает стены сын чугуевского солдата Илья Репин. Из самой косной, жестокой мещанской среды выходит Алексей Пешков, и Суриков происходит из старого казачьего рода. Но выходцы из крестьянства, из мещанства не становились выскочками, истоки истинной народности — в том ощущении «все мы — народ», которое сопутствует помору Ломоносову, дворянину Пушкину, таганрогскому мещанину Чехову.

Серия, естественно, будет продолжаться. Каждый прожитый нами год закрепляет в памяти новые имена: Патрис Лумумба, Мартин Лютер Кинг, Че Гевара, космонавты... Серия книг, на обложке которой горит Прометеев факел, для них создана. Писать о них необходимо, как необходимо было писать о героях прошлых книг.

Как писать?

Данная статья не претендует ни на обзор серии, ни на всесторонний анализ книг — даже последних. Задача ее — наметить некоторые принципы отбора героев «ЖЗЛ» и воплощения их на протяжении почти сорока лет в книгах этого уникального и поучительного издания.

Самое долголетие серии ясно сочетает ее с поисками советской исторической науки. Тем более что биографический жанр всегда тесно связан с состоянием истории как науки — не только с фактами, известными ей в данное время, но с самой ее методологией.

Первые биографии «ЖЗЛ» были ощутимо и неизбежно подвержены влиянию вульгарного социологизма. Режиссеры 30-х годов опережали темы новых постановок Островского как «борьбу наступающего капитализма с рецидивами феодализма», автор биографии Сурикова уверенно писал: «Художник

принадлежал к своеобразной средней казачьей «знати», унаследовав от нее всю совокупность классовых интересов и воспринятый кулачества от окружающего социального мира», — хотя и признавал, что «Суриков не может быть назван сознательным носителем кулацкой идеологии в чистом виде».

К подобным авторам, так же как к историкам, выводившим процессы культуры напрямую из экономики, в полной мере относятся опасения Энгельса: «Маркс и я, отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отвергали, и не всегда находилось время, место и возможность отдавать должное остальным моментам, участвующим во взаимодействии».

Без «экономической стороны» немислима ни современная история, ни исторические биографии. Но «остальные моменты» все более органично входят в историю и в исторические биографии. Вульгарный социологизм изжит в науке; социология стала ее необходимостью. Чем больше знают историки, тем более сложно и многообразно предстают перед ними проблемы соотношения личности с обществом и с эпохой.

Все проблемы «свободы и необходимости», самостоятельности и детерминизма в применении к развитию личности встают в равной мере перед историком и перед литератором, обратившимся к биографическому жанру. Его связь с реальностью истории очевидней, его зависимость от фактов непосредственней, чем в любом другом жанре.

Когда в 30-х годах Михаил Булгаков представил редакции «ЖЗЛ» свою «Жизнь господина де Мольера», редакция расторгла договор и заказала новую биографию, написанную по привычному в те годы образцу. «Господин де Мольер» увидел свет недавно, в той же серии с Прометеевым факелом на обложке. Интерес роман вызвал большой, недоумения — никакого: читателям 50—60-х годов стали привычны биографические романы, портреты-воспоминания Горького, Чуковского, Паустовского.

Но, отдавая должное Булгакову и живой непринужденности воспоминаний Корнея Ивановича Чуковского, представим себе, что вся серия состоит из мемуаров и биографических романов — даже таких, как «Господин де Мольер». Преображенная таким об-

разом серия потеряла бы гораздо больше, чем приобрела.

При всей привлекательности для читателя биографический роман вовсе не равен исторической биографии, не может заменить ее.

Биографический роман или повесть и историческая биография — жанры не совпадающие, подчиненные разным законам. Роман сочетает индивидуальность объекта биографии и биографа в пропорциях иных, чем историческая биография. Право романиста на домысел, собственные мотивировки поступков и действий персонажей безусловно. Он вправе представить читателю такого Мольера, каким видит его Булгаков, такого Гойю, каким представляется он Лиону Фейхтвангеру.

Поэтому так важен здесь самый выбор, обозначение автором жанра своей работы. Круг возможностей и прав автора исторической биографии отличен от круга возможностей романиста. Он имеет все права на гипотезы, на концепции оригинальные и дискуссионные, но право на вымысел и даже домысел ему так же безусловно запрещен, как безусловно разрешен он романисту.

Автор исторической биографии обязан предупредить читателя: так было. Я представляю вам героя в его поступках, действиях, свершениях. В его связи с событиями современной ему истории и в продолжении истории к нашим дням. Мы пройдем все этапы его жизни, прочитаем вместе его дневники и письма, его книги и научные труды. У меня есть свои умозаключения и предположения, я представляю их на ваш суд. В книге будет главенствовать правда фактов, правда действий, правда жизненного дела моего героя.

Этой задаче отвечают многие книги «ЖЗЛ», образовавшей за десятки лет прочный круг авторов, в который входят писатели, историки, литературоведы, искусствоведы, ученые. Литераторы этого круга обладают обширными историческими познаниями, историкам присуще литературное дарование. Иногда их сотрудничество с «ЖЗЛ» ограничивается одной книгой; но подчас в серии возникают «малые серии» одного автора, и принципиальные удачи «ЖЗЛ» часто сопровождают такие «малые серии». Цикл биографий русских ученых (Менделеев, Бутлеров, Прянишников, Чаплыгин и др.) связан прежде всего с именами О. Писаржевского и Л. Гумилевского; историк А. Левандовский — автор биографий Робеспьера и

Дантона, А. Штекли — Томаса Мюнцера, Кампанеллы, Джордано Бруно, И. Лаврецкий — деятелей Латинской Америки, В. Прокофьев — Халтурина, Желябова, Петрашевского, большевика Дубровинского. Л. Осповат — автор книг о Гарсиа Лорке и Диего Ривере, биография Салтыкова-Щедрина, написанная А. Турковым, выдержала два издания, в 1970 году вышла книга того же автора о Блоке.

Большинство этих книг органически сочетает изображение героя с тем широким и точным историческим фоном, без которого немислима современная биография. Авторы внимательны к деталям быта, к чертам характера, без которых портрету недостает достоверности. Они попросту умеют писать; их повествования предназначены не узкому кругу историков и ученых-гуманитариев и не тому умеренно просвещаемому народу, для которого в старой России предназначались лубочные книжки и якобы народные театры, куда строжайше не допускался ни Шиллер, ни Чехов, ни Горький. Народ давно избавился от снисходительной благотворительности в жизни и от снисходительного популяризаторства «для бедных» в искусстве. Авторы лучших книг «ЖЗЛ» осуществляют истинное и широкое просвещение народа, приобщая его к жизни замечательных людей своей родины и всего человечества.

На примере этих лучших книг ясно, насколько разнообразны возможности и выразительные средства авторов «ЖЗЛ».

Создавая могучий и противоречивый образ Дантона, А. Левандовский вовлекает читателей в самый процесс познания истории, определяет свою позицию по отношению к герою, выносит на суд читателя оценки других историков, прослеживает эволюцию этих оценок, соглашаясь или полемизируя с ними. М. Брагин не просто излагает жизнь Кутузова, но исследует его полководческое искусство, обращаясь к петровским реформам в армии, и к деятельности Суворова и Румянцева — мы видим Кутузова их наследником, достигнувшем успеха в науке побеждать.

О. Писаржевский неторопливо повествовал о жизни академика Прянишникова — от раннего детства в Кяхте, на границе с Монголией, через нравы иркутской гимназии, через уклад жизни и систему преподавания Петровской сельскохозяйственной академии 80-х годов к вершинам науки XX века о земле и земледелии. Совершенно иная тональность избрана С. Резником для биографии

Николая Вавилова: руководство огромным институтом, опытные участки Подмоскovie, конференции в Лондоне и Нью-Йорке, кочевой, первобытный быт тысячекilометровых караванных путей — время, спрессованное до предела, неутомимость познания, ощущение малости сделанного и в то же время необходимости его в эволюции науки — мoцартианский, светлый облик, не такой уж частый среди ученых и не часто удающийся биографам.

А. Турков и Л. Осповат вводят читателей в мир поэзии своих героев, ненавязчиво, тактично и неопровержимо анализируют связь с реальностью эпохи, нации, среды, сплетают с биографиями поэтов множество других судеб.

Книга А. Туркова о Блоке — словно строгий графический портрет поэта, совсем не схожий по манере с портретом Салтыкова-Щедрина, написанным критиком прежде, как не схожи сами миры великого сатирика и великого лирического поэта России.

Изобразительные средства последней книги Л. Осповата о Диего Ривере как бы противостоят сдержанности его же биографии Лорки: яркие, щедрые, резкие краски сочетаются в раблезианском облике неистового мексиканца.

Этих авторов не увлекает соблазн «романизованных биографий» — жанра, распространенного сегодня во всем мире. Популярный создатель многочисленных современных «романизаций» американец Ирвинг Стоун так определяет характер своих вещей: «Это правдивая и подтвержденная документами история одной человеческой жизни, в которой поставленное жизнью сырье преобразовано автором в подлинно художественное произведение». Стоун действительно уверенно «преобразует сырье» — факты биографий, произведения писателей или художников, их переписку, дневники, воспоминания — в занимательные, общедоступные книги (у нас переведены две из них — «Моряк в седле» — биография Джека Лондона и «Жажда жизни» — книга о Ван-Гоге), основной недостаток которых состоит в том, что они все же не становятся «подлинно художественными произведениями».

Мы знаем книги-вершины «романизованных биографий» — жизнеописания Ст. Цвейга, некоторые работы Моруа. Но в целом этот жанр представляет собой компромисс между исторической биографией и историческим романом; произведения, ему принадлежащие, достаточно редко поднимают

ся над средним уровнем многочисленных «преобразований сырья». Это доказывают и некоторые книги «ЖЗЛ», особенно часто появлявшиеся лет десять тому назад. В этом, думается, была повинна и сама редакция нашей серии.

В аннотациях, в авторских договорах жанр будущей книги традиционно обозначается редакцией как «научно-художественная биография».

Термин этот стал уже привычен и авторам и читателям. Но удачным, вернее — точным, он не стал, потому что в нем механически объединились два понятия, которые вовсе не просто объединить и воплотить в самих книгах. Под «научной биографией» понимается историческая точность жизнеописания героя и того, что называется его вкладом в историю человечества. А что касается «художественности», то мера эта достаточно расплывчата для самой редакции и достаточно субъективна для ее авторов. Истинным литераторам, которым «художественность» изначально свойственна, этот эпитет вовсе не нужен, но он магически действует на литераторов начинающих и на тех, кому «художественность» вообще чужда.

Книги, отошедшие от «научности» и не пришедшие к истинной «художественности», — постоянная угроза серии.

Авторы многих биографий стараются не просто изложить жизнь «художников земного дела», но непременно беллетризовать эту жизнь, страхуясь от скуки и монотонности изложения вовсе не углублением в характер и в исторический процесс, но использованием готовых штампов, проверенных шаблонов не подлинной, но так называемой художественной литературы. Штампов таких множество. То автор назовет главы жизнеописания актрисы, словно главы романа Вербицкой: «Драма любви и жизни», «Золотая красавица», «Позолоченная шкатулка» (В. Носова, «Комиссаржевская»); то начнет биографию певца с заезженных до гладкости оборотов: «Спокойно катит свои могучие воды красавица Волга» (Н. Владыкина-Бачинская, «Собинов»); то использует модные приемы «внутренних монологов» и так начнет биографию Луначарского: «Когда Сент-Экзюпери вырастет и перед ним распахнется огромный мир с теплыми ливнями и тревожной песней авиамоторов, с чистой тоской о прекрасном и черными тенями мечущихся западных городов, он спросит: «Откуда я? Я из моего детства. Я пришел из детства, как из страны».

И так продолжит это супермодное начало:

«— Пепел Клааса стучит в мое сердце!..

Пепел Клааса... Мальчик ясно представил себе все это. Ущербная луна в небе. Холодный ветер. Распятое, обезображенное огнем тело. Как пятна крови, тлеющие головешки... И юноша, стоящий в оцепенении...

Мальчик откладывает книгу, близоруко щурит глаза. В окна комнаты щедро льется зной, тянутся ветки.

Как далеко все прочитанное от этой пестрой летней суеты Киева!

Как далеко и как близко!..

Интересно, каким был этот Шарль де Костер? Сколько боли и гнева в его «Уленшпигеле»!..

— Анатолий! — строгий голос возвращает его к действительности. В дверях появляется мать...»

Такова стилистика «научно-художественной» биографии Луначарского, написанной А. Елкиным. Что ни абзац, то новый патетический штамп: «Эхо выстрелов народовольцев еще дрожало в смятённом воздухе, о чем-то глухо шептались рабочие на маевках»... «Луначарскому выпало счастье быть солдатом Октября, величайшего звездного часа, определившего судьбы многих и многих поколений». А когда особенно необходим анализ эпохи и события, автор ограничивается фразой: «Нужно ли говорить, что значила для Луначарского эта первая встреча с Ильичем!»

И биография Леонида Красина, написанная Б. Кремневым, звучит то претенциозно («Он разменивал ненависть к царизму на деньги, необходимые партии»), то банально («Города что люди, они совсем иные вблизи и в повседневье, чем издали и при взгляде мимоходом», «Город был невиданным и виденным много раз. Хотя прежде он никогда в нем не бывал... Город вставал смутным видением детских лет. Он годами возникал из рассказов родных, из картинок иллюстрированных журналов, из литографий и гравюр дедовых комнат...»).

Особенно очевидна неудача А. Елкина рядом с письмами, воспоминаниями, документами самого Луначарского. Особенно очевидна неудача Б. Кремнева в соседстве с горьковскими воспоминаниями о Красине, которые, конечно, автор непрестанно цитирует. Реальные же Луначарский или Красин настолько значительны, интересны читателю, что образы их возникают и привлекают как бы вопреки «художественности», в

самих фактах жизни, в переписке, в фотографиях, перемежающих страницы.

Так довольно часто случалось с выпусками «ЖЗЛ» 50—60-х годов. Литературные украшения авторов существуют в них как бы рядом с реальным характером, и эта реальность жизни сохраняется и увлекает, хотя авторы старательно «преобразуют сырье», чувствительно описывая детство героя или увлекая детективными названиями глав («Жандармы идут по следу!»).

Думается, что книги, просто и добросовестно излагающие жизнь героя, приводящие подлинные документы эпохи, больше соответствуют жанру «ЖЗЛ», замыслу Горького, чем биографии, так старательно и многословно беллетризованные.

Давно отошла в прошлое биография как житие, как открытое и простодушное прославление героя. Давно изложил Маркс свое отношение к портрету-биографии: «Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии движения,— будь то перед революцией, в тайных обществах или в печати, будь то в период революции, в качестве официальных лиц,— были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками, во всей своей жизненной правде. Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторженно преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения».

Цитируются эти слова постоянно, реальным ориентиром в работе служат гораздо реже. Между тем именно «жизненная яркость» и «правдивость изображения» составляют значение современных биографий и привлекают к ним миллионы читателей. Эта правдивость свойственна многим лучшим книгам «ЖЗЛ», причем они демонстрируют и неоднозначность, сложность самих понятий жизненной яркости, правдивости, непрерывное разнообразие форм выражения этих понятий.

Мы вспоминали первые книги «ЖЗЛ» 30-х годов — принципы вульгарного социализма ограничили жизнь многих этих книг небольшим отрезком времени. Но есть среди них биографии, не потерявшие значения через несколько десятилетий: среди многих книг о Щепкине одной из самых привлекательных остается книга Юрия Соболева; истинные люди Ренессанса с его великими открытиями и великими преступ-

лениями, с его гуманизмом и исторической ограниченностью этого гуманизма воскресают в биографиях Микеланджело и Леонардо, принадлежащих А. Дживеллегову.

Эти книги не просто воссоздают события жизни, но воплощают реальные характеры, сочетают главных героев с вереницей их современников, написанных не менее реально. Эти книги стоят на высшем уровне современной им исторической науки, изучения культуры прошедших веков. Поэтому они так интересны и сегодняшним читателям и сегодняшним биографам — как достойные предшественники, у которых есть чему учиться.

В то же время именно в сравнении с лучшими книгами прошлого ясна эволюция жанра в современности. В книгах последних лет ощутимо изживаются не только социологические схемы, но и соблазны внешней беллетризации. Авторы «ЖЗЛ» стараются идти в глубь характеров, в глубь исторического процесса — и именно это открывает новые возможности биографического жанра, смыкает его с истинной «большой прозой» и с исторической наукой. Знаменательно, что именно редколлегия журнала «История СССР» организовала недавно «круглый стол» историков, авторов «ЖЗЛ», редакторов этой серии. Здесь скрестились разные мнения о принципах построения биографии, об источниках, о самом выборе героев; в то же время участники встречи утверждали значение биографических книг, раскрывающих, «как история выражается в данной личности и как данная личность выражается в истории».

Если осуществлена эта взаимосвязь личности и истории, можно считать осуществленным очередной выпуск «ЖЗЛ». Причем оказывается, что стремление к строгой объективности изложения, к документализации вовсе не отталкивает «самые широкие круги читателей», но, напротив, чем дальше, тем больше их привлекает.

«Самым широким кругам» важно не повторение общеизвестных истин, не изложение общеизвестных фактов, не чувствительное описание детства, не пейзажи старого Петербурга и старого Парижа, куда приезжает герой, — им важен подлинный историзм в освещении личности героя и его времени.

Притом современный читатель вполне понимает, что понятия «правдивости изображения» и «историзма» достаточно сложны, что они вовсе не сводятся к сумме бесспорных

фактов, хотя и основываются прежде всего на фактах.

Отбор и осмысление этих фактов начинаются с самого выбора героя книги и вообще героев серии. Последовательна позиция редколлегии «ЖЗЛ» по отношению к возможности «черной серии» истории, к сильным характерам, к пронзительным умам, которые были направлены к регрессу общества или к абсолютному самовозвеличению (чаще всего сливая оба эти стремления).

«ЖЗЛ» выделяет в прошлом не жизнь великого завоевателя Тимура, но жизнь его внука — великого астронома Улугбека, не Игнатия Лойолу, но Сервантеса.

Книги пронизаны уважением к человеку. Книги, как уже говорилось, адресованы юноше, «обдумывающему житье». Выбирающему, «делать жизнь с кого». Выбор велик и разнообразен — сотни примеров истинно прожитых жизней дают книги с факелом на обложке. Именно потому, что читатель стремится к познанию истинной роли «замечательной личности» в процессе развития общества, ему необходимы книги, в которых характеры исторических личностей раскрываются не только в прямых противопоставлениях белого черному, прогрессивного реакционному, но в их подлинной сложности, в истинном историзме.

Справедливо, повторяю, что «ЖЗЛ» не посвящает монографий отрицательным персонажам реальной исторической драмы. Но вообще-то дело не в том, сколько страниц посвящается этим персонажам, а в том, как воссоздается их роль в жизни человечества, их облик, подчас вовсе не прямолинейно-простой. Стертые, качающиеся из книги в книгу, из статьи в статью характеристики мало этому способствуют. Николай I, торопливо упомянутый как оловянноглазый палач, Аракчеев, сопровождаемый единственной строкой о шпирутенах и военных поселениях, Победоносцев со стократным повторением стихов Блока о «совиных крылах», Столыпин, конечно же, только с хуторской реформой не столько помогают понять, увидеть прошлое, сколько выпрямляют спираль истории, гипнотизируя не только неискушенного читателя, но самих историков и литераторов.

Правители и министры достаточно часто бывали безликими, но безликость не может быть качеством авторского изложения. Если же так случается, неизбежно возникает обратная реакция: вдруг немисливо преувеличиваются полководческие способности

Скобелева или политическая дальновидность Николая I. Качества, которые могут (в числе прочих) войти в исторический портрет, начинают главенствовать, нарушают истинную картину прошлого, реальный процесс познания прошлого и важнейшие вехи его.

Ленинское учение о «двух культурах» предполагает полное знание и точное отображение «второй культуры» с ее изменениями во времени, с ее реальной опорой в обществе. И вполне здравые мысли, высказанные Аракчеевым или Суворовым, так же, как противоречия во взглядах Белинского или Достоевского, должны не превращаться в предмет сенсации, но быть необходимым элементом исследования и воссоздания эпохи с позиции современности.

Воссоздание не только центрального образа, но окружающих его персонажей в их исторической реальности, в их человеческой полноте — важнейшая задача писателя. Тем более важная и сложная, что понятие «человеческая полнота» также не однозначно и не элементарно.

Литератор, пишущий книгу для «ЖЗЛ», находится на переднем крае всех литературных дискуссий — об образе положительного героя и методе его воплощения, о правде факта и правде обобщений, на переднем крае исторических дискуссий о роли личности, о соотношении личности и народа, о месте ее в историческом процессе и о том, как сама она влияет на исторический процесс.

Литератору удается портрет, когда он не осовременивает ни мировоззрения, ни характера, ни поступков своего героя, но рассматривает их с позиций современной советской исторической науки.

Литератору удается портрет, когда он точно определяет и отбирает биографии, в каждой книге раскрывает не только индивидуальность героя, но, как во всяком художественном произведении, собственную индивидуальность автора. Он пишет достоверный портрет, он не допускает вымысла, но осмысливание черт, составляющих этот портрет, и отбор средств его создания — право и обязанность автора.

Обратимся снова к биографиям последних лет, составляющим несомненную удачу «ЖЗЛ». Эти книги ближе к документальной прозе, чем к увлекательным, но зачастую поверхностным повествованиям Ирвинга Стоуна и Андре Моруа. Авторы их подчас даже декламируют «антибеллет-



ристичность», как Т. Мотылева, например, отважно провозглашающая в предисловии: «Ромен Роллан очень не любил «романизированных» биографий, где факты сдобрены примесью вымысла. Его собственные работы о замечательных людях строго замкнуты в рамки подлинных фактов, основаны на документах. Именно так, думается мне, надо писать и о нем самом». Так и строит Т. Мотылева свое повествование: строго документально, в традиционной хронологической последовательности, сопоставляя известные факты, приводя факты новые, обстоятельно осмысливая их, приглашая читателя не столько сопережить судьбу Роллана, сколько задуматься над ней.

Книга Н. Эйдельмана о декабристе Лунине также прежде всего строго, последовательно документальна, построена целиком на материалах писем и дневников, мемуаров и протоколов. При этом книга не превращается в монтаж документов — они не вставлены, но вплавлены в повествование автора, слиты с ним, сама стилистика книги тонко, ненавязчиво сочетается со стилистикой речи и писем начала XIX века.

Книга естественно начинается с письма еще 70-х годов XVIII века — сержант Михаил Муравьев сообщает петербургские новости батюшке Никите Артамоновичу и сестрице Фешиньке — матери Михаила Лунина: «Получил письмо Ваше через Ивана Петровича Чадаева... Нынешнее число срок векселя Елизаветы Абрамовны: прежде Ганнибалы хотели к ней писать, а нынче они и все разъехались, большой — к своей команде, а Осип Абрамович — в отставку... Вчера был и братец Иван Матвеевич, и дядюшка Матвей Артамонович... так Муравьевых был целый муравейник... Уверьтесь, батюшка и сестрица, что я счастлив вашим спокойствием и удовольствием...»

Так Эйдельман сразу вводит нас в жизнь России, в эпоху предшествия французской революции и наполеоновских войн, Бородине и Сенатской площади. Затем он вводит нас в детство и отрочество, в юность и зрелость Михаила Лунина, в его мечтания, прожекты, дневники, письма, сочетающие трезвые планы переустройства общества с мистицизмом, заставляющим вспомнить о метаниях и поисках Пьера Безухова.

От Аустерлица, от золотой шпаги, полученной за храбрость, проявленную в Боро-

динском сражении, к проекту царевубийства и «Проектам переустройства России», сочиненным в двадцатилетней сибирской ссылке, проследживает автор жизнь избранного «замечательного человека». Проследживает в теснейших и широчайших связях — с родным по крови и духу «муравейником», с Рылеевым, с императором России, с Волконскими, с конвоирами, с сестрой, которой сибирский узник шлет и шлет письма-размышления о жизни человеческой и реестры того, что нужно переслать ссыльному.

Н. Эйдельман приводит оценку декабристского движения Герценом — и приводит знаменательную фразу престарелого графа Ростопчина, услышавшего перед смертью о 14 декабря: «У нас все делается наизнанку... В 1789 году французская чернь хотела встать вровень с дворянством и боролась из-за этого, это я понимаю. А у нас дворяне вышли на площадь, чтобы потерять свои привилегии, — тут смысла нет!»

Книга посвящена раскрытию смысла этого выхода на площадь и всего, чем оно было вызвано и что за ним последовало.

Лунину уготована не петля — проторен тот же путь, что десяткам соратников: крепость, каторга в Чите и в Петровском заводе, выход на поселение через десять лет и остаток жизни в селе Урике близ Иркутска, откуда идут в столицы письма. «Я не участвовал в мятежах, собственных толпе, ни в заговорах, приличных рабам. Мое единственное оружие — мысль, то согласная, то в разладе с правительственным ходом, смотря по тому, как находит она созвучия, ей отвечающие...» И дальше: «Народ мыслит, несмотря на глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушивать мнения, которые мешают ему выразить...»

Н. Эйдельман собирает воедино разнообразнейшие события, происшедшие 3 декабря 1845 года: Достоевский читает «Двойника» у Белинского; парагвайские войска атакуют Аргентину, экспедиция Джона Франклина зимует в полярной Америке, в Акатуе умирает Лунин. Официальное расследование и медицинское заключение смерти арестанта от «кровяно-нервного удара», слухи об этой смерти, версия убийства — руками ли приезжего офицера или зрителя рудника. Подробнейшая опись имущества, оставшегося после смерти «государственного крестьянина» Лунина, шумный по тем местам аукцион и

концовка: «Но в то самое время, когда затихал смешной и бесстыдный торг над могилой Лунина, в то самое время, когда власти полагали, что с делами и воспоминаниями об этом беспокойном человеке наконец покончено,— в это самое время он вдруг ожил в герценовской «Полярной звезде» и напечатал те самые сочинения, за которые его угнали умирать в Акатуй...»

Это увлекает, как исторический роман. Но это отнюдь не роман и даже не романизированная биография, а истинная историческая биография, несомненно родственная тем драмам и повестям, которые называются сегодня документальными. И как в лучших драмах и повестях такого рода, рассказ о Лунине не стеснен документальностью, но, опираясь на нее, обретает подлинную свободу, истинное многообразие в исследовании, в воплощении декабризма как явления и декабристов как исторических персонажей, как реальных людей.

В. Прокофьев — не начинающий автор, но один из самых привычных авторов «ЖЗЛ», автор книг о Желябове, Петрашевском, о народовольцах. Книги эти всегда добротны, интересны по фактам; героические и трагедийные биографии действительно становятся достоянием самых широких кругов читателей.

На этой «малой серии» одного автора особенно нагляден переход от поверхностной беллетризации к документальной конкретности, к точному и широкому историзму последней книги Прокофьева о большевике Иннокентии Дубровинском.

В 1960 году в книге о Желябове В. Прокофьев так описывал последние часы героя перед казнью: «Желябова вывели во двор. Как хорошо! Можно полной грудью вдохнуть свежий воздух апреля...» Выводят Софью Перовскую. «Желябов опять возмущался. Ха-мы! Напялили на Сою какую-то хламиду, тиковое платье в полоску. При чем тут полоски, когда эта женщина идет на смерть? Арестантская шинель сидит на ней неуклюже...»

А вот строгое начало биографии большевика Дубровинского, написанной через девять лет: «В Швейцарии на тюрьмах вывешивают белые флаги, если в узилище нет ни одного заключенного... В России над тюрьмами не вывешивают флагов. Даже в дни тезоименитств. В России в тюрьмах не бывает свободных мест... Дальше — об одиночной камере и ее заключенном: «Глазок поначалу приводил в бешенство...

Глазки — нововведение. Они появились в российских тюрьмах после того, как в начале 1897 года мученически погибла народоволка Ветрова. Она вылила на себя керосин из лампы...»

У Дубровинского на столе — свеча. Тюремщики экономят на копеечном освещении... Когда-то на Руси стражи взымали с колодников «влазную деньгу». Теперь — «свечевую»...»

На протяжении всей книги автор верен этой фактографической конкретности каждой детали жизни Инока, как называл Дубровинского В. И. Ленин. Верен в воссоздании бесконечных заключений в Таганскую тюрьму, постройки баррикад 9 января 1905 года и ареста 9 февраля на квартире писателя Леонида Андреева, в описаниях знакомства с Лениным, быта эмиграции и ссылки. Отсюда возникает не только правда событий, но правда характера Инока. Отсюда — личное согласие читателя со свидетельством Н. К. Крупской: «Ильич видел, что никто так хорошо, с полуслова не понимает его, как Иннокентий... Отсюда сопровождающее нас по страницам книги восхищение этим человеком, которому показаны «Давос, питание, туберкулин» и который получает кандалы, сырые камеры, этапы, смерть в Туруханске в 1913 году.

Думается, что портрет Дубровинского — один из нужнейших по теме и удачнейших по выполнению в серии.

И книга М. Чудаковой о поэте-большевике Эффенди Капиеве кажется принципиальной удачей «ЖЗЛ». Дело не только в том, что книга Чудаковой посвящена Дагестану и дагестанцу, а книги о деятелях Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, вообще наших национальных республик не слишком часты в «ЖЗЛ». Дело в том, что книга сочетает строгую сдержанность исторической биографии и личное, можно сказать лирическое отношение к этой биографии писателя из народа лаков, ощущающего кровно: «Сын гор, я душой и мыслями и всем моим существом русский человек, и без русского языка, без русской среды нет мне в жизни ничего родного...»

«Основные даты жизни и творчества», по хорошей традиции завершающие все книги «ЖЗЛ», составляют здесь неполную страницу: от рождения в 1909 году до смерти в 1944 году. Недолга жизнь Капиева, немногочисленны книги: он был взыскателен к себе, мало печатался. «Книги стали выходить после его смерти. Он поя-

вился вдруг в литературной жизни пятидесятих годов — как новый писатель. Только из предисловий узнавали читатели, что автора уже нет в живых». Такая писательская судьба, которую при всей ее трудности можно назвать счастливой, привлекла М. Чудакову.

Привлекла в сочетании привычных сегодня, но потрясавших в 20—30-х годах признаков новой жизни горцев и постоянного ощущения корней, эпоса народной жизни, которую выразил Капиев:

«Выясняю год своего рождения. Спрашиваю у матери.

— Ты родился после смерти своей бабушки через полгода. В каком году умерла бабушка, я не могу сказать... Наверно, в том году, когда мы продали своего осла... Кажется, в том году много говорили об убийстве в Шуре пристава. Да, да, это верно. Поди и спроси муллу, когда убили пристава в Шуре...»

Это из записей самого Капиева. И книга о нем написана в той же тональности, с тем же ясным видением подробностей жизни аула Кумух и города Махачкала, детских путешествий на арбе и командировок в Москву на съезды и пленумы.

Отлично чувствуя своеобразие древней устной поэзии и молодой прозы Дагестана, М. Чудакова естественно сочетает эту вроде бы «областническую» даже для Кавказа литературу с общим потоком советской литературы 30—40-х годов. В сопоставлениях с прозой Капиева возникает у нее проза Пришвина и Юрия Олеши, и такое своеобразное явление, как поэзия ашуга Сулеймана Стальского, и сама его жизнь становятся здесь необходимым фактом литературной, общественной жизни 30-х годов.

Быт лезгинских и кумыкских аулов (вовсе не идеализируемый ни Капиевым в 30-е годы, ни Чудаковой в семидесятом году), существование и закономерный конец ДАПП, прекратившейся одновременно с РАПП, многолетнее собрание фольклора народов Дагестана, книга «Поэт», столь национальная по всему своему строю, — все это органично живет на страницах книги в сочетании с общей жизнью Советского Союза, с ее великими стройками, съездами, литературными дискуссиями, с началом войны, конца которой не дождался Капиев.

Книги М. Чудаковой, Н. Эйдельмана по настоящему увлекательны, хотя в них нет и следа той «художественности», которой украшались многие биографии. Как нет «романизации» в жизнеописании Жореса, о котором Н. Молчанов рассказывает с той обстоятельностью, которая невозможна вне подлинного изучения героя и его сложнейшего времени, и с той вовсе не декларируемой, но истинной любовью, которая освещает весь рассказ — от детства в Лангедоке (Молчанов рассказывает об этой области Франции, не употребляя стандартных эпитетов вроде «солнечный юг», но раскрывая истинный демократизм южных провинций) до смерти у окна кафе, в которое протянулась рука убийцы.

Мы прослеживаем биографию лидера французской социалистической партии, основателя «Юманите». Мы прослеживаем эволюцию социализма от XIX к XX веку, судьбу Второго Интернационала, мы присутствуем на заседаниях парламента и на рабочих демонстрациях. Кончается книга так: «В этой книге сделана попытка справедливо распределить свет и тени на портрете Жореса. Но если его образ покажется читателю идеализированным, то автор надеется, что извинением для него может послужить лишь его искренняя любовь к своему герою. Если же порицание тех или иных поступков Жореса будет выглядеть слишком суровым, то лишь потому, что автор стремился быть предельно объективным». Это не просто хорошая концовка одной книги — это точная формула труда автора, обратившегося к важнейшему жанру литературы — жабуру исторической биографии, необходимость которого была так остро прочувствована Горьким более полувека тому назад, во времена первой мировой войны.

Осуществленная в 30-е годы, «ЖЗЛ» отвечала ленинскому призыву учиться, учиться и учиться коммунизму; книги ее будили патриотизм участников Отечественной войны и нужны сегодня так же, как были нужны строителям первых пятилеток. Приходят новые поколения авторов, меняется форма книг. Неизменна остается цель — отображение «биографий великих умов человечества». Неизменна вера в человека и уважение к нему.



# ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Д. Тевекелян.** Роман на рабочую тему.— **И. Варламова.** Человек — человечность.— **Ф. Искандер.** Третья книга поэта.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Евг. Долматовский.** С лейкой и блокнотом (несколько книг о Вьетнаме).— **Д. Большов.** Эволюция без перспектив.— **Н. Пожарицкая.** Воскрешение ручья Мелдрам.— **Ю. Рытов.** День рождения Калуги,

## Литература и искусство

### РОМАН НА РАБОЧУЮ ТЕМУ

**Владимир Красильщиков.** Вечный огонь. Роман. «Октябрь», 1971, № 3.

Парадоксально, но среди книг о рабочем классе, которых с одинаковой надеждой ждут и читатели и критика, в последние годы все больше попадаетея похожих одна на другую. Такие книги словно готовятся по законам нехитрой литературной схемы.

Мы все помним, как начиналась наша советская литература, что стояло за понятием «книга о рабочем классе», какую глубину — общественную, психологическую, идейную — несла в себе такая книга, какие пласты жизни открывались читателю, будили мысль, взывая к гражданской активности. В нашей же теперешней редакционной практике желание напечатать роман или повесть на рабочую тему так велико, что, случается, к самим этим вещам предъявляются требования достоверности, проблемности и художественности менее чем снисходительные, словно условный знак «рабочая тема» облегчает писателю его задачу, а не усложняет ее. И наша критика, уважительно радуясь произведениям, где жизнь людей, работающих на заводах, фабриках, строительствах, исследуется всерьез, обстоятельно и талантливо (перечень таких книг можно найти в любой ста-

тье о литературе на рабочую тему, и пополняется он, к сожалению, чрезвычайно медленно), придумала даже «технообразный» термин «производственный роман», долженствовавший, по-видимому, оградить серьезную литературу о рабочем классе от легкомысленных поделок облегченно-приблизительного решения важнейших для нашего общества проблем.

Условная схема «производственного романа» была проста и общедоступна: подробности производственного процесса с максимальным количеством деталей (чтобы читатель не усомнился в компетентности автора), борьба за выполнение плана, решительно дележащая всех персонажей на консерваторов и новаторов, и любовно-семейные отношения героев, лишенные, так же как и деловые связи, достоверной сложности, свойственной реальной жизни. Чего греха таить, многим писателям и поныне еще не удалось полностью избавиться от методологии «производственного романа», от кажущейся его достоверности и правдоподобия, от соблазна облегченно-успокоительного искусства. Но пора: ведь не случайно наша партия на своем XXIV съезде напомнила литераторам об их высокой

ответственности перед народом, о важности и необходимости их труда для дела коммунистического строительства.

«...Начальник такого строительства, за которым не только вся страна следит, но и там, на Западе, приглядывают, вдруг этот товарищ наотрез отказывается брать новые обязательства: сдать домну раньше срока». Начальник кричит в сердцах, что не допустит «этого варварства, этой вошедшей в обиход предпусковой вакханалии... Если мы «мобилизуемся», «подхлестнем», «подтянем» всех и вся — перевернем вверх дном строительство, опрокинем порядок, с таким трудом установленный, сдадим домну досрочно — чугуны от нее все равно некуда будет девать, потому что не будет и не может быть готов новый мартен... И все деньги... все пять миллионов, в которые обойдется нам эта «досрочность», все усилия, перенапряжение, неизбежные жертвы, связанные с любым перенапряжением, все будет пущено в трубу».

Однако от начальника строительства требуют перевыполнения плана «любой ценой», не считаясь с научно обоснованными, выверенными сроками пуска. Требуют люди, прекрасно понимающие преступную бессмыслицу этой «досрочности», знающие на собственном опыте, что после того, как будет сдан объект — «на живую нитку», лишь бы сдать, — после торжественного пуска, восторгов прессы и удовольствия начальства, «если сданный объект сам благополучно не выйдет из строя, его останавливают, начинают тихо-мирно достраивать то, что числится уже работающим».

Таков основной конфликт романа Владимира Красильщикова «Вечный огонь», энергично сформулированный самим автором на первых страницах. Ситуация весьма острая, как говорит все тот же начальник строительства, тут своеобразный «замкнутый круг», о котором иной читатель знает из своего опыта. Да и публицисты наши не раз обращались к этой острой проблеме.

В этом конфликте писатель сталкивает людей, безусловно увиденных в сегодняшней жизни. Он решительно отмечает образ начальника большого строительства, привычно рисуемый некоторыми литераторами: «человек с казацкими усищами»... Герой В. Красильщикова молод и демократичен («парень в красивой новой рубашке-шведке»). Лев Леонидович Силин, по замыслу автора, человек образованный, думающий и одержимый своим делом. На стройку он пришел семь лет назад, сразу

после окончания института. Взялся за дело, осваивая на ходу новые методы и неизменно добиваясь успеха («Так и пошло: где прорыв, туда Силина пихают — на самую пропашую, самую невыгодную работу»). Словом, это и не «человек с казацкими усами», и не рефлексирующий молодой герой, мечущийся среди желаний деятельности и любви и оказавшийся неспособным ни на то, ни на другое. В. Красильщиков категорично представляет своего героя как натуру деятельную, энергичную, четко знающую цель своего пребывания на земле и конкретную задачу каждого своего дня.

Читатель страстно ждет именно такого героя — думающего, работоспособного, делового, то есть настоящего современного человека. Намерение автора показать подобного героя привлекает тем более, что мы давно уже поняли: эти качества, сами по себе прекрасные, так же как и воля, как профессиональное мастерство, становятся во сто раз значительнее, когда подчинены высокой нравственной цели, когда ими движет высокая идея общественного блага, прогресса. Начиная читать роман, мы полностью соглашаемся: да, нужна незаурядная воля, убежденность в своей правоте и, главное, в пользе ее для общего дела, чтобы так решительно воспротивиться требованиям во что бы то ни стало пустить домну досрочно. Верись в переживания начальника строительства — ведь некий усиленный напор идет прежде всего от начальника главка Луценко, которого Лев Леонидович чтит, как бога. В этом свете внутренние монологи героя Красильщикова поначалу кажутся весьма искренними. «Чем ты храбрость измеряешь?.. У тебя же специальность, диплом, твое существование не зависит от кресла, не умрешь с голоду на худой конец... Станешь хитрить, изворачиваться, черное белым называть? И все «в интересах дела»? Да что мы, в самом деле, хозяева или поденщики на своей работе, на своей земле?..»

Здесь невыдуманная нравственная проблема. Одно дело быть храбрым, когда вокруг общая беда, опасность, когда человеком движет великий общий порыв, как это было на войне. Иное дело — быть храбрым «в одиночку», отстаивать свою правоту, свое решение, когда не жизни твоей угрожает беда, а лишь установившемуся ее укладу, ее удобствам, покою и благоденствию твоей семьи, — такая храбрость по-своему трудна. И как в первом случае, она требу-

ет исключительно высокого гражданского самосознания, высокой силы духа.

К сожалению, об этом не приходилось задумываться иным юным героям недавней «молодой прозы», которые в метаниях по Сибири и Дальнему Востоку, по морям-океанам и прибалтикам просто не сталкивались с необходимостью отвечать за свои решения, потому что незачем было эти решения принимать. Этакая «проза жизни» не касалась их, они парили над ней, отворачиваясь от серьезных проблем. Естественно, читатель перестал доверять им, неспособным реально взглянуть на действительность.

Герой В. Красильщикова поначалу вызывает доверие своей несуетливой деловитостью, умением радоваться находчивости и смелым поискам товарищей, (вспомним хотя бы идею монтажа с вертолета), несентиментальным вниманием к людям, а главное, конечно, решимостью, убежденностью, твердостью жизненных позиций. Но постепенно начинаешь понимать, что писатель стремился как бы облегчить Льву Леонидовичу выбор позиции, предлагая ему в некотором смысле игру в поддавки. Оказывается, и Луценко, начальник главка, приехавший на стройку требовать досрочного выполнения плана, и секретарь горкома Горбачев, и председатель стройкома Майборода, пославший в ЦК жалобу на упрямство и «политическую близорукость» начальника строительства, и даже молодая седая дама — председатель комиссии, работающей по этой жалобе на стройке, — все они в глубине души убеждены в правоте Льва Леонидовича, втайне ему всячески сочувствуют и испытывают облегчение оттого, что вот так благополучно, вопреки их требованиям все, в конце концов, устроилось. И вот на бюро горкома решают: надо доказать правоту Силина «как полагается, с фактами в руках». И Лев Леонидович едет в Москву и на аллеях Александровского сада, готовясь к решающему разговору, рассуждает про себя вызывающе дерзко: «Вот идет Лев Силин! Пусть покажут ему «кузькину мать», пусть распнут, сотрут в порошок — все равно, все равно собственное брюхо для него не станет высшим авторитетом!» И тут происходит долгожданное: партия принимает известное решение, осуждающее волюнтаризм в руководстве, утверждает научные основы планирования — весь конфликт разрешается в одночасье.

Получился не столько роман о рабочих

людях, сколько беллетристическая иллюстрация к не столь отдаленным событиям. Но все это на нашей памяти, дело писателя не просто проиллюстрировать исторический момент, но и, оглядевшись, разбудить в читателе глубокое понимание жизни, важных исторических событий, создать картину, достоверную не только документально, но и воссоздать истоки, характеры, нравственную обстановку тех дней.

Иллюстративность же редко вызывает к жизни характеры живые, полнокровные. Именно так случилось и с романом В. Красильщикова.

Постепенно начинаешь замечать, как естественно высокопарен этот молодой человек в своих внутренних монологах. Вот он обращается к домне: «Привыкли все любоваться дворцами, лайнерами, вазами. А ты? Тебя считают нагромождением стальных чудовищ — и только. Если бы люди хоть в сотую долю ощутили, сколько разумной гармонии в твоих очертаниях, сколько изящества и грации в каждом изгибе трубы, в каждой линии!» Вот он попросту актерствует: «...зашагал веселее, стараясь стряхнуть с себя угрюмость, навеянную неприятными разговорами, раздумьями. Ведь на него смотрят люди. Он не имеет права обнаруживать свое плохое настроение или нездоровье. Он всегда должен быть молодцом, всегда прям и бодр и даже симпатичен». А как приторен Лев Силин дома с женой, которая любит его «за искренность. Нет, за смелость. А может быть, за честность?.. За все вместе... По совокупности». А главное, как он несовременен в своей готовности мыслить привычными категориями, установившимися понятиями, как любуется своей исключительностью и как нелепа сама идея подобной исключительности. Ведь если исключительные качества героя в глазах писателя становятся двигателями прогресса, то трудно поверить и реальности писательского зрения.

Автор беззастенчиво эксплуатирует своего героя, заставляя высказываться по всякому важному, на его взгляд, поводу, лишая характер естественного саморазвития. Жесткость авторской разработки характера по мере чтения романа все больше лишает героя читательского доверия. И те черты характера, которые действительно навеяны современностью, постепенно смазываются.

Соблазн иллюстративности отчетлив и в других персонажах романа. Для того чтобы «выбить» из Льва Силина обязатель-

ство о досрочном пуске домны, на строительство приезжает Луценко. Уже прошел слух, что его назначают министром, на строительстве его помнят, уважают и по старой памяти побаиваются его крутого нрава. Оговорюсь сразу: характер Луценко в своей основе нам уже знаком по литературе, среди его прототипов есть фигуры поистине замечательные — вспомните Батманова, Илью Журбина, Листопада. Однако в романе В. Красильщикова этот характер как-то неинтересно трансформировался, словно опустился на виток ниже, приобрел непереносимый привкус слащавого авторского восхищения, приторной преувеличенности. Даже в авторской характеристике чрезмерность почтения к своему герою убивает в нем живые, естественные черты: «Он распрямился и стоял теперь, возвышаясь во весь свой былинный рост. Плотно сбитый и необычно прочный для шестидесяти пяти, загорелый, в сверкающем белизной кителе, монументальный, неоспоримый, одним присутствием своим ломающий самые, казалось бы, обоснованные возражения». «Молотобоец с головой академика,— вторит автору Лев Леонидович,— имя у Разина взял, отчество — от Пугачева. Да еще «Степан Грозный». Как будто сразу вообрал в себя и сокрушительную удаль Стеньки, и неизбывную мечту Пугача о яркой доле, и фанатический порыв Грозного Ивана. Все сконцентрировано в нем, слито в один заряд: и сермяжный опыт веков, и атомная мудрость эпохи... Вся жизнь в трудах. В трудах и помрет: свалится где-нибудь на такой вот оперативке, не доказав, не доделав: был только что — и уже нет. А ведь он тоже... и деньги любил, и выпить не дурак, и на женщин ох как заглядывался! Крут, груб, непомерно жесток. Но если отбросить эмоции? Какая это сила! Силища! Вся земля на ней держится. И мы от нее...»

Оставим на совести автора банальную образность мышления его героя, задумаемся над сутью: ведь «силища»-то направлена на неправо дело, «Степан Грозный» силой своего авторитета и власти хочет заставить Силина принять те самые решения, из-за которых разгорелся весь сыр-бор в романе! Он искушает: обещает подкинуть людей — с других строек снять, подбросить средства — лишь бы Силин отрапортовал досрочно. При этом писатель отнюдь не отказывает герою в положительной нравственной цели: Луценко не ради личной карьеры ринулся сюда! «В интересах дела надо отрапортовать

«досрочно», черт его подери! Ублаготворить, получить под шумиху и трескотню новые фонды на благо любимого детища». Можно назвать такую позицию «реальной политикой», можно цинизмом. Такой строй мыслей Луценко давно нам знаком и для нас неприемлем. Это тоже еще одна иллюстрация, но иллюстрация, вызывающая чувства прямо противоположные тем, какие хочет вызвать автор. Как поверить писателю, что безоговорочный диктатор Луценко — один из тех, кто, выражая волю народа, покончил с волюнтаризмом в более широком масштабе? «Н-да... Ведь он был там, на Пленуме... Это все сделал он и такие, как он, пока я спал», — так рассуждает Силин, и его сонные рассуждения явно идут вразрез не только с образом Луценко, но, главное, с духом возросшей ответственности, гражданской активности каждого, так характерным для нашего времени.

В романе В. Красильщикова немало точных наблюдений, верно и вовремя поставленных вопросов. По-хозяйски рассуждает старый коммунист, потомственный верхолаз Александр Петрович Долженко. Он хоть и работает по старости лет кладовщиком, а прорабы с его мнением больше, чем с мнением начальства, считаются. Правда, автор и тут буквально надрывается, рисуя старика Долженко таким былинным богатырем, выделяя в нем «черные матерые бровищи», «по-стариковски белесые, но еще с каким-то бесшабашным отблеском глаза», «заскорузлую хватку», «седую-преседую гриву» и т. д., заставляя молодого парнишку Василия Кореня чувствовать под орлиным взглядом старика, «будто он голый стоял перед множеством людей». Но несмотря на все эти излишества, герою все-таки веришь: Долженко действительно совесть строительства, наставник и воспитатель молодежи — не по обязанности, а по призванию. Справедливы его мысли о нереалистической ориентации наших школьников: в самом деле, до сих пор не научились мы воспитывать уважение к жизненно необходимым профессиям, знаем по именам безголосых певиц и третьесортных плясунов, но понятия не имеем, как образно говорит в романе старик Долженко, «кто лучше всех в России топором действует? Кто чемпион Советского Союза по укладке бетона? Кто лауреат за печение самых вкусных хлебов?». Разумны и поучительные мысли автора о необходимости экономики, борьбы за качество, о состояний

души, готовой к подвигу, даже если человек живет вроде бы и незаметно, буднично и т. д.

И к каждой такой мысли в романе есть иллюстрация — чаще всего психологически приблизительная, неточная. Именно так воспринимается крановщица Надя, красавица, спортсменка, передовик производства, — ее появление в романе служит иллюстрацией мысли о новом типе рабочего-интеллигента; гибнет, защищая общественное добро, ее муж монтажник Артем Завьялов — это он, занимаясь повседневными делами, душевно был подготовлен к подвигу; становится убийцей «романтик» Дема Перепелкин — это ему с детства внушили: хочешь стать героем — стремись к исключительности, штурмуй, открывай, испытывай; но после школы оказалось, что нужно совсем другое, а мог «либо переть вперед напролом, либо катиться назад без оглядки и не сумел заметить вокруг то великое, главное, что возникло в стране до его появления на свет...».

Дело вовсе не в преумножении примеров, просто методология иллюстративности, столь ощутимая в романе, сделала заданными характеры героев, психологические коллизии оказались бесцветными, дидактичными.

Очень характерен в этом отношении дневник Нади, холодный рассудочный. Героиня записывает: «Наверное, я пишу высокпарно, но что же делать, если я так чувствую?» Относится это, к сожалению, и к записям о самых обыденных вещах. Да в значительной степени и к стилистике авторской речи. Холодная декламация в авторских описаниях подчас подменяет картины, согретые искренним чувством: «Василий... выпрямился, вдохнул всей грудью и вдруг увидел, вернее, ощутил такую ширь, такой простор, что захотелось плакать — плакать оттого, что вот она вся перед тобой, вся твоя необъятная и близкая земля: с белой россыпью хат по склонам балок, вдоль сверкающих под солнцем речушек, с машинами, пылящими на дорогах меж зеленых полей, с мачтами электропередачи, шагающими от окраины завода в неизведанную даль, к неведомым людям, с дымами поездов, малящими куда-то и тающими в сизом мареве у горизонта, с нескончаемым трудом и борьбой, с радостью и горем — со всем, что зовется жизнью...»

А вот обедают влюбленные, свесив ноги с балкона, окружающего кабину подъемного крана, и картина эта полна нестерпи-

мого жеманства: «О чем они толковали, не было слышно, но вот тяжелый грубый сапог прикоснулся к тонкой туфельке. Туфелька отдернулась. Сапог снова придвинулся к ней, она оттолкнула его и тут же прильнула к нему...»

Писатель словно не доверяет реальной жизни, ее простоте и сложности и ищет для своих героев пуги, которые ему кажутся значительными, а на деле поражают своей искусственностью, банальной литературностью. Уж на что реалистический характер у Василия Коренья, рабочего паренька, болтавшегося без дела и ставшего монтажником, — ищущий, самолюбивый, настойчивый в достижении цели, юношески справедливый, этот герой очень важен в раскрытии авторского замысла, в развитии сюжета. Мы совершенно доверяем герою, когда он, впервые почувствовав рабочую гордость, независимо и резко разговаривает с пройдохой Демой Перепелкиным, прежним дружкой, нам близок и понятен Василий дома, с матерью — это правдивый быт, написанный с сердцем и пониманием. Но В. Красильщиков, очевидно, кажется все это незначительным, слишком обычным, и он придумывает историю любви своего героя к крановщице Наде, историю банальную, исполненную в самых дурных традициях беллетристики. Чего стоит, например, сцена на пляже, когда спрятавшийся Василий наблюдает раздевание и «любовное купание» Нади и Артема, все эти падающие сарафаны, «знакомый еще по весне лифчик из жатого ситца», купальник «тот самый! — красный с белыми пуговицами...». «Не смотри, пожалуйста», — просит Надя Артема. Тот послушно не смотрит. А ноги, повернувшись, идут от Василия к морю. Вот ему видно их уже выше колен, еще выше, еще...». Такой Василий, терзаемый сатанинской ревностью, очевидно, представляется писателю куда более значительным. Не доверяя реальному своему герою, В. Красильщиков заставляя Василия, что называется, из кожи лезть и придумывает ему рассудочные внутренние монологи, в которых, безусловно, есть нужные мысли, но выражены они дидактично и холодно, да и непосильны Василию. Нужно, к примеру, сказать о том, что Василий почувствовал себя своим в рабочем коллективе, нашел свое место, и В. Красильщиков пишет: «Корень шагает среди множества людей, спешащих на работу. Но — странное дело! — прежде толпа неизменно его угнетала. Теперь он как бы просит у нее



поддержки. И ощущает, ощущает спиной, затылком, мускулами рук и плеч, что все эти люди без слов понимают его, сочувствуют ему, верят. В голову почему-то лезут как раз те громкие, всегда казавшиеся высокопарными, даже стыдными слова, над которыми постоянно смеется Луцков. Конечно, если швырять эти слова между прочим и мусолить где надо, где не надо... А если представить, что так же вот сейчас идут к своим шахтам, стапелям, крекингам миллионы таких, как Василий, как Надя, Артем... Идут вместе, хотя рабочий день во Владивостоке начинается, еще когда Василий спит. Идут заодно, и поди останови их, столкни с пути... Кореню вдруг начинает казаться, что не в толпе он движется, а с мощной демонстрацией».

Писатель высказался в своем романе по

многим вопросам, волнующим нас, современников. Мысли эти в большинстве случаев справедливые, с ними соглашаешься. Но и соглашаясь, ни на минуту не можешь изжить чувства, что вот перед нами еще одна «схема романа» о рабочем классе, выполненная с самыми добрыми намерениями и — совершенно загубленная «иллюстративностью», которой подчинены любые поступки и побуждения героев, повороты сюжета, авторские характеристики.

Тема рабочего класса — вечная тема нашего искусства, и художник, работающий над ней, должен помнить, что она сама заряжена небывалой энергией, ждет воплощения страстного, достоверного и, конечно же, чуждого иллюстративности.

Д. ТЕВЕКЕЛЯН.



## ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Николай Атаров. Избранное. В двух томах. Т. I, 352 стр. Т. II, 656 стр. «Художественная литература». М. 1971.

Написала заглавие и задумалась... А почему не «Человек и страна», не «Человек и вселенная»? Все эти темы присутствуют, нет, не просто присутствуют, а переплетены и схлестнуты в «Избранном» Николая Атарова, вобравшем в себя его повести, рассказы, публицистику. Но, как видите, на первом месте всегда — человек. Всегда ли, впрочем? Да, как результат многолетних раздумий и поисков. Но в начале литературного пути писателя не так или не совсем так обстояло дело.

Н. Атаров и сам признается в одном своем публицистическом выступлении, которое он назвал «Сознание цели»: «Именно внешний мир, мир вне нас (разрядка моя. — И. В.), представлялся нам полем небывалой битвы нового со старым; в этом внешнем мире, а не внутри нас происходили библейские по масштабу превращения, перемены, преобразования...»

Безмерность, «многоголосость» жизни ощущалась поколением молодых писателей 30-х годов очень остро. И Н. Атаров находит, как мне кажется, удачный термин, характеризующий литературные интересы его самого и некоторых других писателей-энтузиастов, сгруппировавшихся вокруг горьковского журнала «Наши достижения»: это чаще всего были искания смысла бытия «по горизонтали», а не «по вертикали», то есть не в глубину, а вширь,

в пространстве, а не во времени. В жизнедеятельности всколыхнутых людских масс, а не в интимной жизни души каждого отдельного человека.

«Хорошо это или плохо?» — спрашивает себя писатель. И отвечает: вопрос этот надо ставить по-другому. «Могло или не могло быть иначе?» Нет, не могло. Но так же естественно было и другое — постепенный поворот писательского интереса от «горизонтали» к «вертикали», к «светочувствительной» человеческой памяти, не только к самим поступкам, а и к их мотивам, к духовному миру личности.

«...Понадобилась целая жизнь, — пишет Н. Атаров в рассказе (или очерке? — жанры тут смыты) «Зову — отзовись!», — чтобы постепенно — от события к событию — сквозь цепь ужасных заблуждений и ошибок выработать первоначальное убеждение, что к человечеству надо идти от человека».

Все мы складываемся исподволь, из множества разнородных элементов, и тысячи тысяч «ядерных частиц» ежесекундно бомбардируют извне нашу душу, полируя ее или оставляя на ней незаживающие рубцы. «Ядерные частицы» — это и разные встреченные на жизненном пути люди, и вычитанная из книги, поразившая нас мысль, и заголовки в газете, и какой-то особо запомнившийся рассвет в горах, и чей-то необыкновенный поступок — словом, все те впечат-

ления «многоголосой» жизни, которые оказывают на нас порой как бы незаметное, но никогда не прекращающееся влияние. И все-таки у каждого есть тот переломный момент, когда понимаешь, что «количество перешло в качество», в новое качество, и ты стал иным. Для Н. Атарова таким переломным моментом были, по всей видимости, военные годы.

В статье «Когда мы жили грядущим днем» Н. Атаров приводит слова своего друга и почти сверстника Ивана Катаева: «Что нам с вами нужно, чего мы хотим в свой полдень? (Катаеву было в то время немногим более тридцати лет.—И. В.) Да ничего, кроме довольства миллионов, веселья и неутолимой мысли вокруг нас. Пусть будут счастливы народы, а уж мы не пропадем».

Какая вера в грядущее! Обаяние такого образа мыслей властвовало над умами целого поколения, да и не могло не властвовать... И какую же пришлось проделать над собой работу, чтобы понять, что эта прекрасная мысль нуждается в важном дополнении: довольство миллионов неотъемлемо ст счастья любого из «малых сил».

Поэтому так отродно читать эти две книги «Избранного» Н. Атарова — и не только отродно, но поучительно. Видишь, воочию видишь, как неустанно работала мысль писателя, как тратил он сердце, возвращая, пестуя в себе год от года новое, выстраданное отношение к жизни, к людям.

Вот, к примеру, рассказ «Какой он был», не такой уж ранний, но написанный еще в старом «ключе». (Замечу, однако, что написан он мастерски, как и большинство атаровских вещей. Тут и колоритная старуха — диверсант. «Она неподвижна, как ящер, как допотопный ящер, за ее горбатой спиной — холодная сланцевая плита Ладожского озера». Тут и молчаливая фигурка военного врача в каске. «Кажется, что он упакован, перекрещен ремнями, точно небольшой дорожный чемодан». Тут, наконец, и носилки, лежащие на обочине. «Темный от крови пучок травы и то место на брезенте, где на текло». Какие всё выразительные детали!) Речь же в рассказе идет о том, что автору, военному корреспонденту, надо написать заметку о Комарове, командире взвода, героически погибшем на наблюдательном пункте. Но, в общем-то, никто о нем ничего толкового рассказать не может. «Какой он был?» — допытывается автор. Ему отвечают: «Он был такой... небольшого роста». Немногим более удается узнать о погибшем и к концу рассказа. Но автору кажется, что

теперь-то он хорошо представляет себе Комарова. Он просто складывает, собирает его из разных черточек, подмеченных им у других людей.

И вот готов человек: «небольшого роста, в каске, в скрипящих ремнях, вызывавших улыбку кадровиков», — как тот военный врач. И «оглохший, заросший», как тот симпатичный начарт, который не слышал стука топоров. И вот он стоит, бледный, в темных от крови бинтах, как тот горбоносый упрямец, что не захотел перейти в санитарную машину... И вывод: «Я мало знаю о Комарове. И я знаю о нем все». Но это ошибка. Комаров здесь то, что называется «собираемый образ», тип. Как литературный прием — ничего не скажешь, лихо придумано. А по сути — неправда. В самом «приеме» заключена неправда. Настоящий Комаров — неповторим. Из взаимозаменяемых частей человека не сделаешь. Мы о Комарове так ничего и не узнали. Хотя и получили представление об обстановке, о настроении людских масс — об общей атмосфере.

Зато в другом, тоже военном, рассказе — «Дул теплый ветер» — мы узнаем о его героде, бронебойщике Фомичеве, все самое существенное. Мы видим, как он лежит ночью в ледяном болоте с противотанковым ружьем, раненный в ногу. Он мог бы спастись, уползти к своим, но тогда бы пришлось бросить тяжелое ружье, а этого он сделать не может. Мы слышим его мысли: «Вот приковали! — подумал Фомичев, отдохнув от страха. — Сколько воевал — пчела не ужалила, а тут ни за что пропадешь!» Мы вникаем в его прошлое, видим, как он в своих мечтах-воспоминаниях проворно заскакивает из метели в дверь, чтобы холода не напустить, и весело говорит матери: «Ну и курит!» Мы представляем себе его отношения с другом Мамедовым, смеемся их шуткам, и ясно нам, какое отвращение испытывает он к врагу, к мертвому уже фашисту: «Винтовку бросил, чисто корова комолая!» И верим каждому его слову — именно так мог говорить этот человек с обмороженными ногами: «Вот создал бог человека... а запасных частей нету. Без ног остался». И понимаем, и сочувствуем, и восхищаемся ясным его разумением, спокойствием и достоинством. И когда, оставшись один в болоте и умирая, но так и не бросив, как та «корова комолая», противотанкового своего ружья, он думает, что «не одинок за своей болотной кочкой», что он «в многолюдном мире», который поделился на «неправду» и «правду», мы знаем: да, так оно и было.

Потому что Фомичев — неповторим. И неповторимость его свята.

Повернувшись лицом к конкретному, этому человеку, Н. Атаров не забывает о важнейшем — о месте человека среди людей. Ведь он может оказаться, как у Ганса Фаллады, и «волком среди волков». Надо было найти точку отсчета, системы координат. Человек и его страна. Человек и время. Человек и вселенная. Вот Фомичев живет в «многолюдном мире». И в таком же многолюдном мире живут все самые любимые герои Н. Атарова: фоторепортер Дебабов, и «начальник малых рек» Алехин, и агитатор Паншин, и Веточка Рослова из «Повести о первой любви», и капитан Воеводин из рассказа «Погремущка», и инженер Летягин из киноповести «Коротко лето в горах».

Еще Гарри Морган в «Иметь и не иметь» говорил перед смертью: «Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один... Все равно человек один не может ни черта». И далее Хемингуэй добавляет: «Потребовалось немало времени, чтобы он выговорил это, и потребовалась вся его жизнь, чтобы он понял это». Но то был человек иного, собственнического мира, а героям Атарова, как правило, изначально свойственна общность с другими людьми; у них, как у Фомичева, Паншина, Летягина, Воеводина, «целый мир за спиной».

Именно это чувство общности гонит инженера Гаврикова в Египет помогать строить Асуанскую плотину («Голубой бисер»). И оно же заставляет старого профессора Васильева отказаться от заманчивых предложений и удерживает его на Кавказе, где ему посчастливилось воспитать и вывести в люди несколько поколений детей («Глядите: там, за третьей партией...»). И оно, это прекрасное чувство, несколько видоизменяет и без того хорошую формулу «человек среди людей» в лучшую, ступенькой выше: «человек для людей».

Интересны и те произведения Н. Атарова, где он пишет о людях противоположного душевного склада — о людях «для себя». Такие образы, как Калинушкин из «Коротко лето в горах», как врач Дробышев из рассказа «Араукария», как спекулянт Алашкин в «Весах и санках» или Егорка Пронин в «Пятом тузе», ясно показывают нам, какое глубокое презрение испытывает писатель к тем, кто не чувствует себя частицей огромной «страны людей». Один, как Егорка, забыв о своем рабочем достоинстве, только и делает, что без конца «комбинирует», круглые сутки не знает покоя, и у него

От этого на душе «кисло». У другого, как у себялюбца Дробышева, текли и текли «бесполезные дни, имевшие только видимость пользы и блеск поверхностного счастья». А пробивной, благополучный и как будто всегда процветающий Калинушкин, по существу, тайно завидует своему врагу — неудачнику, донкихоту Летягину. По мысли Атарова, не может быть счастлив равнодушный, пустой человек. И наоборот. Не только достойны счастья, а именно счастливы люди высоких помыслов, люди щедрой и честной души. Счастливы тем, что живут для людей.

Н. Атаров преклоняется перед ними и пишет о них с восхищением. Рассказы и повести. Очерки и публицистические статьи: «Как любить детей» — про Януша Корчака, «Частная жизнь писателя» — про Григория Меньшикова, «Ветер с цветущих берегов» — про Паустовского. Н. Атарову нравятся те, кто не страшится взвалить на себя ту или иную «обузу» и затем не расстанется с ней до конца жизни. Одна из статей «Избранного» так и называется — «Не расставайся с обузой». В ней говорится о Сергее Сергеевиче Смирнове, который взялся за вызволение из морального небытия героических защитников Брестской крепости, о «народном ходатае» Валентине Овечкине, о скромном свердловском писателе Борисе Рябини-не, написавшем добрую книгу «О любви к живому» и неутомимо ратававшим о заступничестве за «братьев наших меньших». А в очерке «Молодой месяц над паровозом» (к сожалению, не вошедшем в сборник) Атаров знакомит нас с инженером Алексеевым с трассы Абакан — Тайшет, будущим прототипом своего Летягина. Он тоже один из тех, кто по доброй воле принимает на свои плечи «обузу», кто всегда бьется, хлопчет, ругается почем зря, а потом их именами называют «пароходы, станции и города»... Странно было бы даже предположить, что кто-нибудь из подобных людей хоть на минуту может ощутить себя одиноким. «Обуза» сама по себе обеспечивает им общность.

Таким образом, постепенно Н. Атаров приходит в своем творчестве к очень важному выводу, что «Человек и Человечность — это как бы цель и средство. И как цель и средство они неотделимы». Формула, прежде напоминавшая у него качающиеся весы, где в разные эпохи перетягивает то одна, то другая чашечка, приобрела устойчивую монолитность. И вот теперь уже в ней, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Н. Атаров нашел то, что искал всю жизнь.

Во всем, что он пишет — будь то публицистическая статья, очерк, рассказ или повесть, — чувствуется неумейный гражданский темперамент автора, бойцовская сила убеждения, горячая писательская заинтересованность. Вот так Атаров когда-то отстаивал от несправедливой критики замечательную повесть В. Пановой «Серезжа» (и полемическая статья его запомнилась, жива до сих пор), вот так он написал правдивую, искреннюю и тоже полемическую, вызвавшую в свое время много споров «Повесть о первой любви», где сражался против принятой тогда «системы раздельного обучения», против казенного, бюрократического подхода к тонким и сложным проблемам воспитания. И верный своей теме, он не замыкает первое робкое детское чувство Оли и Мити в рамки узкокрылой келейности, а органично вводит своих юных героев в многоструйный поток жизни со всеми его противоборствующими завихрениями.

Здесь, пожалуй, уместно будет заметить, что при несомненной страстности атаровского письма художественные средства, которые он выбирает, отличаются, как правило, естественностью. Детали у него по большей части скупы, просты, подлинны. Судите сами: «Карагодов прибавлял шагу, отламывал корочку от пайка, жевал на ходу и на ходу припоминал все сроки весны: когда опять в погожий апрельский денек выползут из земли дождевые черви, появятся шмели на зацветшей медунице и по двору окраин, давно не метеным и неприбранным, зацветут черемуха и ольха». (Эти «дождевые черви» и «давно не метенные дворы» — из поэтического рассказа «Календарь русской природы»). Вот маленькая, но очень емкая деталь о вездесущем политруке Паншине: «Гимнастерка выцвела на нем как будто раньше, чем на других». Вот описывается щедрый кавказский пир («Звездная ночь в Зарамаге») и мимоходом упоминается «грандиозная феодальная яичница». Или в «Погремушке» автор знакомится на палубе с милой, обаятельной женщиной... Что же она делает? «Смотрит вдаль»? Ничуть не бывало! «Старинным чугунным молоточком она крушила орехи на спинке скамьи». Все это в высшей степени характерно для Атарова. Вольный полет мыслей и точная прикрепленность живописных деталей к нашей родной, грешной земле.

Осталось теперь добавить лишь несколько слов о детях и детстве. Эта тема занимает огромное место в творчестве Н. Атарова и органически сливается со всем, о чем

он думает, что ищет. Он пишет о детях не только, скажем, в статье о Корчаке или в пронзительном очерке про смерть затравленной девочки («Была бы жива...»), а и там, где речь, казалось бы, идет совсем о другом. Тему детей и детства он тайно имеет в виду всегда, он напряженно держит ее в уме, как держат в уме единицу при сложении чисел. Потому что именно через отношение к детям прежде всего выявляется человек, да и сами дети — это ведь люди.

Они тоже все разные, как и те, кто уже вырос, и об этом никогда нельзя забывать. Ни в коем случае нельзя их подгонять под ранжир. Атаров приводит слова Януша Корчака: «Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является наукой о ребенке, а не о человеке... Детей нет — есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств». И далее Атаров пишет о Корчаке: «Он догадывался, что Эйфелева башня... может быть повторена в точности, может быть даже размножена по решению ООН и доставлена в каждую страну, что тысячи Эйфелевых башен могут быть расставлены, как мачты высоковольтной электропередачи. И он знал, что, в отличие от Эйфелевой башни, человеческий малыш неповторим».

Атаров любит детей не только за то, что они «разные», что каждый из них — огромный, космогонических масштабов мир, но еще и за то, что именно в детстве особенно ярко проявляются все чувства и эмоции. «В детстве горячее солнце, гуще трава, обильнее дожди, темнее небо и смертельно интересен каждый человек» (Паустовский). В детстве что ни день веет волшебный Соранг — «ветер с цветущих берегов», ветер мечты, добра и надежды.

Вот прочитан толстый двухтомник — некий итог литературной работы советского писателя, его творческий отчет читателям. Каково же общее впечатление? Удивительна современность Николая Атарова. Он был современен в «горизонтальных» поисках 30-х годов, когда вместе со сверстниками объездил, облазал, исходил пешком чуть ли не всю нашу вздыбившуюся, перевернутую, как во время весенней вспашки, страну. Современен он и сейчас, в своих «вертикальных» бурениях. Он заглядывает в душу современного человека, видит ее сложность, полифоничность, отыскивает опосредствования, связи каждой отдельной души с миром, со всей вселенной, с эпохой.

**И. ВАРЛАМОВА.**

## ТРЕТЬЯ КНИГА ПОЭТА

Д. Самойлов. Дни. Стихи. «Советский писатель». М. 1970 88 стр.

«Дни» — третья книга Давида Самойлова. Давний любитель его стихов, взяв в руки его новую книгу, я с некоторой ревнивой быстротой пролистал ее: что там?

Широк диапазон творческих интересов поэта от чисто лирических стихов о любви до философских раздумий о смысле жизни, о месте художника в ней, от яркой драматической сцены «Конца Пугачева» до настроенных ритмов, как бы мучительно пробирающихся в будущее, стихов о Блоке.

После первого чтения чувство было сложное: да, что-то ушло, обаяние задора стало гораздо меньше, меньше чувственного удовольствия с пылу, с жару творить свой поэтический мир.

И только перечитывая стихи и вживаясь в них, я постепенно осознал их новые достоинства. В лучших стихах сборника большая глубина, большой историзм мышления, большая нравственная требовательность к самому себе... Но и как будто стих стал суше. Одно за счет другого? Может быть.

Лев Толстой в своих дневниках неоднократно высказывал не вполне оправданную догадку, что в художественном произведении усиление этического содержания происходит за счет вытеснения эстетического, и наоборот. К счастью, этот суровый парадокс опровергается самим творчеством Толстого — красота и правда в его произведениях находятся в могучем неразрывном единстве. А там, где в позднейшем творчестве он с полемической последовательностью пытался обойтись, грубо говоря, без красоты, получался парадокс с обратным эффектом, то есть правда не только не расширялась за счет пространства, очищенного от красоты, но, наоборот, съеживалась, усыхала. Я имею в виду некоторые его народные рассказы и религиозные притчи.

Еще более сокрушительный провал потерпели символисты, когда пытались создать искусство, независимое от нравственного содержания: «Быть может, все в мире лишь средство для ярко-певучих стихов». И когда они с полной искренностью пытались осуществить этот творческий принцип, то в первую очередь ни истинной яркости, ни истинной певучести не получалось, не говоря об остальном.

Но это две крайности. Как правило, в развитии художника происходит движение

от перевеса красоты к перевесу правды. Разумеется, в чистом виде этого не бывает, но такова, на мой взгляд, тенденция развития. Плод на ветке продолжает наливаться, когда листья начинают сохнуть и опадать. Конечно, склонность эта не беспредельна и амплитуду естественного колебания определяет талант и чутье художника.

Одно из лучших стихотворений предыдущего сборника Д. Самойлова — это стихотворение «Сороковые».

Идет война. Солдат стоит на грохочущем полустанке, а мимо него проносятся, как мы догадываемся, эшелоны с ранеными бойцами, поезда, перегруженные несчастными погорельцами. Но что же чувствует солдат, по-видимому, только что вышедший из госпиталя и снова отправляющийся на фронт?

Да, это я на белом свете,  
Худой, веселый и задорный.  
И у меня табак в кисете,  
И у меня мундштук наборный.  
И я с девчонкой балагурю  
И больше нужного хромаю,  
И пайку надвое ломаю,  
И все на свете понимаю.  
Как это было! Как совпало  
Война, беда, мечта и юность!  
И это все в меня запало  
И лишь потом во мне очнулось!  
Сороковые, роковые,  
Свинцовые, пороховые...  
Война гуляет по России,  
А мы такие молодые!

О чем это стихотворение? Это стихотворение о счастье. О поистине неповторимом счастье быть частью правоты великого общенародного дела, радостно раствориться в нем и, растворившись, обрести самую полную внутреннюю свободу и цельность. То, что это стихотворение как бы выкрикнуто из другого времени (воспоминание), придает ему особое щемящее обаяние.

А вот одно из лучших стихотворений последнего сборника — «Пестель, Поэт и Анна». Удивительна легкость, с которой в нем поднята огромная тема и решена в целом художественно убедительно.

Разумеется, здесь нет духовного портрета Пушкина 1821 года, когда он встретился с Пестелем в кишиневской ссылке. Но оттолкнувшись от конкретной исторической встречи, поэт рисует Пушкина в его более позднем, более полном развитии.

Имел ли он на это право? Я думаю, да,

потому что более поздние, проясненные представления Пушкина о роли дворянства в государстве, о самодержавии, о мужицком бунте проскальзывали и в раннем творчестве Пушкина, хотя душа его еще трепетала ожиданием «звезды пленительного счастья».

В стихотворении оба характера, дворянского революционера и поэта, с драматургической последовательностью выдержаны до конца.

Шел разговор о равенстве сословий.  
— Как всех равнять? Народы так бедны,—  
Заметил Пушкин,— что и в наши дни  
Для равенства достойных нет условий.  
И потому дворянства назначение —  
Хранить народа честь и просвещение.  
— О, да,— ответил Пестель,— если трон  
Находится в стране в руках деспота,  
Тогда дворянства первая забота  
Сменить основы власти и закон.

Как видим, каждый гнет свое. К тому же Пестель, как бы соглашаясь с Пушкиным, говорит о другом. Он как бы говорит: конечно, назначение дворянства хранить честь народа и просвещение. Но ты сам понимаешь, Пушкин, что если деспот не дает нам заниматься этим делом, то нам ничего не остается как революционным путем сменить его... Это следует из твоих же слов...

Но из слов Пушкина этого не следует. Из слов Пушкина скорее следует, что надо хранить народа честь и просвещение, несмотря на деспота, а это — разные вещи. В том, как Пестель у Д. Самойлова подхватывает слова Пушкина и развивает их в собственном направлении, есть ироническая, далеко идущая тонкость. Впрочем, Пушкин тоже позволяет себе некоторые полемические преувеличения, тем более что внимание его раздвоено доносящейся из окна песней Анны.

Замечание Пестеля относительно разума и сердца, записанное в кишиневском дневнике Пушкина, по-моему, бросок вперед по сравнению с общепринятыми просветительскими представлениями того времени и делает честь дворянскому революционеру Пестелю. Замечание это довольно точно вошло в стихотворение, хотя общий облик Пестеля несколько выпрямлен, в его облике есть некоторый налет сальеризма. Последнее, вероятно, правильно угадано, если иметь в виду, что мудрость и ум похожи друг на друга, как Моцарт и Сальери.

Одним словом, это отличное стихотворение, и редко, редко нашим поэтам удается,

выражаясь словами Пушкина из того же дневника, «разговор метафизический, политический, нравственный». Давиду Самойлову этот разговор удался.

Тем не менее у меня есть два мелких замечания к нему.

Они простились. Пестель уходил  
По улице развезженной и грязной,  
И Александр, разнеженный и праздный,  
Рассеянно в окно за ним следил.

Здесь вторая строчка потащила за собой рифмующиеся с ней эпитеты «разнеженный и праздный», на мой взгляд, совершенно неподходящие к духовному облику Пушкина. Пушкина легко представить унылым (правда, тогда это слово имело несколько иной оттенок), печальным, восторженным, радостным, страстным, нежным, но не разнеженным. То же самое получилось и в заключительных строчках:

Он вновь услышал — распевает Анна  
И задохнулся:  
«Анна! Боже мой!»

Концовка, венчающая такое стихотворение, невольно (я думаю, в данном случае вольно, потому что имя женщины вынесено и в заголовок стихотворения) приобретает символический смысл. А она представляется мне слишком мелкой и потому неверной. Такое впечатление, что Давид Самойлов, не зная, что делать с Пушкиным после разговора с Пестелем, несколько неуклюже подтолкнул его к Анне.

Вспомним, что по «условиям игры» здесь описан не случай из жизни Пушкина, где могло быть и так и эдак, а спор Пушкина с Пестелем или даже отчасти спор позднего Пушкина с Пушкиным времен первого послания к Чаадаеву. И когда голос поющей Анны доносится со стороны, это только усиливает юмор, иронию, ощущение многоплановости жизни, но когда этот голос в конце стихотворения заглушает все, получается не тот эффект.

Между прочим, одно из свойств хорошего произведения искусства — это не только освещать ту или иную картину или проблему, но и собственные недостатки. Хорошее стихотворение пробуждает чувство идеала, которое обращается к этому же стихотворению, как к наиболее близкому объекту, с им же спровоцированной чуткостью. К неудачам сборника я бы отнес стихотворение «Оправдание Гамлета». Оно распадается, потому что в нем нет единства духовного

отношения к предмету. Единство никак не исключает противоречий. Наоборот, преодоление противоречий — наиболее богатая форма движения к единству. Но это в том случае, когда противоречия выступают не в виде дополнительных движений (движение одно — это убежденность поэта, его духовный заряд), а в виде естественного сопротавления материала жизни, которое предстоит преодолеть. Иначе все распадется.

Гамлет медлит быть разрушителем  
И глядит в перископ времен.

Это говорится в первой строфе. Это интересно. Это сулит раскрытие трагедии Гамлета, как трагедии человека, переросшего свое время и, следовательно, представления своего времени о возмездии. Но постепенно поэт отходит, не удерживается на высоте своей задачи и опускается до плоского вывода.

Бей же, Гамлет! Бей без промашки  
Не жалея загнивших кровей!  
Быть — не быть — лепестки ромашки,  
Бить так биты! Бей не робей!

Совет, может быть достойный Дениса Давыдова, но совершенно неприемлемый для Гамлета, глядящего «в перископ времен». Каждый из них хорош в своем роде и на своем месте.

Кроме стихотворения «Пестель, Поэт и Анна», в сборнике немало других хороших стихов. Вот они: «Давай поедем в город...», «Перед снегом», «Фейерверк», «Дай выстрелить стихотвореньем!..», «Пустырь», «Фотограф-любитель», «Химера самосохраненья!..», «Конец Пугачева», «Выезд». Два последних — просто первоклассные вещи. Хочется несколько слов сказать о стихотворении «Выезд». В книге есть стихи более значительные и сильные, но нет более гармоничного и завершенного.

Помню — папа еще молодой.  
Помню выезд, какие-то сборы.  
И извозчик — лихой, завитой.  
Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.

А в Москве — допотопный трамвай,  
Где прицепом старинная конка.  
А над Екатерининским — грай.  
Все впечаталось в память ребенка.

Помню — мама еще молода,  
Улыбается нашим соседям.  
И куда-то мы едем. Куда?  
Ах, куда-то зачем-то мы едем!

А Москва высока и светла.  
Суматоха Охотного ряда.  
А потом — купола, купола.  
И мы едем, все едем куда-то.

Звонко цокает кованный конь  
О будыжник в каком-то проезде.  
Куполов угасает огонь,  
Зажигаются свечи созвездий.

Папа молод. И мать молода.  
Конь горяч. И пролетка крылата.  
И мы едем, незнамо куда,—  
Все мы едем и едем куда-то.

В детстве время и пространство имеют свойство сладко растягиваться. Поездка с одной улицы города на другую превращается в кругосветное путешествие. Жгучая и в то же время затаенная радость, как бы не спугнуть счастье, очень точно передается замедленной музыкой стихотворения.

И мы едем, все едем куда-то.

Мы как бы слышим восторженный шепот ребенка: «Сколько интересного уже увидел, а еще сколько будет...»

Но ощущение радости ребенка по поводу переезда только оболочка, истинный поэтический нерв затаен еще глубже, но он создает атмосферу стихотворения, его стихов очарование.

Поэзия семьи — вот тайный нерв стихотворения. Никто, как ребенок, не ощущает красоту слаженности, осмысленности семейной жизни, и он же воспринимает разлад в семье как полную катастрофу, крушение мира, хаос. Ведь родители для ребенка — почти единственные свидетели взрослой жизни, а если взрослая жизнь такая, то зачем двигаться, то есть расти в сторону взрослой жизни?

И наоборот, жизнь прекрасна и осмысленна, когда есть этот лад. Можно и не вполне понимать или даже совсем не понимать, куда родители едут. Главное, что едут к чему-то лучшему, иначе бы мама не улыбалась соседям. Достаточно того, что родители знают, куда мы едем. Тут каждое слово подчеркивает надежность, долговечность, прочность той силы, которой сладостно доверился ребенок.

Папа молод. И мать молода.  
Конь горяч. И пролетка крылата...

Но в этих строчках, как и во всем стихотворении, есть и оттенок легкой горечи. Откуда он и не противоречит ли общему замыслу стихотворения? Не противоречит,

потому что оттенок горечи вызван взрослым пониманием того, что придет время, когда и мать постареет и будет много других горьких неизбежностей. Да, все это будет, но момент счастья схвачен и закреплен, и в этом нравственная победа художника над горькими неизбежностями. Вечно не то, что вечно, а то, что достойно вечности.

Возвращаясь к беспокоившей Толстого мысли относительно возможности обратной пропорции между художественным и нравственным содержанием искусства, мы можем сказать, что в этом стихотворении поэт сумел сделать новый шаг в глубину без единой потери.

Хочется высказать недоумение по поводу

тиража книги. Я знал, что она выходит, тем не менее не смог ее купить. Она мгновенно разошлась: тираж десять тысяч. Так что для написания этой рецензии мне ее пришлось одалживать у товарища. Я понимаю, что бумаги не хватает, но ведь выйдут книги двухсот- и трехсоттысячными тиражами. Понятно, что читателей детективных романов больше, чем любителей поэзии, но и они — читатели, надо же как-то соблюдать пропорции. Нельзя, чтобы писатель, достигший зрелого возраста и имеющий свой круг читателей, издавался таким же тиражом, как и начинающие поэты.

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР.

★

### Полигика и наука

## С ЛЕЙКОЙ И БЛОКНОТОМ...

Л. Кричевский, Н. Солнцев. *Полюс тревоги*. М. «Московский рабочий». 1970. 232 стр.

А. Васильев. *Ранеты над цветком лотоса*. М. Политиздат. 1970. 200 стр.

Е. В. Кобелев. *Вьетнам, любовь и боль моя*. М. «Наука». 1970. 154 стр.

О Вьетнаме нельзя говорить спокойно. Болевая точка планеты — подвергшийся варварской агрессии и беззаветно сражающийся за свою свободу и независимость Вьетнам вот уже много лет находится в центре внимания наших журналистов-международников. Сообщения из Юго-Восточной Азии, хотя бы краткие, непременно присутствуют в каждом номере газеты, в каждом радиовыпуске «Последних известий».

В Ханое, в Хайфоне, на побережье Тонкинского залива и в горных джунглях я не раз встречался с молодыми советскими журналистами, теми самыми людьми, благодаря которым мы имеем возможность повседневно следить издалека за жизнью и борьбой вьетнамского народа. Представляя в Демократической Республике Вьетнам центральные газеты, радио и телевидение, ТАСС и агентство печати «Новости», эти люди не недели, не месяцы — долгие годы провели в далекой стране, разделяя с ее мужественным народом все беды, принесенные войной. Наблюдая за их деятельностью, мне было радостно и дорого узнавать и подмечать в облике, характере и поведении рядовых «газетной строки» хорошо знакомые черты военных корреспондентов моего поко-

ления, начинавших с Испании, Халхин-Гола и линии Маннергейма, разделявших судьбу народа на Буге и Волге и восторженно диктовавших телеграфисткам в мае сорок пятого: «Над рейхстагом — алое знамя победы Точка».

Нет, время не остановилось и прямые аналогии были бы неверны. Рядовые вьетнамского корреспондентского корпуса поют, правда, и наши старые песни:

С лейкой и блокнотом,  
А то и с пулеметом  
Сквозь жару и стужу мы прошли...

Но есть у них уже свои песни, новые:

Настанет день, свой долг исполнив,  
Вернемся к семьям и друзьям,  
Но никогда мы не забудем  
Тебя, воюющий Вьетнам!

И не только по обстоятельствам, в которых находятся, отличаются они от нас. Прежде всего их отличает знание языка, быта и истории Вьетнама. Современный корреспондент, находящийся в стране, как правило, это филолог, этнограф или историк. В Москве, в ящике письменного стола ждет его возвращения незаконченная диссертация — кандидатская, а порой и докторская.

Есть у корреспондента еще одно весьма существенное отличие, если можно так наз-



вать, — отсутствие военной подготовки. Ведь это не военные корреспонденты, их послали отражать жизнь братской страны, рост ее промышленности и культуры, проблемы рисосеяния и рыболовства. Не их вина, что мирная страна вынуждена вот уже столько лет вести оборонительную войну против американских варваров.

В отличие от военных корреспондентов нашей Великой Отечественной младшие товарищи, работающие во Вьетнаме, не вооружены и не принимают и не могут принять участия в военных действиях. Только в этом отношении они неравноправны с вьетнамскими войнами; а от бомб и осколков, конечно же, не застрахованы.

Уверен, что не обижу никого из журналистов, если особо выделю корреспондента «Правды» Ивана Щедрова. Он не только дольше всех других находился во Вьетнаме, но и написал о жизни и борьбе вьетнамского народа больше и глубже других. Книги его отмечены международной и советской журналистскими премиями, его корреспонденции на страницах «Правды» стали основным источником нашего знания обстановки в Индокитае. Ко всему этому по праву очевидца могу добавить, что Иван Щедров не раз проявлял беззаветную храбрость, самоотверженность и снискал любовь и уважение вьетнамцев как советский друг.

О книгах Ивана Щедрова, вышедших раньше, много писали. Я думаю, что в ближайшее время у этого замечательного журналиста сложится новая книга. Его поездки в Юго-Восточную Азию и корреспонденции — на виду у читателя «Правды».

Интересно рассказал о Вьетнаме постоянный корреспондент «Известий» Михаил Ильинский...

Сегодня же хочется откликнуться на недавно вышедшие книги о Вьетнаме. «Четверо отважных» — так можно назвать авторов книг: «Ракеты над цветком лотоса» — Алексея Васильева, «Вьетнам, любовь и боль моя» — Евгения Кобелева, «Полюс тревоги» — Леонида Кричевского и Николая Солнцева.

Все они находились во Вьетнаме одновременно. Видели одно и то же (в поездки по стране корреспондентов обычно возят группами), вместе бывали на пресс-конференциях и получали одинаковые материалы от вьетнамского Информационного агентства. Кроме того, в боевых условиях Вьетнама журналистская конкуренция невозможна, и если в мирные времена она похожа на ми-

лую игру, то на фронте почти кощунственно: подвиг народа и зверства агрессора должны стать достоянием всех — этого требуют интересы мира и справедливости. Куда уж тут до подножек и «фитилей»: не таковы эти люди, не так они воспитаны.

Итак, три книги четырех авторов на одном материале и даже со сходными ситуациями в тексте: поездка в 4-ю зону, то есть к демаркационной линии, по линейке разделившей страну на Север и Юг; бомбежки, пережитые в Ханое; поездка в Хайфон; беседа с американскими летчиками, сбитыми в небе Вьетнама; герои боев и труда; сев и уборка риса под бомбами; советские специалисты в джунглях...

Я все это тоже видел... И вот, оказывается, знакомые репортажи обладают притягательной силой и не позволяют оторваться, пока не дочитано до последней строки. Что же разнообразит, казалось бы, одинаковые книги о Вьетнаме, что же в них привлекает? Мне кажется, как в лирических стихах, в очерках и в настоящем репортаже чрезвычайно важна личность автора и то, насколько полно и взволнованно передает он свои впечатления.

Мы вглядываемся в жизнь Вьетнама глазами четырех советских людей. Каждый из них обладает завидным запасом сведений исторического, географического, фактического характера. Это хорошо, но это еще не все. Читатель переживает еще и эффект присутствия, ставит себя на место рассказчика: в мире идет война и десять тысяч километров, отделяющих нас от ее огневых позиций, в современных условиях не расстояние. Война близко, она касается нас, тяжело дышит нам в лицо.

Вот молодой работник московского радио Леонид Кричевский, прибывший к месту службы, рассказывает о своем первом репортаже из Ханоя.

«Раздается телефонный звонок. Вызывает Москва!

— Товарищ Кричевский? Даю радио. А что у вас так шумно? Плохо вас слышу.

В это время взрыв раздается совсем близко. Кричу в трубку:

— У нас бомбежка! Давайте студию. Передаем репортаж!

А оттуда, издали голос:

— Товарищ Кричевский! У вас пленка готова? Можно начинать?

— Начинайте! — И высываю телефонную трубку в окно. Шум боя прямо по теле-

фону записывается в Москве.— Как приняла? Теперь я передам текст. Запишите: «Сегодня 2 декабря 1966 года американская авиация совершила первый массированный налет на столицу Демократической Республики Вьетнам...»

Не знаю, как на кого, а на меня эта сцена, воспроизведенная почти протокольно, произвела огромное впечатление. И скорее всего потому, что корреспондент подал ее без аффектации, как рабочий момент, не более того.

Для Кричевского основное в данной главе, из которой взял я эту сцену,—эскалация американских бомбежек, их история и нравственная, а точнее, безнравственная подоплека.

Примечательно, что задолго до опубликования в американской печати документов, хранившихся за семью замками и со всей очевидностью подтверждающих, что в Тонкинском заливе был придуман американцами инцидент с провокационной целью, корреспондент московского радио доказательно и точно изложил свою точку зрения, звучащую обвинительным актом. Ныне семь тысяч американских документов можно приобщить к нему как подтверждение...

А вот еще одно описание воздушного налета. Оно принадлежит перу корреспондента ТАСС Евгения Кобелева. Рассказывая о появлении четверки американских самолетов, Кобелев как бы вскользь произносит фразу, поразившую меня своей психологической точностью: «Трудно себе представить, что эти самолеты будут сейчас бомбить».

Я прочитал и ощутил более чем через тридцать лет после того, как попал под первую бомбежку, что корреспондент ТАСС, родная душа, переживал то же, что и я, что и мои товарищи. Наше советское мировоззрение никогда не примирится с жестокой бессмысленностью войны. И для моих сверстников, и для тех, о ком пишет Кобелев — «большинство из нас последний воздушный налет пережили в далеком детстве»,—очевидно безумие войны и, в конечном, далеком, много крови стоящем итоге, бессилие агрессора.

Вот почему так трудно представить советскому корреспонденту, что «эти самолеты будут сейчас бомбить». Невозможно без волнения читать строки Алексея Васильева о бомбардировках. Я привожу первые попавшиеся на глаза:

«Где-то рядом взрывы, отблеск пожара. Сквозь грохот пробивается тоненький детский голосок. Сидящая рядом женщина вскопчила, ударила головой о балку, бросилась к выходу с возгласом:

— Тхань! Тха-ань!..

Следом за ней двое мужчин. Через минуту они вносят девочку, маленькую, худенькую. Она бежала к матери. Шариковая бомба разорвалась в ходе сообщения. Изранены руки, грудь. Девочку перевязывают. Она стонет.

Вой самолетов на время удаляется. Вылезаю из блиндажа...

...Рев раненого буйвола. Он бросается вскачь по полю, попадает в траншею и не может из нее выбраться, бьется и жутко ревет. Кто-то бежит туда. Выстрел из пистолета. Завтра мы будем есть жесткую буйволятину, поджаренную на шомполе».

Кандидат исторических наук Алексей Васильев, корреспондент «Правды», обладает завидной наблюдательностью:

«Днем я вышел прогуляться за деревню. Пейзаж, который ночью казался мне лунным, стал земным. Вокруг кратеров от бомб зеленели саженцы бананов. В воде кратеров росла нежнейшая изумрудная рассада риса».

В этом лаконичном описании для корреспондента важна не экзотика, а то, что воронки используются для рассады, что бомбы вспахали эту несчастную землю.

Мне кажется, что наши корреспонденты во Вьетнаме, выступившие с первыми книгами, сумели понять и раскрыть характер вьетнамцев, и это отнюдь не этнографическое открытие. Они говорят о революции, о главной тенденции второй половины нашего столетия — борьбе народов с колониализмом, о борьбе за свободу. Молодые советские люди, оказавшиеся в раскаленной докрасна Юго-Восточной Азии, правильно определяют возрождение вьетнамского народа как прямое следствие Октябрьской революции и нашей победы в Великой Отечественной войне.

Каждый в своей манере и по-своему — Алексей Васильев, Николай Солнцев, Леонид Кричевский, Евгений Кобелев — очень подробно и точно описывают быт и нравы сражающейся страны и ее героического народа.

Параллельно ведется и другое исследование. О стране, как и о человеке, судят по делам, по действиям. Находящиеся во Вьетнаме советские журналисты имеют и право и

основание судить американскую политику в Юго-Восточной Азии, строго и сдержанно вести учет злодеяний агрессора. Чрезвычайно интересны их отчеты о пресс-конференциях, на которых журналистам «предъявляют» воздушных пиратов и вещественные доказательства агрессии. Любопытны записи бесед с американскими летчиками. Быть может, я не совсем точно выбрал слово «беседа», но, во всяком случае, это не вопрос. Взгляд как бы со стороны: советские журналисты сопоставляют американских агрессоров и защитников Вьетнама и убедительно демонстрируют превосходство тех, кого чванливые «поборники западной цивилизации» считают дикарями. Длиннорукие пилоты Америки — личности, явно претендующие на этот эпитет. Им противопоставлены многие собеседники наших корреспондентов. В трех книгах галерея портретов вьетнамских товарищей — военных и гражданских, взрослых и юных. Словно бы журналисты сговорились из отдельных лиц сложить портрет борющегося народа, и, надо сказать, им удается эта сложная задача.

Евгений Кобелев, как мне кажется, передавая сухую и точную «тассовскую» информацию, одновременно ведет исследование характеров, вглядывается и запоминает детали, которые могут стать материалом для будущего художественного произведения.

Вот он рассказывает о вьетнамских летчиках. Как трудно стать летчиком-реактивщиком маленькому, две тысячи лет — из поколения в поколение — недоедавшему, если не голодавшему человеку. Кобелев рассказывает, как летчика Нгуен Ван Бая, ставшего позже знаменитым героем, после первых пробных полетов механики вытаскивали из кабины самолета обессиленного, с позеленевшим лицом. Но он учился, невероятно напрягая волю, овладевая сложнейшей техникой. И это все происходит в джунглях, в тропиках.

«Даже в часы отдыха летчики не знали покоя: тренировали глаза на летающих объектах — птицах и бабочках, изучали движение рук вышивальщиц, чтобы развивать гибкость пальцев...»

Бабочки — летающие объекты — это уж точное воспроизведение речи вьетнамца-фронтовника!

Николай Солнцев умело делает как бы

карандашные зарисовки: труженики фабрик и рисовых полей с винтовкой за плечами — вот излюбленные его образы.

Алексей Васильев пользуется преимущественно формой дневника. Записи его подробны, весьма обстоятельны, содержат много (может быть, даже слишком много) деталей. Они порою романтически-приподняты, так же как и репортажи Евгения Кобелева. Молодые журналисты видят во Вьетнаме свою Испанию.

В заключение несколько слов о жанре. Книги Алексея Васильева, Евгения Кобелева, Николая Солнцева и Леонида Кричевского принадлежат журналистике и именно этим хороши. Много зная о Вьетнаме, приобретая за длительный срок пребывания в стране огромный запас впечатлений, корреспонденты выпустили свои записки, способные расширить и углубить читательское представление о борющейся стране, к которой приковано внимание всего мира. Жанр «от нашего специального корреспондента» имеет все самостоятельные права. Но мне видится, что его иные начинают стесняться: вроде бы он не писательство. И для опровержения самими же придуманной напраслины вставляют в текст метафоры, явно противопоставленные документальному жанру. Случается такое и с моими товарищами — советскими корреспондентами во Вьетнаме, книги которых я с полным на то основанием рекомендую читателям как умные и интересные. Но это лишь изредка и, в конце концов, не такая уж беда: ну, захотелось расцветить репортаж. И все же самые лучшие страницы этих книг — четкие, точные, чуть суховатые документальные записи, заставляющие сжиматься сердце от гнева и боли. Вера в победу вьетнамского народа, чувство боевого товарищества, сдержанность, мужество, достоинство советского человека. Как это важно, как это современно!

Мы вправе гордиться своими товарищами, по-братски проведенными годами с вьетнамцами и рассказавшими об их жизни и борьбе взволнованно и уважительно. Может быть, потом под теми же именами выйдут рассказы, повести, поэмы. Но сегодня специальные корреспонденты газет и радио выступают с репортажами, и мы благодарны им за их документальные книги.

**Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ.**

## ЭВОЛЮЦИЯ БЕЗ ПЕРСПЕКТИВ

П. К. Курочкин. Эволюция современного русского православия. М. «Мысль». 1971. 272 стр.

«...христианская вера никогда не отрицала необходимости и пользы науки, необходимости и пользы знания» — так трактует современное православное богословие отношение религии к науке<sup>1</sup>. Что же касается суда над Галилеем, преследования и гибели Джордано Бруно, враждебного отношения русской православной церкви к Сеченову, травли дарвинистов, то все это только неприятные «случайности», вызванные властолюбием некоторых руководителей церкви. Но как же примирить современную науку с Библией, этой священной книгой христианства?

Богословы в наш век не могут не учитывать, что авторитет науки возрос в огромной степени, что сегодня большинство верующих уже трудно, скажем, убедить, будто мир был чудесно сотворен богом в шесть дней. И вот предлагается так называемое символическое толкование Библии. В издаваемых Московской патриархией ежегодных сборниках «Богословские труды»<sup>2</sup> мы находим утверждение, что библейские притчи следует воспринимать как образное описание событий — не буквально, а иносказательно. При таком подходе легенда о шести днях творения становится, дескать, вполне правдоподобной. Просто, когда писалась Библия, еще не было слова «период». И под «днями» творения следует понимать определенные стадии, периоды развития Земли, каждый из которых мог продолжаться многие миллионы лет. А то место в Библии, где говорится, что бог создал человека из глины, означает лишь метафорически-иносказательное описание процесса происхождения живого из неорганической материи.

В книге «Православие» В. Титов, ссылаясь на «Богословские труды», приводит еще один пример символического толкования Библии<sup>3</sup>. Автор отмечает, что библейская фраза «Солице стой!» была одним из наиболее ярких доказательств примитивности и невежества религиозных космогонических представлений. Но, оказывается, Иисус На-

вин вовсе не останавливал солнца. Недоразумение, как отмечается в «Богословских трудах», вызвано тем, что до сих пор просто неправильно читали Библию и поэтому не поняли скрытый смысл этого повествования. Иисус Навин и его войско нуждались, дескать, не в солнечном свете, а страдали от жары. После молитвы Иисуса солнце закрылось тучами и храброе войско израильтян получило необходимую ему прохладу.

Развитие научных знаний ставит богословов в сложное положение, заставляя приспосабливать религию к сознанию современного верующего. Ведь, с одной стороны, церковь не может допустить, чтобы подрывался авторитет священного писания, а с другой — она уже не в состоянии удерживать верующих под гипнозом наивных библейских мифов. Противоречие для церковников поистине катастрофическое. И способы разрешить его святые отцы ищут очень энергично. Один из них — символическое толкование Библии. Но есть и другие.

На одной из встреч представителей религиозных организаций, исповедующих христианскую веру, было принято совместное заявление о том, что Библия и природа — это две книги, написанные богом и предназначенные для чтения человеку. Как произведения одного автора, они не могут противоречить друг другу.

Однако богословы вынуждены признать — противоречия между этими книгами все же существуют. И пытаются как-то объяснить причины их происхождения, они заявляют, что, дескать, не все истины веры доступны для научного понимания, поскольку некоторые из них относятся к области сверхъестественного. Воскресение Христа, например, остается тайной, не доступной никакому исследованию, никакому описанию ни словом, ни образом. Оно составляет лишь предмет веры, куда наука проникнуть бессильна. От открытых нападок на научное знание современное православие действительно отказалось. Но оно по-прежнему отводит науке подчиненную роль — познание лишь отдельных моментов «божественной» истины, оставляя за собой право на знание «безусловного начала», «мира невидимого», неизменных богооткровенных истин. Религия остается религией, она, как и прежде, признает

<sup>1</sup> «Журнал Московской патриархии», 1956, № 5, стр. 66.

<sup>2</sup> См. «Богословские труды». Сб. второй, М., 1961, стр. 210.

<sup>3</sup> В. Е. Титов. Православие. М. 1967, стр. 279.

факт сотворения мира, которое «является делом рук божьих», факт существования бога как сверхъестественной силы, управляющей якобы природой и человеком. Чего же стоят после этого утверждения, что религия, дескать, никогда по существу своему не была против науки! За «новыми» тезисами о примиримости науки и религии, гармонии веры и знания таится явное стремление обеспечить религии выигрышное положение хотя бы перед лицом верующих; во что бы то ни стало сохранить ее сущность — веру в сверхъестественное.

Обратимся теперь к эволюции политических и социальных позиций православия, что, собственно, и составляет основной предмет исследования автора рецензируемой книги.

Широко известна вековая проповедь официальной православной церкви о превосходстве небесного над земным, о перенесении надежд на лучшую и счастливую жизнь в фантастический потусторонний мир. Вспомним евангельские слова: «Когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от бога жилище на небесах». Но может быть, надо уметь иначе прочесть и эту библейскую фразу, уловить заключенный в ней некий скрытый инносказательный смысл? Автор книги «Эволюция современного русского православия» отсылает нас к более современному источнику, хотя и не столь каноническому. Вот что пишет профессор Ленинградской духовной академии Л. Парийский в статье «Нравственное значение догмата вознесения господина нашего Иисуса Христа»: «Вознесением Христа на небо ясно выдвинулось значение для человека небесного принципа жизни. Человек на земле должен жить для неба, должен проводить в свою жизнь небесный принцип, должен порывать постепенно связь с тем, что есть чисто земного, грубого, греховного. Его мысли, чувства и стремления должны быть преимущественно заняты небом, небесными ценностями, небесными вещами...»<sup>4</sup>. Как видно, толкование Библии здесь отнюдь не символическое.

Но открытое принижение земной жизни, как отмечает автор рецензируемой книги, проповедь отрешенности от мира противоречат настроениям современного человека. И улавливая потребности времени, современные богословы спешат внести необходимые коррективы в традиционную трактовку.

«Пусть никто не подумает,—пишет «Журнал Московской патриархии»,— что идти за Христом — это значит наносить какой-либо ущерб своим делам земным»<sup>5</sup>. Ведущие идеологи современного православия пытаются объявить традиционно-ортодоксальный подход к земной жизни печальным результатом непонимания или даже намеренным искажением христианского учения. Профессор-протоиерей Л. Воронов отмечает, что «земная жизнь с точки зрения христианства имеет не ничтожную, а, напротив, исключительно высокую ценность, и ни одна минута на земле не должна быть прожита напрасно»<sup>6</sup>.

Ярчайшим проявлением антигуманизма христианского мировоззрения является учение о врожденной греховности человека. Оно, как справедливо отмечает П. Курочкин, видело источник зла не в социальных условиях, а в самой природе людей, точнее, в испорченности этой природы, и потому оправдывало порядки, порождающие несправедливость, исключало всякую возможность и необходимость социальных преобразований. Вопреки стремлению народных масс к освобождению традиционное христианство проповедовало смирение и необходимость личного духовного совершенствования, превратив тем самым социальный вопрос в индивидуально-нравственный.

Высшей задачей человека, отмечает автор, православно-христианская традиция считает обретение личного духовного спасения, воссоединение нарушенного грехопадением общения с богом путем ухода от жизни, аскетизма, страдания. «Способ нашего спасения, каким он совершается,— не внешний,—комментирует епископ Гурий магистерскую диссертацию патриарха Сергия «Православное учение о спасении»,—...а внутреннее развитие, постепенно совершающееся в человеке действием благодати Божией»<sup>7</sup>. Итак, ни шагу без благословения божия, ибо еще в Евангелии записано: «Без меня не можете делать ничего», и «всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».

Мысли виднейших авторитетов современной православной церкви не расходятся с этими библейскими фразами. И здесь мы встречаемся с самой настойчивой пропове-

<sup>5</sup> Там же, 1959, № 10, стр. 56.

<sup>6</sup> Там же, 1961, № 9, стр. 23.

<sup>7</sup> «Патриарх Сергий и его духовное наследство». Изд. Московской патриархии, 1947, стр. 115.

<sup>4</sup> «Журнал Московской патриархии», 1947, № 5, стр. 33.

дью всемогущего и всеобъемлющего промысла божия. «Христианин... на всем жизненном пути,— проповедует своей пастве митрополит Николай,— и в радостях и в скорбях своей жизни, должен быть носителем истинного духа смирения, чтобы всегда сознавать свое ничтожество перед Богом и свою греховность»<sup>8</sup>. И еще: «Наследниками Царства, Небесного будут только нищие духом, смиренные рабы Божии, которые перед Господом считают себя последними грешниками, сознают, что своими силами ничего доброго они сделать не могут, и просят во всем благословения Божия»<sup>9</sup>.

Под натиском времени православные богословы вынуждены «примирять» индивидуалистическую концепцию спасения с господствующими в социалистическом обществе идеями и практикой коллективизма и социального служения человека. П. Курочкин справедливо подчеркивает это важнейшее обстоятельство и отмечает, что поворот к проблеме человека, в частности его социальной активности,— наиболее существенный аспект модернизации современной религии.

«Человек,— говорит профессор-протоиерей Л. Воронов в докладе «Основы социальной этики с позиций Православия в условиях советской действительности»,— является социальным существом, которое не может быть оторвано от конкретных условий его жизни и деятельности. Но это социальное существо не является пассивным продуктом среды, а, напротив, есть активная и действующая сила, преобразующая мир и изменяющаяся сама в ходе этого преобразования»<sup>10</sup>. И далее: «Христианин, призванный совершать свое служение в условиях советской действительности, проникнут всецелым убеждением, что процесс его личного нравственного совершенствования и спасения неотделим от его социального служения»<sup>11</sup>. В книге приводится также ссылка на статью богослова Е. Карманова, который говорит об ошибочности узкого взгляда на христианство как на религию только личного спасения: человек — существо общественное, и христианство, по его мнению, именно с этой позиции к нему и подходит»<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Митрополит Николай. Слова, речи, послания, М., 1947, стр. 88.

<sup>9</sup> Митрополит Николай. Слова и речи, т. П, М., 1950. Изд. Московской патриархии, стр. 100.

<sup>10</sup> «Журнал Московской патриархии», 1966, № 10, стр. 72.

<sup>11</sup> Там же, стр. 74.

<sup>12</sup> Там же, 1960, № 6, стр. 67.

Но здесь снова возникает уже поставленный прежде вопрос: как же быть с Библией? И как же быть с недавними высказываниями высших авторитетов церкви?

Обратимся к приведенным в книге П. Курочкина текстам. Тот же Л. Воронов утверждает, что основной смысл человеческой жизни на земле христианство полагает «в приговлении к достойному переходу в вечность»<sup>13</sup>. Профессор Ленинградской духовной академии Н. Заболотский в статье, помещенной под рубрикой «К великому пятидесятилетию», писал, что в результате Великой Октябрьской социалистической революции мир был поставлен перед фактом появления государства новой социальной формы, которое за пятьдесят лет своего существования выработало новую демократическую структуру жизни, нравственный общественный порядок и стоит на пути идеальных человеческих отношений. Но он тут же в самой категорической форме высказался против хотя бы малейших отступлений от религиозного понимания истории «как области руководства Христова и животворной деятельности Духа Святого», понимания истории «как промыслительного процесса спасения, предусмотренного для мира Всевышним его Отцом». И результаты социалистического развития он трактует христианам как следствие указующего божественного перста<sup>14</sup>. А вот что говорится в «Журнале Московской патриархии»: «Происходящие в мире перемены христианство рассматривает как действие промысла божия, проявление силы божией...»<sup>15</sup>.

Итак, круг снова замкнулся. Стремление приспособиться к развитию науки внесло лишь новые противоречия в и без того противоречивое вероучение православия. Никакой реальной перспективы на «изглаживание», которое якобы могут, по утверждению богословов, принести новые научные открытия, нет и быть не может. Об этом говорит и сама логика противоречий приспособительной эволюции вероучения, неминуемо возвращающегося в своих основах к библейским догмам. Религия остается религией, замечает автор, несмотря на интенсивное вторжение под натиском времени светских идей в собственно религиозную сферу, ее основной мистико-идеалистический дух остается.

Выше уже упоминалось о попытках современных православных богословов изобразить

<sup>13</sup> Там же, 1961, № 9, стр. 23.

<sup>14</sup> Там же, 1967, № 7, стр. 37.

<sup>15</sup> Там же, 1962, № 12, стр. 46.

борьбу за социализм и коммунизм как результат промысла божьего, очистительную грозу божественного правосудия. В этой интерпретации коммунистическое общество, как подчеркивает автор рецензируемой книги, представляет собой лишь частный случай осуществления христианства.

Коммунизм, эта высшая форма организации общественной жизни, при которой расцветают и полностью раскрываются способности и таланты, лучшие нравственные качества свободного человека, изображается церковниками в виде земной фазы царства божьего, неспособной удовлетворить всех запросов человеческого духа. Как бы искренне ни относились идеологи и пропагандисты «коммунистического христианства» к научному коммунизму, эта концепция мистифицирует и принижает величие героических дел советского народа, строителя нового общества.

За утверждениями о близости христианства и коммунизма просматривается новая форма идеологического противодействия религии научному мировоззрению. Ведь коммунистический идеал общественного устройства, отмечает П. Курочкин, — законный преемник свободлюбивых стремлений, вынашивавшихся на протяжении столетий. Выведенный из анализа неразрешимых противоречий капитализма, обобщающий многогранный опыт революционного движения рабочего класса, он вместе с тем является итогом развития социальной мысли всего человечества. И он несовместим с духом той мистики, в которую христианство облекло демократические устремления масс, исказив и выхолостив их. Ни в каком «обогащении» за счет религии научный коммунизм не нуждается.

Религия как в традиционной, так и в модернизированной форме, подчеркивается в книге, никакого стимула к общественным преобразованиям не содержит, и социальная трактовка современного православного христианства отнюдь не ослабляет остроту и актуальность марксистской критики религиозного мировоззрения.

В книге обстоятельно исследуются причины, побуждающие современное православное духовенство к приспособлению и модернизации религии. Автор отмечает узость позиции тех пропагандистов атеизма, которые сводят эволюцию религиозно-церковной жизни к «пропагандистским трюкам», «ловкачеству и уверткам церковников», «подыгрыванию под современность». Безусловно, как это справедливо отмечается в книге, из-

вестный круг духовенства спекулирует на достижениях науки, на привлекательности социальных и нравственных идеалов коммунизма, дабы поднять авторитет православия. Однако такой подход неправильно было бы безоговорочно применять к деятельности всего духовенства. Для того чтобы верно оценить эволюцию религиозно-церковной жизни, необходим внимательный научный анализ объективной основы приспособления религиозных организаций к новым условиям и изменившимся обстоятельствам. Субъективные намерения церковников, как искренние, так и приспособленческие, в конечном счете выражают объективную логику событий, в орбите которых оказалось русское православие.

А ведь оно действительно попало в социально-политические и культурно-идеологические условия, не имеющие прецедента в истории. «Иное дело — теоретически писать в мягком кресле возле уютного камина, в тишине библиотек или кабинетов и рассуждать в порядке академических дискуссий о требованиях и нуждах богословия в эпоху социальных революций, — говорил профессор-протоиерей В. Боровой в своем докладе «Требования и уместность богословия по отношению к социальным революциям нашего времени», представленном всемирной конференции церквей в Женеве, — а другое дело — жить в этих условиях, самому испытать на себе их последствия, богословствовать и жить, свидетельствуя о Христе среди социалистического и секуляризованного общества»<sup>16</sup>.

Вспомним, что на протяжении веков православие оказывало огромное влияние на все стороны русской общественной жизни. Церковь освящала и государственный строй, и экономические отношения, и иерархию сословий, и семейно-бытовой уклад. Социалистическая революция лишила русское православие возможности регулировать и контролировать политическую, социально-экономическую и духовную деятельность нашего общества, отделила церковь от государства, ограничила ее деятельность исполнением собственно вероисповедальных функций. Ходом истории религия была отеснена в сферу частной жизни. Бурный социальный, научный и нравственный прогресс советского общества, подчеркивается в книге, индустриализация и урбанизация, социальная активизи-

<sup>16</sup> «Журнал Московской патриархии», 1966, № 9, стр. 76.

зация трудящихся, разрушение веками сложившихся рутинных форм жизни, развитие различных средств массовой коммуникации — все это вызвало невиданную прежде дерелигиозацию масс и, естественно, потребовало от православия большей мобильности и выработки гибких средств защиты веры.

В книге подробно исследуется борьба различного рода обновленческих и консервативных группировок в среде православного духовенства. Реорганизация русского православия, подчеркивает автор, имела своей целью «выяснение и устранение» тех наслоений в его учении и практике, которые были обусловлены прислужничеством церкви перед самодержавием, перед эксплуататорскими классами и совершенно не соответствовали новым условиям ее существования.

Для понимания сложности богословского новаторства автор уточняет понятия «приспособление» и «модернизация» религии. По его мнению, для последовавшего после декларации митрополита Сергия о политической лояльности периода эволюции православия, охватывающего 30—40-е годы, особенно характерно приспособление. Это — сравнительно простая разновидность изменений в религиозной идеологии, предполагающая метод подчисток, отбрасывание одних, устаревших и ставших архаичными, положений религии и выдвигание на первый план других, более созвучных современности положений, при отсутствии достаточно серьезного богословского творчества.

Но время шло, и общественно-исторические условия ставили церковь перед необходимостью дальнейшей, более радикальной изменения своих позиций. Со второй половины 50-х годов, подчеркивает автор, начинается новый этап эволюции русского православия — от приспособления оно переходит к модернизации с характерным для нее теологическим «новаторством», обращением при оправдании веры к данным современной науки, пересмотром социальной позиции, вероучения, литургии и т. д. Это обновление современного православия, его стремление к защите веры современными средствами, безусловно, является, как справедливо подчеркивает П. Курочкин, следствием новых исторических условий. Хотя, как и прежде, это лишь поиск новых способов сохранить влияние религии на умы и сердца людей.

В книге П. Курочкина мы находим интересные данные о состоянии подготовки кадров православного духовенства. Курс на модернизацию, взятый русским православием

со второй половины 50-х годов, отмечает автор, поддерживается более молодыми, более образованными в светском и богословском отношении деятелями церкви. Это молодое духовенство за последние годы расширило и укрепило свои позиции в религиозной организации. Его деятельность отличается идеологической активностью в борьбе за укрепление церкви, энергичностью в отстаивании религии современными доводами, большим вниманием к индивидуальной обработке населения.

Автор обращает внимание также и на противоречия процесса пополнения кадров духовенства, идущего на фоне растущих трудностей в русском православии. Воспроизводство кадров священников, богословов и церковных деятелей не компенсирует их естественную убыль. Выпуск из духовных семинарий и академий покрывает лишь треть-четвертую часть этой убыли. Омоложение и повышение богословского уровня церковных кадров, как отмечается в книге, соседствует с наличием значительной группы духовенства, воплощающей в себе старинные традиции косного и невежественного «русского батюшки». Это малообразованное и низко квалифицированное духовенство — одно из свидетельств растущего дефицита кадров священнослужителей, отражение глубокого кризиса русской православной церкви.

Итак, церковно-богословские круги Московской патриархии, как это подчеркивается в книге, предпринимают крупный идеологический поворот, не имеющий прецедента в истории русской церкви. Выражая закономерный упадок религии, эта эволюция православия в условиях советского общества представляет собой в то же время своеобразный «протест» против этого упадка, форму самозащиты религии в период ее глубокого кризиса. Перестраиваясь применительно к современности, русское православие, отмечает автор, стремится парализовать неблагоприятное для него воздействие новых социальных условий и обрести «второе дыхание», стремится продлить свое существование, сохранить и укрепить влияние в массах. Оно ищет новых, более тонких средств защиты религии в условиях, когда подавляющее большинство верующих являются людьми, преданными идеалам коммунизма. Но никакая модернизация не может привести к утрате религиозным мировоззрением его антинаучного и реакционного духа.

Социальное истолкование христианства,



отмечает автор, открывает возможность сочетать приверженность к вере с участием в строительстве нового общества. Эта возможность во многом основывается на размывании собственно религиозной почвы и вторжении в религиозную сферу господствующих в обществе светских идей, которые имеют большую притягательность и мобилизующую силу.

Но современному социальному христианству «не совершить чуда» — не стать фактором общественно-исторического прогресса.

Таким фактором, подчеркивает автор, яв-

ляется марксизм-ленинизм — стройная система философских, экономических и социально-политических взглядов, выражающая интересы рабочего класса, широких масс трудящихся. Поднимая массы на борьбу за социальный прогресс, марксизм-ленинизм дает им единственно научное представление об обществе, о ходе и перспективах мирового развития, вооружает знанием путей и средств революционного преобразования мира, позволяет строить жизнь по коммунистически.

**Д. БОЛЬШОВ.**

★

## ВОСКРЕШЕНИЕ РУЧЬЯ МЕЛДРАМ

**Э. Кольтер. Трое против дебрей. Перевод с английского. М. «Мысль». 1971. 256 стр.**

Отец Кольтера, управляющий одной из Нормантонских компаний, мечтал, что его сын станет юристом. В 1919 году он отдал Эрика в солидную нотариальную контору, и опытные наставники принялись обучать юного Кольтера тонкостям своего искусства.

Но вскоре отец убедился: Эрик всем премудростям ведения бракоразводных дел и правил оформления закладов, предпочитает охоту на фазанов и кроликов. И ему стало ясно, что занятия молодого Кольтера юриспруденцией — пустая трата денег и времени.

Разумеется, Эрик мог бы устроиться на предприятие, которым управлял отец, где уже трудился его старшие братья. Но производство машин для обувных фабрик, равно как и юриспруденция, не вызывало у него ни малейшего интереса. И тогда было решено отправить несостоявшегося нотариуса к двоюродному брату в Канаду — дабы испытать его силы в фермерском деле.

Там, в Канаде, на ферме, Кольтер, по его словам, потрудились достаточно для того, чтобы ладони его покрылись волдырями, а потом затвердели от рукоятки битенга — канадского обоюдоострого топора. Достаточно для того, чтобы освоить сложное искусство погрузки клады на вьючную лошадь. Достаточно для того, чтобы научиться безошибочно разбираться в следах зверья, бродившего в окрестностях фермы. И наконец, достаточно для того, чтобы убедиться... что к фермерской деятельности призвания у него нет.

Его судьбу решила встреча с Лилиан.

И даже не столько с ней, сколько с ее бабкой, девяностосемилетней индианкой, происходящей из племени, которому некогда принадлежали охотничьи угодья у истоков ручья Мелдрам.

Сидя у костра и потягивая почерневшую от времени трубку, мудрая Лала подолгу рассказывала о том, каким был ручей во времена ее детства. Она помнила, как на глубоководье, за плотиной, построенной бобрами, ручей кишел огромными форелями. Тучи крякв и прочей болотной дичи закрывали небо, когда вспугнутая птица поднималась с воды. В ручье водилось множество ондатр, норок и выдр.

— Ничто теперь нету,— глядя в огонь, говорила Лала.— Почему, знай?

А причина была в том, что в ручье извели бобров — в угоду моде, в угоду наживе. Когда же разрушились бобровые плотины, ушла вода, а вместе с ней и все животные, составляющие когда-то богатство края.

— Бобер нету, вода нету. Вода есть, форель есть, мех есть, трава есть...

Неграмотная индианка, никогда не обучавшаяся премудростям биологических наук, но всей своей жизнью, существом своим связанная с природой, сумела понять, что все в природе взаимосвязано, взаимообусловлено, нарушение одного звена влечет за собой нарушение остальных звеньев, приводит к нарушению того удивительного равновесия, что веками складывается в природе.

— Почему ты ходи к ручей нету? Почему ты пускай опять бобер в ручей нету? Ручей есть, много бобер опять есть, форель ходи опять. Утка, гусь ходи опять, большой бо-

лото полны ондатра опять... Почему ты и Лили ходи к ручей нету? Почему ты пускай в ручей бобер нету?

Таким был ее мудрый совет. И вняв ему, Кольеры (а их к тому времени уже стало трое) отправились в дебри канадских лесов на помощь природе в окрестностях ручья Мелдрам, того самого, что «впадает в реку Фрейзер в трехстах с лишним милях к северу от Ванкувера... если следовать в направлении полета диких гусей».

Итак, место действия книги — Канада, центральная часть ее самой западной провинции — Британской Колумбии. Время действия — тридцатые годы и последующие тридцать лет. Главные действующие лица: автор, Лилиан и их сын Визи.

Прежде чем отправиться на новое поселение, Кольеры обратились в департамент, ведавший вопросами охоты, и получили монопольное право ставить капканы в окрестных лесах, обязавшись при этом содействовать «охране и размножению всех пушных зверей в округе». Наверное, их можно было бы заподозрить в корыстных побуждениях. Если бы не одна деталь. Охранять в отведенных угодьях было почти нечего. Так же как почти не на кого было и охотиться. Край, славившийся когда-то пушным зверем, в результате хищничества и браконьерства был к тому времени почти полностью опустошен.

Обмелевшее русло ручья, усеянное гниющими водорослями и полуразложившимися трупами погибших в трясине животных, несколько тысяч гектаров зловонных болот, непроходимые лесные дебри, наполненные гусом, оводом и слепнями, тащще в себе опасность встречи с дикими животными, и на десятки километров ни одной живой души. Надо было обладать недюжинным характером и совершенно особым чувством любви к природе и свободной жизни для того, чтобы, презрев блага цивилизации и трезво оценив путь, который они избрали, заявить: «Мы были здесь и никуда не собирались уходить отсюда. И мы готовы были трудиться в поте лица, чтобы вернуть этому краю все, чем была богата его земля в давно прошедшие дни детства Лалы».

Не уступить обстоятельствам, не поступиться своими жизненными принципами ради стандартных норм, диктуемых окружающим миром, выбрать свой особый путь, который, несмотря на трудности, единственно может дать человеку удовлетворение и наполнить жизнь истинным содержанием —

мужество, данное в удел не каждому. И быть может, в раскрытии этого мужества и цельности характеров героев книги — ее истинная ценность.

Правда, сам автор, наверное, меньше всего задумывался над этими проблемами. Написав книгу на исходе жизни, он словно подвел черту под всеми тридцатью годами, отданными природе, словно, отойдя в сторону, оценил результаты того, чему была посвящена жизнь.

...Июнь 1931 года. Высокий фургон, доверху нагруженный провиантом, инструментами и прочей кладью, свернув с хорошо укатанного чилкотинского тракта, двинулся на север в самую глушь лесов.

На кучерском месте Лилиан. В уютном гнездышке среди тюков и ящиков посапывает двухлетний Визи. Самому Кольеру приходится, орудуя тяжелым топором, расчищать дорогу от деревьев, поваленных весенними бурями. Туда, куда отправились эти люди, дороги не было.

Вдвоем они валили лес — Эрик и хрупкая Лилиан. Вдвоем возводили стены своего первого жилища. Все вместе добывали на первых порах средства к существованию самым древним способом — охотой.

«Бросить зажженный факел в медвежью берлогу — дело далеко не безопасное. Но нам нужен был запас жира на зиму, и другого выхода у нас не было...»

В конце сентября я потратил целых три дня на поиски «жилой» медвежьей берлоги... Теперь установилась зима, и медведь должен был находиться в берлоге. Надеюсь на это, мы по зарубкам отыскали туда путь и осторожно приблизились к входу...

У Визи, сидевшего на крупе лошади, глаза готовы были выскочить из орбит от волнения. Теперь я уже слышал запах медведя и его медленное дыхание.

...Я заложил патрон в свою винтовку. Затем чиркнул спичкой о длинную смолистую щепку. Мелькнула искра — и факел запылал. Я вручил его Лилиан, давая ей последние, предельно точные указания.

Я стал за дерево на расстоянии полдюжины ярдов от входа в берлогу... Затем я сделал глубокий вдох, задержал воздух на одну-две секунды, и у меня вырвалось с каким-то хриплым рычанием: «Бросай!»

...Зияющая пасть берлоги скрыла от меня голову и плечи Лилиан, когда она нагнулась, бросая факел. Все произошло с быстрой молнии. Огромный медведь появился как раз в тот момент, когда я этого

ждал. Он выкарабкался из берлоги, сердито ворча, ошетилив густую шерсть на спине. Он был черным, как кусок отполированного угля, толстым, как откормленная свинья, и огромным, как и полагалось быть черному медведю...»

Они ставили капканы, чтобы за проданные шкурки койотов купить самое необходимое. Они выделывали оленьи шкуры, и Лилиан, вспоминая уроки Лалы, мастерила мокасины и одежду. В долгие зимние вечера, плетя сети, они обдумывали все детали плана, который должен был помочь возрождению края.

План был предельно прост. Во всяком случае, в той его части, что касалась замыслов. Надо было восстановить старые бобровые плотины, перекрыть ручей и постепенно заполнить водой каждый гектар болотистой почвы в окрестностях ручья.

С наступлением весны Кольеры снова валят деревья, рубят сучья и ветви, перевозят на тачке горы песка и ила для того, чтобы поставить на ручье первые запруды, создать на месте зловонного болотца первое искусственное озеро.

И когда к концу июля над водой зазеленело с полдюжины различных видов озерных растений, а на мягкой грязи плотин все чаще стали появляться следы норок, и ондатры стали устранивать хатки в затопленном водой ивняке, когда в начале августа низко над хижинкой пронеслись дикие гуси и, гогоча и хлопая крыльями, опустились на воду там, где почти столетия было пересохшее болото, они поняли, что жизнь возвращается в этот опустошенный край.

Но это только первый шаг. Второй был

сделан тогда, когда десятью годами позже Кольеры пустили в ручей две пары бобров. Понадобилось, однако, еще по меньшей мере полтора десятка лет, чтобы сбылось пророчество мудрой Лалы и чтобы, подводя итог сделанному, автор на последних страницах своей книги смог сказать: «...теперь бобры расселились по всей округе, где только для них находилась вода... На ручье Мелдрам развелось столько бобров, что мы были вынуждены охотиться на них для того, чтобы регулировать их поголовье... И у каждой большой запруды, построенной бобрами, было столько различных уток, что осенью, снимаясь с болот на закате, они тучей закрывали все небо. На верхушках хаток прихорашивались гибкие выдры, одетые в бархатные шкурки, а к берегам подходили лоси для того, чтобы напиться и побарахтаться в воде». И за всем этим стоял напряженный труд трех людей и жизнь, полная лишений, опасностей и побед!

Книга Э. Кольера — летопись тяжелой борьбы человека за восстановление разоренного края, свидетельство его победы в этой борьбе. Это документ, выносящий приговор хищничеству, бесхозяйственному обращению с природой и убедительно доказывающий, что даже значительный ущерб, нанесенный ей, может быть восполнен, если человек, познав и учтя царящие в ней закономерности, поведет себя как истинный хозяин земли. В этом, пожалуй, основная воспитательная ценность книги. Наконец, это просто увлекательное повествование о природе одного из малоизвестных уголков Канады.

**Н. ПОЖАРЬЦКАЯ.**



## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАЛУГИ

**На берегах Оки. 1371—1971. Литературно-художественный сборник. Тула. Приокское книжное издательство. 1971.**

**Н**а Московской улице в Калуге стоит своеобразный памятник. На двух огромных каменных постаментах установлены пушки: первая — образца 1812 года, вторая — 1942 года. Московская улица открывала прямую дорогу к столице, а сражения на этой дороге прославили калужскую землю в Отечественных войнах.

Жители Калуги заботятся о том, чтобы сохранить память об истории города.

Именно в этом видели свою задачу (или,

во всяком случае, одну из главных задач) и составители юбилейного сборника «На берегах Оки».

В статье «Урания» — первый калужский журнал» Н. Брыляков рассказывает, что основатель этого издания (1804) Г. К. Зельницкий считал самым древним городом Калужской губернии Козельск, оказавший упорное сопротивление полчищам татарского хана Батые в 1238 году. Первое же упоминание о самой Калуге встречается в завеща-

нии Дмитрия Донского (1389 год). По мнению Зельницкого, название города произошло от славянского слова «халуга» — место, огороженное плетнем.

Однако очень скоро мирный плетень заменили оборонительные рвы. Обычная история древнего русского города: бесконечные нашествия татар, междоусобицы, ливонская война, польская интервенция. А затем — в начале XVII века — Калуга становится центром первого крестьянского восстания под руководством Болотникова. В сборнике опубликован отрывок из романа А. Савельева «Сын крестьянский», посвященного событиям тех дней.

В октябре 1812 года на калужской земле произошло сражение между Наполеоном и Кутузовым у Малоярославца. Восемь раз город переходил из рук в руки. Вот как оценивал результаты этого сражения Кутузов: «Сей день есть один из знаменитейших в сию кровопролитную войну, ибо потерянное сражение при Малоярославце повлекло бы за собой пагубнейшие последствия и открыло бы путь неприятелю через хлебоброднейшие провинции».

В юбилейном сборнике публикуется очерк К. Ярхо об одном из героев Отечественной войны с Наполеоном генерале А. Я. Мирковиче, скончавшемся в 1888 году. Последние свои годы престарелый генерал посвятил поиску сохранившихся свидетельств о подвигах калужан в войне и боевых реликвий тех дней. Ему удалось установить, что в петербургском арсенале находится знамя Азовского пехотного полка, спасенное в сражении под Аустерлицем калужанином унтер-офицером С. Старичковым. В 1866 году А. Я. Миркович предложил калужскому городскому голове увековечить этот героический поступок Старичкова, чтобы он «видимым знаком питал бы в душах калужан священную искру любви к Отечеству». Предложение было принято, знамя доставлено в Калугу, где поныне хранится в краеведческом музее.

Конец XIX века. В Калуге возникли социал-демократические кружки. В 1899 году сюда приехал А. В. Луначарский и прожил здесь год. В отрывке из воспоминаний А. В. Луначарского, включенном в сборник, он так характеризует ту пору своей жизни: «Хотя я выбрал Калугу совершенно случайно, но в высшей степени удачно, ибо в Калуге ожидали приговоров выдающиеся люди, сыгравшие заметную роль в истории русской социал-демократии».

«Я думаю, что в то время в России немало было городов, где можно было бы отметить такой кружок... марксистов... Мы все глубоко интересовались философской стороной марксизма и при этом жаждали укрепить гносеологическую, этическую и эстетическую стороны его... Мы жили в Калуге необыкновенно интенсивной умственной и политической жизнью...»

Луначарский вспоминает, как вместе с И. И. Скворцовым-Степановым он вел интенсивную пропаганду в кружках учителей и учащейся молодежи, а затем среди рабочих Калужского железнодорожного депо.

В свободное время они бывали у фабриканта Д. Д. Гончарова, владельца Полотняного завода, основанного еще Петром Великим километрах в тридцати от Калуги. Будущий нарком просвещения называл Полотняный завод маленькими Афинами и впоследствии принял меры к охране этого замечательного уголка «не в память, — как он писал, — моего там пребывания, а ввиду знакомства моего с большим культурным его значением».

О том, как встретила Калуга 1917 год, рассказывает очерк Николая Кружкова «Рождение бури». В губернском обывательском городке после Февральской революции хозяевами положения прочно стали кадеты. Освобожденный из тюрьмы старый большевик Акимов вспоминал позднее, что не обнаружил в Калуге никого из прежних товарищей. Но он быстро получил подкрепление. Приехали большевики из Москвы и из Иркутска, в Калуге образовалась тесно сплоченная, активная и дисциплинированная партийная организация.

Советская власть в городе была установлена 28 ноября (11 декабря) 1917 года.

Захваченные революционными событиями, многие граждане Калуги даже и не подозревали, что рядом с ними, буквально на их глазах, совершалась еще одна революция — в науке.

И поскольку жизнь Циолковского ныне известна во всех деталях, хотелось бы привести здесь лишь один любопытный документ — стихотворение, посвященное Циолковскому. Его автор — ученик Константина Эдуардовича, основоположник космической биологии А. Л. Чижевский. Он жил в Калуге с 1914 по 1925 год и был не только ученым, но и поэтом (после революции — председателем Калужского губернского отдела Всероссийского союза поэтов). Стихотворение написано в Калуге в декабре 1919 года.



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА.** Белая улица. Стихи. М. «Советский писатель». 1971. 136 стр.

Первая книга Т. Глушковой готовилась и выпускалась трудно, медленно. В этом есть известное преимущество: хорошо предстать перед читателем, пожив, помаявшись по белу свету — есть о чем рассказать, чем поделиться. Но вдруг — нечем? Вдруг мал и легковесен нажиток, и скудна речь, и нет красок для воплощения пережитого.

...Первое, второе, третье стихотворение. Проба, подступ, скованность, робость... И вот — четкий, суровый рисунок, строгость найденного тона, крепко и надежно сплоченные слова:

А я пирог оранжевый брала  
с улыбкою, с охотою, с печалью  
и память одичалую гнала,  
а память выростала за плечами:  
деревня, и покинутый окоп,  
заросшие, пустынные траншеи,  
и алая, кровавая морковь —  
как сладко дети лакомились ею!

Стихи «Белой улицы» выстраиваются и располагаются очень уместно; в этой уместности угадывается осознание своего пути. Архитектура всего сборника цельна и органична.

После процитированных строк — личных, воспоминательных, детских — с естественностью возникают строфы о родине, о Пскове. Они написаны тем же размером, что и предыдущие, и та же в них лексика и то же настроение; они выросли и развились из предшествующих им стихов, но их уже отличает эпическая широта, они утяжелены нешуточным раздумьем:

Здесь кровь текла великая. Беда  
великая по городу шагала.  
Здесь рать текла великая. Вода  
рвалась и алым цветом закипала...

Чувство родины, живое ощущение ее истории пришло к поэтессе рано — и окрасило собой ее стихи.

Несколько связанных, подспудный темперамент автора с неожиданной пылкостью взрывается в единственной на всю книгу декларации:

Зачем поэты так добры?  
Зачем вверяются неверным?  
Зачем смешны? Зачем щедрты?  
Зачем заклеены доверьем?

Добротой, щедростью и доверчивостью «заклеймены» и лучшие стихи самой Глушковой. Порой в них слышатся безрассудные выплески обиженного, но не померкшего чувства:

Я еще под окном постою,  
чтобы всякая бедная малость  
отпечаталась в память мою  
и за мной по пятам увязалась.

Как красна эта честь на миру!  
Я-то знаю, что будет со мною.  
Я недаром о нем говорю —  
он еще захлебнется тоскою!

Стихами о любви обильна «Белая улица». Это любовь то счастливая, то безнадежная, исполненная тоски. Вероятно, иному читателю на этом основании может показаться, что здесь поэтесса слишком погружена в себя. Но это только кажется. Глаза, даже и омраченные страданием, точно схватывают черты и оттенки бегущей, пролетающей жизни. И опять начинают светить и греть страницы этой несправдливой и нелегкой книги, почти лишенной примет внешнего артистизма, но исполненной строгого, чуть-чуть старомодного изящества.

Д. Голубков.

★

**НИКОЛАЙ ВЕЛЕНГУРИН.** Бросок комиссара. Документальная повесть. Краснодарское книжное издательство. 1970. 248 стр.

Николай Веленгурин в течение ряда лет изучал жизнь и творчество В. П. Ставского и написал о нем несколько литературоведческих работ. Документальная повесть «Бросок комиссара» продолжила изыскания писателя, вобрала в себя его многолетний творческий опыт. Отбирая материал для этой книги, автор нигде не нарушил документальной правды, но и не пошел по линии простого копирования документов. Повествование о жизни писателя-бойца ведется в той естественной интонации, которая предельно близка самому герою книги — Владимиру Ставскому. Выдержки из дневниковых записей и писем Ставского, материалы о его деятельности на Кубани, введенные Н. Веленгуриным в ткань повествования, не только более полно аргументируют те или иные положения исследователя, но и добавляют к уже известным чертам писателя новые ценные штрихи, выявляют своеобразие его письма.

Все элементы книги — жанр, композицию, стиль — Н. Веленгурин подчинил одному: показу разносторонне одаренной личности Ставского и его героического времени. Автор убедительно показывает то воздействие, какое оказали на автора «Станицы» и «Разбега» размашистые мазки «Бронепоезда 14-69» Вс. Иванова и продуманно четкая достоверность «Чапаева» Дм. Фурманова, социально-психологическая аналитичность «Разгрома» А. Фадеева и нравственные коллизии «Комиссаров» Ю. Либединского. В произведениях Ставского, как и в произведениях его собратьев по перу, на первом плане выступают строители нового мира. Ставский умеет схватить обстановку, постичь характеры людей, проникнуть в их мысли. Вдохновенный, светлый, доброжелательный, он всем сердцем болеет за людей. Он живет для революции, для коммунизма, для человека. Требовательный художник, активный организатор советской литературы, неутомимый общественный деятель, бесстрашный военный корреспондент — таким запечатлевается Владимир Ставский в сознании читателя. В 1937 году Ставский возглавил редакцию «Нового мира». А в 1939 году он — «в длительной командировке» на Халхин-Голе: «Для него уже началась война, которая будет длиться почти без перерыва многие годы».

Трагизмом исполнены страницы повести, рисующие подробности гибели бригадного комиссара: «До танка осталось метров пятьдесят. Ставский приготовился для последнего броска. И тут случилось то, что рано или поздно должно было случиться и о чем Ставский старался никогда не думать. Впереди вспыхнули выстрелы, и он упал... Он понимал, что жить осталось секунды, и это не пугало. Он был солдатом великой армии коммунистов и умирал как солдат».

Готовый к любым дальнейшим испытаниям и большим целям, Ставский погибает смертью храбрых, и эта смерть выступает продолжением его героической жизни.

**В. Канашкин.**

Краснодар.



**ЕВГЕНИЯ САРУХАНЫН. Достоевский в Петербурге. Лениздат. 1970. 270 стр.**

Своеобразная книга эта как будто на многое не претендует. В предисловии автор предупреждает, что это как бы путеводитель по «Петербургу Достоевского», в котором читатель «найдет точные петербургские адреса Ф. М. Достоевского, описание домов и квартир, связанных с его именем, узнает, где «жили» герои его романов...». Однако книга, небольшая по объему, гораздо шире и глубже поставленных автором скромных задач. Обилие фактического материала, краткий литературоведческий анализ основных произведений Достоевского, выдержки из мемуаров современников, а главное, письма и дневниковые записи самого писателя — все это превращает «путеводитель» в живой литературно-исторический очерк. Строки из воспоминаний и писем, дополняющие био-

графические сведения, дают представление не только о человеческой неповторимости сложного характера самого Достоевского, но и о духовной жизни передовой русской интеллигенции 40—60-х годов прошлого века.

Квартира в Графском переулке, куда поздно ночью пришли поздравить автора «Бедных людей» Григорович и Некрасов, — один из более чем тридцати указанных в книге адресов, связанных с именем писателя. И какие же среди них есть интересные! В многоквартирном доме купца Лопатина на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки (ныне это дом № 68 по Невскому проспекту и № 40 по Фонтанке) жили в разное время актриса Асенкова, редактор «Отечественных записок» А. А. Краевский, И. И. Панаев с женой Авдотьей Яковлевной, И. С. Тургенев, А. Ф. Кони, Д. И. Писарев и В. Г. Белинский. Здесь произошла важная для творчества Достоевского его встреча с «ненстовым Виссарионом». «Я вышел от него в упоении, — писал потом Достоевский. — Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки... Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом».

А вот другой дом, на набережной Мойки (ныне дом № 61). В 1860 году здесь состоялся любительский спектакль в пользу Литературного фонда. В гоголевском «Ревизоре» перед зрителями выступили в качестве артистов Тургенев, Некрасов, Григорович, Майков, В. Курочкин, Краевский, Панаев. Достоевский, недавно вернувшийся в Петербург после десятилетнего отсутствия — после каторги, ссылки и солдатчины, — по отзывам современников, мастерски исполнил роль почтмейстера...

Адреса «путеводителя» неназойливо вкраплены в историко-биографический очерк. Инженерный замок, где юноша Достоевский учился, дом Петрашевского в Коломне, где происходили собрания участников революционного кружка. На собрании 15 апреля 1849 года Достоевский читал знаменитое письмо Белинского к Гоголю. Алексеевский рavelин, где в одиночной камере № 7 писатель провел восемь долгих месяцев. Семеновский плац, куда его вместе с другими петрашевцами привезли для казни, замененной в последний момент каторгой. Квартиры, где в разное время жил писатель. И та, где он умер...

Образ Петербурга неотделим от произведений Достоевского, органически вошел в них. В «Белых ночах» описание Петербурга определяет эмоциональный строй всей повести. В «Двойнике», «Униженных и оскорбленных» писатель называет улицы, проспекты, переулки, мосты, где происходит действие, и подробно описывает их. Петербург Достоевского — город мрачный, давящий и без того придавленного социальной несправедливостью человека. Глазами его героев мы видим и «туманную перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими в сырой

мгле фонарями», и «сверкающие от сырости плиты тротуаров», и «весь этот город, который накрыл черный, как будто залитый тушью купол петербургского неба». В «Преступлении и наказании» Достоевский почти натуралистически описывает петербургские улицы в июльскую жару, весь роман заполнен деталями и сценами из жизни города.

Автор книги ведет нас теми путями, по которым бродили герои Достоевского, показывает «дом Раскольников», где в последний этаж действительно ведут тринадцать ступенек, упоминаемых в романе, и «дом процентщицы» по нынешнему каналу Грибоедова, «Хрустальный дворец», где Раскольников встретился со Свидригайловым, и распивочную, где Мармеладов рассказал ему о своей судьбе. Стремление к документальности, переплетающейся с художественным вымыслом, — одна из особенностей стиля Достоевского.

Можно указать и на некоторые недостатки книги. Они идут от тех же «задач путеводаителя». Это порою слишком распространное описание «объектов», поверхностность отдельных экскурсов в историю. Но в целом книга Евгении Саруханян читается легко и вносит свой вклад в популяризацию творчества Ф. М. Достоевского.

К. Бродер.

★

**Л. В. СКВОРЦОВ. Об особенностях тезиса современной буржуазной идеологии. М. Политиздат. 1970. 288 стр.**

В книге Л. В. Скворцова удачно сочетается широкий историко-философский подход к теме с фактологической насыщенностью, социально-политической конкретностью. Автор прослеживает зависимость новых буржуазных идеологических течений от особенностей экономического и социально-политического развития империализма, показывает механизм формирования современной буржуазной идеологии.

В наши дни пропагандисты «свободного мира» стараются всемерно использовать в своих целях некоторые новые особенности развития империализма. «Автомобили, холодильники, выборы, парламентские дебаты и сопровождающее их идеологическое оформление стали фетишизироваться, обрести характер символов, объектов слепого поклонения».

Лейтмотив книги — активная борьба с антикоммунизмом, представляющим собой главный стержень и политики и идеологии современного империализма. Л. В. Скворцов раскрывает «кухню» буржуазной пропаганды, индустрию «психологической войны» и борьбы за «идеологическое пространство».

Специфическим проявлением буржуазной идеологии в рабочем движении является ревизионизм. «Правую» и «левую» его разновидности в современных условиях роднит

националистическая и антисоветская платформа. В работе уделено особое внимание критическому разбору праворевионистского тезиса об «идеологическом плюрализме» и «многовариантности марксизма».

Извращая идею о многообразии форм перехода от капитализма к социализму, современные ревизионисты пропагандируют возможность такого перехода без диктатуры пролетариата, при этом отрицание диктатуры пролетариата они выдают за развитие... марксизма. Так, новоявленный «революционный реформист» Ж. Мартине в книге «Завоевание полномочий», прикрываясь «левыми» фразами, по сути дела, противопоставляет марксистско-ленинскому тезису о завоевании политической власти рабочим классом то, что он называет «завоеванием полномочий».

Подобная позиция подвергалась серьезной критике со стороны известного французского марксиста В. Жоаннеса. (К сожалению, в журнале «Новый мир» № 1, 1971 г. на стр. 264 в результате моей досадной ошибки в рецензии «Социализм, демократия, идеология» В. Жоаннес, активный критик «революционных реформистов», оказался названным в числе представителей критикуемого им направления). В. Жоаннес в статье «Социализм и свобода» указывал, что творец «социализма модели 1968» Ж. Мартине всего лишь повторяет тезис Эд. Демпре, который писал: «Я не знаю, существовало ли когда-нибудь, в какой-то данный момент классовое государство в его чистом виде. Я уверен, что оно не существует и сейчас. В частности, благодаря коммунальной и департаментской демократии и коллективному управлению крупными общественными учреждениями государство является промежуточным, так как его нельзя считать... полностью буржуазным». Отрицая необходимость свержения власти капитала и установления диктатуры пролетариата, отрицая классовую природу государства, реформисты пытаются навязать рабочему классу свой лозунг «демократического социализма». Но, как правильно отмечает В. Жоаннес, нет социализма без демократии, как нет настоящей полной демократии без социализма.

Говоря о книге в целом, нельзя не отметить большой объем выполненной автором работы. Критический анализ современной буржуазной идеологии является сложной задачей, решение которой требует учета ряда факторов. В первую очередь — глубоко опосредованной связи кризиса буржуазной идеологии с социальным кризисом буржуазии. Осмысление современной буржуазной идеологии не может оставаться на уровне изложения и оценки отдельных философских работ. Оно должно проникнуть в их подтекст, раскрыть социальные и гносеологические корни кризиса современной буржуазной идеологии. Думаем, такой анализ удался.

В. Казимирчук.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**Л. И. Брежнев.** Интересы народа, заботы о его благе — высший смысл деятельности партии. Речь на встрече с избирателями Бауманского избирательного округа г. Москвы 11 июня 1971 г. 23 стр. Цена 3 к.

**Ю. Корольков.** Где-то в Германии... Документальная повесть. 256 стр. Цена 48 к.

**Ю. Леонов.** Школа основ марксизма-ленинизма. 127 стр. Цена 19 к.

**М. Приходько.** Мастерство пропагандиста, в чем оно? Опыт и размышления. 64 стр. Цена 10 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Н. Дамдинов.** Четыре неба. Стихотворения и поэмы. Перевод с бурятского. 143 стр. Цена 56 к.

**И. Дубинский.** Окно в мир. Повести. 415 стр. Цена 77 к.

**А. Колпаков.** Нетленный луч. Научно-фантастические рассказы. 112 стр. Цена 22 к.

**С. Михалков.** Чувство локтя. Выступления, статьи, рецензии. 303 стр. Цена 63 к.

**В. Москалец.** Ночные пастухи. Повести и рассказы. Перевод с украинского. 406 стр. Цена 73 к.

**В. Панков.** Традиции в движении. О современной советской литературе. 318 стр. Цена 88 к.

**М. Пархомов.** Глоток воздуха. Рассказы и повесть. 287 стр. Цена 56 к.

**А. Рыбаков.** Водители. — Екатерина Воронина. — Приключения Кроша. — Канигулы Кроша. — Неизвестный солдат. Роман и повесть. 704 стр. Цена 1 р. 41 к.

**А. Сирас.** Арабат. Роман. Перевод с армянского. 655 стр. Цена 1 р. 26 к.

**Я. Стецюк.** Полесская дума. Повести и рассказы. Перевод с украинского. 360 стр. Цена 74 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Д. Алтаузен.** Стихи. Составление и подготовка текста К. Алтаузен. Предисловие Е. Долматовского. 160 стр. Цена 1 р. 1 к.

**Г. Амарасенара.** Невольники судьбы. Роман. Перевод с сингалского. 160 стр. Цена 44 к.

**Т. Аргези.** Лирика. Перевод с румынского. («Сокровища лирической поэзии»). 174 стр. Цена 36 к.

**С. Брант.** Корабль дураков. — **Э. Роттердамский.** Похвала глупости. Навозник гордится за орлом. Разговоры запросто —

**Письма темных людей.** — **У. Гуттен.** Диалоги. Перевод с немецкого и латинского. Вступительная статья Б. Пуришева. («Библиотека всемирной литературы»). 769 стр. Цена 2 р. 2 к.

**Вопросы теории художественного перевода.** Сборник статей. Составитель Т. Рузская. 255 стр. Цена 83 к.

**Е. Долматовский.** Избранные произведения. В двух томах. Том I. Стихотворения. Предисловие К. Ваншенкина. 464 стр. Цена 1 р. 65 к. Том II. Стихотворения. Валлады. Поэмы. Песни. 400 стр. Цена 1 р. 71 к.

**Ю. Кавалец.** Танцующий ястреб. Повести. Перевод с польского. Предисловие М. Слуцкиса. 368 стр. Цена 1 р. 35 к.

**М. Лисянский.** Лучшие годы мои. Избранная лирика. 240 стр. Цена 72 к.

**Лу Синь.** Повести, рассказы. Перевод с китайского. Вступительная статья Л. Эйлина. Составление и общая редакция Н. Федоренко. («Библиотека всемирной литературы»). 495 стр. Цена 1 р. 59 к.

**С. Нерис.** Лирика. Перевод с литовского. Предисловие Ю. Марцинкявичюса. 231 стр. Цена 54 к.

**Н. Полянова.** Стихотворения. 231 стр. Цена 58 к.

**С. Рассадин.** Ярослав Смеляков. Литературный портрет. 128 стр. Цена 30 к.

**Э. А. Робинсон.** Тильбюри-таун. Стихотворения и поэмы. Перевод с английского. 144 стр. Цена 44 к.

**Н. Тихонов.** Шесть колонн. Книга повестей и рассказов. 336 стр. Цена 1 р.

**Э. Штрिटматтер.** Избранное. Романы и рассказы. Переводы с немецкого. 576 стр. Цена 2 р. 4 к.

**П. Шубин.** Стихотворения. Предисловие А. Когана. 223 стр. Цена 57 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Б. Азбукин.** Будни севастопольского подполья. Документальная повесть. 221 стр. Цена 52 к.

**В. Белаяв** и **А. Елкин.** Ярослав Галан. («Жизнь замечательных людей»). 239 стр. Цена 65 к.

**Б. Брехт.** Избранная лирика. Переводы с немецкого. 79 стр. Цена 21 к.

**Б. Грибанов.** Хемингуэй. («Жизнь замечательных людей»). 446 стр. Цена 1 р. 5 к.

**М. Стельмах.** Дума про тебя. Роман. Перевод с украинского И. Чеховской. 400 стр. Цена 94 к.

**С. Якир.** Жил-был двор. Повести и рассказы. Предисловие К. Ковальджи. Послесловие И. Друца. 239 стр. Цена 29 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Д. Г. Большов** (первый зам. главного редактора), **Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 2/VIII 1971 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 22/IX 1971 г.  
Формат бумаги 70×108/16. 28,77 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. п. л.)  
A11740. Зак. 1953. Тираж 165.000 экз.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул. 26, с матриц типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. Н. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636